Марсель ПРУСТ



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ДВУХ ТОМАХ

Обретенное время
Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯ

Аннотация

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. Его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.

Марсель Пруст
ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯ

Весь день в этом доме, пожалуй, слишком уж деревенском, что казался не домом даже, а просто местом, где можно отдохнуть между двух прогулок или переждать грозу, одном из таких домов, в которых каждая гостиная напоминает зимний сад, а штоф на стенах в комнатах — садовые розы в одной и птицы на ветках в другой — словно обступают вас и составляют компанию, причем каждая роза и каждая птица изображены в отдельности, ведь это был старинный штоф, так что будь эти розы живыми, любую из них можно было бы срезать, а любую птицу посадить в клетку и унести, не то что эти современные комнаты с их интерьером, где на серебристом фоне вытянулись в ряд яблони Нормандии — картинка в японском стиле — и преследуют вас, словно болезненное наваждение, все то время, что вы остаетесь в постели; весь этот день я провел у себя в комнате, в окне которой был виден парк с его чудесной зеленью и кустами сирени у самого въезда, зеленая, пронизанная солнцем листва огромных деревьев у воды и лес Мезеглиза. И в общем-то я смотрел на все это с удовольствием потому лишь, что мог сказать себе: «Как красиво, когда в окне комнаты видно столько зелени», до той самой минуты, пока на этом величественном

изумрудном полотне я не разглядел нарисованную по контрасту темно-синим — просто потому, что находилась дальше, — колокольню церкви Комбре. Нет, не ее изображение, но саму эту колокольню, которая, явив таким образом моим глазам идею расстояния — пространственного и временного — вдруг возникла посреди лучезарной зелени, и совсем иного оттенка, гораздо более темного, так что казалось, будто она всего лишь нарисована и вставлена в рамку моего окна. И если я на какое-то время выходил из своей комнаты, то из коридора, по-особому изогнутого, видел, словно пурпурное полотнище, обивку малой гостиной, это был обыкновенный муслин, только красный, готовый воспламениться, если на него вдруг упадет солнечный луч.

Во время этих прогулок Жильберта[1] говорила мне о Робере, якобы он отдалился от нее и стал посещать других женщин. Да и в самом деле, столько всего загромождало его жизнь, так для многих мужчин, которые любят женщин, дружба с другими мужчинами становится чем-то вроде бессмысленной обороны и лишь понапрасну занимает место, подобно тому, как во многих домах

---

[1] Примечания: 1

Имена персонажей сохранены в орфографии переводчика. *(Прим. ред.)*

скапливается с годами множество совершенно бесполезных вещей. Несколько раз он приезжал в Тансонвиль, когда и я находился там. Он был совсем не таким, каким я знал его когда-то. Жизнь не опростила его, не лишила благородной осанки, как господина де Шарлюса, но совсем напротив, произвела, если можно так выразиться, действие совершенно противоположное, придав ему непринужденный вид офицера кавалерии — хотя он и подал в отставку на момент женитьбы — каким он прежде никогда не был. По мере того как господин де Шарлюс оседал, Робер (разумеется, он был гораздо моложе, но можно было не сомневаться, что с возрастом он станет только лучше, подобно тому, как некоторые женщины совершенно сознательно приносят свое лицо в жертву фигуре и начиная с определенного момента не покидают Мариенбада, полагая, что, не имея возможности сохранить молодость во всем, следует подумать о молодой осанке — именно она способна достойно представить и все остальное) становился стройнее, стремительней — противоположное следствие того же порока. Эта его стремительность могла иметь совершенно различные психологические причины: страх быть замеченным, желание не показать этого страха,

лихорадочность движений, что родится от недовольства собой и еще от тоски. Когда-то он имел привычку посещать некие злачные места, и поскольку не хотел быть замеченным ни входящим туда, ни выходящим оттуда, он словно поглощал себя сам, чтобы предоставить недоброжелательным взглядам гипотетических прохожих как можно меньше пространства для обозрения, так одним махом взлетают по лестнице. И эта порывистость так в нем и осталась. А еще, быть может, в этом была кажущаяся отвага человека, который хочет показать, что ему совершенно не страшно, который даже не желает терять времени на раздумья. Чтобы завершить картину, надо бы еще сказать о его желании оставаться молодым. И чем больше он старел, тем сильнее было это желание и более того — нетерпение, что свойственно вечно тоскующим, безнадежно пресыщенным мужчинам, что слишком умны для своей относительно праздной жизни, в которой не находят применения их способности. Конечно же, сама праздность этих людей может выражаться беспечностью. Но особенно при той популярности, какую снискали в последнее время физические упражнения и гимнастика, праздность сама превратилась в нечто вроде спорта и проявляется

эдакой нервической суетливостью, именно она, судя по всему, не оставляет времени и места для апатии.

В памяти моей, даже бессознательной памяти, больше не было места для любви к Альбертине. Но, похоже, существует еще и бессознательная память тела, тусклая и бесплодная имитация той, другой, и живет она дольше, так некоторые лишенные разума животные и растения живут дольше человека. Ноги, руки полны оцепеневших воспоминаний. Однажды, довольно рано простившись с Жильбертой, я проснулся среди ночи у себя в комнате в Тансонвиле и, еще полусонный, позвал: «Альбертина». Не то чтобы я подумал о ней, или она мне приснилась, или я вдруг принял ее за Жильберту: просто некое воспоминание, все еще живущее в мышцах моей руки, неожиданно пробудилось и заставило меня шарить за спиной в поисках звонка, словно я находился в своей парижской квартире. И, не отыскав его, я позвал: «Альбертина», полагая, будто моя умершая подруга легла рядом со мной, как она часто делала по вечерам, и что мы вместе уснули, полагаясь на то, что утром Франсуазе понадобится какое-то время, чтобы прийти, после того как Альбертина позвонила в звонок, который я так и не нашел.

Став — во всяком случае, в этот непростой для него период — гораздо жестче и суше, чем прежде, он почти не проявлял теплых чувств по отношению к своим друзьям, например ко мне. Зато он был преувеличенно внимателен к Жильберте, что зачастую напоминало дурное комедиантство и выглядело довольно неприятно. Не то чтобы в действительности Жильберта была ему безразлична. Нет, Робер любил ее. Но он все время лгал ей — все его уловки были шиты белыми нитками, а ложь оказывалось легко разоблачить. Он полагал, что может оправдаться, лишь до смешного преувеличивая свое огорчение, которое в действительности испытывал, причиняя боль Жильберте. Так, появившись в Тансонвиле, он заявлял, что завтра же утром должен уехать вновь, потому что у него важная встреча в Париже с неким господином из этих краев, но вышеупомянутый господин, который якобы находился сейчас в Париже, на самом деле был встречен на одном приеме неподалеку от Комбре и, не будучи поставлен Робером в известность, невольно разоблачал обман, сообщив, что приехал на месяц отдохнуть и не намеревается в ближайшее время посещать Париж. Робер краснел, заметив грустную, всепонимающую

улыбку Жильберты, пытался выпутаться, досадуя на бестактность этого господина, возвращался, опередив жену, передавал ей отчаянную записку, в которой признавался, что пошел на эту ложь, только чтобы не огорчать ее, чтобы она, видя, как он уезжает по причине, которую он не может ей открыть, не подумала, будто он ее не любит (причем все это, хотя и представлялось ложью, в сущности, было правдой), затем просил позволения войти к ней и там — то ли это была искренняя печаль, то ли просто нервозность, то ли притворство, с каждым днем все более наглое — отчаянно рыдая, захлебывался холодными слезами, твердил о своей скорой смерти, иногда даже падал на пол, словно ему вдруг становилось дурно. Жильберта не понимала, до какой степени стоит полагаться на его слова, догадывалась, что в каждом отдельном случае он лжет, но верила, что вообще-то он ее любит, очень беспокоилась из-за его предчувствий скорой смерти, предполагая, что он страдает, быть может, неким недугом, о котором ей ничего не известно, и из-за этого не смела препятствовать ему и просить отказаться от поездок.

Впрочем, я все меньше понимал, почему Мореля, да и Бергота принимают как своих повсюду,

где находились Сен-Лу: в Париже ли, в Тансонвиле. Морель уморительно подражал Берготу. Впоследствии не нужно было просить, чтобы он его изобразил. Бывают такие истероидные личности, которых не нужно даже вводить в состояние гипноза, чтобы они представили себя тем или иным человеком, так и он просто становился другим персонажем, вот и все.

Франсуаза, которая успела уже заметить и оценить все, что господин де Шарлюс сделал для Жюпьена, а также все, что Робер де Сен-Лу делал для Мореля, сочла, что дело здесь вовсе не в некоей особенности, что проявляется у многих Германтов из поколения в поколение — поскольку Легранден тоже много помогал Теодору, — она, особа весьма нравственная и напичканная всякого рода предрассудками, поверила, будто это такой обычай, всеобщий, а потому заслуживающий уважения. О молодом человеке, будь то Морель или Теодор, она говорила так: «Ему встретился господин, который заинтересовался им и стал помогать». И поскольку в подобных случаях покровители — это те, кто любят, страдают и готовы все простить, Франсуаза, делая выбор между ними и их протеже, которых они совращали и сбивали с пути, предпочитала все-таки их, при-

писывая им всяческие добродетели, и находила их «очень славными». Она решительно осуждала Теодора, который водил за нос Леграндена, но при этом, похоже, нисколько не заблуждалась относительно характера их отношений, поскольку добавляла: «Тогда мальчик все-таки понял, что нужно не только брать, но и самому что-то отдавать, и сказал: «Возьмите меня с собой, я буду вас любить, я буду ухаживать за вами», и право же, это такой великодушный господин, что Теодор может быть уверен — от него он получит куда больше, чем заслуживает, ведь это же, Боже правый, такой сорвиголова, а тот месье такой добрый, что я даже сказала Жанетте (невесте Теодора): «Деточка, если когда-нибудь вам будет трудно, обратитесь к этому господину. Он сам ляжет на полу, а вам уступит свою кровать. Он так полюбил мальчика (Теодора), он никогда его не прогонит, об этом даже речи быть не может, никогда его не бросит»».

Из вежливости я поинтересовался фамилией Теодора, который жил теперь где-то на юге. «Но ведь это же он написал мне по поводу моей статьи в «Фигаро»», — воскликнул я, узнав, что его фамилия — Соттон.

Точно так же она гораздо больше уважала

Сен-Лу, чем Мореля, и пребывала в уверенности, что, несмотря на все глупости, которые мальчик (Морель) совершил, маркиз никогда не оставит его в трудную минуту, потому что это очень великодушный человек, или уж надо, чтобы с ним самим произошло нечто из ряда вон выходящее.

Он настаивал, чтобы я остался в Тансонвиле, и однажды даже обмолвился, хотя, похоже, и не пытался сделать мне приятное, что мой приход доставил его жене большую радость и она пребывала в этом состоянии, по ее собственным словам, в этом радостном состоянии весь вечер, тот самый вечер, когда она чувствовала себя такой грустной, и будто бы я, явившись столь неожиданно, чудесным образом спас ее от отчаяния. «А может быть, и от худшего», — добавил он. Он просил, чтобы я попытался убедить ее, что он любит ее, что ту, другую женщину, которую он тоже любит, он любит гораздо меньше и в скором времени вообще порвет с ней. «И все-таки, — добавлял он с таким самодовольством, таким простодушием, что я готов был иной раз поверить, будто имя «Шарли» совершенно нечаянно, вопреки воле Робера, «выпадет», словно номер в лотерее, — мне есть чем гордиться. Эта женщина, которая дарит мне столько нежности и которой я все же готов

пожертвовать ради Жильберты, никогда раньше не обращала внимания на мужчин, ей даже казалось, что она вообще не способна влюбиться. Я у нее первый. Я знал, что она избегает всех, и когда получил это восхитительное письмо, в котором она уверяла, что только я один и могу составить ее счастье, то просто не мог прийти в себя. Было от чего возгордиться, если бы не заплаканные глаза Жильберты, бедняжка, это было невыносимо. Тебе не кажется, что в ней есть что-то от Рахили?» — говорил он мне. И в самом деле, я был поражен смутным, трудноуловимым сходством, которое все же можно было обнаружить между ними. Быть может, и в самом деле какие-то черты оказались похожи (что объяснялось, к примеру, еврейским происхождением Жильберты, весьма, впрочем, мало выраженным), благодаря чему, когда семья пожелала, чтобы Робер женился, он, при том, что размеры состояний были одинаковы, склонился все-таки к Жильберте. А еще это могло объясняться тем, что Жильберта, потрясенная фотографиями Рахили, даже имени которой она не знала, желая понравиться Роберу, пыталась подражать каким-то привычкам актрисы, к примеру, носила всегда красные банты в волосах, черную бархатную ленточку на рукаве

и красила волосы, чтобы стать брюнеткой. Затем, поняв, что от огорчений у нее испортился цвет лица, она постаралась как-то это исправить. И порой переходила всякие границы. Так однажды, когда Робер должен был приехать вечером, чтобы провести весь следующий день в Тансонвиле, я был потрясен, увидев ее за столом: она была не похожа не только на ту, какой была когда-то, но и просто на себя обычную, словно передо мной вдруг оказалась какая-то актриса, Теодора или кто-то еще. Я понял, что, вопреки собственной воле, слишком пристально рассматриваю ее, мне было так любопытно узнать, в чем же она все-таки изменилась. Любопытство мое было вскоре удовлетворено, когда она высморкалась и я увидел, что осталось на ее платке. По той палитре красок, что отпечатались на ткани, я понял, что лицо ее было ярко накрашено. Краска сделала ее рот кроваво-красным, причем она все время силилась улыбнуться, полагая, что это ей идет, а время прибытия поезда приближалось, и Жильберта даже не знала, приедет ли в самом деле ее муж или пришлет телеграмму в своем обычном стиле, который герцог Германтский остроумно обозначил так: «приехать не могу, измышление следует», щеки ее под фиолетовой

испариной румян были бледны, а вокруг глаз залегли темные круги.

«А, вот видишь, — говорил он мне с нарочитой сердечностью, так не походившей на его прежнюю, естественную сердечность, голосом алкоголика с хорошо выверенными актерскими модуляциями, — ради счастья Жильберты я готов на все! Она столько для меня сделала. Ты даже представить себе не можешь». Что было самым неприятным во всей этой ситуации, так это его себялюбие, ведь ему льстило, что Жильберта любит его, и, не решаясь признаться, что сам он любит Чарли, рассказывал, однако, о любви, которую скрипач якобы испытывает к нему, такие подробности, которые, как сам понимал Сен-Лу, были сильно утрированы, если вообще не выдуманы с начала до конца, к тому же Чарли с каждым днем требовал все больше и больше денег. В конце концов, доверив Жильберту моему попечению, он снова отправлялся в Париж.

Впрочем, мне однажды представилась возможность — это я немного забегаю вперед, поскольку все еще нахожусь в Тансонвиле, — понаблюдать за ним в свете, причем издалека, где его манера речи, несмотря ни на что, выразительная, яркая, живо напомнила мне о прошлом, но я был пора-

жен, насколько он изменился. Он все больше и больше походил на свою мать, то чуть высокомерное изящество, которое он от нее унаследовал и которое у нее было безупречным благодаря превосходному воспитанию, у него казалось еще более заметным и даже несколько нарочитым, проницательный взгляд, свойственный всем Германтам, делал его похожим на исследователя, казалось, он не просто смотрит, а внимательно изучает место, где ему случилось оказаться, хотя происходило это почти бессознательно, словно бы по привычке или повинуясь какому-то животному инстинкту. Цвет, который был ему свойствен больше, чем всем остальным Германтам, — золото, материализовавшееся из солнечного света, — этот цвет, даже недвижный, создавал вокруг него диковинное оперенье и превращал его в нечто столь драгоценное и единственное в своем роде, что им хотелось завладеть, как орнитологу — редким экземпляром для своей коллекции, но мало этого, если этот превратившийся в птицу свет начинал двигаться, перемещаться, когда, к примеру, Робер де Сен-Лу появлялся на приеме, где оказывался и я тоже, он так изящно и в то же время горделиво вскидывал уже начинающую лысеть голову с золотым хохолком волос, да и сам

поворот шеи казался настолько более гибким, гордым и изысканным, чем это можно было бы себе представить у человеческого существа, что помимо любопытства и восхищения, которые он вам внушал — причем природу этих чувств вам трудно было бы определить: то ли это светское любопытство, то ли зоологическое, — вы неизбежно задавались вопросом: где все это происходит — в предместье Сен-Жермен или в Ботаническом саду, и вообще, кто перед вами — высокий господин пересекает гостиную или по клетке прохаживается птица? Впрочем, все это обращение к недолговечному изяществу Германтов с их вытянутым носом-клювом, острыми глазами — все это весьма подходило его новому пороку и подчеркивало его. И чем дальше, тем больше походил он на тех, кого Бальзак называл «тетками». Стоит только добавить немного воображения, как становилось ясно, что подобному оперенью больше подошел бы птичий щебет. Ему казалось, что фразы, которые он произносит, достойны двора Людовика XIV, так он пытался подражать манере герцога Германтского. И в то же самое время некий трудноопределимый штришок сближал ее с манерой господина де Шарлюса. «Я отлучусь на минутку, — сказал

он мне тем вечером, когда госпожа де Марсант отошла в конец залы, — пойду приволокнусь за мамашей». Что же касается этой любви, о которой он твердил мне беспрестанно, имелась в виду не только его любовь к Чарли, хотя только она и имела для него значение. Какова бы ни была любовь мужчины, мы всегда заблуждаемся относительно количества его связей, поскольку нам свойственно принимать за любовные связи обычные дружеские отношения, что уже является ошибкой, но мало этого — мы полагаем, будто одна выявленная связь исключает другую, а это не меньшее заблуждение. Двое людей могут сказать: «Я знаю любовницу господина Х.», произнеся два различных имени, и при этом ни тот, ни другой не погрешит против истины. Одна женщина, даже страстно нами любимая, редко удовлетворяет всем нашим потребностям, и мы изменяем ей с другой, которую вовсе даже и не любим. Что же касается того вида любви, какую Сен-Лу унаследовал от господина де Шарлюса, то можно сказать, что муж, проявляющий к ней склонность, как правило, способен сделать свою жену счастливой. Это единое правило, из которого Германты находили способ сделать исключение, ибо те, кто испытывает подобную

склонность, всеми силами пытаются показать, что, совсем напротив, склонность они питают только к женщинам. Они появляются то с одной, то с другой, приводя в отчаяние собственную жену. Курвуазье поступали более осмотрительно. Юный виконт де Курвуазье искренне верил, будто он единственный со дня сотворения мира, кто испытывает влечение к особам своего пола. Полагая, что склонность эта внушена ему не иначе как самим дьяволом, он пытался с ней бороться, женился на очаровательной женщине, произвел на свет детей. Потом какой-то кузен открыл ему глаза, объяснив, что подобного рода пристрастия весьма распространены, и был так любезен, что даже отвел его в места, где эту самую склонность можно было легко удовлетворить. Господин де Курвуазье полюбил жену еще больше, удвоил свои усилия по деторождению, и эта чета была признана лучшей супружеской парой Парижа. Чего нельзя было сказать о Сен-Лу, потому что Робер, вместо того чтобы довольствоваться тем, к чему питал природную склонность, заставлял свою жену страдать от ревности, заводя безо всякого удовольствия романы с многочисленными любовницами.

Вполне возможно, что Морель, отличавшийся

очень смуглым оттенком кожи, был необходим Сен-Лу, как солнечному свету необходима тень. В столь древнем семействе нетрудно было представить себе некоего высокого, золотоволосого, умного господина, наделенного всеми мыслимыми достоинствами и таящего в глубине сердца тайное, никому не ведомое влечение к неграм.

Впрочем, Робер никогда не позволял, чтобы разговор коснулся этой темы — какого рода любовные отношения ему свойственны. Если я и заикался об этом, он тут же отвечал: «Ах, не знаю», всем своим видом демонстрируя глубочайшее безразличие, и даже терял монокль. «Понятия не имею о подобных вещах. Если хочешь что-то об этом узнать, дорогой мой, советую тебе обратиться к кому-нибудь другому. А я простой солдат. Мне все это безразлично в той же степени, в какой волнует война на Балканах. А ведь когда-то тебя это тоже интересовало, я имею в виду этимологию сражений. Я тебе, помнится, говорил, что нам еще предстоит увидеть, и даже не один раз, типичные, так сказать, классические сражения, вот, к примеру, эта грандиозная попытка окружения фланговой ударной группой, я имею в виду битву при Ульме. Так вот, хотя, конечно, эти Балканские войны — штука весьма специфи-

ческая, могу утверждать, что Люлле-Бюргас — это еще один Ульм, тоже захват флангов. Вот на эту тему мы могли бы с тобой побеседовать. А что же касается того, на что ты намекаешь, должен сказать, для меня это все китайская грамота».

В то время как Робер пренебрегал подобными темами, Жильберта, напротив, охотно затрагивала их в разговоре со мною, стоило тому в очередной раз исчезнуть, разумеется, не по поводу своего мужа, ибо она ни о чем не подозревала или, во всяком случае, делала вид, что не подозревает. Но она охотно распространялась на эти темы, когда речь заходила о других, — то ли оттого, что видела в этом какое-то косвенное оправдание для Робера, то ли оттого, что тот, вынужденный, как и его дядюшка, с одной стороны, хранить молчание относительно всего этого, а с другой — изливать душу и злословить, — в немалой степени просветил ее. Наряду с другими не был пощажен и господин де Шарлюс: без сомнения, Робер, хотя и не говорил напрямую с Жильбертой о Шарли, все же не мог в разговоре с нею не повторить в той или иной форме то, что он узнал от скрипача. И он изливал на своего прежнего благодетеля всю ненависть. Именно эта атмосфера подобных бесед, столь любимых

Жильбертой, позволила мне как-то спросить ее об Альбертине, имя которой я впервые услышал именно от нее, ведь они были школьными подругами, могло ли быть, чтобы Альбертина испытывала подобные склонности. Но Жильберта не смогла мне ответить. Впрочем, меня давно уже это не интересовало. Но я машинально продолжал спрашивать, подобно тому, как потерявший память старик время от времени интересуется известиями о своем давно умершем сыне.

Но что любопытно и о чем я не могу особенно распространяться, так это до какой степени в те времена все, кого любила Альбертина, кто мог бы заставить ее сделать все что угодно, просили, молили, я сказал бы, даже выклянчивали не дружбу, нет, а просто хоть какие-нибудь отношения со мной. Больше не надо было платить мадам Бонтан, чтобы она вернула мне Альбертину. И то, что жизнь предоставила новую попытку, которая была отныне ни к чему, огорчало меня безмерно, и даже не из-за Альбертины, которую я принял бы безо всякой радости, если бы мне вернули ее уже не из Турени, а с того света, но из-за некой юной женщины, которую я любил и которую мне больше не суждено было увидеть. Я уверял себя, умерла ли она, или я разлюбил ее, все, что

могло бы сблизить меня с нею, не значило уже ровным счетом ничего. А пока я тщетно пытался обрести равновесие, не исцеленный опытом, который должен был бы научить меня — если опыт вообще когда-нибудь чему-нибудь учит, — что любовь — это колдовское заклятие, какие бывают в страшных сказках, от которого невозможно избавиться, разве только ждать, пока колдовство само не потеряет силу.

«В книге, которая у меня в руках, говорится именно об этом, — сказала мне она. (Я говорил Роберу об этом загадочном человеке: «Мы бы отлично поладили». Но он заявил, что не помнит об этом и что вообще это не имеет никакого значения.)

«Это старина Бальзак, я заучиваю его наизусть, чтобы стать достойной своих дядюшек, — «Златоокая девушка». Но это же абсурд, невероятно, наваждение какое-то. Впрочем, женщина… быть может, может быть под надзором другой женщины, но никак не мужчины». — «Вы ошибаетесь, я был знаком с одной женщиной, которую любящий мужчина лишил свободы в буквальном смысле слова, ей запрещалось видеть абсолютно всех, а если она выходила на улицу, ее обязательно сопровождали преданные слуги». — «Ну что ж,

должно быть, вас с вашей добротой и порядочностью это приводит в ужас. Мы как раз говорили с Робером, что вам следует жениться. Ваша жена излечит вас, а вы составите ее счастье». — «О нет, у меня слишком скверный характер». — «Вот уж неправда!» — «Уверяю вас! Впрочем, я был как-то помолвлен, но так и не решился жениться (моя невеста сама отказалась), и все из-за моего характера, такого вздорного и в то же время нерешительного». В самом деле, именно так, слишком, быть может, упрощенно, судил я теперь о своих отношениях с Альбертиной, ведь отныне я мог наблюдать их со стороны.

Поднимаясь к себе в комнату, я с грустью размышлял о том, что мне не удалось еще раз увидеть церковь Комбре, которая, казалось, дожидается меня среди зелени в квадрате фиолетового окна. Я говорил себе: «Ничего, в следующем году, если, конечно, доживу», полагая, что есть лишь единственное препятствие — моя собственная смерть, и никак не представляя себе гибели церкви, которая, казалось, будет существовать долго-долго после моей смерти, как она существовала задолго до моего рождения.

Все-таки однажды я заговорил с Жильбертой об Альбертине, спросил, любила ли Альбертина жен-

щин. «О! нисколько». — «Но вы же сами когда-то говорили, что она демонстрировала порой дурные манеры». — «В самом деле, говорила? Должно быть, вы ошибаетесь. Во всяком случае, если я это и сказала, так вы все перепутали, я, как раз наоборот, говорила, что у нее случались интрижки с молодыми людьми. Впрочем, в ту пору вряд ли это заходило далеко». Быть может, Жильберта говорила это, чтобы скрыть от меня, что сама она, как уверяла Альбертина, любила женщин и делала Альбертине всякого рода предложения. Или, может быть (ибо зачастую другие люди гораздо лучше осведомлены о нашей жизни, чем нам кажется), она знала, что я любил Альбертину, что ревновал ее, и (при том, что другие могут знать о нас больше правды, чем мы думаем, они простирают свои знания слишком далеко и пребывают в заблуждении, поскольку выдвигают слишком много предположений, а мы-то надеялись, что они заблуждаются, поскольку не выдвигают вообще никаких предположений) полагала, будто я до сих пор люблю и ревную, и по своей доброте надевала мне на глаза повязку, спасительное средство для всех ревнивцев? Во всяком случае, оценки Жильберты, которые начались с «дурного воспитания» и вылились в нынешние уверения

в добронравии и порядочности, шли вразрез с утверждениями Альбертины, которая в конце концов почти призналась в том, что имела нечто вроде связи с Жильбертой. Альбертина поразила меня этим, а еще я был удивлен тому, что сказала мне Андре, ибо что касается всей этой компании, то я вначале просто уверовал в их порочность прежде, чем доподлинно узнал о ней; я осознал ошибочность своих предположений, так довольно часто случается, когда порядочную и несведущую в вопросах любви девушку мы встречаем в месте, которое совершенно неправомерно считаем гнездом порока. Впоследствии я вновь проделал этот же самый путь, но в противоположном направлении, осознав правильность своих первоначальных предположений. Но, быть может, Альбертина захотела рассказать мне все это, просто чтобы показаться более опытной и просвещенной, чем в действительности, чтобы поразить меня в Париже очарованием своей порочности, как при первой встрече в Бальбеке — обаянием своей добродетели. И вполне естественно, когда я заговорил с нею о женщинах, которые любят особ своего пола, не захотела показать, будто совершенно не понимает, что это значит, точно так же как люди принимают осве-

домленный вид, когда в разговоре речь заходит о Фурье или о Тобольске, хотя не имеют никакого представления о том, кто это или что это. Она, должно быть, жила возле подруги мадемуазель Вентейль или Андре, отделенная непроницаемой перегородкой от них, полагающих, будто она «не в курсе» и разузнала все впоследствии — так женщина, которая выходит замуж за литератора, стремится пополнить свое образование, — чтобы мне понравиться, доказав, что способна отвечать на мои вопросы, до того самого дня, когда она, осознав, что находится в плену у ревности, пошла на попятный, отказавшись от своих намерений. Если только не солгала Жильберта. Мне даже пришла мысль, что Робер женился, намереваясь, заведя интрижку и направив ее в нужное русло, узнать от нее, что она не питает отвращения к женщинам, и надеялся на удовольствия, которые, судя по всему, так и не получил у себя, коль скоро стал искать их в другом месте. Ни одно из этих предположений не казалось нелепым, ибо у женщин, таких как дочь Одетты, или юных девушек из их компании можно встретить такое разнообразие, такое сочетание различных склонностей, сменяющих одна другую, что они, эти женщины, легко переходят от связи с другой женщиной к

безумной любви к мужчине, причем определить истинную и преобладающую склонность представляется делом весьма затруднительным. Мне не захотелось брать у Жильберты ее «Златоокую девушку», поскольку она читала эту книгу. Но она сама в тот последний вечер, что я провел у нее, дала мне, чтобы я смог почитать перед сном, одну книгу, которая произвела на меня впечатление весьма яркое и неоднозначное, впрочем, вряд ли оно могло продержаться долго. Это был томик неизданных дневников братьев Гонкур. И когда, прежде чем потушить свечу, я прочел отрывок, который привожу ниже, отсутствие у меня литературных способностей, что я предчувствовал еще во время прогулок «в сторону Германтов» и что подтвердилось в это мое пребывание здесь, последним вечером которого был как раз этот, сегодняшний — эти вечера накануне отъезда, когда притупляются привычки, что очень скоро станут бесполезными, и пытаешься судить себя, — нисколько не показалось мне достойным сожаления, как если бы литература не обнажила настоящей правды; и в то же время мне было грустно, что литература не была тем, во что я верил. С другой стороны, не таким досадным показалось мне и болезненное состояние, что

очень скоро должно было привести меня в клинику, коль скоро те прекрасные вещи, о которых говорилось в книгах, были не прекраснее, чем те, что я видел своими глазами. Но вот странное противоречие: раз о них говорилось в этой книге, мне захотелось их увидеть. Вот те несколько страниц, что я успел прочесть, пока усталость не сомкнула мне глаз:

«Позавчера сюда неожиданно является, чтобы пригласить меня к себе на ужин, Вердюрен, бывший критик «Ревю», автор знаменитой монографии о Уистлере, в которой художественная манера, палитра американского подлинника переданы с невероятным изяществом такого поклонника всего изысканного, всевозможных живописных красивостей, каковым и являлся господин Вердюрен. И пока я одеваюсь, чтобы отправиться за ним, следует его горестный, слегка запинающийся рассказ, что-то вроде робкой исповеди о том, как он отказался от литературной работы вскоре после женитьбы на фромантеновской Мадлен, причем отказ этот явился, должно быть, результатом пристрастия к морфию и, по словам Вердюрена, имел весьма печальные последствия: большинство посетителей салона его жены даже и не подозревали, что муж вооб-

ще когда-то писал, и говорили о Шарле Блане, о Сен-Викторе, о Сент-Бёве, о Бюрни так, словно он, Вердюрен, стоял неизмеримо ниже всех этих людей. Но вам-то, Гонкурам, прекрасно известно, да и Готье хорошо это знал, что мои «Салоны» не идут ни в какое сравнение с этими жалкими «Старыми мастерами», которые в семействе моей жены, представьте себе, слывут за шедевры». Затем после наступления сумерек, окутавших башни Трокадеро, похожие на последние сполохи света, усиливающие сходство этих башен с теми глазурными башенками, облитыми смородиновым желе, какие сооружали на тортах старые кондитеры, беседа продолжается в автомобиле, что должен отвезти нас на набережную Конти, в их особняк, который его владелец считает бывшей резиденцией венецианских посланников и в котором якобы находилась курительная комната, по словам Вердюрена, перенесенная прямиком из сказок «Тысячи и одной ночи», из знаменитого *палаццо,* название которого я забыл, того самого *палаццо,* где имелся колодец, украшенный по стенам сюжетом «Венчание Богородицы», принадлежащим, как опять-таки уверял Вердюрен, резцу самого Сансовино, гости сбрасывали в него пепел с сигар. Боже мой, когда мы въезжаем

в изумрудность и туманность лунного света, похожего на то марево, в каком обычно в классической живописи предстает Венеция и в котором ажурно вычерченный купол Института навевает мысли о «Благовещении» работы Гварди, мне даже почудилось, будто я стою на берегу Большого Канала. Это ощущение еще больше усиливается особой формой особняка, со второго этажа которого уже не видно набережной, а еще выразительными откровениями хозяина дома, утверждающего, будто название улицы дю Бак — черт меня подери, если я хоть когда-либо задумывался об этом — происходит от того самого парома *(bac),* на котором монашки монастыря Святого Иосифа переправлялись на остров Сите, на службу в Нотр-Дам. Весь этот квартальчик. в котором фланировало мое праздное детство, когда там обитала моя тетушка, госпожа де Курмон, я вновь открываю для себя, обнаружив совсем рядом, стена к стене с особняком Вердюренов, вывеску магазинчика «Малый Дюнкерк», одной из тех редких лавочек, существующих ныне не только в виде виньеток на карандашных зарисовках и лессировках Габриеля де Сент-Обена, на которых любопытный XVIII век запечатлел эти мгновения счастливой праздности, торговлю

французскими и иноземными красивостями и вообще «всем самым новым, что только существует в искусстве», как гласит счет из того же «Малого Дюнкерка», счет, гравюрный оттиск которого есть только у нас двоих, у меня и у Вердюрена, и он, вне всякого сомнения, представляет собой истинный шедевр полиграфии, на таких велись расчеты в эпоху Людовика XV, причем вверху было изображено море с огромными волнами, на которых качались корабли, и это волнующееся море было похоже на одну из иллюстраций к изданию Фермье «Устрица и судейские». Хозяйка дома, намереваясь усадить меня с собой, любезно сообщает мне, что украсила стол исключительно японскими хризантемами, но эти самые хризантемы, расставленные в вазах, каждая из которых сама по себе могла бы называться произведением искусства, сделаны из бронзы, которую усыпал листопад лепестков из красноватой меди. Сегодня среди приглашенных доктор Котар, его супруга, польский скульптор Выродобецкий, коллекционер Сван, некая знатная русская дама, княгиня, фамилию которой я забыл, что-то такое на «оф», и Котар шепчет мне на ухо, что именно она стреляла в упор в эрцгерцога Родольфа, и по мнению которой я имел бы совершенно исключительное

положение в Галиции и Северной Польше, где ни одна девушка не пообещает руку жениху, не выяснив, является ли молодой человек поклонником «Фостен». «Вам, живущим здесь, на Западе, совершенно не понять, — бросает тоном, не терпящим возражения, княгиня, которая, право же, производит на меня впечатление исключительно умной особы, — как глубоко писатель может проникнуть во внутренний мир женщины». Человек с гладковыбритым подбородком, явно любимчик хозяина дома, пересказывающий снисходительным тоном остроты, какими учитель выпускного класса обменивается со своими отличниками в День святого Карла Великого, это университетский профессор Бришо. Едва только мое имя произнесено Вердюреном, как я понимаю, что профессор не знаком с нашими книгами, что пробуждает во мне гнев и отчаяние, причина которых — эти гнусные интриги, что плетутся против нас в Сорбонне, и в уютной атмосфере дома, в котором меня чествуют, возникает какая-то напряженность и даже враждебность. Но вот мы садимся за стол, и перед нами проходит вереница тарелок, каждая из которых — настоящий шедевр фарфорового искусства, и тут во время изысканного обеда дилетанту остается лишь

подобострастно внимать разглагольствованиям истинного художника, — тарелки китайского фарфора Юн Чин, ободок цвета настурции по краям, голубоватый фон, набухшие влагой лепестки ириса, плавающие на поверхности воды, а на переходе между тем и другим — декоративный орнамент рассвета с его парящими зимородками и журавлями, того самого рассвета с оттенком раннего утра, что ежедневно подглядывает за моими пробуждениями на бульваре Монморанси — тарелки саксонского фарфора, образчики прециозного стиля, сонная истома, анемия роз, чьи оттенки уже дальше фиолетового, дальше границы цветового спектра, пурпурные лоскутья тюльпанов, рококо гвоздик или незабудок, — тарелки севрского фарфора, тонкая решетчатая насечка, золотые венчики, где на молочной поверхности фарфоровой массы завязывается щегольской рельеф золотого банта, — а еще столовое серебро, оплетенное миртовыми ветками Люсьенны, которые признала бы сама Дюбарри. Но что еще было таким же редкостным, таким же изысканным, как посуда, — то, что нам на ней подавали, искуснейше приготовленные блюда, такую кухню, нужно сказать об этом прямо, парижане не пробуют даже во время самых

пышных приемов, мне вспомнились лучшие кулинары поместья Жан-д'Эр. Даже гусиная печенка не имеет ничего общего с той безвкусной массой, какую предлагают обычно под этим названием, и я, право же, не много знаю мест, где простой картофельный салат был бы приготовлен из такого картофеля, упругого, словно японские шарики из слоновой кости, матового, словно костяные ложечки, какими китаянки льют воду на только что выловленную рыбу. В бокале венецианского стекла, стоящем передо мной, словно драгоценные украшения, искрятся рубины леовиля, закупленного у господина де Монталиве, и настоящая отрада для глаз и еще, не побоюсь это произнести, для того, что именовали прежде глоткой — видеть, как приносят блюдо из калкана, и это вовсе не тот несвежий калкан, каким угощают на обедах даже весьма изысканных, у которого от долгого путешествия костистый хребет прорвал дряблую кожу, и подают это блюдо не с той клейкой массой, что иные шеф-повара именуют белым соусом, но с настоящим белым соусом, приготовленным из масла по пять франков за ливр, видеть, как приносят эту рыбу на великолепном блюде Чин Хона, пронизанном пурпурными лучами солнца, захо-

дящего над морем, в глубинах которого суетливо перемещаются стада лангустов, с выпуклыми крапинками, расположенными так искусно, что кажется, будто капли лежат на живой скорлупе, а внутренний край блюда — выловленная маленьким китайчонком рыбешка, настоящее перламутровое чудо с лазоревой серебристостью на брюшке. Когда я замечаю Вердюрену, какое это, должно быть, ни с чем не сравнимое удовольствие для него — такой изысканный обед, сервированный к тому же на посуде, какой нет сейчас ни у одного принца, — «Сразу видно, вы совершенно его не знаете», — меланхолично бросает мне хозяйка дома. По ее словам, муж — это просто какой-то маньяк, абсолютно безразличный ко всем красотам, «Маньяк, самый настоящий маньяк», — повторяет она, и этот маньяк с куда большим удовольствием выпьет бутылку сидра, усевшись в тенистом дворике какой-нибудь вульгарной нормандской фермы. И очаровательная женщина, задыхаясь от восторга, с истинной влюбленностью в те края, рассказывает нам об этой Нормандии, где они жили, которая могла бы стать огромным английским парком с высокими благоухающими деревьями в духе Лоуренса, с бархатистыми криптомери-

ями, с фарфоровой каймой розовых гортензий на естественных лужайках, с мятыми бледно-желтыми розами, опавшие лепестки которых у дверей крестьянской фермы, смешавшись с тенью двух сплетенных между собой грушевых деревьев, образующих декоративный орнамент, напоминают о том, как легко опадает цветущая ветвь на бронзовом фонаре работы Гутьера, о той Нормандии, о которой и не подозревают отправляющиеся на каникулы парижане, которую защищает множество барьеров — загородки и изгороди, — зато сами Вердюрены дают понять, что они-то разрушили все барьеры и вхожи куда угодно, и принимают кого угодно. На исходе дня в час дремотного затухания всех цветов, когда свет исходит только от моря, створоженного, с голубоватым оттенком только что снятого молока, — «Нет, это не то море, что вы видели, ничего общего, — истово протестует моя соседка по столу, когда я рассказываю ей, что Флобер возил нас с братом в Трувиль, — ну совершенно ничего общего, вам нужно непременно поехать со мной, а то вы никогда не поймете» — они возвращались сквозь настоящие цветочные заросли, словно выпутываясь из складок розового тюля, что образовали рододендроны, захмелевшие от запахов,

издаваемых сардинным заводиком, которые вызывали у мужа чудовищные приступы астмы — «Да-да, — настаивает она, — самые настоящие приступы астмы». Сюда возвращались они следующим летом, разместив целую колонию художников в средневековом замке, бывшем монастыре, который они сняли практически совсем даром. Боже мой, когда я слушаю эту женщину, которая, после стольких лет общения с людьми выдающимися, в кругах самых изысканных и светских, сумела сохранить в своем языке такую свободу простой народной речи, способной представить вещи во всем их многоцветье и совершенстве, у меня просто слюнки текут, так явственно с ее слов представляю я себе их жизнь, когда каждый творил у себя в келье, и в гостиную, такую огромную, что там помещалось целых два камина, все приходили задолго до обеда, чтобы вести возвышенные беседы и развлекаться салонными играми, и все это наводит меня на мысль о Дидро и его шедевре «Письма к мадемуазель Волан». После обеда все выходили на улицу, даже в непогоду, слепило ли солнце или лучился ливень, тот самый ливень, сквозь светящуюся решетку которого вычерчивались узловатые изножья столетних буков, что выстроились вдоль

решетки, деревья-красавцы, столь любимые XVIII веком, а на ветвях кустарников вместо бутонов распускались дождевые капли. Все останавливались послушать шелест налимов в прохладной воде, полюбоваться снегирем, который плескался в очаровательном крошечном водоеме, венчике белой розы из нимфенбургского фарфора. А когда я заговариваю с госпожой Вердюрен о тех пейзажах и цветах, что изобразил Эльстир в своих нежных пастелях: «Да это же я его всему научила, — гневно вскинув голову, восклицает она, — всему, ну абсолютно всему, все эти интересные уголки, сюжеты, я так прямо и сказала ему это в лицо, когда он уходил от нас, правда же, Огюст? просто все до одного сюжеты его картин. Что касается предметов, это он умел, надо отдать ему должное. А цветы, да он их никогда не видел, он не умел отличить алтею от мальвы. Это я показала ему, как выглядит, вы просто не поверите, как выглядит жасмин». И надо признать, есть что-то забавное в том, что этот художник, которого знатоки живописи почитают ныне среди первых, кому отдают предпочтение даже перед Фантен-Латуром, без этой женщины, что стоит сейчас передо мной, наверное, не смог бы нарисовать простой ветки жасмина. «Да-да, жасмина,

а все свои знаменитые розы, это он нарисовал у меня, или, во всяком случае, я их ему приносила. У нас его называли господин Тиш, только так, спросите у Котара, у Бришо, да у кого угодно, разве мы считали его здесь великим человеком? Да он сам первый рассмеется. Я учила его правильно располагать цветы, сперва у него ничего не получалось. Он не мог составить простого букета. Он не обладал природным вкусом, мне приходилось говорить ему: «Нет, это не рисуйте, не стоит, нарисуйте лучше вот это». Ах, если бы он только слушался нас, как построить свое счастье, а не только как построить композицию, не было бы этой мерзкой свадьбы!» Внезапно глаза ее начинают лихорадочно блестеть, и она погружается в воспоминания о прошлом, нервно передергивая плечами, ломая фаланги пальцев, сохраняя при этом обычный контур своей напряженной позы, словно восхитительная картина, которая, так мне кажется, никогда не была написана и на которой ясно угадывается весь затаенный бунт, вся гневная обида этой женщины, тяжко оскорбленной в своей дружеской нежности и женском целомудрии. Затем она рассказывает нам о чудесном портрете, написанном Эльстиром специально для нее, портрете семейства Котар, который она

отдала в Люксембургский дворец после разрыва с художником, и сообщает при этом, что именно она подала художнику мысль написать мужчину в такой одежде, чтобы лучше передать пенное кружево отделки, и она выбрала для женщины это бархатное платье, ставшее зрительной опорой картины среди пестроты светлых оттенков ковров, цветов, фруктов, газовых платьиц девочек, похожих на танцовщиц в балетных пачках. Так же именно она подсказала эту прическу, только потом честь этой находки стали приписывать художнику, а находка состояла в том, чтобы изобразить женщину не с завершенной прической, а в повседневной естественности, словно ее так и застали. «Я сказала ему: «В женщине, когда она причесывается, вытирает лицо, согревает ноги и думает, что никто ее не видит, есть столько любопытных черточек, столько естественности, поистине леонардовская грация!»»

Но, повинуясь знаку Вердюрена, пожелавшего отвлечь жену от негодующих воспоминаний, что могли бы пагубно отразиться на ее нервной системе, Сван обращает мое внимание на колье черного жемчуга, что украшает шею хозяйки дома, оно было куплено — причем жемчуг был тогда белым — у какого-то родственника госпожи

де Лафайет, которой в свое время его подарила якобы сама Генриетта Английская, а жемчуг почернел в результате пожара, уничтожившего часть дома, что занимали Вердюрены на улице, названия которой я уже и не помню, и когда после пожара была найдена шкатулка с хранившимся в ней жемчугом, оказалось, он стал абсолютно черным. «А я знаю, где изображен этот жемчуг на шее самой госпожи де Лафайет, — настаивает Сван в ответ на восклицания ошеломленных гостей, — есть такая картина в коллекции герцога Германтского». Это коллекция, которой нет равных в мире, как заявляет Сван, уверяя, что я непременно должен осмотреть ее, коллекция, унаследованная знаменитым герцогом, любимым племянником своей тетки, госпожи де Босержан, а прежде ею владела мадам Атсфельд, сестра маркиза де Вильпаризи и принцессы Ганноверской, где мы с моим братом так любили когда-то очаровательного малыша по имени Базен — именно так зовут герцога. Затем доктор Котар с удивительным тактом, выдающим в нем человека тонкого и благовоспитанного, вновь возвращается к истории жемчужин и сообщает нам о том, что катастрофы подобного рода производят в человеческом мозгу изменения, сходные

с теми, что наблюдаются в неживой природе, и тоном философским, не свойственным, как правило, докторам, рассказывает нам о камердинере госпожи Вердюрен, который, чудом избежав гибели в том самом пожаре, стал совершенно другим человеком, и даже почерк его изменился настолько, что, когда хозяева его, бывшие в ту пору в Нормандии, получили от него письмо с сообщением о тех событиях, они решили, что это чей-то неудачный розыгрыш. Но изменился, как уверяет Котар, не только почерк, из трезвого человека тот превратился в такого запойного пьяницу, что госпоже Вердюрен пришлось выгнать его. Затем, следуя любезному приглашению хозяйки дома, гости продолжают ученую беседу уже не в столовой, а в курительной комнате, где доктор Котар рассказывает нам об известном ему случае настоящего раздвоения личности и приводит в пример одного своего больного, которого любезно предлагает как-нибудь привести ко мне; стоит только дотронуться до его висков, чтобы тот пробудился ко второй своей жизни, проживая которую он совершенно ничего не помнит о первой, и, будучи в этой жизни порядочным, добродетельным человеком, он неоднократно арестовывался полицией за кражи, совершенные

им в другой жизни, где ведет себя как законченный негодяй. На что госпожа Вердюрен тонко замечает, что медицина могла бы поставлять более правдоподобные сюжеты театру, где зачастую интрига строится на патологических недоразумениях, а госпожа Котар, продолжая тему, заявляет, что подобная история была уже использована одним автором, это любимый писатель ее детей, шотландец Стивенсон; услышав это имя, Сван, тоном, не допускающим возражения, говорит: «Уверяю вас, Стивенсон — это крупный писатель, господин де Гонкур, весьма крупный, под стать самым великим». И поскольку, задержавшись на великолепном плафоне с кессонами в виде гербов из старинного палаццо Барберини, взгляд мой перемещается на закопченные от пепла наших гаванских сигар раковины, Сван объясняет, что похожие пятна имеются на книгах, когда-то принадлежавших Наполеону I и которыми теперь, несмотря на свои антибонапартистские настроения, владеет герцог Германтский, и причиной их является табак, который император имел обыкновение жевать, но Котар, чья любознательность поистине не знает пределов, заявляет, что пятна эти вовсе не от этого — «совершенно не от этого», — решительно настаивает он, — а от

того, что он имел привычку всегда, даже во время битвы, держать в руке лакричные пастилки, чтобы как-то унять печеночные колики. «Ведь он страдал болезнью печени, что и стало причиной его смерти», — заключил доктор».

Здесь я остановился, потому что на следующий день нужно было уезжать, впрочем, наступило как раз то самое время, когда меня призывал к себе другой хозяин для службы, которой мы посвящаем каждый день половину нашего времени. Задание, что он дает нам, мы выполняем, когда закрываем глаза. Каждое утро он возвращает нас другому нашему хозяину, будучи убежден, что, не будь его, мы бы плохо служили тому, другому. Когда наш разум пробуждается вновь, любопытно узнать, что успели мы совершить у хозяина, усыпляющего своих рабов, прежде чем поручить им какую-то срочную работу; едва лишь труд завершен, самые хитрые пытаются тайком подсмотреть. Но сон борется с ними, не позволяя этого сделать, поспешно стирая следы того, что могли бы они увидеть. Прошло уже столько веков, а мы и не знаем толком, что же все-таки там. Итак, я закрыл дневник Гонкуров. Вот очарование литературы! Мне вновь захотелось увидеть Котаров, расспросить их про Эльстира, взглянуть

на лавочку «Малый Дюнкерк» — интересно, сохранилась ли она, — попросить позволения посетить особняк Вердюренов, в котором я обедал. Но я чувствовал неясное волнение. Разумеется, я никогда не отрицал, что не умею ни слушать, ни — едва лишь я переставал быть один — смотреть. Пожилая женщина не демонстрировала мне никакого жемчужного колье, и все, что говорилось об этом, проходило мимо меня. И все-таки я знал этих людей в своей обыденной жизни, я часто обедал у них, это были Вердюрены, Котары, это был герцог Германтский — любой из них казался мне таким же обыкновенным, как моей бабушке — этот самый Базен, о ком она даже не подозревала, что он любимый племянник, самое дорогое существо госпожи де Босержан, любой из них казался мне бесцветным и убогим, я не мог припомнить ничего, кроме бесчисленных пошлостей, какими они были напичканы…

И вот над этим всем взойдет в ночи звезда!

Я сознательно оставил пока в стороне все возражения против литературы, которые могли породить во мне эти несколько страниц гонкуровских дневников, прочитанных мною

накануне отъезда из Тансонвиля. Если даже не принимать во внимание ту особую, прямо-таки поразительную степень наивности этого автора мемуаров, мне не о чем беспокоиться, и тому имеется несколько причин. Прежде всего, что касается лично меня, точнее, моей неспособности видеть и слышать, которую упомянутый мною дневник продемонстрировал нелестным для меня образом, то ее нельзя все же назвать абсолютной. Обитал во мне некий персонаж, более или менее умеющий смотреть, но персонаж этот то появлялся, то исчезал, и оживал он именно тогда, когда проявлялась некая сущность, общая для множества вещей, и это была его пища и его радость. Тогда этот персонаж смотрел и слушал, но только лишь до определенной степени, наблюдение еще не включалось. Подобно тому, как геометр, который, как кожуру с плода, снимая с вещей их видимые свойства, воспринимает лишь линейную основу, от меня ускользал смысл сказанного людьми, ведь меня интересовало не то, что именно хотели они сказать, но как они это говорили, способ выражения, разоблачитель их характера или смешных черточек, или, вернее сказать, именно это и являлось конечной целью моих изысканий, источником моего наслажде-

ния — найти общую для того и другого точку. Это случалось лишь тогда, когда я замечал, что мое сознание, до сих пор спокойно дремавшее, несмотря на оживленную беседу, которую я в это время вел и которая могла бы обмануть окружающих, не подозревающих, какое полнейшее равнодушие скрывается за этим оживлением, мое сознание вдруг радостно пускалось на охоту, но то, что намеревалось оно ухватить и осмыслить — например, одинаковость салона Вердюренов в разные времена, в" разных обстоятельствах — находилось где-то очень глубоко, вне очевидного, в некоей зоне, расположенной на отшибе. Так, несомненное для всех очарование многих людей от меня ускользало, я просто-напросто был лишен этого дара — останавливать на нем свое внимание — так хирург под восхитительной округлостью женского живота видит скрытую внутри опасную болезнь. Я напрасно ходил на обеды в лучшие дома, я не видел других гостей, потому что, когда мне казалось, что я смотрю на них, в действительности я делал рентгеновский снимок.

В результате, когда мне удавалось собрать все свои наблюдения над гостями, сделанные в течение вечера, получался странный чертеж,

график психологических законов, причем интерес к собственно беседе, что вели окружающие, практически не имел никакого значения. Но вот вопрос: лишало ли все это ценности изображенные мной портреты, коль скоро сами по себе они не являлись для меня целью? Взять, к примеру, живопись: если на одном портрете скрупулезно воссоздается относительная действительность, точные размеры, цвета, жесты, то он неизбежно будет уступать другому, не передающему внешнего сходства, портрету того же человека, в котором будут воссозданы тысячи подробностей, упущенных в первом случае, — и, глядя на этот второй портрет, понимаешь: модель была восхитительна, в то время как, судя по первому, она была уродлива, что, может быть, и важно с документальной или исторической точки зрения, но совершенно не обязательно является правдой искусства.

Стоило мне оказаться в чьем-либо обществе, как свойственные мне легкомыслие и суетность заставляли меня искать способы понравиться, мне больше хотелось развлекать, болтая самому, чем учиться, слушая других, если только я не являлся в этом обществе специально с целью расспросить об интересующем меня предмете

искусства или меня не приводили туда некие ревнивые подозрения. Но я был неспособен увидеть что-либо, пока чтение не будило во мне желания увидеть именно это, пока я прежде сам не чертил предварительного наброска, который мне хотелось тотчас же сверить с оригиналом. Еще до того, как страницы гонкуровского дневника натолкнули меня на эту мысль, я уже догадывался: сколько раз я был не в состоянии сосредоточиться на каком-нибудь факте или оценить как должно какого-нибудь человека, но стоило лишь художнику обратить на них мое внимание, я готов был проделать тысячу лье, рисковать жизнью, чтобы вновь их отыскать! Тогда мое воображение пускалось на поиски, начинало творить. И то, что еще год назад вызывало во мне непобедимую скуку, теперь влекло меня, заставляя восклицать с тревогой: «Неужто и в самом деле невозможно его увидеть? Чего только я не отдал бы ради этого!»

Когда приходится читать в газетах о людях, не обязательно знаменитых, а хотя бы просто завсегдатаях светских салонов, которых автор статьи характеризует как «последних представителей уже исчезнувшего общества», можно, конечно, воскликнуть: «Подумать только, с каким восторгом и пиететом отзываются здесь об

этом ничтожестве! Если бы я только и делал, что читал газеты и журналы и никогда не видел этого человека, можно было бы пожалеть, что я с ним не знаком!» Но я, читая подобные статьи, начинал сокрушаться: «Какое несчастье, в то время я так был озабочен поисками Жильберты или Альбертины, что не потрудился получше присмотреться к этому господину! Я-то принимал его за светского зануду, за ничтожного фигуранта, а это, оказывается, Фигура!»

Вот об этой особенности моего ума заставили меня пожалеть прочитанные страницы Гонкуров. Вероятно, ознакомившись с ними, я мог бы заключить, что жизнь учит не слишком ценить прочитанное и показывает: то, что расхваливает нам писатель, немногого стоит, но я совершенно так же мог сделать и другой вывод, что чтение, напротив, учит нас понимать истинную цену жизни, цену, которую мы не сумели должно определить, и только лишь благодаря книгам понимаем, сколь велика она. В крайнем случае мы можем утешаться тем, что нам не понравилось бы в обществе какого-нибудь Вентея и Бергота. Ханжеское мещанство одного, несносные пороки другого, даже вульгарность начинающего Эльстира, в которой пытались нас убедить (по-

скольку из дневника Гонкуров я узнал, что не кто иной, как «господин Тиш» некогда так докучал своими беседами Свану в салоне Вердюренов, — но какой гений не усвоил этой раздражающей манеры говорить о своих приятелях-художниках, пока им свыше, как это случилось с Эльстиром и как это случается довольно редко, не будет получен дар хорошего вкуса), никоим образом не говорят о них плохо, ведь их гений проявляется в творениях. Разве, к примеру, письма Бальзака не изобилуют вульгарными оборотами, которые Сван не согласился бы произнести и под страхом смерти? Однако вероятно, что Сван с его тонкостью, с его неприятием дурного вкуса не смог бы написать «Кузину Бетт» или «Кюре из Тура».

Но у этого опыта есть и другая крайность, когда я видел, что самые забавные анекдоты, которые составляют богатейшую материю и являются главной радостью чтения дневника Гонкура одинокими вечерами, были рассказаны ему этими самыми гостями, что должны были бы вызвать желание познакомиться с ними, но во мне не пробудили решительно никакого интереса, — это тоже в общем вполне объяснимо. Несмотря на наивность Гонкура, полагавшего, будто анекдоты эти интересны, поскольку интересен человек,

их рассказывающий, возможно, все как раз было иначе: самые посредственные люди умели в собственной жизни разглядеть забавное и могли об этом поведать. Гонкур умел слушать, точно так же, как и смотреть, а я же этого не умел.

Впрочем, все эти факты оценивать необходимо последовательно, один за другим. Герцог Германтский решительно не показался мне образцом юношеской грации, во что так хотела верить моя бабушка и что предлагалось мне в качестве неподражаемой модели, заимствованной из мемуаров госпожи де Босержан. Хотя не следует забывать, что Базену было в ту пору семь лет, что автором этих самых мемуаров была его собственная тетка и что даже те из ваших приятелей, которые намереваются развестись через пару месяцев после вас, рассыпаются в похвалах своим супругам. В одном из самых красивых стихотворений Сент-Бёва описывается, как у фонтана появилось дитя, увенчанное всеми мыслимыми достоинствами, исполненное грации и прелести, и это была юная мадемуазель де Шамплатре, которой в ту пору не исполнилось и десяти лет. При всем том нежном почтении, с каким такой гениальный поэт, как графиня де Ноай, относилась к своей свекрови, герцогине де

Ноай, урожденной Шамплатре, вполне возможно, задумай она сделать ее портрет, он весьма отличался бы от того, что Сент-Бёв изобразил пятьдесят лет назад.

Но что было, возможно, самым интересным, так это, если можно так выразиться, промежуточный тип, то, что говорят об этих людях, значит больше, чем память, сумевшая удержать какой-нибудь забавный анекдот, и при этом невозможно, как в случае с Вентейлями или Берготами, судить их по их творениям, потому что не они их создали, они лишь — к нашему огромному удивлению, ведь мы считаем их столь посредственными — вдохновили на них. Предположим даже, что салон, который, выставленный в музее, покажется верхом изящества, сродни полотнам великих художников эпохи Возрождения, в действительности это нелепый салон в доме обычной мещанки, с которой я мечтал бы сойтись в реальной жизни поближе, надеясь постичь благодаря ей самые сокровенные тайны искусства художника, которые его полотно мне не открыло, а пышный бархатный или кружевной шлейф — это фрагмент живописи, сравнимый с самыми великими полотнами Тициана. Если я в свое время понял, что это не

самый тонкий, не самый образованный из людей, просто-напросто он принадлежит к тем, кто умеет стать зеркалом и может отразить собственную жизнь, какой бы убогой она ни была, кто становится каким-то там Берготом (современники считали его не столь умным, как Сван, и не столь ученым, как Бреоте), с еще большим основанием такое можно сказать о любой модели художника. Когда художник, который может написать все что угодно, и чувствует любовь к прекрасному, способен передать с величайшим мастерством все самое изысканное, в чем отыщет множество сюжетов, моделью ему служат люди чуть более состоятельные, чем он сам, у них он находит то, что, как правило, отсутствует в его собственной мастерской, мастерской непризнанного гения, продающего свои картины по пятьдесят франков за полотно: гостиную с мебелью, обитой потрепанным шелком, множество люстр, красивые цветы, красивые фрукты, красивые платья — люди довольно незначительные или кажущиеся таковыми людям поистине блестящим (которые даже и не подозревают об их существовании), но они именно поэтому и оказываются доступны безвестному художнику, ценят его, приглашают, покупают его картины, именно они, а не

аристократия, что, подобно папе или высоким государственным сановникам, свои портреты заказывают художникам-академистам. Нашим потомкам поэзия изящного будуара или красивого туалета предстанет скорее в полотнах Ренуара, изобразившего салон издателя Шарпантье, чем в портретах графини де Ларошфуко или принцессы де Саган кисти Кота или Шаплена. Художники, которым мы обязаны нашим представлением об изяществе, сами почерпнули элементы этого изящного у тех, кого вряд ли можно считать самыми большими эстетами своего времени, ведь последние редко позволяли изобразить себя какому-нибудь безвестному служителю красоты, которую они не способны различить на его полотнах, поскольку она скрыта пеленой затертых шаблонов, что стелется перед глазами публики, как бредовые видения горячечного больного, искренне верящего в реальность своих галлюцинаций. Но вот еще что могло бы прийти мне в голову при взгляде на убогие модели, с коими довелось мне быть знакомым, и мысль эта чрезвычайно забавляла меня: очевидно, изображение иных из них на картинах — нечто большее, чем просто изображение модели, это был друг, которого художнику хотелось запечатлеть на своем

полотне, и я спрашивал себя: а что, если все эти люди, о незнакомстве с которыми мы сожалеем, коль скоро Бальзак описал их в своих романах или посвятил им эти романы в знак восхищения и почтения, о ком Сент-Бёв или Бодлер слагали самые прекрасные свои стихи, что, если все эти Рекамье или Помпадуры при знакомстве показались бы мне полнейшими ничтожествами то ли по причине несовершенства моей натуры, приводившей меня самого в отчаяние, и я буквально заболевал оттого, что не мог вновь встретиться с людьми, не признанными мною прежде, то ли потому, что все эти люди были обязаны своей притягательностью иллюзорной магии литературы, это вынуждало пользоваться словарем при чтении и дарило утешительную мысль, что в один прекрасный день, поскольку заболевание мое прогрессировало, мне придется порвать с обществом, отказаться от путешествий и музеев и отправиться в специальную лечебницу. Вполне возможно, однако, что эта обманчивость, этот ложный свет остаются в памяти слишком недолго, и репутация — в светском ли обществе или в интеллектуальных кругах — может изменяться весьма быстро (ведь даже если ученость попытается воспротивиться этому погребению, удастся

ли ей помешать забвению хотя бы в одном случае из тысячи?).

Все эти мысли, которые порой смягчали, а порой обостряли мое сожаление об отсутствии у меня литературного дара, ни разу не возникали в моей голове в течение многих лет, когда, впрочем, я полностью отказался от идей писательства и находился на излечении в санатории далеко от Парижа, до тех самых пор, пока там в начале 1916 года стало не хватать медицинского персонала.

Тогда я вернулся в Париж, который весьма отличался от того города, куда я уже возвращался в первый раз, как мы сейчас это увидим, в августе 1914-го, чтобы пройти медицинское освидетельствование, после которого и был помещен в свою лечебницу. В один из первых своих вечеров после возвращения в 1916 году, желая услышать о том единственном, что меня в ту пору интересовало, о войне, я отправился после ужина к госпоже Вердюрен, поскольку надеялся встретить у нее госпожу Бонтан, одну из правительниц этого военного Парижа, заставляющего вспомнить об эпохе Директории. Головы молодых женщин, представительниц нового, как на дрожжах возросшего поколения, украшали высокие цилиндры тюрбанов — так могла бы выглядеть

какая-нибудь современница госпожи Тальен, они все были облачены, из гражданской солидарности, в прямые египетские туники, строгие, весьма «военнообразные», ниспадавшие на короткие юбки, еще у них на ногах были сандалии из узких ремешков, напоминающие котурны у Тальма, или высокие гетры, как у наших дорогих солдат, — это, как объясняли они, потому, что надо радовать взоры этих самых солдат, с этой же целью, как опять-таки утверждали эти дамы, они не только наряжались в туалеты свободного покроя, но еще и надевали украшения «на армейскую тему», даже если и сделаны они были вовсе не в армии и отнюдь не из военных материалов, вместо египетских украшений — воспоминаний о египетской кампании — на них были перстни и браслеты, сделанные из осколков снарядов 75-го калибра, зажигалки, изготовленные из английских монеток, которым неведомому солдату в своем укрытии удалось придать такую благородную патину, что, казалось, профиль королевы Виктории был выгравирован самим Пизанелло. А еще, опять-таки по их собственному утверждению, поскольку они беспрестанно думали об этом, то и носили, на случай, если кто-нибудь из знакомых погибнет, как бы траур, но это был

не просто траур, а траур «пополам с гордостью», что давало право на шляпку белого английского крепа (это производило самое благоприятное впечатление, к тому же «позволяло надеяться» и, более того, подтверждало непоколебимую уверенность в полной победе), а прежний кашемир можно было заменить сатином и шелковым муслином, и даже оставить все свои жемчуга, «разумеется, соблюдая такт и корректность, о которых, впрочем, француженкам незачем и напоминать».

Лувр и все прочие музеи были закрыты, и если в газетах появлялся заголовок «Сенсационная выставка», можно было не сомневаться, речь шла о выставке не картин, но платьев — впрочем, это были не просто платья, а платья, призванные, как писалось в тех же газетах, «воскресить изысканные радости искусства, которых парижанки так давно уже были лишены». Так вновь вспомнили об изяществе и удовольствии, причем казалось, что изящество, в отсутствие искусств, словно желало оправдаться, как в 1793 году, когда художники, выставляя свои работы в Революционном салоне, заявляли, что «напрасно суровые республиканцы возмущаются нами, кто занимается искусством в то время, когда объединенная

Европа осаждает территорию свободы». Точно так же поступали в 1916 году кутюрье, которые, впрочем, с горделивым самосознанием художников утверждали, будто «поиски нового, отказ от банальностей, утверждение личности, борьба за свободу, новая формула прекрасного, принесенная в дар послевоенному поколению, — вот самое горячее их желание, та мечта, за которой они гнались, в чем предлагается убедиться воочию, посетив их салон, весьма удобно расположенный на улице такой-то, где светлой и радостной нотой вы сможете украсить тягостную печаль времени, со всею скромностью и сдержанностью, каковых требуют нынешние обстоятельства».

«Печаль времени и в самом деле могла бы одержать верх над неуемной женской энергией, не будь у нас перед глазами стольких высоких примеров мужества и стойкости. Думая о наших солдатах, которые в промокших окопах мечтают более всего об удобстве и комфорте для своих далеких возлюбленных, что ждут их у домашнего очага, не будем и мы забывать о своей задаче: стараться показать еще больше вкуса и изысканности, создавая платья, отвечающие потребностям момента. В моде, и это вполне объяснимо, — английские модные дома,

то есть мода наших союзников, и в этом году все отдают предпочтение платьям-балахонам, чей свободный силуэт позволяет каждой женщине выглядеть изысканно и элегантно. Одно из самых счастливых последствий этой грустной войны, — продолжал очаровательный хроникер, — то, что удалось (тут можно было бы ожидать: «вновь отвоевать потерянные в ходе боев провинции», «пробудить национальное сознание») то, что удалось достичь таких впечатляющих успехов в искусстве создания туалетов без вызывающей роскоши, отдающей дурным вкусом, используя минимум средств, суметь создать изящество из ничего. Платьям известного кутюрье, выполненным в нескольких экземплярах, в наше время предпочитают платья, сшитые на заказ, поскольку именно они обнаруживают вкус и индивидуальность каждого».

Что же касается милосердия, то, размышляя обо всех несчастьях, порожденных вражеским нашествием, о стольких искалеченных, чтобы его продемонстрировать, отныне требовалось «еще больше изобретательности», и вечерние часы все проводили за «чаем» вокруг карточного стола, обсуждая новости «с фронта», в то время как этих дам в высоких тюрбанах за воротами дожидались

автомобили, и за рулем каждого из них сидел красивый военный, болтая с посыльным. Впрочем, новыми были не только прически, что венчали лица странными высокими тюрбанами. Новыми казались и сами лица. Эти дамы в шляпках по последней моде, эти молодые женщины, образчики элегантности и изящества, возникли неведомо откуда кто полгода назад, кто два года, а кто и целых четыре. Эта разница, впрочем, лично для них имела столь же большое значение, как в те времена, когда я только начал появляться в свете, для двух именитых семейств, к примеру, Германтов и Ларошфуко, много значило, сколько веков высокородных предков — три или четыре — имели они за собой. Дама, знакомая с семейством Германтов с 1914 года, с высокомерным пренебрежением смотрела на ту, что была представлена им лишь в 1916-м, кивала ей небрежно, как барыня прислуге, презрительно рассматривала ее через лорнет и с брезгливой гримасой заявляла, что даже не знает в точности, замужем ли эта особа или нет. «Все это омерзительно», — заявляла дама 1914 года, положительно желавшая, чтобы цепочка допущенных в салон завершилась именно ею. Эти новые персонажи, — которых молодые люди находили слишком древними, да

и некоторые старики, водившие знакомство не только в высшем свете, прекрасно были с ними знакомы, так что не такими уж новичками они были, — преподносили обществу не только такие развлечения, как разговоры о политике или музыке, в той мере, в какой это было ему, обществу, необходимо; главное, они преподносили ему себя, ведь для того чтобы нечто казалось новым, каким бы оно ни было в действительности, старым или и впрямь новым, в искусстве, в медицине и в свете, нужны новые имена. (Впрочем, они и были новыми в каком-то смысле. Так, во время войны госпожа Вердюрен отправилась в Венецию, но, как все люди, не желающие говорить о грустном и печальном, когда она утверждала, что это было поразительно, оказывалось, что любовалась она вовсе не самой Венецией, не площадью Святого Марка, не дворцами — всем тем, что так понравилось мне, а на нее не произвело никакого впечатления, но отсветом прожекторов в небе, причем, рассказывая об этом оптическом эффекте, она даже привела несколько цифр. Так из века в век возрождается реализм как реакция на искусство, восхищавшее до сих пор.)

Салон Сен-Эверт был выцветшей этикеткой, под которой присутствие самых известных ху-

дожников, самых влиятельных министров уже не могло привлечь никого. И напротив, чтобы услышать словечко, оброненное секретарем одних или помощником главы кабинета других, все спешили к новым дамам в тюрбанах, заполонившим Париж, словно некая крылатая, неумолчная стая. У дам времен Первой директории была одна королева, юная и прекрасная, ее звали госпожа Тальен. У дам Второй их было две, обе старые и уродливые, госпожа Вердюрен и госпожа Бонтан. Кто бы мог теперь пенять госпоже Вердюрен, чей муж сыграл в деле Дрейфуса весьма неприглядную роль, о чем в резких тонах поведала газета «Эко де Пари»! В какой-то момент вся Палата стала ревизионистской, именно среди бывших ревизионистов, как среди бывших социалистов, вынуждены были набирать партию социального порядка, религиозной терпимости, подготовки к войне. Когда-то все презирали господина Бонтана, потому что в те времена антипатриотами звались дрейфусары. Но вскоре это имя было забыто и заменено другим — так стали называть противников закона «о трех годах». А коль скоро господин Бонтан, напротив, являлся одним из авторов этого закона, значит, это был патриот.

В свете (и этот социальный феномен не более

чем приложение одного психологического закона, гораздо более общего) любое новшество, какое бы оно ни было, вызывает ужас лишь в том случае, если никто не позаботится о соответствующем антураже, если оно не усвоено и не воспринято людьми, внушающими доверие. Так, дрейфусарской была женитьба Сен-Лу на дочери Одетты, которая наделала в свое время столько шума. Теперь же, когда в доме Сен-Лу видели столько «знакомых», Жильберта была вольна демонстрировать нравы хоть самой Одетты, ей это все равно бы сошло с рук, равно как и то, если бы Жильберта, словно старая барыня, начала порицать моральные новшества, не принятые обществом. Дрейфусарство было отныне включено в набор вещей привычных и достойных уважения. Если спросить, что означало это само по себе, никто не смог бы объяснить ни почему это принималось теперь, ни почему осуждалось прежде. Просто это уже не было *shocking*. А больше ничего и не требовалось. Да едва ли кто-нибудь и вспомнил бы, что это было таковым раньше, как спустя какое-то время никто уже не помнит, был ли вором отец юной девушки или нет. В крайнем случае можно было сказать: «Да это вроде какой-то дальний родственник или во-

обще однофамилец. Но конкретно о нем никогда и речи не было». Следует понимать также, что существовало дрейфусарство и дрейфусарство, и тот, кто посещал салон герцогини де Монморанси и способствовал принятию закона о трех годах, разумеется, не мог быть дурным человеком. Что бы там ни было, Бог все простит. И если эта забывчивость касалась дрейфусарства, то уж дрейфусаров *тем более.* Впрочем, в политике их и не осталось больше, поскольку в какой-то момент таковыми являлись все, кто желал быть на стороне правительства, даже те из них, кто совершенно не воспринимал того, что воплощало собой дрейфусарство в его шокирующей новизне (во времена, когда Сен-Лу вступил на опасный путь): антипатриотизм, богохульство, анархию и тому подобное. Так, дрейфусарство господина Бонтана, невидимое и неощутимое, как дрейфусарство всякого политического деятеля, было так же незаметно, как скелет под кожей. Никто не поставил бы ему в упрек его былое дрейфусарство, ведь светские люди рассеянны и забывчивы, а еще потому, что это было в весьма давние времена, а казалось, в еще более давние, поскольку нынче в свете хорошим тоном считалось говорить, что довоенное время от военного

отделяло нечто весьма глубокое и, похоже, такое же долгое, как геологический период, и даже сам Бришо, этот националист, когда случалось ему упомянуть о деле Дрейфуса, говорил: «В те доисторические времена».

(По правде говоря, глубина перемен, вызванных войной, была обратно пропорциональна глубине затронутых ею умов, во всяком случае, на каком-то уровне это было заметно. Внизу находились любители удовольствий и просто дураки, которых не слишком занимало, что идет война. Но и те, кто наверху, те, чья духовная, внутренняя жизнь была частью жизни общества, не слишком обращали внимание на важность событий. Что потрясает до основания их мировоззрение, это, скорее, нечто такое, что само по себе никакого значения не имеет, но лично для них меняет саму категорию времени, делая их современниками совсем другой эпохи. В этом можно убедиться, прочитав красивейшие страницы, вдохновленные ею: птичье пение в парке Монбуасье, легкий ветер, наполненный ароматом резеды, — все это события, не идущие по значимости ни в какое сравнение с великими датами Революции и Империи. И тем не менее в своих «Замогильных записках» Шатобриан

посвятил им страницы куда более прекрасные.) Слова «дрейфусар» и «антидрейфусар» не имели больше значения, так утверждали те же самые люди, которые, вероятно, были бы изумлены или даже возмущены, скажи им кто-нибудь, что через несколько веков, а быть может, и раньше, слово «бош» будет казаться такой же экзотикой, как ныне — «санкюлот» или «шуан».

Господин Бонтан и слышать не хотел ни о каком мире с Германией, пока она не будет раздроблена на мелкие кусочки, как в Средние века, пока не будет объявлено о падении дома Гогенцоллернов, а шкуру Вильгельма II не продырявит дюжина пуль. Иными словами, он был из тех, кого господин Бришо называл «экстремистами», и это было лучшее свидетельство гражданственности, какое только можно было ему вручить. Разумеется, первые три дня госпожа Бонтан чувствовала себя немного чужой посреди всех этих людей, которые просили госпожу Вердюрен быть ей представленными, и та поправляла довольно язвительным тоном: «Граф, милочка», когда госпожа Бонтан говорила ей: «Я сейчас познакомилась с герцогом д'Осонвилем», то ли в самом деле по незнанию и отсутствию каких бы то ни было ассоциаций с фамилией Осонвиль, то ли, напротив, вследствие

чрезмерной просвещенности и ассоциации с «Партией герцогов», ведь ей сказали, что господин д'Осонвиль был членом Академии.

Но уже начиная с четвертого дня она весьма основательно стала обустраиваться в предместье Сен-Жермен. Порой рядом с нею еще можно было увидеть осколки мира, который здесь не был известен, но удивлял не больше, чем скорлупа вокруг цыпленка, это были люди, помнившие яйцо, из которого вылупилась госпожа Бонтан. Но недели через две она стряхнула их с себя, а на исходе первого месяца, когда она говорила: «Я сегодня иду к Леви», — не нужно было уточнять, все и так понимали, что речь шла о Леви-Мирпуа, и ни одна герцогиня не ложилась спать, не осведомившись, по крайней мере, по телефону у госпожи Бонтан или госпожи Вердюрен, что было в сегодняшних вечерних коммюнике, чего там не было, как там обстояли дела с Грецией, что за наступление готовилось командованием, — одним словом, все то, что обычная публика узнает только завтра, а то и еще позже, а это, выражаясь театральным языком, было нечто вроде генеральной репетиции в костюмах. В разговоре госпожа Вердюрен, сообщая новости, употребляла «мы», говоря о Франции: «Так вот, мы требуем

от короля Греции, чтобы он оставил Пелопоннес и т. д… мы посылаем ему… и т. д.». В ее рассказах постоянно фигурировало ГШ («я позвонила в ГШ»), аббревиатура, которую она произносила с таким же удовольствием, как некогда дамы, лично не знавшие принца Агрижантского, когда речь заходила о нем, переспрашивали с улыбкой, чтобы показать, что и они принадлежат к посвященным: «Гри-Гри?», причем удовольствие это в обычные, мирные времена было доступно лишь посетителям салонов, а в эпоху больших потрясений — и простому народу тоже. Наш метрдотель, к примеру, когда заходила речь о короле Греции, мог, начитавшись газет, повторить вслед за Вильгельмом II: «Тино?», и его фамильярность по отношению к королям казалась просто вульгарностью, когда он говорил о короле Испании: «Фонфонс». Впрочем, можно было заметить, что по мере того как возрастало число известных в обществе людей, расточавших авансы госпоже Вердюрен, число тех, кого сама она считала «занудами», сокращалось. Все эти «зануды», являвшиеся к ней с визитами и клянчившие приглашения, вдруг, словно по волшебству, стали в один момент весьма приятными, умными людьми. Иными словами, по истечении первого

года количество зануд сократилось в пропорциях столь значительных, что «страх скуки», который занимал такое важное место в разговорах и играл такую большую роль в жизни госпожи Вердюрен, исчез практически совершенно. Можно было утверждать, что на склоне лет эти приступы скуки (впрочем, она когда-то уверяла, что не испытывала этого и в ранней молодости) мучили ее гораздо меньше, так порой к старости теряют свою силу некоторые мигрени и астмы. Вне всякого сомнения, страх соскучиться покинул бы госпожу Вердюрен окончательно ввиду отсутствия зануд, если бы сама она не позаботилась заменить тех, отсутствующих, на других, завербованных среди прежних завсегдатаев.

Чтобы завершить тему, следует сказать, что все эти герцогини, посещающие салон госпожи Вердюрен, являлись сюда, даже сами не подозревая об этом, с тою же целью, что некогда дрейфусары, то есть в поисках светских удовольствий, причем их смакование должно было удовлетворить политическое любопытство и утолить жажду сплетен, давая им возможность обсуждать между собой происшествия, вычитанные в газетах. Когда госпожа Вердюрен говорила: «Приходите часов в пять поговорить о войне», это звучало

так же, как когда-то «поговорить о Процессе», а в промежутках: «Приходите послушать Мореля».

По правде говоря, присутствие там Мореля могло бы вызвать удивление, поскольку от службы он освобожден не был. Он просто-напросто не явился в полк и, следовательно, считался дезертиром, но никто об этом не знал.

Все было похоже до такой степени, что сами собой вспомнились прежние словечки: «благонадежный», «неблагонадежный». Но поскольку на первый взгляд казалось, что сходства никакого нет, а бывшие коммунары сами оказались ревизионистами, самые убежденные дрейфусары готовы были расстрелять всех и опирались на поддержку генералов, которые во времена Процесса выступали против Галифе. На свои собрания госпожа Вердюрен приглашала некоторых новеньких дам, известных своим участием в благотворительности, которые в первое время являлись в ослепительных туалетах, дорогих жемчужных колье, и Одетта, имевшая такое же и сама несколько злоупотреблявшая желанием выставить его напоказ, теперь, одетая в «военную форму» по примеру дам из Сен-Жермен, смотрела на них с осуждением. Впрочем, женщины быстро приспосабливались. На третий

или четвертый раз они все-таки осознавали, что туалеты, казавшиеся им верхом изысканности, были запрещены как раз самыми изысканными особами, и, отложив свои шитые золотом платья, смирялись с простотой.

Один из посетителей, блиставших в салоне, имел прозвище Впросак, несмотря на спортивную выправку, он оказался комиссован. Я воспринимал его как автора совершенно восхитительного произведения, о котором я думал постоянно, и только лишь случайно, устанавливая связь, словно сооружая мост между двумя блоками воспоминаний, я осознал, что это тот самый человек, из-за которого Альбертина покинула меня. Что же до воспоминаний об Альбертине, сбереженных как реликвия, то мост этот приводил в чистое поле, в полное запустение, на расстояние в много лет. Потому что я больше не думал о ней никогда. Это был путь воспоминаний, по которому я уже не пойду. А произведения этого типа были чем-то недавним, хорошо памятным, и на эту дорогу воспоминаний мой ум вступал часто и охотно.

Должен сказать, что знакомство с мужем Андре было делом ни слишком простым, ни слишком приятным, и дружба, которой он дарил, сулила много неприятностей и огорчений. В то время он

и в самом деле был уже очень болен и всячески избегал беспокойств любого рода, за исключением тех, которые, как ему казалось, могли бы доставить удовольствие. К последним он относил лишь встречи с людьми, еще ему незнакомыми, которых его пылкое воображение наделяло качествами, делающими их отличными от прочих. Что же касается тех, с кем он уже был знаком, то ему слишком хорошо было известно, какими они были и какими будут, и эти люди представлялись ему не заслуживающими беспокойств, опасных для его здоровья, а может быть, даже и смертельных. В целом это был весьма плохой друг. И быть может, в его пристрастии к новым людям было что-то от того исступления, с каким некогда в Бальбеке он отдавался спорту, азартным играм и всевозможным гастрономическим излишествам.

Что же до госпожи Вердюрен, то каждый раз она хотела познакомить меня с Андре, не желая признавать, что я уже знал ее. Впрочем, Андре редко приходила с мужем. Мне она была очаровательной, искренней подругой и, верная эстетическим пристрастиям своего мужа, не воспринимающего Русские балеты, говорила о маркизе де Полиньяке: «Он украсил свой дом Бакстом. Как он может там спать! Я бы предпочла Дюбюфа». Впрочем,

Вердюрены вследствие фатально прогрессирующего эстетизма, что заканчивается, как правило, поеданием собственного хвоста, утверждали, будто не могут выносить ни стиля модерн (тем более что это был мюнхенский стиль), ни квартир со светлой отделкой, и признавали лишь старую французскую мебель в сумрачных тонах.

В те времена я часто видел Андре. Мы разговаривали обо всем на свете, и однажды я подумал о Жюльетте, имя которой распустилось в глубинах памяти об Альбертине, как некий таинственный цветок. Таинственный в ту пору, но который теперь не вызывал уже ничего: в то время как я говорил о множестве несущественных вещей, об этом я молчал, не то чтобы оно было несущественней других, просто, если слишком много думаешь о чем-то, это «что-то» вызывает перенасыщение. Может быть, то время, когда я находил в этом столько таинственного, и было самым настоящим. Но поскольку такие времена не могут длиться вечно, нельзя жертвовать собственным здоровьем и благополучием ради того, чтобы раскрыть тайну, которая в один прекрасный день перестанет волновать.

Было весьма странно наблюдать, как госпожа Вердюрен, имевшая в ту пору возможность

принимать у себя кого только не пожелает, расточала всевозможные авансы особе, которую совершенно потеряла из виду, то есть Одетте. Считалось, что она не смогла бы добавить блеска этому небольшому сообществу. Но длительная разлука, стирая из памяти былые обиды, порой воскрешает дружбу. Причем этот феномен, который состоит в том, что умирающие произносят имена некогда близких людей, а старики с удовольствием погружаются в свои детские воспоминания, этот феномен имеет социальный эквивалент. Чтобы преуспеть в своей затее вновь заполучить к себе Одетту, госпожа Вердюрен, разумеется, не прибегала к помощи «завсегдатаев», но пользовалась услугами посетителей не столь верных и преданных, из тех, что время от времени позволяли себе захаживать и в другие салоны. Она говорила им: «Не знаю, почему она здесь больше не появляется. Может быть, она за что-то сердится на меня, а я вот нет, и вообще, что я ей такого сделала? Именно здесь она познакомилась с обоими своими мужьями. Если она захочет вернуться, пусть знает, что двери всегда для нее открыты». Эти слова, которые могли бы стоить уязвленной гордости хозяйке, не будь они продиктованы ее воображением, были переданы

по назначению, но успеха не имели. Госпожа Вердюрен ожидала Одетту, а та все не приходила, пока события, речь о которых пойдет ниже, не принесли результата, какого не смогли добиться старания изменников, весьма, впрочем, усердные. Так что здесь нельзя говорить ни о легком успехе, ни об окончательном поражении.

Госпожа Вердюрен говорила: «Какая досада, позвоню сейчас Бонтан, чтобы подготовила все необходимое на завтра, опять *вымарали* весь конец статьи Норпуа потому лишь, что из нее можно было понять, что они *лимузировали* Персена». Ибо расхожая глупость проявлялась в том, что каждый находил особый шик в использовании расхожих выражений и полагал, будто это последний крик моды, точно так же, как какой-нибудь обыватель, когда речь заходила о господах Бреоте, Агригентском или Шарлюсе, говорил: «Кто это? Бабаль де Бреоте, Гри-Гри, Меме де Шарлюс?» Герцогини делали то же самое и с таким же удовольствием произносили «лимузировать», ибо в их представлении именно слово — просторечное, но в то же время поэтичное — показывает отличия наиболее четко, но ведь сами они изъясняются сообразно категории умственного развития, к которой принадлежат и к

которой принадлежит также множество буржуа. Происхождение здесь ни при чем.

Все эти телефонные перезвоны госпожи Вердюрен имели, впрочем, существенные неудобства. Хотя мы и забыли об этом упомянуть, «салон» Вердюренов, сохранив свой дух и суть, переместился на какое-то время в один из самых больших парижских особняков, поскольку нехватка угля и электричества делали невозможными приемы в их прежнем жилище, дворце венецианских послов, слишком холодном и сыром. Впрочем, новый салон не лишен был привлекательности. Как в Венеции площадь суши, отвоеванная у воды, диктует форму дворца, как уголок парижского садика чарует больше, чем парк в провинции, в узкой столовой нового особняка госпожи Вердюрен, на прямоугольных стенах ослепительной белизны, как на экране, каждую среду, а то и почти каждый день вырисовывались силуэты самых значительных, самых разнообразных людей, самых элегантных женщин Парижа, счастливых возможностью заполучить что-то от роскоши Вердюренов, чье состояние возрастало в те времена, когда самые богатые вынуждены были ограничивать себя, поскольку не имели доступа к собственным сбережениям. Сама форма этих

приемов несколько изменилась, но по-прежнему очаровывала Бришо, который, по мере того как связи и знакомства Вердюренов расширялись, находил в них новые удовольствия, сосредоточенные к тому же на небольшом пространстве, как подарки в детском чулке на Рождество. В иные дни за ужином гостей собиралось так много, что столовая этой снятой квартирки оказывалась мала, и стол накрывали в огромной гостиной внизу, где завсегдатаи, лицемерно сетуя на то, что здесь недостает интимности, как некогда необходимость приглашать Камбремеров заставляла госпожу Вердюрен говорить, что будет слишком тесно, в глубине души были довольны, образуя отдельные группы и компании и, как прежде на железных дорогах, оказываясь объектом изучения и зависти соседних столиков. Разумеется, в обычные мирные времена заметка, тайком отосланная в «Фигаро» или «Голуа», известила бы о том факте, что Бришо ужинал с герцогиней де Дюрас, гораздо большее число людей, чем то, что могла вместить гостиная отеля «Мажестик». Но поскольку с началом войны светские хроникеры вообще упразднили этот вид информации (зато наверстывали цитатами, сообщениями о похоронах, франко-американских банкетах),

известность подобного рода могла теперь быть достигнута лишь при помощи весьма ограниченных средств, причем средств, достойных первобытной эпохи, еще до открытия Гутенберга: быть замеченным за столом госпожи Вердюрен. После ужина все расходились по гостиным и начинались телефонные звонки. Но в те времена многие крупные отели кишели шпионами, фиксирующими все новости, высказанные по телефону четой Бонтан с болтливостью, какую мог исправить, к счастью, лишь недостаток уверенности в достоверности этой информации, как правило, опровергаемой последующими событиями.

Незадолго до окончания вечернего чаепития на все еще светлом небе становились видны коричневые точки, которые в синеющих сумерках можно было принять за мошкару или птиц. Точно так же, если видишь издалека гору, можно подумать, что это облако. Но нас это потрясает, ведь мы знаем, какое огромное это облако, какое оно прочное и твердое. И я также был потрясен тем, что эта коричневая точка в летнем небе была не птицей, не облаком мошкары, но аэропланом, поднятым в воздух людьми, которые наблюдали сверху за Парижем. (Воспоминание об аэропла-

нах, увиданных вместе с Альбертиной возле Версаля во время последней нашей прогулки, к этому чувству добавить ничего не могло, потому что память о самой этой прогулке не волновала меня более.)

В вечерние часы рестораны были переполнены, и когда, проходя по улице, я видел, как какой-нибудь несчастный, получивший увольнительную, то есть возможность хотя бы на несколько дней избавиться от смертельной опасности, и готовый вновь отправиться в окопы, на мгновение останавливал взгляд на освещенных витринах, я страдал, как когда-то в отеле Бальбека, когда рыбаки смотрели на нас, обедающих, я страдал даже еще сильнее, потому что знал: солдаты беднее последних нищих, ведь бедность объединяет их всех, еще она трогательнее, поскольку смиренней и благородней, когда, философски качая головой, безо всякой ненависти, готовый вновь отбыть на войну, он произносил при виде гостей, проталкивающихся к своему месту за столиком: «И не подумаешь, что война». В половине десятого, когда никто еще не успевал закончить ужин, хозяева, следуя предписанию полиции, внезапно гасили всякое освещение и гости, разбирающие свои пальто из рук портье,

начинали толкаться, так однажды вечером я обедал с Сен-Лу в день увольнения, новая толчея возникала в таинственном полумраке комнаты, в которой включали волшебный фонарь, потому что в зрительном зале в девять тридцать пять начиналась демонстрация какого-нибудь фильма, на нее и спешили гости. Но после этого часа для тех, кто вроде меня тем самым вечером, о котором я говорю, обедали дома и потом шли навестить друзей, Париж, во всяком случае некоторые его кварталы, был темнее, чем Комбре моего детства, и походы в гости напоминали визиты друг к другу деревенских соседей.

Ах, если бы жива была Альбертина, как было бы приятно в те вечера, когда я ужинал в городе, назначить ей свидание где-нибудь под аркадами! Сперва я бы ничего не увидел, охваченный волнением, я решил бы, что она не пришла на свидание, но вдруг заметил бы, как от черной стены отделяется ее милое серое платье, смеялись бы ее глаза, тоже заметившие меня, и мы бы стали прогуливаться обнявшись, чтобы никто нас не увидел и не потревожил, а потом вернулись бы домой. Увы, я был один и сам себе казался деревенским жителем, который наносит визиты соседям, вроде тех, что наносил нам Сван

вечерами после ужина, не встретив ни единого прохожего в сумерках Тансонвиля, когда шел по узкой проселочной дороге до улицы Сент-Эспри, так и я никого не встречал на улицах, похожих теперь на извилистые тропинки, от Сент-Клотильд до улицы Бонапарта. Впрочем, поскольку этим фрагментам пейзажа, перемешенным временем, больше не мешала ставшая невидимой рамка, вечерами, под шквалом ледяного ветра, я ощущал себя на берегу бурного моря, о котором когда-то так мечтал, и это ощущение было сильнее, чем тогда, в Бальбеке, да и другие явления природы, не существовавшие в городе прежде, создавали впечатление, будто ты, только что сойдя с поезда, приехал на каникулы в сельскую глушь: например, этот контраст света и тени, что можно было наблюдать на земле под ногами вечерами, при свете луны. Этот самый лунный свет создавал эффект, какого город прежде не знал даже в разгар зимы: на снег, который на бульваре Осман не расчищал ни один дворник, лучи ложились так, как они ложились бы где-нибудь на снежных склонах Альп. Тени от деревьев ясно и отчетливо выделялись на этом золотисто-голубоватом снегу с таким изяществом, с каким могли бы их представить японские художники или Рафаэль

на заднем плане одного из своих полотен, они стелились по земле у подножия самих деревьев, так бывает в природе на закате солнца, когда оно затопляет отражающим светом равнины, где на одинаковом расстоянии одно от другого встают деревья. Но эта равнина с ее хрустальной хрупкостью, на которой расстилались тени деревьев, невесомые, словно души, была райской равниной, но не зеленой, а белой такой ослепительной белизной, что можно было подумать, будто эта равнина выткана лепестками цветов грушевого дерева. А на площадях языческие божества фонтанов с ледяной струей на вытянутой руке походили на статуи, для изваяния которых скульптор хотел непременно соединить два материала — бронзу и хрусталь. В эти особые дни дома были черными. Но зато весной время от времени в каком-нибудь особняке, или только в одном этаже особняка, или просто даже в одной комнате одного из этажей, пренебрегая полицейским предписанием, хозяева оставляли открытыми ставни — и казалось, он один остался в неосязаемых сумерках, словно всплеск света, словно бесплотное видение. И женщина, которую какой-нибудь прохожий, подняв высоко глаза, различал в золотистом полумраке этой ночи,

где потерялся он и уединилась она, казалось, сама светилась таинственным очарованием и была окутана прелестью Востока. Но прохожий удалялся, и ничто более не нарушало стерильной и монотонной дремотной темноты.

Я думал о том, что давно уже не видел никого из тех, о ком шла речь в этой книге. Только в 1914 году за два месяца, проведенных мною в Париже, мне мельком удалось повидать господина де Шарлюса, встретиться с Блоком и Сен-Лу, с последним всего лишь два раза. Именно во вторую нашу встречу он проявил себя наиболее ярко, он словно стер неприятные впечатления о собственном лицемерии, вынесенные мною из последнего моего пребывания в Тансонвиле, и я узнал в нем все прежние достоинства. Когда я в первый раз увидел его после объявления войны, то есть в начале следующей недели, и Блок, высказывающий резкие шовинистические взгляды, оставил нас, Сен-Лу стал с едкой иронией насмехаться над самим собой по поводу того, что не пошел в армию, и я был шокирован грубостью его тона.

Сен-Лу вернулся из Бальбека. Позже я узнал от третьих лиц, что он предпринимал бесплодные попытки сговориться с директором ресторанчика. Своим положением последний был обязан

наследству господина Ниссима Бернара. В самом деле, он был тем самым юным слугой, которому «покровительствовал» дядюшка Блока. Но богатство сделало его добродетельным. До такой степени добродетельным, что Сен-Лу напрасно пытался его соблазнить. Так, по закону противодействия, вполне добропорядочные молодые люди с наступлением определенного возраста начинают предаваться страстям, вкус которых наконец осознали, а подростки легкого нрава становятся молодыми людьми, чьи твердые принципы неприятно поражали господина де Шарлюса, наслушавшегося сплетен и обратившегося к ним. Это всего лишь вопрос времени.

«Нет, — громогласно и радостно восклицал он, — все те, кто не идет на войну, как бы они сами это ни объясняли, на самом деле просто боятся, что их убьют, это они от страха». И тем же торжествующим тоном, каким обличал чужую трусость, только еще более энергично, он продолжал: «Если я не иду служить, так это просто-напросто от страха, да, от страха!» Мне приходилось замечать уже у многих людей, что выставлять напоказ чувства, достойные похвалы, не единственный способ скрыть чувства дурные, можно как раз наоборот — бравировать

этими дурными чувствами, делать вид, что и не собирался их скрывать. К тому же у Сен-Лу эта склонность усиливалась его особой привычкой: что-то сделав не так, совершив бестактность, в которой его могли упрекнуть, тут же самому во всеуслышание заявить, что это он нарочно. Привычка эта перешла к нему, насколько мне известно, от одного преподавателя Военной академии, с которым он был весьма близок и перед которым искренне преклонялся. Таким образом, мне не составляло труда истолковать эту колкость как словесную ратификацию чувств, каковые — коль скоро именно они диктовали Сен-Лу его поведение и отказ участвовать в начавшейся войне — тот хотел обнародовать.

«А ты слышал, — спросил он меня, собираясь уходить, — тетушка Ориана хочет разводиться. Лично я об этом ровным счетом ничего не знаю. Слух об этом проносится регулярно, и я так часто его слышал, что для того, чтобы в него поверить, мне придется дождаться, когда это наконец произойдет. Могу сказать только, что понять ее можно: мой дядюшка приятнейший человек, так считают не только в обществе, но вообще все: и его друзья, и семья. Он, я бы даже сказал, гораздо сердечнее тети, которая, конечно,

святая, но слишком уж настойчиво дает ему это понять. Вот только как муж это просто чудовище, он все время обманывает жену, оскорбляет ее, грубо обращается, не дает денег. Если она его покинет, это будет так естественно, что одно это докажет, что это правда, впрочем, возможно, и наоборот, поскольку все настолько очевидно, что любой мог сделать подобный вывод и распустить слух. И потом раз уж она так долго его терпела! Теперь я точно знаю, сколько раз бывает, о чем-то скажут по ошибке или даже солгут, а потом это оказывается правдой». Это навело меня на мысль спросить его, не велось ли когда-либо разговора о его женитьбе на мадемуазель Германтской. Он вздрогнул и стал уверять меня, что нет, ничего подобного, это всего лишь одна из светских сплетен, которые вдруг появляются время от времени совершенно на пустом месте, потом исчезают сами собой, но ложность этих сплетен не делает более осмотрительными тех, кто в них поначалу поверил, и стоит появиться новому слуху о помолвке, разводе или каком-нибудь политическом скандале, все снова верят в него и начинают распространять направо и налево.

Не прошло и двух дней, как кое-какие ставшие известными мне факты доказали, что я глубоко

заблуждался, интерпретируя слова Робера: «Если кто-то отказался отправиться на фронт, значит, он просто-напросто боится». Сен-Лу произнес это, чтобы блеснуть в разговоре, чтобы прослыть тонким психологом и оригиналом, поскольку не был уверен, что его попытки отправиться добровольцем увенчаются успехом. Однако в то же самое время он из кожи вон лез, чтобы добиться этого, теряя частичку своей оригинальности, во всяком случае, в том смысле, какой, как он думал, полагалось придавать этому слову, но приобретая больше — «французскость» в стиле Сент-Андре-де-Шан, и в гораздо большей степени соответствуя теперь тому, что было в этот момент лучшего у французов Сент-Андре-де-Шан, господ, буржуа и слуг, почтительных к господам или бунтующих против господ, два равно французских дивизиона одной семьи, подразделение Франсуазы и подразделение Мореля, они выпускали две стрелы, что соединялись в полете в одном направлении, в направлении границы. Блоку было весьма приятно услышать признание в трусости от «националиста» (впрочем, не такого уж и националиста), а когда Сен-Лу спросил у него, не собирается ли тот на фронт, он, состроив постную физиономию, ответил: «Близорукость».

Но через несколько дней Блок в корне переменил свое отношение к войне и, явившись ко мне, выглядел совершенно потрясенным. Несмотря на «близорукость», он был признан годным к службе. Я провожал его домой, когда по дороге мы встретили Сен-Лу, который как раз шел представляться в военное министерство какому-то полковнику, с одним бывшим офицером — «господин де Камбремер, — сказал он мне. — А! ну конечно, о ком я тебе говорю, это же старый знакомый. Ты ведь тоже знаешь Канкана!» Я ответил, что да, я и в самом деле знаком с ним и с его женой и не могу сказать, чтобы они были мне очень приятны. Но я настолько привык с первого дня знакомства с этой самой парой считать его жену, несмотря ни на что, особой весьма примечательной, хорошо знавшей Шопенгауэра и вхожей в интеллектуальные круги, доступ в которые был закрыт ее невежественному супругу, что вначале очень удивился, услышав от Сен-Лу: «Его жена полная идиотка, могу тебя уверить. Но сам он превосходный человек, одаренная натура, очень приятный во всех отношениях». Вне всякого сомнения, эта же-на-«идиотка» когда-нибудь при Сен-Лу высказала безумное желание быть принятой в высшем свете, каковое поведение высший

свет судит весьма сурово. Что же касается достоинств ее мужа, очевидно, имелись в виду те, что признавала за ним его мать, поскольку считала его гордостью семьи. По крайней мере, его не заботило мнение герцогинь, что же касается его «ума», то он, по правде говоря, столько же отличается от того, что присущ мыслителям, как и тот «ум», которым общественное мнение наделяет богатого человека «за то, что он сумел сколотить состояние». Но слова Сен-Лу вовсе не задели меня, просто напомнили, что претензия соседствует с глупостью, а простодушие имеет привкус не ярко выраженный, но приятный. Правда, у меня не было случая оценить простодушие господина де Камбремера. Но вот поэтому-то и получается, что один человек предстает совершенно по-разному в зависимости от того, кто его судит, даже если не принимать во внимание критерии суда. У господина де Камбремера мне знакома была лишь внешняя оболочка. Но ее суть, которую показали мне другие, оказалась мне неизвестна.

Перед дверью Блок оставил нас, полный горечи по отношению к Сен-Лу, сказав ему, что те, другие, «славные сыны» в погонах и нашивках, которые щеголяют при штабе, ничем не рискуют, а вот он, простой солдат второго класса, совершенно

не желает, чтобы ему «продырявили шкуру ради Вильгельма». «Похоже, император Вильгельм серьезно болен», — ответил на это Сен-Лу. Блок, который, подобно всем тем, кто держится поближе к Бирже и с невероятной легкостью верит всем сенсационным новостям, добавил: «Говорят даже, что он умер». Если верить Бирже, любой больной монарх, будь то Эдуард VII или Вильгельм II, уже умер, а любой осаждаемый город уже взят. «Скрывают только потому, — сказал Блок, — что это известие вызовет панику среди бошей. Но он точно умер прошлой ночью. Мой отец знает это из самых достоверных источников». Достоверные источники были единственными, которым доверял господин Блок-отец, и поскольку благодаря «высоким связям» ему повезло иметь к этим самым источникам доступ, он мог получать оттуда еще более секретную информацию о том, что акции внешнего рынка поднялись в цене, а акции де Бирс упали. Впрочем, если оказывалось, что именно в тот самый момент происходило повышение де Бирс и «сброс» внешнего рынка, если рынок первой оказывался «устойчивым» и «активным», а второго — «колеблющимся», достоверные источники не становились от этого менее достоверными. Так Блок сообщил нам о

смерти кайзера с видом таинственным и значительным, но в то же время видно было, что он раздражен. Более всего его вывело из себя то, что Робер сказал: «Император Вильгельм». Я полагаю, даже под угрозой гильотины Сен-Лу и герцог Германтский не могли бы сказать по-другому. Два светских человека, оказавшиеся единственными живыми существами на необитаемом острове, где некому было бы демонстрировать свои хорошие манеры, узнали бы друг друга по подобным черточкам, как два латиниста по точным цитатам из Вергилия. Даже под пытками немцев Сен-Лу не мог бы сказать иначе, чем «император Вильгельм». Но при всем этом подобное воспитание — оковы для ума. Тот, кто не может их сбросить, так и остается всего-навсего светским человеком, и не больше. Но, впрочем, эта изысканная ограниченность восхитительна — особенно если это связано с неафишируемой щедростью и непоказным героизмом — рядом с вульгарностью Блока, одновременно жалкого и хвастливого, который кричал Сен-Лу: «Ты что, не можешь просто сказать «Вильгельм»? Ну конечно, это ты с перепугу, ты уже готов на брюхе ползать перед ним! Да! ну и солдатики у нас на передовой, пятки будут бошам лизать. Вы только

и можете что по плацу маршировать в парадной форме. Ну и черт с вами».

«Бедняга Блок, ему и в голову не приходит, что я могу не только маршировать», — улыбаясь, сказал мне Сен-Лу, когда мы наконец остались с ним вдвоем. Я прекрасно понимал, что маршировать — это совсем не то, чего желал Робер, хотя в ту пору его намерения не были мне так ясны, как после, когда, ввиду неучастия в военных действиях кавалерии, он пошел служить офицером в пехоту, затем перевелся в разведку, и затем случилось то, о чем еще предстоит рассказать. Но Блок не осознавал патриотизма Робера просто потому, что тот его никак не показывал. Если, будучи признан «годным», Блок со злостью излагал нам свои антимилитаристские взгляды, то поначалу, когда он полагал, что по причине близорукости призыв ему не грозит, его политическим кредо был шовинизм. А Сен-Лу был не способен на подобные декларации, и главной причиной тому являлась нравственная деликатность, не позволяющая публично выражать чувства, слишком глубокие и к тому же совершенно естественные. Так некогда моя мать, не только ни секунды не колеблясь, умерла бы ради бабушки, но и жестоко страдала бы, вздумай кто-нибудь помешать ей в этом.

И, однако же, мне невозможно — оглянувшись назад — представить, как она произносит фразу вроде: «Я готова отдать жизнь ради матери». И такой молчаливой была любовь к Франции Робера, что в тот момент он казался мне в большей степени Сен-Лу (насколько я мог представить себе его отца), чем Германтом. Он не позволял себе выражать подобные чувства еще и потому, что ум его был в каком-то смысле нравственен. У по-настоящему серьезных людей, занимающихся умственным трудом, присутствует некое отвращение ко всем тем, кто превращает в литературу все, что делает, извлекает из этого пользу. Мы не учились с ним вместе ни в лицее, ни в Сорбонне, но мы по отдельности посещали занятия одних преподавателей (вспоминаю улыбку Сен-Лу), которые, желая прослыть гениями, давали амбициозные названия своим теориям. Стоило только нам заговорить об этом, Робер начинал смеяться от всей души. Разумеется, мы не могли утверждать, что инстинктивно предпочитаем Котаров или Бришо, но в конечном итоге питали искреннее уважение к людям, которые досконально изучили греческий или медицину и уже по одной этой причине не могли зваться шарлатанами. Как я сказал уже, если когда-то во всех своих

поступках мать исходила из того, что готова была отдать жизнь за свою мать, она никогда даже самой себе не могла бы эти чувства высказать и, во всяком случае, считала не только бесполезным и смешным, но недопустимым и постыдным высказывать их другим, так же невозможно мне было бы представить, что Сен-Лу рассказывает о своих сборах на фронт, о необходимых для этого приобретениях, о наших шансах на победу, о малой эффективности действий русской армии, о том, что необходимо предпринять Англии; в его устах невозможно было бы представить фразу пусть даже самую красноречивую, которую мог бы произнести пусть даже самый симпатичный министр перед восторженными, рукоплещущими депутатами. Впрочем, не могу утверждать, что в этой отрицательной черте, мешавшей ему выражать красивые чувства, не виделось мне проявления «духа Германтов», того, что так часто можно было наблюдать у Свана. Ведь хотя для меня он был прежде всего Сен-Лу, он все же оставался Германтом, и среди множества причин, укрепляющих его мужество, были и такие, каких не имелось у его приятелей из Донсьера, этих молодых людей, увлеченных своим делом, с которыми я ужинал каждый вечер и сколько

из которых были убиты в битве на Марне или в какой-нибудь другой битве.

Молодые социалисты, которых можно было встретить в Донсьере в ту пору, когда там находился и я, но не был с ними знаком, поскольку их не принимали в том кругу, где вращался Сен-Лу, прекрасно понимали, что офицеры этого самого круга вовсе не были «нобль» в значении надменно-горделивом и презренно-игривом, какое «плебс», офицеры, вышедшие из низов, и франкмасоны вкладывали в это понятие. Впрочем, точно так же можно сказать, что такой же патриотизм офицеры из благородных признавали за социалистами, которых они же в разгар дела Дрейфуса — я сам слышал это, когда находился в Донсьере, — обвиняли в отсутствии этого самого патриотизма. Патриотизм военных, столь же искренний и глубокий, принял теперь окончательную форму, которую они считали незыблемой и которая, к их негодованию, подвергалась нападкам, в то время как патриоты, если можно так выразиться, бессознательные, то есть без осознания святого патриотического долга, какими и являлись радикал-социалисты, не в состоянии были понять, какая глубокая реальность стояла за тем, что они считали бессмысленными

и вредными формулами.

Вне всякого сомнения, Сен-Лу, так же как и они, сумел развить в себе как самую подлинную сторону своей натуры умение осознать, какие действия необходимо предпринять для успехов стратегических и тактических, таким образом, для него, как и для них, жизнь собственного тела, будучи чем-то относительно малозначимым, легко могла быть принесена в жертву духовному началу, истинному жизненному ядру, рядом с которым физическое существование имело значение лишь в качестве защитного слоя. В смелости Сен-Лу было много особенностей, присущих лишь ему, и главной отличительной чертой являлось великодушие, в чем с самого начала заключалась прелесть нашей с ним дружбы, а еще наследственный порок, проявившийся в нем позже, который в сочетании с определенным интеллектуальным уровнем, так им и не превзойденным, заставлял его не только восхищаться смелостью, но и испытывать какой-то пьянящий восторг перед мужественностью, настолько велико было его отвращение к изнеженности. Размышляя о жизни под открытым небом с сенегальцами, которые каждое мгновение жертвовали жизнью, он испытывал целомудренное интеллектуальное

наслаждение, в котором немалое место занимало презрение к этим «мускусным господам», и это самое наслаждение, хотя и казалось ему совершенно другой природы, на самом деле не так уж сильно и отличалось от того, что давал ему кокаин, к которому он пристрастился в Тансонвиле и от которого героизм — словно дополнительное лекарство — его излечил. Даже в своей смелости он был прежде всего человеком любезным и учтивым, что, с одной стороны, побуждало его расхваливать других, а что касалось его самого — совершать хорошие поступки, не говоря ни слова: полная противоположность Блоку, который сказал ему во время нашей встречи: «Вы уж, конечно, сдрейфите», — а сам между тем не делал ничего, и, с другой стороны, заставляло не слишком дорого ценить то, что ему принадлежало: свое состояние, положение в обществе, саму жизнь, и быть готовым всем этим пожертвовать. Одним словом, яснее проявилось истинное благородство его натуры. Но в его героизме смешалось столько различных начал, что и заявивший о себе новый вкус, и интеллектуальная ограниченность, которой он так и не смог преодолеть, тоже были в их числе. Восприняв привычки господина де Шарлюса, Робер, как оказалось, воспринял

также, хотя и под другим обличьем, его идеал мужественности.

«Это у нас надолго?» — спросил я Сен-Лу. «Нет, думаю, война окажется короткой», — ответил он мне. Но и тут, как всегда, аргументы его были слишком книжными. «Принимая во внимание предсказания Мольтке, перечти, — сказал он, как будто я уже читал, — декрет от 28 октября 1913 года о действиях крупных войсковых единиц, и ты сам увидишь, что замена резервов мирного времени не была произведена и, более того, не была даже предусмотрена, а этого просто не могло быть, если бы готовились к длительной войне». А мне-то казалось, что вышеупомянутый декрет можно было толковать как доказательство не столько краткости возможной войны, сколько непредусмотрительности авторов этого документа, которые не смогли предвидеть ни возросшего до чудовищных размеров потребления продукции любого рода, неизбежного в затянувшейся войне, ни взаимодействия различных театров военных действий.

У людей, по природе своей не слишком расположенных к гомосексуализму, существует некое весьма распространенное представление о мужественности, которое, если гомосексуалист

— человек достаточно заурядный, свойственно и ему тоже, впрочем, он зачастую искажает его. Это представление — некоторых военных, некоторых дипломатов — раздражает невероятно. В самом гнусном своем виде это просто-напросто внешняя суровость доброго сердца, когда человек не хочет выглядеть взволнованным, и в минуту расставания с другом, которого, вполне возможно, убьют, его душат слезы, но никто не догадывается об этом, потому что он прячет эти слезы под маской растущего с каждой секундой гнева, который прорывается в самую минуту расставания. «Ну что, тысяча чертей, идиот несчастный, давай обнимемся и хватай свой мешок, меня от него тошнит, дурак ты эдакий». Дипломат, офицер, просто человек, который чувствует, что единственно значима лишь великая национальная идея, но который тем не менее испытывает нежность к тому «бедняге», что был в разведке или в действующих войсках и умер от лихорадки или пули, — демонстрирует такую же мужественность, правда, в другой форме, более сложной, более замысловатой, но, в сущности, столь же отвратительной. Он не собирается оплакивать того «беднягу», он знает, что в скором времени будет думать о нем не больше, чем добрый хирург,

который в день смерти маленькой пациентки испытывает искреннюю печаль, глубоко скрытую. Но стоит лишь дипломату стать писателем и поведать об этой смерти, он не скажет, что испытывал печаль, нет, прежде всего «из мужской сдержанности», затем из привычки к лицедейству, благодаря которой он умеет изображать эмоции, пряча их. Он и кто-нибудь из его коллег будут дежурить у постели умирающего. Ни одним словом не обмолвятся они об этой печали. Они будут обсуждать дела в отряде или в других отрядах, и даже с большими подробностями, чем обычно.

«Б*** говорит мне: «Не забудьте, завтра генеральский смотр, позаботьтесь, чтобы ваши люди как следует подготовились». Будучи человеком очень мягким, он сегодня разговаривал суше, чем всегда, и я заметил даже, что он избегает смотреть на меня. Да я и сам чувствовал, что нервничаю».

И читатель понимает, что этот сухой тон и есть та самая печаль человека, который не хочет выглядеть человеком-который-испытывает-печаль, что выглядело бы просто-напросто нелепо, не будь так безнадежно и так уродливо, потому что именно подобным образом чувствуют печаль люди, полагающие, будто печаль не значит

ничего, а жизнь важнее расставаний, и т. д., и самой смерти придающие оттенок чего-то ложного и незначительного, вроде того господина, что приходит поздравить вас с Новым годом и, протягивая коробку засахаренных каштанов, говорит: «Желаю счастливого Нового года», при этом посмеивается, но все-таки говорит. И, чтобы завершить, наконец, этот рассказ об офицере или дипломате, которые бодрствуют возле умирающего, не сняв головных уборов, потому что несчастного перевозят на открытом воздухе, вот что происходит в конце:

«Я думал: надо пойти распорядиться насчет дезинфекции, но, сам не знаю почему, в то самое мгновение, когда доктор, щупавший пульс, отпустил руку, мы с Б*** одновременно, не сговариваясь — очевидно, припекло солнце и стало жарко, — стоя у постели, сняли фуражки».

А читатель прекрасно понимает, что два этих мужественных человека, ни разу в жизни не произнесшие слова «нежность» или «печаль», сняли свои головные уборы не оттого, что припекло солнце, а от волнения перед величием смерти.

Идеал мужественности у гомосексуалистов вроде Сен-Лу хотя и отличался от вышеописанного, но был не менее искусственным и не менее

лживым. И лживость эта состоит в том, что они не желают признавать, что именно физическое желание лежит в основе тех чувств, которым они приписывают совсем иное происхождение. Господин де Шарлюс ненавидел женственность. Сен-Лу восхищается смелостью молодых людей, пьянящим восторгом кавалерийских атак, интеллектуальным и нравственным благородством мужской дружбы, самой чистой мужской дружбы, когда один готов отдать жизнь ради другого. Война, из-за которой, к отчаянию гомосексуалистов, в столицах остались одни только женщины, — это, напротив, страстный гомосексуальный роман, и если им хватает разума, чтобы обольщать себя несбыточными мечтами, то не хватает, чтобы проникнуть в их тайну, понять их истоки, понять себя. Так что если некоторые молодые люди отправлялись на войну добровольцами просто из некоего спортивного подражания, вроде того как в какой-то год все поголовно вдруг стали играть в «диаболо», для Сен-Лу война была идеалом, к которому он стремился в своих мечтах, гораздо более конкретных, но с легким облачком идеологии, идеалом, которому он служил вместе с теми, кого любил больше всего, будучи членом рыцарского ордена, только мужского, без женщин, где

он мог бы рисковать жизнью, спасая своего адъютанта, и умереть, внушая фанатичную любовь всем этим людям. И вот еще что: в его мужестве имелось много составляющих, но была в их числе и эта — осознание своего знатного происхождения, а еще, пусть в оболочке почти неузнаваемой и идеализированной, — идея господина де Шарлюса, что главное для мужчины не иметь ничего женственного. Впрочем, подобно тому как в философии и искусстве две аналогичные идеи являются таковыми лишь при определенной манере изложения и весьма сильно отличаются в зависимости от того, представлены ли они Ксенофонтом или Платоном, точно так же, признавая, насколько схожи их мотивы, я восхищаюсь неизмеримо больше Сен-Лу, требующим отправить его на самый опасный участок, чем господином де Шарлюсом, избегавшим носить светлые галстуки.

Я говорил Сен-Лу о своем приятеле, управляющем Гранд-отеля в Бальбеке, который вроде бы утверждал, что в начале войны в некоторых французских полках были дезертиры, которых он называл «дефектиры» и обвинял в том, что их спровоцировали, причем авторами провокации он считал «прусский милитаризм»; в какой-то

момент он даже поверил в одновременную высадку немецкого, японского и казачьего десанта в Ривебеле, что угрожало безопасности Бальбека, и сказал, что ему оставалось только «слинять». Отъезд властей в Бордо он считал преждевременным и заявлял, что зря они так быстро «слиняли». О своем брате этот германофоб говорил, посмеиваясь: «Он в окопах, в двадцати пяти метрах от бошей», пока, дознавшись, что и сам он является таковым, его не отправили в концентрационный лагерь.

«Кстати, о Бальбеке, ты помнишь бывшего лифтера в отеле?» — спросил, покидая меня, Сен-Лу таким тоном, будто сам как следует не представлял, о ком идет речь, и ждал от меня, что я ему напомню. «Он собирается на фронт и написал мне, чтобы я помог ему «устроиться» в авиацию». Можно было не сомневаться, что лифт устал сновать туда-сюда, заключенный в камере лестничного пролета, а высоты лестниц Гранд-отеля ему уже не хватало. Он собирался «получить повышение в чине» не в качестве консьержа, а другим способом, ибо наша судьба не всегда то, что мы о ней думаем. «Я, конечно, поддержу его просьбу, — сказал мне Сен-Лу. — Я как раз нынче утром снова говорил об этом Жильберте,

самолетов нужно как можно больше. С ними мы всегда будем знать, что готовит противник. Это отнимет у него преимущества, которые могла бы принести неожиданная атака, лучшей армией в этой войне окажется та, у которой зорче глаза».

Буквально за несколько дней до этого я встретил лифтера-авиатора. Он заговорил со мной о Бальбеке, и, горя любопытством узнать, что он скажет мне о Сен-Лу, я умудрился навести разговор на интересующую меня тему и спросил, правда ли то, что мне говорили, будто господин де Шарлюс испытывает к молодым людям то-то и то-то. Лифтер, казалось, удивился — похоже, он ровным счетом ничего об этом не знал. Зато в ответ он стал изобличать богатого молодого человека, который жил со своей любовницей и тремя приятелями. Поскольку он, похоже, готов был все свалить в одну кучу, а я знал от господина де Шарлюса, который мне об этом рассказывал, помнится, это происходило в присутствии Бришо, что он здесь совершенно ни при чем, я сказал лифтеру, что он, должно быть, ошибается. Моим сомнениям он противопоставил свои уверения, что именно так все и происходило. Подружка этого самого богатого молодого человека должна была развлекать всю компанию, и удовольствие

получали все вместе. Таким образом, господин де Шарлюс, самый компетентный в данной области человек, глубоко ошибался, до такой степени любая правда обрывочна, скрыта, неожиданна. Из опасения начать рассуждать по-мещански, выискивая шарлизм там, где его нет, он просто-напросто прошел мимо того факта, что женщина всех развлекала. «Она и за мной частенько приходила, — сказал мне лифтер. — Но она быстро поняла, с кем имеет дело, я категорически отказался, зачем мне этот бордель, я так ей и сказал, мне это просто отвратительно. Ведь стоит кому-нибудь одному проговориться, и всем все станет известно, пойдут всякие слухи, больше места нигде не найдешь». Это последнее утверждение снижало пафос предыдущих добродетельных деклараций, потому что давало понять: будь лифтер уверен в сохранении тайны, он бы не устоял. Для Сен-Лу это тоже было аргументом. Очевидно все же, что этому богатому молодому человеку, его любовнице и приятелям все-таки повезло, потому что лифтер много рассказывал, о чем они с ним говорили в разные времена, что вряд ли могло быть, ответь он категорическим отказом. Например, любовница этого молодого богача пришла как-то к нему, чтобы познакомиться с

одним посыльным, с которым он очень дружил. «Не думаю, чтобы вы его знали, вас там тогда не было. Его все называли Виктор. Ну разумеется, — добавил он с видом человека, который ссылается на некие нерушимые и даже немного секретные законы, — нельзя же отказать товарищу, тем более если он небогат». Я вспомнил о приглашении, которое получил за несколько дней до отъезда из Бальбека от знатного друга этого самого богача. Но здесь, разумеется, не существовало никакой связи, и это было продиктовано обыкновенной любезностью.

«Ну ладно, а как там бедняжка Франсуаза, ей удалось освободить от службы племянника?» Но Франсуаза, давно уже делавшая все возможное для освобождения племянника, которая, когда ей через посредничество Германтов предложили подать прошение генералу Сен-Жозефу, ответила безнадежным тоном: «О нет, это ничего не даст, с этим типом все бесполезно, нечего и пытаться, он такой патриот, хуже не бывает», так вот, эта самая Франсуаза, лишь только речь заходила о войне, какую бы боль она при этом ни испытывала, считала, что не надо бросать на произвол судьбы этих «несчастных русских», потому что как-никак «союзники». Метрдотель, уверенный,

впрочем, что война продлится не более десяти дней и завершится оглушительной победой Франции, не решился бы, из страха быть опровергнутым последующим ходом событий, да и не имея достаточно воображения, предсказать войну долгую и с сомнительным концом. Но даже из этой полной и немедленной победы он пытался по крайней мере заранее извлечь все, что могло бы заставить страдать Франсуазу. «Да, что-то будет, похоже, не многие жаждут идти в атаку, что вы хотите, эти шестнадцатилетние мальчишки просто в голос рыдают». Говоря ей неприятные вещи, чтобы «задеть», он называл это «бросить ей кость, укоротить хвост, навесить лапшу на уши». «Шестнадцатилетние, Дева Мария! — восклицала Франсуаза, и тут же недоверчиво: — А говорили, будто младше двадцати не берут, это же совсем еще дети». — «Ну разумеется, газетам об этом писать запретили. И вообще как раз молодежь и пошлют вперед, немногие выживут. Это даже хорошо, здоровое кровопускание время от времени полезно, да и неплохой стимул для коммерции. О черт! если мальчишки такие изнеженные, ни то ни се, их тут же убьют, дюжина пуль в шкуру, бах! С одной стороны, так и надо. И потом, офицеры, ну что с них взять? Получают

свои монеты и больше ничего не требуют». Во время каждого из таких разговоров Франсуаза бледнела до такой степени, что мы все опасались, как бы от разглагольствований метрдотеля с ней не случился удар.

Впрочем, несмотря ни на что, все ее недостатки остались при ней. Хотя Франсуаза постоянно жаловалась на боли в ногах, тем не менее, когда меня приходила навестить какая-нибудь юная особа и мне случалось на минутку выйти из комнаты, я заставал старуху на верху лестницы у вешалки, когда она, по ее словам, рассматривала мое пальто, проверяя, не прогрызла ли его моль, а на самом деле просто желая послушать, о чем мы говорим. Несмотря на мои замечания, она так и не избавилась от привычки задавать коварные вопросы как бы между прочим, и с некоторых пор полюбила выражение «ведь конечно же». Не осмеливаясь спросить меня прямо: «Есть ли у этой дамы особняк?», она говорила мне, подняв робкие, полные собачьей преданности глаза: «Ведь, конечно же, у этой дамы есть собственный особняк…» — старательно избегая вопросительной интонации не столько для того, чтобы выразиться повежливее, сколько просто не желая выглядеть излишне любопытной.

Но поскольку самые любимые наши слуги — и особенно если они уже больше не в состоянии выполнять своих обязанностей — все же остаются, увы, слугами и тем отчетливее обозначают границы (которые мы хотели бы стереть) своего сословия, чем больше, как им представляется, проникают в наше, довольно часто Франсуаза позволяла себе в мой адрес (метрдотель сказал бы, что она делала это специально, чтобы меня уколоть) довольно странное высказывание, которое никто другой на свете позволить себе не мог: со старательно скрываемой, но глубокой радостью, как если бы речь шла об очень тяжелой болезни, словно я весь пылал в горячке и по лицу моему — вот только я этого не замечал — струился пот, она говорила: «Да вы весь в поту», удивляясь, словно столкнувшись со странным феноменом, удивляясь чуточку презрительно, как если бы случилось нечто малопристойное («вы собираетесь выйти из дома, а забыли надеть галстук»), стараясь, чтобы в голосе ее слышалась озабоченность, чтобы кто-нибудь обратил внимание, как она переживает. Можно подумать, что я один на всем белом свете только и потел. В общем, она говорила уже не так, как прежде, потому что при всей своей униженности, трогательном прекло-

нении перед существами, стоящими бесконечно ниже ее, она воспринимала, помимо прочего, их гнусную манеру выражаться. Поскольку дочь ее жаловалась мне на нее и говорила (уж и не знаю, где она подхватила это выражение): «Она вечно делает мне замечания, дверь я плохо закрыла, то да се, и пошло-поехало», — Франсуаза сочла, что пробелы в образовании — единственная причина, мешавшая ей до сих пор взять на вооружение такой красивый оборот. И губы, что некогда рождали самый прекрасный французский язык, который мне когда-либо доводилось слышать, теперь произносили чуть не сотню раз на дню: «То да се, и пошло-поехало». И вообще, забавно, до какой степени мало отличаются у одной и той же личности не только обороты речи, но даже и мысли. У метрдотеля вошло в привычку объявлять во всеуслышание, что господин Пуанкаре неблагонадежен, и не из-за денег, а потому что непременно хотел войны, он повторял это семь или восемь раз на дню перед аудиторией хотя и постоянной, но неизменно заинтересованной. Не менялось ни слова, ни жеста, ни интонации. И хотя длилось это представление минуты две, было оно неизменным, как всякий хорошо отрепетированный спектакль. Его ошибки во французском

так же искажали язык Франсуазы, как и ошибки ее дочери. Он полагал, что то, что герцог Германтский называл «кабинки Рамбюто», к величайшей досаде господина де Рамбюто, на самом деле называлось «пуссуар». Не вызывает сомнения, что в детстве он не различал буквы «у», «и», похоже, это так у него и осталось. Он произносил это слово неправильно, но упорствовал. Франсуаза, поначалу смущенная этим, в конце концов тоже стала говорить именно так, когда, к примеру, хотела пожаловаться, что для женщин, в отличие от мужчин, ничего подобного нет. Ее смирение и восхищение перед метрдотелем доходило до того, что она никогда не говорила «писсуар», но — позволяя себе все же легкий компромисс — «пюиссуар».

Она перестала спать, есть и заставляла метрдотеля читать вслух коммюнике, в которых не понимала ровным счетом ничего, впрочем, и сам метрдотель понимал в них не многим больше, кроме того, стремление поиздеваться над Франсуазой уступало порой место искреннему патриотическому ликованию, и он, заразительно смеясь, говорил о немцах: «Это должно их подогреть, старина Жоффр понастроит им воздушных замков». Франсуаза не слишком по-

нимала, о каких таких замках идет речь, но от этого еще больше переполнялась уверенностью, что подобная фраза входила в приличествующий ассортимент экстравагантностей, в ответ на это благовоспитанным особам полагалось отвечать с радушием и учтивостью, пожимая при этом плечами, как будто говоря: «А он все такой же», неплохо было бы еще стереть выступившие от умиления слезы. По крайней мере она была счастлива, что ее новый мясник, совсем юное существо, который, несмотря на свою профессию, был довольно боязлив (хотя начинал в свое время на бойне), не достиг еще призывного возраста. А не то она могла бы пробиться на прием к самому военному министру и добиться освобождения мальчика от службы.

У метрдотеля просто в голове не умещалось, что эти самые коммюнике могут быть не такими уж и победными и что Берлин не становился ближе, ведь он читал в газетах: «Мы отступили, нанеся противнику большие потери, и т. д.», и это событие праздновал, как очередную победу. Я, однако, был не на шутку встревожен той стремительностью, с какой театр этих самых побед приближался к Парижу, и был весьма удивлен, что метрдотель, прочтя накануне в

коммюнике, что операция разворачивалась в окрестностях Ланса, не был обеспокоен, обнаружив в газетах на следующий день, что события — причем, оказывается, к большой выгоде для нас — переместились в Жуи-ле-Виконт, подступы к которому мы прочно охраняли. Тем не менее метрдотелю хорошо должно было быть известно название Жуи-ле-Виконт, который находился не так уж далеко от Комбре. Но каждый читает газеты, как и любит, то есть с повязкой на глазах. Никто и не пытается понять факты, просто слушают себе сладкие речи главного редактора, как слушают слова любовницы. Нас победили, но мы довольны, поскольку сами видим себя не побежденными, а победителями.

Впрочем, в Париже я оставался недолго и довольно скоро вновь вернулся в свою клинику. Хотя вообще-то программа лечения, предписанного доктором, предусматривала полную изоляцию, мне дважды передавали письма: один раз от Жильберты, другой — от Робера. Жильберта писала мне (если не ошибаюсь, это было в сентябре 1914 года), что при всем ее страстном желании остаться в Париже, где она скорее могла бы получить известия от Робера, постоянные налеты авиации на город вызывали у нее такой страх,

особенно за жизнь маленькой дочки, что она сбежала из Парижа последним поездом, который уходил на Комбре, но поезд этот так до Комбре и не дошел, и лишь в крестьянской повозке, в которой она проделала чудовищное путешествие, длившееся десять часов, удалось ей наконец добраться до Тансонвиля! «И представьте себе, что ожидало там вашу несчастную подругу, — писала мне в заключение Жильберта, — я уехала из Парижа, чтобы спастись от немецкой авиации, полагая, что в Тансонвиле окажусь в полной безопасности. Я провела там всего лишь два дня, а затем, вы даже представить себе не можете, что произошло, немцы заняли эти места, разбив наши войска возле Ла Фера, и немецкий штаб в сопровождении полка объявился в Тансонвиле, и мне пришлось их разместить у себя, и никакой возможности уехать, ни единого поезда, ничего». Немцы-штабные в действительности вели себя хорошо, как можно было понять из письма Жильберты, и это тоже казалось проявлением духа Германтов, которые сами происходили из баварцев и принадлежали к высшей немецкой аристократии, но Жильберта была неистощима на похвалы превосходному воспитанию штабных офицеров и даже солдат, которые обратились к

ней всего-навсего с просьбой «разрешить сорвать одну незабудку, которая растет возле пруда», и это прекрасное воспитание она ставила в пример необузданному буйству французов-дезертиров, которые проходили через их владения, опустошая все на своем пути, еще до появления немецких генералов. Во всяком случае, если письмо Жильберты было в каком-то смысле проникнуто духом Германтов — другие, быть может, стали бы говорить о еврейском интернационализме, что, как мы увидим впоследствии, вероятно, не соответствовало действительности — то письмо Робера, которое я получил без малого месяц спустя, гораздо в большей степени выявляло в нем Сен-Лу, чем Германта, поскольку, помимо всего прочего, свидетельствовало о благородстве приобретенной им либеральной культуры, что было в высшей степени привлекательно. К сожалению, в этом письме не было ничего о стратегии, которую он некогда объяснял мне в Донсьере, и он ничего не говорил о том, в какой мере эта война, по его мнению, подтвердит или опровергнет принципы, которые он тогда мне излагал.

Более того, он утверждал в письме, что начиная с 1914 года в действительности происходила не одна, но несколько войн подряд, причем уроки

предыдущей влияли на ход последующей. Например, его собственная теория «прорыва» содержала тезис о том, что, прежде чем осуществлять прорыв, необходимо полностью подавить артиллерией занятый противником участок. Но вскоре представилась возможность убедиться, что это было ошибкой, поскольку подавление огнем сделало совершенно невозможным продвижение пехоты и артиллерии по местности, изрытой тысячами воронок от снарядов… «Война, — говорил он мне, — тоже подчиняется законам старины Гегеля. Она, как и все прочее, находится в состоянии непрерывного изменения».

По правде говоря, мне хотелось бы от него услышать вовсе не это. Но что разозлило меня еще больше, так это то, что он не имел права называть мне имена генералов. Впрочем, даже из того немногого, что мог я вычитать в газете, мне становилось ясно, что это были не те генералы, что занимали мой ум в Донсьере, когда мне хотелось узнать, кто же из них в большей степени выдвинется в этой войне, кто поведет ее. Жеслен де Бургонь, Галифе, Негрие — их уже не было в живых. Генерал По оставил действующую армию едва ли не в самом начале войны. О Жоффре, Фоке, Кастельно, о Ретене мы никогда не говорили.

«Милый мой, — писал мне Робер, — я вполне допускаю, что слова «враг не пройдет» или «мы победим» не слишком-то приятны на слух; они давно уже навязли в зубах, как все эти «незаметные герои» и все прочее, и довольно глупо создавать эпос, используя термины, которые хуже, чем грамматическая ошибка, хуже, чем просто дурной вкус, это все так претенциозно и чудовищно, до крайности фальшиво и пошло, что мы ненавидим всей душой, так некоторые полагают, будто сказать «коко» вместо «кокаин» весьма остроумно и тонко. Но если бы ты видел всех этих людей, особенно простых людей, всех этих рабочих, мелких торговцев, которые и не подозревали прежде, что способны на такие проявления героизма, которые могли бы умереть в собственных постелях, так никогда этого и не узнав, если бы ты видел, как бегут они под градом пуль, чтобы помочь товарищу, вынести раненого командира, и, сами настигнутые осколком, улыбаются перед смертью, потому что начальник госпиталя только что объявил, что траншея вновь отбита

у немцев, я тебя уверяю, мой милый, что это невероятно возвеличивает французов и заставляет лучше понять исторические эпохи, казавшиеся нам необыкновенными в наши школьные годы.

Сама эпопея прекрасна настолько, что ты, как и я, понял бы, что слова не имеют больше никакого значения. Роден или Майоль сотворили бы шедевр из чудовищного материала, который невозможно было бы определить. При соприкосновении с подобным величием слова «незаметный герой» стали для меня чем-то таким, в чем я уже неспособен разглядеть намек или шутку, которые, возможно, и присутствовали там вначале, как, например, когда мы слышим слово «шуаны». Но я уверен, «незаметный герой» уже ждет своих великих поэтов, подобно словам «потоп», или «Христос», или «варвары», которые уже были преисполнены величия задолго до того, как стали служить Гюго, Виньи и другим.

Я сказал уже, что простой народ, рабочие — лучше всех, но справедливости ради надо заметить, что великолепны

все. Несчастный Вогубер, сын посла, был ранен семь раз, а потом его все-таки убили, так каждый раз, когда он возвращался с операции без единой царапины, казалось, ему самому неловко, он чуть ли не извинялся, мол, не его это вина. Это был необыкновенно приятный человек. Мы с ним очень сблизились, несчастным родителям было разрешено присутствовать на похоронах при условии, что они не наденут траура и не задержатся больше пяти минут, потому что бомбардировки не прекращались. Мать, эта престарелая кокотка, ты, наверное, знаешь ее, вероятно, очень скорбела, но по ней ничего не было заметно. Зато отец был в таком состоянии, что, уверяю тебя, я, ставший теперь совершенно бесчувственным, потому что не раз видел, как голову товарища, с которым мы как раз в эту минуту беседуем, разносит осколком мины, а то и просто отрывает от шеи, я не мог сдержаться при виде отчаяния бедного Вогубера, который превратился в жалкое подобие себя самого. Генерал повторял ему, что его сын воевал, как герой, что он погиб

за Францию, но рыдания становились лишь отчаяннее, беднягу невозможно было оторвать от тела сына. И наконец, хотя бы уже потому стоит принять «враг не пройдет», что все эти люди, как мой бедолага камердинер, как Вогубер, действительно не дали немцам пройти. Вероятно, ты полагаешь, что мы не так уж и далеко продвинулись, но не стоит судить, армия чувствует себя победительницей по каким-то трудноуловимым ощущениям — так умирающий чувствует, что ему каюк. Мы просто знаем, что победим, и мы хотим этой победы, чтобы потребовать справедливого мира, я хочу сказать, справедливого не только для нас, но справедливого по-настоящему, справедливого для французов, справедливого для немцев».

Само собой разумеется, ум Сен-Лу по причине этого «бедствия» не сделался острее, чем был всегда. Подобно тому как для обладателей посредственного и банального ума, балующихся стихосложением во время отпуска по ранению, в описании войны определяющее значение име-

ют не события, которые сами по себе ничего не значат, но пошлая эстетика, законами которой они руководствовались до сих пор, употребляя, как и десять лет назад, выражения вроде «кровавая заря», «трепещущие крылья победы» и тому подобное, — Сен-Лу, натура гораздо более изысканная и творческая, так и оставался попрежнему натурой изысканной и творческой, и со свойственным ему вкусом живописал пейзажи, держа со своим полком линию обороны у кромки заболоченного леса так, словно бы речь шла об утиной охоте. Чтобы дать мне представление о контрастах света и тени, составляющих «все волшебство раннего утра», он ссылался на картины, которые мы любили с ним оба, и намекал на одну известную страницу Ромена Роллана, а то и Ницше с непосредственностью, свойственной фронтовикам, которые не так боятся произносить немецкие имена, как те, кто находятся в это время в тылу, и не без некоторой доли кокетства цитируют врага, подобно тому как полковник дю Пати де Клам в зале для свидетельских показаний по делу Золя цитировал в присутствии Пьера Кийяра, поэта-дрейфусара, которого он, впрочем, не знал, строки из его символической драмы «Девушка с отрубленными руками». Сен-Лу писал

мне о музыке Шумана, приводя названия сочинений исключительно по-немецки, и не прибегал ни к каким намекам и иносказаниям, говоря мне, что, когда на заре он услышал первые птичьи трели на опушке все того же леса, он был так же опьянен, как если бы запела волшебная птица из этого «божественного Зигфрида», которого он надеялся послушать после войны.

И вот теперь, во время второго моего приезда в Париж, буквально на следующий день я получил еще одно письмо от Жильберты, которая, вне всякого сомнения, совершенно забыла о том, первом, которое я только что приводил, во всяком случае, забыла если не сам факт, то содержание этого письма, потому что свой отъезд из Парижа в конце 1914 года теперь, по прошествии некоторого времени, она изображала совсем по-другому:

> «Вы, очевидно, не знаете, дорогой мой друг, — писала мне она, — что вот уже скоро два года я нахожусь в Тансонвиле. Я прибыла сюда одновременно с немцами в то время, как все делали буквально все возможное, чтобы помешать мне уехать. Меня принимали за сумасшедшую. «Как, — говорили мне, — вы, находясь

в безопасности в Париже, намереваетесь отправиться в места, захваченные врагом, и это как раз именно в то время, когда все пытаются вырваться оттуда!» Я готова была признать, что все эти рассуждения не лишены здравого смысла. Но что поделать, у меня есть единственное достоинство — я не труслива, или, если угодно, я знаю, что такое преданность, и, когда я узнала, что моему дорогому Тансонвилю грозит опасность, я не могла допустить, чтобы наш старый управляющий один противостоял этой опасности. Я поняла, что мое место рядом с ним. Впрочем, именно благодаря этому решению мне удалось спасти замок, в то время как почти все прочие замки по соседству, покинутые своими обезумевшими от страха владельцами, оказались разрушены до основания, более того, мне удалось спасти не только замок, но и бесценные коллекции, которыми так дорожил мой отец».

Иными словами, с некоторых пор Жильберта была совершенно убеждена, что она уехала в

Тансонвиль не потому, что пыталась спастись от немцев, не для того, чтобы оказаться в безопасности, как она сама писала мне в 1914 году, но, напротив, чтобы встретиться с ними лицом к лицу и защищать от них свой дом. Впрочем, они не задержались в Тансонвиле, но отныне здесь беспрестанно сновали туда-сюда военные, и эта суета многократно превосходила ту, что некогда исторгала слезы у Франсуазы в Комбре, и теперь, как она утверждала с полным на то основанием, она вела истинно фронтовую жизнь. В газетах всячески превозносили ее героическое поведение, и уже вставал вопрос о ее награждении каким-либо знаком отличия. Конец ее письма был в точности таким:

> «Вы даже и представить себе не можете, что это за война, дорогой мой друг, и какое важное значение приобретают теперь каждая дорога, мост, любая возвышенность. Как часто я вспоминала вас, наши с вами прогулки, столь восхитительные благодаря вашему присутствию, прогулки, которые совершали мы с вами в этих местах, подвергшихся ныне опустошению, какие чудовищные бит-

вы происходили здесь за владение этой дорогой, этим холмом, который вы так любили, где мы часто бывали с вами вместе! Вероятно, вы, так же как и я, представить себе не могли, что никому не известный Русенвиль или скучнейший Мезеглиз, откуда приносили нам письма и куда посылали за доктором, когда вы хворали, станут когда-нибудь так знамениты. Так вот, дорогой мой друг, отныне места эти столь же прославились, как Аустерлиц или Вальми. Битва за Мезеглиз продолжалась больше восьми месяцев, немцы потеряли здесь более шестисот тысяч солдат, они разрушили Мезеглиз, но захватить его не смогли. Крутая тропинка, которую вы так любили и которую мы называли «боярышниковый спуск» и где вы, как вы сами говорили, в детстве влюбились в меня, между тем как я должна вас уверить со всею определенностью, это я была в вас влюблена, так вот, я даже сказать вам не могу, какое важное значение приобрела она. Огромное пшеничное поле, которым эта тропинка заканчивается, это и есть та самая зна-

менитая «высота 307», название которой вам, должно быть, не раз встречалось в коммюнике. Французы взорвали тот мостик через Вивонну, который, как вы говорили, не напоминал вам о детстве так, как вам бы этого хотелось, а немцы навели другие мосты, и в течение полутора лет они удерживали одну половину Комбре, а французы — другую»…

На следующий день после получения этого письма, то есть за два дня до того, как, передвигаясь в сумерках, я прислушивался к шуму собственных шагов, погруженный во все эти воспоминания, Сен-Лу, приехав с фронта и собираясь вновь отправиться туда, зашел ко мне буквально на несколько секунд, причем одно лишь известие о его появлении взволновало меня до чрезвычайности. Франсуаза хотела было броситься к нему, надеясь, что ему удастся добиться освобождения от воинской повинности того самого застенчивого юноши-мясника, чей срок призываться наступал через год. Но она сдержалась, очевидно, сама осознавая бесполезность этих хлопот, потому что давно уже этот робкий забойщик скота перешел в другую мясную лавку. И то ли

наша опасалась потерять свою клиентуру, то ли хозяева были слишком уж добропорядочны, но они заявили Франсуазе, что понятия не имеют, где работает ныне этот молодой человек, из которого, впрочем, все равно не вышло бы хорошего мясника. Франсуаза разыскивала его повсюду. Но Париж велик, мясных лавок здесь много, напрасно она заходила то в одну, то в другую, ей так и не удалось отыскать этого застенчивого молодого человека в брызгах крови.

Когда Сен-Лу вошел ко мне в комнату, я приблизился к нему с чувством робости, с ощущением чего-то сверхъестественного, которое вызывали все отпускники, такое испытываешь, оказавшись рядом с человеком, настигнутым смертельной болезнью, и который тем не менее еще может встать, одеться, выйти на прогулку. Казалось (особенно в первое время, потому что для тех, кто не жил, подобно мне, далеко от Парижа, наступает привыкание, и вещи, многократно нами увиденные, утрачивают некие корни, позволяющие прочувствовать их глубинный смысл и реальную сущность), что в этих увольнительных, которые дают фронтовикам, есть что-то почти жестокое. Поначалу говорили: «Они не захотят возвращаться обратно, дезертируют». И правда, дело даже не

в том, что те места, откуда они прибывали, казались нам нереальными, ведь мы слышали о них только лишь со страниц газет и представить себе не могли, что они сами принимали участие в этих битвах титанов и вернулись всего-то с контузией плеча; они приходили с берегов самой смерти и должны были в скором времени вернуться туда, приходили ненадолго, непостижимые для нас, наполняя наши души нежностью, тревогой и ощущением тайны, как те мертвецы, которых воскрешаем мы в памяти, которые являются перед нами на какую-то долю секунды, и мы не смеем спросить их ни о чем, а если бы и посмели, то услышали бы в ответ: «Вы не можете себе даже представить». Просто невероятно, до какой степени у этих избежавших огня, получивших увольнительную фронтовиков, у этих живых или мертвецов, загипнотизированных неким медиумом, тайна, с которой они соприкоснулись, возвышает, если это возможно, любое, самое незначительное слово. Так смотрел я на Робера и на его шрам на лбу, который казался мне величественней и загадочней, чем след на земле, оставленный неким неведомым исполином. Я не осмелился задать ему ни одного вопроса, а он говорил мне самые обыденные слова. И хотя они

почти совсем не отличались от тех, что произносились до войны, как если бы люди, несмотря на эту войну, продолжали оставаться теми, какими были они прежде, и даже тон беседы не изменился, изменилась лишь тема разговора, но зато как изменилась!

Кажется, я понял, что армия помогла ему постепенно забыть, что Морель вел себя с ним так же отвратительно, как и с его дядюшкой. Однако же он сохранял по отношению к нему эти дружеские чувства и страшно хотел его увидеть, вот только все откладывал и откладывал эту возможность. Я подумал, что по отношению к Жильберте тактичнее будет с моей стороны не подсказывать Роберу, что для того, чтобы отыскать Мореля, ему достаточно было отправиться к госпоже Вердюрен.

Я смиренно признался Роберу, насколько мало чувствовалась война здесь, в Париже. На что он ответил, что и здесь, в Париже, бывает порой «нечто неслыханное». Он имел в виду налет цеппелинов, случившийся накануне, и спросил меня, видел ли я его, как некогда с такой же интонацией он рассказывал мне о каком-нибудь необыкновенной красоты зрелище. Еще на фронте понимаешь, как это изысканно и изящно — произнести: «Как чудесно, какой розовый цвет!

А этот бледно-зеленый!» именно тогда, когда тебя в любой момент могут убить, но Сен-Лу не мог сказать ничего подобного здесь, в Париже, по поводу ничтожного налета, который тем не менее с нашего балкона, в ночной тишине, когда вдруг оказываешься в гуще настоящего праздника с защитными ракетами, звуками труб, что возвещали не только начало парада и так далее и так далее. Я сказал ему о красоте взмывающих в ночи самолетов. «А быть может, еще красивее, когда они приземляются, — сказал он мне. — Я согласен, взлет — это очень красиво, когда они вот-вот сольются с созвездиями, и при этом подчиняются тем же законам, что и созвездия, ведь то, что кажется тебе прекрасным спектаклем, — повинующаяся приказу эскадрилья истребителей, начало их ночной охоты и т. д. Но разве не кажется тебе еще прекрасней тот миг, когда, неразличимо слившись со звездами, они отделяются от созвездия и отправляются на охоту или возвращаются после сигнала «отбой», тот самый миг, когда они предвещают апокалипсис, и даже звезды не хотят больше оставаться на своих местах. А эти сирены, они звучат совсем по-вагнеровски, впрочем, это совершенно естественно, что бы подошло лучше для приветствия немцев,

это похоже на исполнение государственного гимна с кронпринцем и принцессами в императорской ложе; впору спросить себя — кто же это взмывает в воздух: летчики или валькирии?» Похоже, ему самому показалось очень удачным это сравнение летчиков с валькириями, впрочем, он объяснил это чисто музыкальными соображениями: «Черт возьми, звук этих сирен — просто настоящий «Полет валькирий»! Чтобы услышать Вагнера в Париже, нужно было дождаться прихода немцев».

Впрочем, с некоторых точек зрения сравнение было не таким уж плохим. С нашего балкона город казался зыбкой, бесформенной черной массой, который вдруг от бездонной черноты переходил к небесному свету, это один за другим взмывали летчики, повинуясь раздирающему зову сирен, между тем как словно исподтишка, угрожающе-замедленно — ведь этот ищущий взгляд предчувствовал нечто еще невидимое и, быть может, уже близкое — беспрестанно шевелили щупальцами прожектора, выискивая врага, обволакивая его своим светом, выжидая мгновение, чтобы схватить его, когда нацеленные самолеты ринутся в погоню. И эскадрилья за эскадрильей летчики, подобно валькириям, взле-

тали над городом, тоже взмывающим в небеса. И все же некоторые уголки на земле, на уровне домов, были освещены, и я сказал Сен-Лу, что, если бы он был здесь накануне, он мог бы, все так же любуясь небесным апокалипсисом, увидеть, словно на картине Эль Греко «Погребение графа д'Оргаз», где параллельно существуют различные планы, настоящий водевиль, разыгранный персонажами в ночных рубашках, которые, благодаря своим известным именам, были бы достойны попасть на перо какому-нибудь преемнику господина Феррара, чьи светские хроники так часто забавляли нас с Сен-Лу, что мы порой ради развлечения сами выдумывали нечто подобное. Что мы и сделали опять в тот самый день, как будто и не было никакой войны, хотя все наши сюжеты и были на «военную тему», а именно про боязнь цеппелинов: «Как нам стало известно из достоверных источников, герцогиня Германтская, восхитительная в своей ночной рубашке, герцог Германтский, весьма уморительный в розовой пижаме и купальном халате, и так далее…»

«Уверен, — сказал он мне, — что во всех больших отелях можно было бы увидеть этих американских евреек в ночных рубашках, стискивающих на обвислой груди жемчужные ожерелья,

которые в один прекрасный день помогут им выйти замуж за какого-нибудь вконец промотавшегося герцога. Должно быть, сейчас вечерами отель Риц напоминает Дом свободной торговли».

Следует сказать, однако, что, если война и не обострила ум Сен-Лу, ум этот, благодаря эволюции, в которой наследственность играла не последнюю роль, приобрел блеск, не виданный мною прежде. Как непохож он был на того юного блондинчика, с которым кокетничали шикарные дамы, или на желающего таковым казаться, на того болтуна, доктринера, беспрестанно играющего словами! Принадлежа к другому поколению, выросши на другом стволе, словно актер, что примеряет на себя роль, сыгранную некогда Брессаном или Делоне, он был, казалось, преемником — розоволицым, светловолосым и золотистым, в то время как тот, другой, состоял, казалось, всего из двух цветов: мрачно-черного и ослепительно-белого — господина де Шарлюса. И хотя они с дядюшкой придерживались различных мнений относительно войны, поскольку он принадлежал к той части аристократии, для которой Франция — прежде всего, в то время как господин де Шарлюс был пораженцем по своей натуре, тому, кто не видел его в качестве «первого

исполнителя роли», он готов был показать, как можно блеснуть в амплуа резонера: «Похоже, Гинденбург, — говорил я ему, — это настоящий переворот». — «Переворот или наоборот, — отвечал он мне не задумываясь. — Чем защищать интересы противника, надо было бы разгромить Австрию и Германию и европеизировать Турцию, вместо того чтобы очерногорить Францию». — «Но нам помогут Соединенные Штаты», — сказал я ему. «Ну а покуда я смогу вволю налюбоваться зрелищем разъединенных штатов. Почему бы не предоставить уступки Италии из страха, что христианство во Франции будет уничтожено!» — «Слышал бы тебя твой дядя Шарлюс! — воскликнул я. — Ты в глубине души был бы не против, чтобы папу оскорбили посильнее, а дядя с горечью думает о том зле, какое можно причинить, сидя на троне Франца-Иосифа. Впрочем, все это совершенно в духе Талейрана и Венского конгресса». — «Эпоха Венского конгресса кончилась навсегда, — ответил он мне, — от секретной дипломатии пора переходить к конкретной дипломатии. Мой дядюшка в глубине души закоренелый монархист и под этим соусом проглотит что угодно, от винограда до казнокрада, лишь бы только то и другое было а-ля Шамбор. Принимая

во внимание его ненависть к нашему триколору, думаю, ему было бы самое место под тряпкой, выкроенной из красного колпака, которую он совершенно искренне принял бы за белое знамя». Разумеется, все это были лишь слова, и Сен-Лу, по правде говоря, было далеко до по-настоящему сильного своеобразия своего дяди. Но он был приветлив и очарователен в той же степени, в какой тот, другой, был подозрителен и ревнив. Он был по-прежнему свеж и мил, как и в Бальбеке, в ореоле золотистых волос. Единственное, в чем дядя не мог его превзойти, была приверженность духу предместья Сен-Жермен, которым проникнуты все те, кому кажется, что они далеки от него, как никогда, и которое внушает уважение у интеллектуалов незнатного происхождения (что делает любую революцию бессмысленной и несправедливой), и наполняет их глупым самодовольством. От этой первоначальной смеси униженности и гордыни, приобретенной любознательности и врожденной властности, господин де Шарлюс и Сен-Лу разными путями, обладая противоположными мнениями, стали, с интервалом в одно поколение, интеллектуалами, которых занимает всякая свежая идея, и краснобаями, которых ни один собеседник не может заставить замолчать.

Да так, что какая-нибудь посредственность могла счесть их, что одного, что другого, в зависимости от того, в каком они находились положении, и ослепительными, и занудными.

«Помнишь, — говорил я ему, — наши разговоры в Донсьере?» — «Да, славные были времена. Какая пропасть отделяет нас от них. Эти чудесные дни никогда не вернутся».

Из бездны, недоступной нашим лотам,
Взмывают в небо сотни юных солнц,
Омытые на дне морей бездонных.

«Не стоит вспоминать эти беседы только лишь ради того, чтобы воскресить в памяти их сладость, — сказал я ему. — Все же мы пытались добраться до истины. Разве нынешняя война, перевернувшая все, и прежде всего, как ты сам говоришь, саму идею войны, разве она делает недействительным все то, что ты говорил мне тогда относительно этих сражений, например, наполеоновских сражений, которым еще будут подражать полководцы будущих войн?» — «Нисколько! — ответил он мне. — Сражение Наполеона — это нечто раз и навсегда признанное, и уж тем более в этой войне, в которой Гинденбург весь пропитан наполеоновским духом. Его

стремительные переброски войск, его обманные маневры, например, когда он выставляет против одного своего противника совсем маленькое заграждение, с тем чтобы в это же самое время, собрав все силы, напасть на другого (как Наполеон в 1814-м), или когда он предпринимает другой обманный маневр, заставляя противника подтянуть все свои силы на один участок фронта, вовсе, как оказывается, не главный (к примеру, такой ход Гинденбург предпринял на подступах к Варшаве, когда обманутые русские долго сопротивлялись и в итоге оказались разбиты на Мазурских озерах), его отступления, подобные тем, с каких начинались Аустерлиц, Арколь, Экмюль, — в общем, все у него наполеоновское, и ведь это еще не конец. Могу только добавить, что, хотя ты и пытаешься объяснить события этой войны по-другому, совсем иначе, чем я, все же не очень-то доверяйся той особой манере Гинденбурга и не пытайся отыскать смысл того, что он делает, или ключ к тому, что он намеревается делать. Генерал в этом смысле похож на писателя, который хочет, допустим, написать какую-то пьесу или книгу, а эта самая книга, вдруг обнаружив совершенно неожиданные возможности здесь или, наоборот, непредвиденный тупик там,

заставляет резко отклониться от заранее продуманного плана. Этот отвлекающий маневр, к примеру, должен осуществляться лишь при условии, что где-то происходит основное действие, представьте себе, этот отвлекающий маневр увенчался успехом против всех ожиданий, в то время как основная операция заканчивается полным провалом; значит, этот самый отвлекающий маневр может стать основной операцией. Я ожидаю от Гинденбурга совершенно определенного наполеоновского маневра, того самого, что сумеет развести двух противников, нас и англичан».

Вспоминая визит Сен-Лу, я сделал большой крюк и так дошагал почти до самого моста Инвалидов. Немногочисленные огни (из-за «готасов») были уже зажжены, что было несколько неуместно, поскольку слишком рано произошел переход на летнее время, когда ночная темнота наступала довольно быстро, но зато теперь это было надолго, до самой поздней осени (точно так же, как по определенным датам включается и отключается отопление), и над городом, по-ночному освещенным, во всю ширь неба — которое и не подозревало о существовании летнего и зимнего времени, и понятия не имело о том, что прежние половина девятого стали теперь половиной де-

сятого, — во всю ширь голубоватого неба все еще продолжался день. Над той частью города, где высились башни Трокадеро, небо было похоже на гигантское море бирюзового оттенка, которое отступает, успев обнажить невнятную линию черных скал, а может быть, и самодельные сети рыбаков, вытянувшиеся в ряд вдоль берега, и это были маленькие облачка. То самое море бирюзового цвета, что уносит с собой при отливе, даже не замечая этого, людей, затянутых в чудовищный водоворот на земле, той самой земле, где люди безумны настолько, что все продолжают свои революции и свои бессмысленные войны вроде той, что как раз сейчас топит в крови Францию. Впрочем, если долго смотреть на ленивое и слишком красивое небо, которое считало ниже своего достоинства всякие там переходы на другое время, и наблюдать, как над освещенным городом вяло продолжался в голубоватых тонах припоздневшийся день, начинала кружиться голова, и это было уже не море, а вертикально вставший синий ледник. И башни Трокадеро, казавшиеся такими близкими из-за бирюзовости воздуха, становились от этого невообразимо далекими, как две башни какого-нибудь швейцарского городка, которые, если смотреть издалека, высятся совсем

рядом с горными склонами. Я повернул обратно, но, как только отошел от моста Инвалидов, увидел, что небо уже потемнело, да и в городе больше совсем не было света, и, натыкаясь на мусорные баки, потеряв дорогу, машинально блуждая по лабиринту сумрачных улочек, я неожиданно для себя вышел на бульвары. Здесь только что пережитое мною ощущение Востока возникло вновь, и не только оно, — Париж времен Директории сменялся Парижем 1815 года. Как и тогда, поражало шествие самых невообразимых мундиров всех союзных армий; среди них африканцы в красных юбках-брюках, одних лишь индусов в белых тюрбанах достаточно было бы, чтобы Париж, по которому я гулял, превратился в какой-нибудь вымышленный экзотический город на Востоке, скрупулезно точный во всем, что касалось костюмов или цвета кожи, и фантастически нереальный, если судить по декорации, как если бы из родного города Карпаччо вдруг сделали Иерусалим или Константинополь, собрав в нем толпу не пестрей и не многоцветней этой. Шагая позади двух зуавов, которые, казалось, ни на кого не обращали внимания, я заметил высокого толстого человека в мягкой фетровой шляпе, в длинной накидке, и, глядя на бледно-розовое

лицо, колебался, чье имя всплывает в глубинах моей памяти, то ли это актер, то ли художник, известный также своими многочисленными оргиями. Во всяком случае, я был твердо убежден, что не знал этого прохожего лично, и был весьма удивлен, когда глаза его случайно встретились с моими и он смутился, остановился в замешательстве и поспешил ко мне, словно желая показать, что вы вовсе не застали его за занятием, которое он хотел бы сохранить в тайне. Мгновение я размышлял, кто же все-таки поздоровался со мной: это был господин де Шарлюс. Можно сказать, что для него эволюция его болезни или революция его порока была до такой степени кардинальной, когда первоначальная, едва пробудившаяся личность человека, его унаследованные качества полностью поглощаются пороком, за которым случается наблюдать, или наследственной болезнью. Господин де Шарлюс отдалился от себя так далеко, насколько это было возможно, или, вернее сказать, так превосходно загородился тем, чем он теперь стал и что принадлежало не ему одному, но и многим другим гомосексуалистам, что в первую минуту я принял его за одного из них, кто не был господином де Шарлюсом, не принадлежал к самой высокородной знати, не был

человеком, наделенным умом и ярким воображением, и который если и похож был на барона, так только потому, что был похож на всех, и эта его похожесть, по крайней мере пока не вглядишься попристальней, заглушала все. Вот так, собираясь отправиться к госпоже Вердюрен, я встретил господина де Шарлюса. И конечно же, у нее я бы не увидел его, как бывало прежде; их ссора не утихала, а, напротив, разгоралась с новой силой, и госпожа Вердюрен пользовалась нынешними событиями, чтобы опорочить его еще сильнее. Заявив когда-то давно, что она считает, будто он уже исчерпал себя, истощился, что со своими так называемыми дерзостями он надоел еще больше, чем все эти напыщенные говоруны, теперь она подтверждала этот приговор и отказывалась признавать за ним какие бы то ни было достоинства, говоря, что он какой-то «довоенный». По мнению маленького клана, война проложила пропасть между ним и настоящим, и он остался в безжизненном прошлом.

Впрочем, — это адресовалось скорее политическому миру, гораздо менее информированному — она представляла его «дешевкой», «ничтожеством», шла ли речь о его положении в свете или об интеллектуальных способностях. «Он

никого не видит, его никто не принимает», — говорила она госпоже Бонтан, которая верила ей безоглядно. Впрочем, в словах этих, без сомнения, имелась доля правды. Положение господина де Шарлюса сильно пошатнулось. Все меньше и меньше интересуясь светской жизнью, рассорившись со всем миром из-за своего сварливого нрава и считая ниже своего достоинства делать какие-либо попытки примириться с теми, кого называли цветом общества, он жил в относительной изоляции, которая, в отличие от той, что окружала ныне покойную госпожу де Вильпаризи, хотя и не была справедливым остракизмом со стороны аристократии, но в глазах публики выглядела еще худшей по двум причинам. Дурная репутация, приобретенная теперь господином де Шарлюсом, заставляла плохо осведомленных людей думать, будто ему перестали наносить визиты, между тем как это он сам отказывался посещать кого бы то ни было. И то, что на самом деле было результатом его желчного характера, казалось следствием презрения людей, по отношению к которым характер этот проявлялся. С другой стороны, за госпожой де Вильпаризи стоял мощный оплот — ее семья. Но господин де Шарлюс лишь углубил разрыв между нею и

собой. Впрочем, она — особенно ее родство со всем этим старым Предместьем, а также с кланом Курвуазье — казалось, совершенно его не интересовала. И он вовсе не догадывался, и это он-то, который из несогласия с Курвуазье делал такие резкие выпады против искусства, что именно его родство со старым предместьем Сен-Жермен, возможность живописать почти провинциальную жизнь его кузин на улице де Ла Шез вместо Пале-Бурбон и улицы Гарансьер больше всего и занимало какого-нибудь Бергота.

Затем, решив встать на другую точку зрения, более оригинальную и в то же время более практичную, госпожа Вердюрен стала утверждать, будто он вообще не француз. «Какая его настоящая национальность, он, случаем, не австриец?» — простодушно спрашивал господин Вердюрен. «Да нет же, вовсе нет», — отвечала графиня Моле, первым движением которой было все же желание руководствоваться здравым смыслом, а не злопамятностью. «А я вас уверяю, он пруссак, — говорила хозяйка. — Я знаю это совершенно точно, он сколько раз сам повторял, что является наследственным членом палаты дворян Пруссии и палаты их светлейшеств». — «Но мне королева Неаполитанская говорила…» — «Вы

что, не знаете, это же гнусная шпионка! — вскричала госпожа Вердюрен, отнюдь не забывшая, какого отношения однажды удостоилась со стороны свергнутой монархини. — Я знаю, и знаю совершенно точно, она этим живет. Будь у нас правительство немного поэнергичнее, всем им нашлось бы место в концентрационных лагерях. Ну что вы! Во всяком случае, вы очень хорошо сделаете, если не будете принимать у себя всю эту свору, потому что точно знаю, министр внутренних дел давно уже присматривает за ним, и ваш особняк окажется под подозрением. И не пытайтесь меня переубедить, я абсолютно уверена, что все эти два года Шарлюс не переставал за мной шпионить». И, полагая, вероятно, что кто-нибудь может выразить сомнение, какой интерес для немецкого правительства могли представлять обстоятельные донесения о жизни ее маленького клана, госпожа Вердюрен тоном вкрадчивым и проницательным, будучи уверена, что сказанное ею покажется лишь более убедительным, если она не станет повышать голоса, добавила: «Скажу вам больше, с самого начала я предупреждала мужа: «Что-то здесь не так, мне не нравится, как этот человек попал ко мне. Есть в этом что-то подозрительное». У нас есть домик на побережье,

в глубине бухты, на холме. Я уверена, он получил задание от немцев подготовить там базу для их подводных лодок. И было еще кое-что, что удивляло меня еще тогда, но только теперь я начинаю понимать. Так, например, вначале он не хотел приезжать поездом вместе с другими гостями. Я любезно предложила ему комнату в замке. Так нет же, он предпочел жить в Донсьере, где, как известно, стояли войска. Что это, по-вашему, если не шпионаж?»

Что касается первого обвинения, выдвинутого против барона де Шарлюса, а именно то, что он вышел из моды, свет соглашался с госпожой Вердюрен слишком легко. И являл этим черную неблагодарность, поскольку господин де Шарлюс был в каком-то смысле их поэтом, человеком, который сумел найти поэзию в окружающей всех светскости, в этой поэзии была и история, и красота, и живописное, и комическое, и беззаботное изящество. Но светские люди, не способные понять такую поэзию, не видели ее в собственной жизни и предпочитали искать поэзию где-нибудь в другом месте, они, не колеблясь, отдавали предпочтение людям, которые на самом деле стояли неизмеримо ниже господина де Шарлюса, но с пафосом утверждали, будто презирают свет

и в доказательство приводили всякие социологические и экономические теории. Господин де Шарлюс находил удовольствие в том, чтобы отмечать какие-нибудь характерные выражения, описывать продуманно изящные туалеты герцогини де Монморанси, находя ее необычайно возвышенной натурой, что воспринималось как чудовищная глупость светскими дамами, которые считали герцогиню де Монморанси бесцветной дурочкой, а ее платья, если и годились, чтобы их носить, совершенно не в состоянии были привлечь чьего-либо внимания, зато себя они мнили интеллектуалками и бежали в Сорбонну или Палату депутатов, если там должен был выступать Дешанель.

В общем, свет разочаровался в господине де Шарлюсе, и не потому, что понял его слишком хорошо, а потому, что так и не понял его редкостных интеллектуальных качеств. Его считали «довоенным», вышедшим из моды, поскольку именно те, кто менее всего способен судить о чужих достоинствах, легче всего подчиняется диктату моды, если эти достоинства нужно каким-то образом классифицировать. Они вовсе не исчерпали достойных людей одного поколения, они лишь слегка задели этот пласт, но вот уже на-

стала пора осудить их всех, ибо таковы правила игры каждого нового поколения, которое, в свое время, поймут не лучше предыдущего.

Что же до второго обвинения, а именно обвинения в германофильстве, то здравый смысл, присущий людям света, заставлял все же отвергнуть его, но обвинение это нашло своего неутомимого и особо жестокого сторонника в лице господина Мореля, который, сумев сохранить во всех газетах и даже в свете то место, которое господину де Шарлюсу удалось для него добиться, но впоследствии не удалось отобрать, причем с неимоверными усилиями и в том, и в другом случае; он преследовал барона с ненавистью, непростительной вдвойне, поскольку, каковы бы ни были его отношения с бароном, он видел от него то, что было скрыто от многих, — его истинную доброту. Господин де Шарлюс со скрипачом был настолько щедр и великодушен, проявил столько щепетильности, не нарушив своего обещания, что, расставшись с ним, скрипач вспоминал его не как человека порочного (тем более что порок барона он расценивал как болезнь), но как человека, имеющего самые возвышенные идеи, которые ему когда-либо приходилось встречать, человека необыкновенной чуткости,

даже в чем-то святого. Он не отрицал этого, даже поссорившись с ним, и говорил родным: «Вы смело можете доверить ему своего сына, он способен оказать на него самое хорошее влияние». И, хотя он пытался своими статьями заставить его страдать, в глубине души он высмеивал в нем не порок, он высмеивал добродетель.

Перед самой войной небольшие хроники, весьма прозрачные для тех, кого называли посвященными, стали намекать на самый большой грех господина де Шарлюса. Одну из них, озаглавленную «Злоключения старой светской кокотки, или Тоскливые дни баронессы», госпожа Вердюрен купила в количестве пятидесяти экземпляров, чтобы одаривать своих знакомых, а господин Вердюрен, заявив, что и Вольтер не написал бы лучше, пристрастился читать их вслух. С началом войны тон изменился. Теперь стали разоблачать не только гомосексуализм барона, но и его якобы германское происхождение. Фрау Бош, Фрау ван ден Бош — таковы были прозвища, под которыми отныне фигурировал господин де Шарлюс. Один отрывок весьма поэтического характера вызывал в памяти танцевальные мелодии Бетховена, он назывался «Аллеманда». Два других: «Американский дядюшка и франкфуртская тетушка»

и «Кавалер из арьергарда», прочитанные с пристрастием членами маленького клана, вызвали одобрение самого Бришо, который вскричал в избытке чувств: «Только бы нас не вымарала эта весьма влиятельная дама Анастасия!»

Сами статьи были гораздо тоньше и остроумнее, чем эти нелепые заголовки. Их стиль был позаимствован у самого Бергота, но таким образом, что лишь я один оказался способен это почувствовать, и вот почему. Писания Бергота ни в коей степени не повлияли на Мореля. Оплодотворение произошло совершенно особым образом и столь редкостным, что ради одного этого я привожу его здесь. Я в свое время отметил удивительную манеру Бергота подбирать слова при разговоре и выговаривать их. Морель, которого я в течение долгого времени встречал у Сен-Лу, умудрялся тогда делать на этом «пародии», превосходно имитировал его голос, и даже ухитрялся подбирать те же слова. А теперь Морель в своих статьях просто переписывал разговоры Бергота, но при этом не подвергал их такому преобразованию, какое производил сам Берготт в своей письменной речи. С самим Берготом мало кто разговаривал, поэтому люди не узнавали его тона, столь отличного от его же

стиля. Это оральное оплодотворение встречается столь редко, что мне захотелось рассказать про него здесь. Впрочем, следует добавить, оно рождает к жизни лишь бесплодные цветы.

Морель, который служил в это время в департаменте печати и чья французская кровь бурлила в венах, как виноградный сок в бочках Комбре, считал, что сидеть в департаменте отнюдь не то, чем следует заниматься во время войны, и записался добровольцем в армию, хотя госпожа Вердюрен сделала все возможное, чтобы убедить его остаться в Париже. Разумеется, она была возмущена, что господин де Камбремер, в его-то возрасте, находился при штабе, и это она, которая о каждом мужчине, не посещавшем ее, говорила: «Ну и где же теперь такой-то умудрился спрятаться?», и когда ей отвечали, что такой-то с первого дня находится не где-нибудь, а на передовой, отвечала без зазрения совести, верная своему обыкновению лгать, а быть может, привычке постоянно ошибаться: «Ничего подобного, он и шагу не сделал из Парижа, он занимается здесь чем-то таким, не слишком опасным, кажется, сопровождает министра, я вам говорю, я отвечаю за свои слова, я это точно знаю от одного человека, который видел его своими собственными

глазами»; но завсегдатаев — это же совершенно другое дело — она не хотела отпускать, считая войну большой «скучищей», ради которой они ее бросают. И она предпринимала всевозможные шаги, чтобы они остались, и получала двойное удовольствие, приглашая их на ужин, потому что пока они еще не пришли или когда уже ушли, она имела возможность поиздеваться над их бездействием. Ей очень нужно было, чтобы завсегдатай попался в эту ловушку, и ей было весьма досадно видеть, что Морель продолжает упорствовать; она долго и безуспешно внушала ему: «Ну да, да, вы служите теперь в этом департаменте, а не воюете на передовой. Главное — быть полезным, по-настоящему участвовать в войне, будь ты на фронте или в тылу. Одни на фронте, другие в тылу, да, вы в тылу, и будьте спокойны, все это правильно понимают, и никто не кинет в вас камень». Точно так же совсем при иных обстоятельствах, когда мужчины еще не были столь редки и ей не приходилось, как теперь, принимать у себя в основном женщин, если одному из них случалось похоронить мать, госпожа Вердюрен тут же принималась убеждать его, что он так же может продолжать посещать ее приемы. «Горе носят в сердце. Вот если бы вы

собирались отправиться на бал (которых сама она не давала), я бы первая вам это отсоветовала, но тут, на наших средах, или в ложе бенуара, никто этому не удивится. Все знают, что у вас горе». Теперь же, когда мужчин стало так мало, а траура, напротив, слишком много, было бесполезно и пытаться удерживать их от светских визитов, войны хватало на всех. Госпожа Вердюрен цеплялась за оставшихся. Она желала их убедить, что они принесут гораздо больше пользы Франции, оставшись здесь, в Париже, как некогда она их уверяла, что усопший был бы только счастлив видеть, как они развлекаются. Несмотря на это, мужчин у нее оставалось все меньше; может быть, она порой и жалела о своей размолвке с господином де Шарлюсом, из-за которой он больше не появлялся у нее.

Но хотя господин де Шарлюс и госпожа Вердюрен больше не посещали друг друга, они не перестали от этого госпожа Вердюрен — принимать, а господин де Шарлюс — выходить в свое удовольствие, как будто бы ничего не изменилось — с одной только небольшой и малосущественной разницей: к примеру, на приемах у госпожи Вердюрен Котар появлялся теперь в мундире полковника из спектакля «Остров мечты», весь-

ма похожий на мундир гаитянского адмирала, а широкий небесно-голубой бант на сукне напоминал форменное платье воспитанниц приюта для девочек; господин де Шарлюс, оказавшись в городе, откуда исчезли взрослые мужчины, к которым он питал склонность прежде, поступил так, как некоторые французы, любители женщин во Франции, но вынужденные жить в колониях: сперва по необходимости, потом по привычке, затем войдя во вкус, он стал питать склонность к совсем юным особам.

Впрочем, первая из этих характерных черточек исчезла довольно быстро, поскольку Котар вскоре умер «лицом к врагу», как писали газеты, хотя он и не покидал Парижа, но он слишком переутомился для своего возраста, а за ним вскоре последовал и господин Вердюрен, чья смерть, похоже, опечалила одного-единственного человека, и это был Эльстир. Я имел возможность изучить его творчество, как мне кажется, в достаточно полном объеме. Но он, особенно по мере того, как старел, все больше суеверно привязывался к обществу, которое предоставляло ему модели, и затем, подвергшись алхимическому процессу через впечатления и ощущения, само превращалось у него в произведение искусства, дарило ему

публику и зрителей. Склонный по-материалистически верить, что главная красота заключена в самых простых вещах, и в госпоже Эльстир ценя этот тип чуть тяжеловесной красоты, которую он лелеял, которую стремился передать в своих картинах и рисунках, он понимал, что с господином Вердюреном исчезли последние следы того социального окружения, тленного и преходящего — так же быстро устаревающего, как и сама мода на одежду, частью которого она и является, — которое поддерживает искусство, удостоверяет его подлинность, так Революция, уничтожив изысканную утонченность XVIII века, могла бы привести в отчаяние живописца галантных празднеств или заставить страдать Ренуара оттого, что исчезли старый Монмартр и Мулен де ла Галетт; но главное, он понимал, что с господином Вердюреном исчезли его зрение и его восприятие, то есть самое верное видение его живописи, которая, если можно так сказать, и жила в этом любящем взоре. Конечно, появились молодые люди, которые тоже ценили живопись, но это была другая живопись, и они не получили, в отличие от Свана, в отличие от господина Вердюрена, уроков вкуса Уистлера, уроков правды Моне, позволяющих им по справедливости оце-

нить Эльстира. Он словно осиротел после смерти господина Вердюрена, с которым, впрочем, рассорился уже много лет назад, и ему казалось, будто какая-то часть красоты его картин исчезла вместе с исчезновением какой-то части осознания и видения этой красоты.

Что же касается изменений в пристрастиях господина де Шарлюса, тут он не отвергал никаких возможностей. Поскольку он поддерживал бурную переписку с «передовой», у него не было недостатка в зрелых мужчинах, из тех, что получали увольнительную.

Во времена, когда я еще доверял всему, что говорили вокруг, я мог бы постараться, слыша, как Германия, затем Болгария, а потом Греция пытаются убедить всех в своих мирных намерениях, принять эти заявления на веру. Но с тех пор как жизнь с Альбертиной и Франсуазой приучила меня подозревать у них мысли и планы, которые они не выражали вслух, никакие, даже самые, казалось бы, искренние заявления Вильгельма II, болгарского царя Фердинанда и греческого — Константина уже не могли обмануть мой инстинкт, научившийся угадывать, что за всем этим стоит. Разумеется, мои ссоры с Франсуазой и Альбертиной были частными ссорами, которые

могли заинтересовать лишь жизнь этой маленькой духовной клеточки — человека. Но в то же самое время клетка эта является частью живого тела, человеческого тела, то есть соединения клеток, каждое из которых по сравнению с ней одной — огромно, как Монблан, точно так же существуют гигантские упорядоченные нагромождения индивидуумов, называемых нациями; их жизнь повторяет, только в больших масштабах, жизнь составляющих их клеток, и тот, кто не способен понять загадку, реакции, законы этой клетки, говоря о борьбе наций, будет произносить лишь ничего не значащие слова. Но если он хорошо разбирается в психологии индивидуумов, эти колоссальные массы скопившихся индивидуумов, сталкивающихся друг с другом, будут обладать в его глазах красотой еще более впечатляющей, чем борьба, возникшая просто из столкновения двух характеров; он увидит их в масштабе, какими видят высокого человека инфузории, которых нужно более десяти тысяч, чтобы заполнить пространство, равное одному кубическому миллиметру. Так, уже в течение какого-то времени огромная фигура, представлявшая Францию, заполненная по всей своей площади миллионами крошечных многоугольников самой разнообраз-

ной формы, и другая фигура, заполненная еще большим количеством многоугольников, Англия, переживали один из таких конфликтов. И с этой точки зрения, тело Франции и тело Англии, равно как и тела союзников и врагов, вели себя в каком-то смысле как индивидуумы. Но удары, которыми они обменивались, подчинялись этим бесчисленным правилам бокса, принципы которого изложил мне Сен-Лу; и поскольку, пусть даже и считали их индивидуумами, они все же представляли собой гигантские агломерации, конфликт принял масштабы огромные и величественные, словно вздыбленный океан с миллионами волн пытается смять многовековую линию скал, как будто гигантские ледники, медленно и угрожающе раскачиваясь, пытаются разрушить рисунок гор, меж которыми они заключены.

Несмотря на это, жизнь оставалась почти такой, как прежде, для многих персонажей этого рассказа, а именно для господина де Шарлюса и Вердюренов, как будто бы и не было рядом с ними никаких немцев, поскольку постоянная угроза, хотя как раз сейчас и существовала реальная опасность, оставляет нас совершенно равнодушными, если мы воочию не представляем ее. Обычно люди думают лишь о собственных удо-

вольствиях, им и в голову не приходит, что стоит лишь исчезнуть ослабляющим и сдерживающим факторам, скорость размножения инфузорий достигнет максимума, то есть за несколько дней произойдет скачок на несколько миллионов миль, и из кубического миллиметра получится масса в миллион раз больше солнца, но при этом будет разрушен весь кислород, все субстанции, необходимые нам для жизни, и не будет ни человечества, ни животных, ни самой земли, им также не приходит в голову, что в эфире произойдет непоправимая и весьма реальная катастрофа, вызванная непрерывной и необузданной активностью солнца, внешне ничем не проявляемой: они продолжают заниматься своими делами, нисколько не думая об этих двух мирах, один из которых слишком мал, другой слишком велик, чтобы они обратили внимание на космическую угрозу, витающую вокруг.

Вот так Вердюрены продолжали давать обеды (а вскоре одна лишь госпожа Вердюрен, поскольку незадолго до этого господин Вердюрен умер), а господин Де Шарлюс продолжал предаваться удовольствиям по своему обыкновению, ничуть не заботясь о том, что немцы — остановленные, правда, той кровавой преградой, что обновлялась

практически каждый день, — находились всего лишь в часе езды от Парижа. Впрочем, нет, пожалуй, Вердюрены об этом все-таки думали, ведь это был как-никак политический салон, где каждый вечер обсуждали ситуацию на фронте, причем не только в сухопутных войсках, но и на флоте. Они и в самом деле думали об этой кровавой каше, в которой уничтожались полки, перемалывались солдаты, но сознание до такой степени умножает и выделяет то, что имеет отношение к нашему благополучию, и в то же время делит на невообразимо огромное число все, что к нему отношения не имеет, что гибель миллионов неизвестных людей задевает нас не больше, чем сквозняк, и неприятен нам не более, чем он же. Госпожа Вердюрен, страдающая мигренями и не имеющая возможности унять головную боль, макая круассан в кофе с молоком, в конце концов добилась с помощью Котара специального разрешения и смогла отныне заказывать их в одном ресторане, о котором уже шла здесь речь. А добиться этого у нынешних властей было немногим легче, чем добыть звание генерала. Свой первый круассан она заполучила в то самое утро, когда все газеты сообщили о гибели «Лузитании». Макая круассан в кофе с молоком и щелкая пальцем по газетной

странице, чтобы та не сворачивалась и лежала ровно, а ей не приходилось задействовать другую руку, необходимую ей в тот момент для макания круассана, она говорила: «Какой ужас! Все прочие трагедии просто меркнут перед подобным ужасом». Но смерть всех этих несчастных, должно быть, представлялась ей в тот момент в одну миллиардную от истинных масштабов трагедии, поскольку, когда она с набитым ртом высказывала эти свои соболезнующие сентенции, лицо ее выражало скорее удовольствие от круассана, столь полезного при мигренях. Что же касается господина де Шарлюса, здесь все было немного иначе, но только еще хуже, ладно бы он просто не высказывал страстного желания видеть Францию победительницей, но он скорее хотел, сам в этом не признаваясь, чтобы Германия если и не торжествовала, то хотя бы просто не была уничтожена и раздавлена, как желали того все остальные. И причина была в том, что в этих конфликтах огромные скопления индивидуумов, называемые нациями, сами при определенных обстоятельствах ведут себя, как индивидуумы. Логика, руководящая их поведением, — это внутренняя логика, к тому же постоянно подогреваемая страстью, как во время

любовной или семейной ссоры, ссоры отца с сыном, кухарки со своей хозяйкой, жены с мужем. Тот, кто виновен, полагает зачастую, что прав, — как, например, Германия, — а тот, кто прав, приводит порой такие аргументы своей правоты, которые кажутся неопровержимыми лишь потому, что отвечают его страстным желаниям. В подобного рода конфликтах, для того чтобы удостовериться в справедливости аргументов все равно какой стороны, самое верное — оказаться этой самой стороной, поскольку никто из сторонних наблюдателей не сможет отыскать достаточно убедительных оправданий. Так для нации любой индивидуум, если он и в самом деле является частью этой самой нации, представляет собой всего лишь клеточку индивидуума-нации. Понятие «обработка населения» само по себе лишено смысла. Если сказать французам, что их разобьют, ни один из них не будет огорчен больше, чем если бы ему сказали, что лично он будет убит выстрелом «большой Берты». Настоящую обработку население устраивает себе само, и это называется ложной надеждой, это своего рода инстинкт самосохранения нации, если ты действительно представитель этой самой нации. Для того чтобы закрывать глаза на все несправед-

ливости, творимые индивидуумом-Германией, и безоговорочно признавать справедливым все, что исходит от индивидуума-Франции, вовсе не обязательно, чтобы у немца отсутствовала способность к здравому мышлению, а у француза она имелась, необходимо, чтобы у той и у другой стороны было чувство патриотизма. Господин де Шарлюс, обладавший редчайшими моральными качествами, отличавшийся щедростью и умением сочувствовать, способный к самопожертвованию и к проявлению нежности, в силу различных обстоятельств — из которых не последнюю роль играл тот факт, что матерью его была герцогиня де Бавьер, — патриотических чувств не имел. Следовательно, он был частицей как тела Франции, так и тела Германии. Если бы я сам был лишен патриотизма и оказался не способен воспринимать себя как клеточку тела Франции, мне кажется, мой взгляд на конфликт был бы совсем иным. В отрочестве, когда я верил буквально всему, что только было мне сказано, услышав, как немецкое правительство делает заявления о своих добрых намерениях, я бы, разумеется, постарался не ставить под сомнение эту декларацию; но уже с давних пор я знал, что наши мысли не всегда соответствуют нашим словам

— мало того, что однажды в лестничное окошко я увидел Шарлюса таким, каким не мог себе его представить, но еще больше поразили меня поступки Франсуазы, а затем, увы, и Альбертины, которые так часто отличались от тех намерений, что бывали ими высказаны прежде, что я, будучи даже неискушенным наблюдателем, не мог допустить, чтобы какие-нибудь слова императора Германии или царя Болгарии, какими бы справедливыми ни казались они, обманули мой инстинкт, благодаря которому мог уже, как в случае с Альбертиной, догадаться о том, что не было произнесено вслух. Но в конце концов я могу лишь предполагать, что бы я предпринял, не будь я сам действующим лицом, не будь я сам частицей действующего лица по имени Франция, подобно тому как во время ссор с Альбертиной мой грустный взгляд или сдавленное от волнения горло тоже являлись частью моего индивидуума, и бесстрастным быть я просто не мог. Равнодушие же господина де Шарлюса было безграничным. Но, будучи сторонним наблюдателем, ему ничего не оставалось, как превращаться в германофила, поскольку он жил во Франции, не являясь в полной мере французом. Он был необыкновенно тонким человекам, а в любой стране идиотов

гораздо больше; нисколько не сомневаюсь, что, живи он в Германии, немецкие идиоты, с идиотским пылом защищающие неправое дело, раздражали бы его безмерно, но коль скоро он жил во Франции, его раздражали французские идиоты, с идиотским пылом защищающие правое дело. Логика страсти, даже если она служит справедливости, никогда не убеждает того, кто этой страстью не охвачен. Господин де Шарлюс тонко и умно разоблачал разглагольствования патриотов. Удовлетворение, какое доставляет идиоту его правота и уверенность в успехе, раздражает нас неимоверно. Господина де Шарлюса раздражал восторженный оптимизм тех людей, которые, не зная Германии и ее мощи, как их знал он, каждый месяц уверяли, что через месяц с Германией будет покончено, а по истечении года были так же непоколебимо уверены в правильности своих очередных прогнозов, как будто бы и не высказывали никогда предположений, оказавшихся ложными, но о которых они совершенно позабыли, а если бы им и напомнили, стали бы уверять, что ну-это-совсем-другое-дело. Так господин де Шарлюс, отличавшийся глубоким умом, должно быть, и не понял в искусстве это «ну-это-совсем-другое-дело», брошенное нис-

провергателями Моне в лицо тем, кто заявлял, что «то же самое говорили про Делакруа».

И наконец, господин де Шарлюс был жалостлив, одна мысль о поражении причиняла ему боль, он всегда был на стороне слабого и никогда не читал криминальной хроники, потому что не хотел испытывать отчаяния приговоренного к смертной казни, его страстного желания убить судью, палача, и наблюдать эту толпу, счастливую сознанием, что «правосудие свершилось». Во всяком случае, было очевидно, что Франция побеждена быть не может, между тем как ему было известно, что немцы страдают от голода и рано или поздно вынуждены будут сдаться на милость победителю. Эта мысль, и она тоже, была ему тем более неприятна, что сам он жил во Франции. Воспоминания его о Германии были, несмотря ни на что, весьма давними, в то время как французы, которые говорили о разгроме Германии с радостью, вызывали у него отвращение, к тому же все они были людьми, недостатки которых он прекрасно знал, что было неприятно вдвойне. В подобных случаях оплакивают скорее тех, с кем мало знакомы, кого лишь представляют в воображении, чем тех, кто находится рядом с нами в пошлости повседневной жизни, при условии, ко-

нечно, что сами мы не являемся теми, вторыми; патриотизм совершает чудеса, мы принимаем сторону своей страны, как во время любовных ссор принимаем собственную сторону.

Так война стала для господина де Шарлюса крайне благодатной почвой, на которой произрастала его ненависть; вспышки этой самой ненависти рождались у него мгновенно, длились недолго, но уж пока они длились, он был способен на любую жестокость. Когда он читал газеты, триумфальный тон хроникеров, ежедневно изощряющихся в унижениях и оскорблениях в адрес Германии: «загнанный зверь, ни на что больше не способный», приводил его в ярость своим свирепым и жизнерадостным идиотизмом. Как раз в это время во многих газетах засели известные люди, ищущие таким способом возможность «вновь поступить на службу», всякие там Бришо, Норпуа, а также Морель и Легранден. Господин де Шарлюс мечтал встретиться с ними и подавить своим мрачным сарказмом. Будучи прекрасно осведомлен относительно всего, что имело отношение к сексуальным порокам, он знал о наличии таковых у людей, которые были уверены, что никто не подозревает об этом, и с особенным удовольствием разоблачали их у

властителей «империи хищников», таких как Вагнер и другие. Он горел желанием оказаться с ними лицом к лицу, ткнуть их носом в собственный порок, сделать это на виду у всех и оставить обидчиков раздавленными, опозоренными, сломленными.

Наконец, господин де Шарлюс имел и другие, на этот раз совершенно личные, причины быть германофилом. Одна из них состояла в том, что сам, будучи человеком светским, он долгое время жил среди светских людей, среди людей достойных, благородных, тех, кто не подаст руки подлецу, ему хорошо была известна их тактичность, равно как и твердость; он прекрасно знал об их нечувствительности к слезам человека, изгнанного из их круга или того, с кем отказываются они сражаться, хотя бы даже этот самый акт «нравственной чистоплотности» стал причиной смерти матери сей заблудшей овцы. Каково бы ни было его восхищение Англией, тем способом, каким вступила она в войну, эта безупречная, неспособная лгать Англия, строго следящая, чтобы ни пшеница, ни молоко не попали в Германию, мало походила на нацию порядочных людей, поборников правосудия, арбитров в делах чести; в то же самое время он знал, что самые порочные, самые подлые из

людей вроде некоторых персонажей Достоевского оказываются порой самыми лучшими и благородными, и я так никогда и не мог понять, почему он отождествлял немцев именно с ними, ведь лжи и хитрости вовсе не достаточно, чтобы предположить сердечную доброту, которой, похоже, немцы так и не проявили.

И наконец, еще одна черточка дополняла картину германофильства, которую наблюдали все у господина де Шарлюса: причиной был его «карлизм». Немцев он находил весьма уродливыми, возможно, оттого, что они были слишком близки ему по крови; он был без ума от марокканцев, но особенно от англосаксов, которые представлялись ему ожившими статуями Фидия. Удовольствие в его восприятии было невозможно без некоторой доли жестокости, всю силу которой в тот момент я еще не способен был осознать; человек, которого он *любил*, представлялся ему нежнейшим палачом. Выступая против немцев, он, как ему казалось, вел себя так, как мог бы вести себя лишь в минуты наслаждения, то есть шел бы против своей жалостливой природы, иными словами, — весь во власти обольстительного зла, разрушающего добродетельное уродство. Так было еще в дни убийства Распутина, убийства, на

котором, впрочем, с большим удивлением обнаружили сильный отпечаток русскости, во время ужина а-ля Достоевский (и это впечатление было бы еще сильнее, узнай публика то, о чем хорошо было известно господину де Шарлюсу), потому что жизнь до такой степени разочаровывает нас, что в конце концов мы начинаем верить, будто литература не имеет к ней никакого отношения, и с удивлением наблюдаем, как драгоценные мысли, донесенные до нас книгами, выставляются напоказ, не боясь обветшать, прийти в негодность, выставляются непринужденно, как будто бы так и надо, в нашу повседневную жизнь, и к примеру, в ужине, в убийстве, в русских событиях непременно есть что-то «русское».

Конца войне все не было видно, и тем, кто уже много лет назад, ссылаясь на самые надежные источники, заявлял о якобы начавшихся мирных переговорах, уточняя даже условия соглашения, теперь в беседах с вами даже в голову не приходило извиниться за свои тогдашние ложные сведения. Они о них просто-напросто забыли и уже были искренне готовы распространять другие, о которых забудут так же быстро. Это было время, когда не прекращались налеты готасов, и казалось, сам воздух похрустывает от беспрерыв-

ной гулкой вибрации французских аэропланов. Но временами раздавался вой сирен, как раздирающий призыв валькирий — единственная немецкая музыка, какую можно было услышать с начала войны, — и так продолжалось до той минуты, пока пожарные не возвещали конец воздушной тревоги, а голос из репродуктора рядом с ними, словно какой-то невидимый мальчишка, с регулярными интервалами комментировал эту славную новость и оглашал воздух радостными криками.

Господин де Шарлюс с изумлением наблюдал, что даже люди, подобные Бришо, которые до войны были милитаристами, теперь более всего упрекали Францию в недостатке милитаризма, а Германии ставили в вину излишек этого самого милитаризма и, мало этого, даже ее восхищение армией. Разумеется, они меняли мнение, как только речь заходила о замедлении хода войны с Германией, и не без оснований разоблачали пацифистов. Но вот, к примеру, Бришо, согласившийся проанализировать во время публичной лекции некоторые произведения, изданные у нейтралов, превознес до небес роман некоего швейцарца, в котором высмеивались два мальчика, выразившие восторг при виде драгуна, в

этом угадывались семена милитаризма. Ничего удивительного, что подобная насмешка и по другим причинам могла быть неприятна господину де Шарлюсу, который вполне допускал, что драгун бывает очень красив. Но что он совершенно отказывался понимать, так это восхищение Бришо даже не той книгой, которой сам он, впрочем, не читал, а тем способом мышления, столь чуждым тому, что проявлял Бришо до войны. Все, что ни делал военный, признавалось правильным, будь то растраты генерала Буадеффра, уловки и махинации полковника дю Пати де Клама или фальшивка полковника Анри. Какой странный оборот на сто восемьдесят градусов (который, по правде говоря, был и не оборотом вовсе, а просто оборотной стороной той же самой благородной страсти, патриотической страсти, милитаристской, когда речь шла о борьбе против дрейфусарства, которая теперь превращалась в собственную противоположность, была почти антимилитаристской, поскольку речь шла о борьбе со сверхмилитаристской Германией) заставил Бришо воскликнуть: «О чудесное зрелище, достойное внимания юношества жестокого века, знающего единственно лишь культ грубой силы: драгун! Можно представить, в какую гнусную

солдатню превратится поколение, воспитанное на восхищении этой животной силой. Так Шпиттелер, желая хоть что-то противопоставить этой уродливой концепции — меч превыше всего, — символическим образом поселил в лесной чаще высмеянного, оболганного, одинокого героя-мечтателя, которому дал имя Безумный Студент и наделил его той нежностью — увы, вышедшей из моды, — что вскоре исчезнет совсем, если не будет уничтожено царство их старого бога, пленительной нежностью мирной эпохи».

«Вы же знаете, — сказал мне господин де Шарлюс, — Котара и Камбремера. Каждый раз, стоит нам встретиться, они начинают говорить мне о том, что Германии не хватает психологического чутья. Между нами говоря, неужели вы верите, что до сего момента их очень заботили подобного рода проблемы и что даже сейчас они способны это хоть как-то доказать? Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Заходит ли речь о самых знаменитых немцах, о Ницше или Гете, Котар говорит: «С тем недостатком психологического чутья, которое вообще характеризует тевтонскую расу». Разумеется, в этой войне есть вещи, которые огорчают меня куда сильнее, но, поверьте, и это раздражает невероятно. Норпуа тоньше,

вынужден это признать, хотя с самого начала ошибался не переставая. А эти статьи, возбуждающие всеобщий энтузиазм! Милый мой, вы не хуже меня знаете, чего стоит этот Бришо, которого я искренне люблю, даже после того раскола, что отлучил меня от его маленькой церкви, из-за чего теперь я вижусь с ним гораздо реже. Но, в конце концов, я испытываю известное уважение к этому коллежскому регенту, весьма образованному и к тому же красноречивому, и нахожу весьма трогательным, что он в его возрасте — надо признать, он сильно сдал за последние годы, и это весьма заметно, — вновь хочет, как он сам выражается, «служить». Но не следует забывать, добрые намерения — это одно, а талант — совсем другое, а его-то как раз у Бришо не было никогда. Признаюсь, что порой разделяю его восхищение величием нынешней войны. Хотя довольно странно, что такой безрассудный апологет античности, как Бришо, который буквально облил сарказмом Золя, полагающего, будто в лачуге рабочего или в шахте поэзии больше, чем в старинном дворце, а также Гонкура, ставящего Дидро превыше Гомера, а Ватто превыше Рафаэля, теперь беспрестанно повторяет нам, что Фермопилы и даже Аустерлиц — ничто по срав-

нению с Вокуа. Впрочем, в этом случае публика, которая противилась модернизации литературы и искусства, с готовностью восприняла модернизацию войны, потому что наблюдается мода на подобный образ мысли и потом, все эти недалекие умишки раздавлены отнюдь не красотой, но громадностью этого действа. И хотя теперь слово «колоссальный» пишется по-другому, все по-прежнему преклоняются перед колоссальным. Кстати, коль скоро мы заговорили о Бришо, вы не видели Мореля? Говорят, он хочет встретиться со мной. Что ж, только пускай сам начинает, я ведь старше, не мне делать первый шаг».

Несколько забегая вперед, расскажем, что, к сожалению, на следующий же день господин де Шарлюс столкнулся на улице с Морелем; тот, дабы вызвать его ревность, взял его за руку и стал рассказывать какие-то более или менее правдоподобные истории, но, когда вконец растерявшийся господин де Шарлюс, нуждавшийся в том, чтобы нынче вечером Морель остался у него, попытался перейти к делу, тот, заприметив какого-то приятеля, распрощался с господином де Шарлюсом, который, полагая, будто угрозой, что, разумеется, никогда осуществлена не будет, можно остановить Мореля, сказал ему: «Берегись,

я отомщу», — а Морель, посмеиваясь, удалился, обхватив за талию и похлопывая по плечу удивленного приятеля.

Без сомнения, слова, сказанные господином де Шарлюсом про Мореля, должны были свидетельствовать о том, до какой степени любовь — а барон, судя по всему, любил по-прежнему — делает человека более доверчивым и менее гордым (при этом гораздо более обидчивым и склонным навоображать себе невесть что). Но, когда господин де Шарлюс добавлял: «Этот мальчишка без ума от женщин и не может думать ни о чем другом», — похоже, он и сам не подозревал, до какой степени прав. Он говорил это из самолюбия, из любви, чтобы другие могли поверить, будто привязанность к нему Мореля совсем не то, что они думают. Но я-то в это, разумеется, не верил, ведь, в отличие от господина де Шарлюса, остающегося по-прежнему в полном неведении, я был свидетелем того, как за пятьдесят франков Морель провел ночь с принцем Германтским. И если, видя проходящего мимо господина де Шарлюса, Морель (за исключением тех дней накануне исповеди, когда он специально сталкивался с ним, чтобы иметь возможность грустно произнести: «О! простите, признаю, я отвратительно вел себя

с вами»), сидя на террасе кафе в компании приятелей, вместе с ними улюлюкал и тыкал пальцем в барона, выкрикивая те самые насмешливые словечки, какие обычно кричат старому гомосексуалисту, я был убежден, что это была всего лишь игра и если бы любой из этих разоблачителей был принят бароном лично, то сделал бы все, что бы тот ни потребовал. Я заблуждался. Если какой-нибудь необычный импульс, побуждение могли привести к гомосексуализму — причем неважно, в каком социальном слое, — людей, подобных Сен-Лу, бесконечно от этого далеких, то совсем другой импульс отвращал от этой практики тех, для кого она была привычной. У некоторых перемены были вызваны запоздалым религиозным раскаянием, волнением, какое они испытывали, когда время от времени в обществе разражались скандалы, или же страхом перед несуществующей болезнью, в наличии которой их совершенно искренне уверяли родственники, зачастую какие-нибудь консьержи или камердинеры, действующие с неискренностью ревнивых любовников, полагающих, будто таким способом смогут сохранить этого молодого человека при себе, а на самом деле отталкивали его как от себя, так и от других тоже. Так бывший лифтер из

Бальбека ни за какие деньги на свете не принял бы предложений, казавшихся ему теперь столь же опасными, как и вражеские. Что же касается Мореля, то его отказы всем без исключения, о чем господин де Шарлюс, сам о том не подозревая, сказал чистую правду, которая подтверждала его иллюзии и уничтожала надежды, имели свою причину: через два года после разрыва с господином де Шарлюсом он влюбился в женщину, стал с ней жить, и она, обладая более сильной, чем он, волей, сумела заставить его сохранять ей верность. Да так, что Морель, который в те времена, когда господин де Шарлюс давал ему столько денег, согласился провести ночь с принцем Германтским за пятьдесят франков, теперь не принял бы никаких предложений ни от него, ни от кого бы то ни было, пообещай ему даже пятьдесят тысяч франков. Впрочем, дело было не в чести и не в бескорыстии, просто его «жена» сумела вбить ему в голову кое-какие понятия о самоуважении, доходившем до открытой бравады и утверждений, будто ему наплевать на все деньги на свете, если деньги эти предлагаются на определенных условиях. Так различные физиологические законы в процессе развития человеческого рода компенсируют то, что в том

или ином смысле, благодаря изобилию или, напротив, нехватке чего-либо, могло бы привести к его уничтожению. Точно так же происходит и с растениями, когда высшая мудрость, которую подчеркивал еще Дарвин, регулирует способы оплодотворения, противопоставляя их последовательно один другому.

«Впрочем, все это довольно странно, — добавил господин де Шарлюс каким-то пискливым голосом, который иногда вдруг у него прорезывался. — Мне приходилось слышать от людей, причем от людей, казалось бы, совершенно счастливых, пьющих с утра до вечера превосходные коктейли, приходилось слышать, как вдруг ни с того ни с сего они заявляли, что не доживут до конца войны, что их сердце не выдержит, что они в одночасье умрут и не могут думать ни о чем другом. И, что самое странное, именно это с ними и происходило. Любопытная вещь! Может быть, все дело в пище, ведь теперь им приходится так плохо питаться, или, чтобы доказать свое рвение, они впрягаются в совершенно бессмысленную работу и нарушают режим, который поддерживал их до сих пор? Но я наблюдаю уже достаточное количество таких странных преждевременных смертей, преждевременных с точки зрения усоп-

шего. Не знаю, упоминал ли я вам, что Норпуа восхищался этой войной. Но какая странная манера говорить об этом! Прежде всего, заметили ли вы, как быстро размножаются все эти новые выражения, а когда они в конце концов все же стираются от частого употребления — ибо воистину Норпуа неутомим, думаю, что смерть моей тетушки подарила ему вторую молодость, — их мгновенно заменяют другие трюизмы? Помню, когда-то вы очень забавлялись, отмечая языковые штампы, которые вдруг появлялись, какое-то время существовали, потом исчезали, все эти «тот, кто посеет ветер, пожнет бурю», «собаки лают, караван идет», «обеспечьте мне правильную политику, я обеспечу вам правильное финансирование, говорил барон Луи», «существуют симптомы, которые было бы преувеличением воспринимать трагически, но их стоит воспринимать всерьез», «работать на прусского короля» (впрочем, как раз это выражение возродилось, ничего удивительного). А потом, увы! сколько их скончалось! И появились другие: «грязный клочок бумаги», «империя хищников», «знаменитая немецкая Kultur, которая проявляется в том, чтобы убивать беззащитных женщин и детей», «победа, как говорят японцы, на стороне того, кто

умеет терпеть страдания на четверть часа больше, чем другой», «германо-туранцы», «варварство по-научному», «если мы хотим выиграть войну, как крепко выразился господин Ллойд Джордж», и, наконец, все эти бесчисленные «наступательный дух войска», «железная отвага войска». Даже синтаксис нашего восхитительного Норпуа за время войны претерпел столь же глубокие изменения — в сторону ухудшения, — что и выпечка хлеба или работа городского транспорта. Обращали ли вы внимание, что этот замечательный человек, который намеревается представить свои желания не как желания, а как уже почти свершившийся факт, все же не осмеливается употреблять обычное будущее время, поскольку рискует быть опровергнутым ходом событий, а в качестве признака будущего времени приспособил глагол «мочь»?» Я признался господину де Шарлюсу, что не совсем понимаю, что он имеет в виду.

Мне следует здесь отметить, что герцог Германтский ни в коей мере не разделял пессимизма своего брата. Он был в той же степени англофилом, в какой господин де Шарлюс — англофобом. И наконец, господина Кайо он считал предателем, который тысячу раз заслуживает расстрела.

Когда брат попросил представить доказательства этого предательства, герцог Германтский ответил, что если бы можно было осуждать лишь тех, кто собственноручно подписал признания своей вины или же во всеуслышание заявил: «Да, я предал», то подобного рода преступления не были бы наказаны никогда. Но поскольку больше у меня уже не будет возможности вернуться к этой теме, отмечу здесь же, что два года спустя герцог Германтский, весь кипя благородным антикайотизмом, встретил как-то английского военного атташе с супругой, чету исключительно просвещенную, с которой он близко сошелся, как в эпоху дела Дрейфуса — с тремя очаровательными дамами; как же был он потрясен, он, считавший преступление Кайо совершенно очевидным, а наказание не подлежащим сомнению, когда, заговорив об этом деле, услышал от этой просвещенной и очаровательной четы: «Но его, по всей видимости, оправдают, ведь против него абсолютно ничего нет». Герцог Германтский попытался было призвать в союзники господина де Норпуа, который в своей обвинительной речи бросил в лицо Кайо, сидящего на скамье подсудимых: «Вы французский Джолитти, господин Кайо, да-да, именно так, французский

Джолитти». Но очаровательная и просвещенная чета улыбнулась и, желая выставить господина Норпуа в смешном свете, приведя доказательства его маразма, заявила в конце концов, что он бросил это не «в лицо поверженного Кайо», как утверждала «Фигаро», но, вероятнее всего, в лицо Кайо, издевающегося над ним. Герцог Германтский не преминул изменить собственное мнение. Приписать же подобную эволюцию влиянию некоей англичанки не так уж и невозможно, гораздо труднее было бы поверить в эти пророчества, если бы они высказывались в 1919 году, когда англичане не называли немцев иначе, чем Гансами, и требовали жестокого наказания всех виновных. Их мнение изменилось тоже, и отныне с радостью оправдывалось любое решение, которое могло бы принести неприятности Франции и порадовать Германию.

Возвращаясь теперь к господину де Шарлюсу: «Ну как же, — сказал он, объясняя мне то, что я сам был понять не в состоянии, — ну как же: «мочь» в статьях Норпуа — это признак будущего времени, это признак того, что желает Норпуа, а впрочем, и все мы тоже, — добавил он, похоже, не совсем искренне. — Ведь если бы это самое «мочь» не означало будущего времени, можно было бы

понять, в крайнем случае, что подлежащим в этом предложении является «страна». Например, каждый раз, когда Норпуа говорит: «Америка не сможет сохранить безразличие перед фактом без конца повторяющихся нарушений «права», «двуглавая монархия» не сможет избежать раскаяния», — совершенно очевидно, что подобные фразы выражают пожелания самого Норпуа (как, впрочем, и мои, да и ваши тоже), но, в конце концов, в данном случае глагол еще может сохранять свое прежнее значение, ведь страна может «мочь», Америка может «мочь», даже «двуглавая монархия» может «мочь» (и это несмотря на извечный «недостаток психологизма»). Но, согласитесь, последние сомнения исчезают, когда Норпуа пишет: «Даже эти систематические разорения не смогут убедить нейтральные страны», «район Мазурских озер не сможет избежать захвата», «результаты этих нейтралистских выборов не смогут отразить мнения большинства населения». Тут уж совершенно очевидно, что все эти разорения, районы и результаты голосования — понятия неодушевленные и не могут что-либо «мочь». Этой формулировкой Норпуа просто-напросто адресует нейтральным странам свое пожелание (на которое, как я с прискорбием

должен отметить, они не обратили никакого внимания), чтобы те отказались от нейтралитета, а районам Мазурских озер — чтобы они больше не принадлежали «бошам» (слово «боши» господин де Шарлюс произносил с такой же дерзостью, как когда-то в Бальбеке, в трамвае, говорил о мужчинах, питающих пристрастие не к женщинам, а к представителям своего пола). А кстати, известно ли вам, как хитро Норпуа с самого 1914 года начинал свои статьи о нейтралах? Он начинал с заявления, что, разумеется, Франции нечего вмешиваться в политику Италии (или Румынии, или — Болгарии, все равно кого). Исключительно сами эти державы, совершенно независимо, согласуясь лишь с национальными интересами, вправе решать, выходить им из нейтралитета или же нет. Но если начальные заявления (что раньше называли введением) и впрямь свидетельствуют о незаинтересованности, то о продолжении этого отнюдь не скажешь. «Однако, — продолжает Норпуа, — совершенно очевидно, что лишь нации, вставшие на сторону правосудия и справедливости, смогут извлечь материальную выгоду из этой борьбы. Нельзя ожидать, что союзники вознаградят территориями, откуда уже много веков слышатся жалобы их

угнетенных братьев, народы, которые, предпочтя политику наименьшего сопротивления, не встали с оружием в руках на сторону союзников». И коль скоро Норпуа сделал уже первый шаг, начав давать советы по вопросам политики вмешательства, ничто уже не в силах остановить его на этом пути, причем советы эти раз от раза все более недвусмысленны, это уже не принципы, а эпоха вмешательства. «Разумеется, — говорит он тоном, который сам же назвал бы «лицемерным», — самой Италии и самой Румынии надлежит решать, когда и в какой именно форме следует им вмешаться. Однако они должны понимать, что если будут слишком долго тянуть с этим, то рискуют опоздать. Вот уже от копыт русской кавалерии дрожит Германия, охваченная невыразимым ужасом. Совершенно очевидно, что страны, которые бросятся на помощь лишь тогда, когда будет видно уже ослепительное зарево победы, ни в коей мере не могут рассчитывать на награду, которую еще получат, если поторопятся…» — и далее в таком же духе. Это как в театре: «К сведению опаздывающих: осталось всего лишь несколько билетов!» Такие рассуждения звучат тем более глупо, что Норпуа повторяет их раз в полгода, и с той же периодичностью поучает Румынию:

«Пора уже Румынии решить, собирается ли она осуществлять свои национальные устремления или же нет. Если она помедлит еще немного, то будет слишком поздно». Надо сказать, за те три года, что он регулярно повторяет это, мало того, что это «слишком поздно» так и не наступило, так еще и Румынии не перестают делать всякие лестные предложения. Точно так же он призывает Францию вмешаться в дела Греции в качестве державы-покровительницы, поскольку договор, заключенный между Румынией и Сербией, так и не был выполнен. Скажите-ка, только честно, если бы Франция не находилась в состоянии войны и не желала бы поддержки или по крайней мере благожелательного нейтралитета Греции, разве пришла бы ей в голову мысль вмешаться в этот конфликт в качестве державы-покровительницы, а то нравственное чувство, что заставляет ее возмутиться, поскольку Греция не выполнила своих обязательств в отношении Сербии, не молчит ли оно, когда речь заходит о столь же явных нарушениях со стороны Румынии и Италии, которые из тех же, как я полагаю, соображений, что и Греция, не выполнили своих обязательств — разумеется, не столь безусловных и важных — в качестве союзников Германии? Правда состоит

в том, что читатели видят все глазами редактора своей газеты, а разве может быть иначе, ведь они лично не знакомы с теми людьми и не были свидетелями тех событий? Во времена дела Дрейфуса, что странным образом так увлекало вас, в ту эпоху, от которой, как принято теперь говорить, нас отделяют века, поскольку философы войны в один голос утверждают, что с прошлым порваны все связи, я был потрясен, наблюдая, как члены моей семьи выказывают почтение всяким антиклерикалам и бывшим коммунарам, которых их газеты представили антидрейфусарами и позорят на каждом углу генерала благородного происхождения и к тому же католика, но при этом оказавшегося ревизионистом. И теперь я потрясен не меньше, видя, как французы ненавидят императора Франца-Иосифа, кого прежде боготворили, и не без основания, должен вам сказать, поскольку хорошо был с ним знаком и мог называться его другом. Ах! Я не писал ему с самого начала войны, — добавил он таким тоном, словно бесстрашно признавал ошибку, за которую, как ему хорошо было известно, бранить его не будут. — Хотя, впрочем, да, один раз, в первый год. А что вы хотите? мое уважение к нему осталось прежним, но ведь у меня довольно много

родственников молодого возраста, воюющих сейчас на самой передовой, которые, я хорошо это понимаю, сочли бы весьма скандальным то обстоятельство, что я поддерживаю переписку с главой нации, которая находится в состоянии войны с нами. Что вы хотите? Кто меня только не осуждает, — добавил он, словно торопясь ответить на мои невысказанные упреки, — не хотелось бы мне, чтобы письмо, подписанное Шарлюсом, пришло в этот момент в Вену. Самое большее, в чем я серьезно могу упрекнуть старого суверена, так это в том, что человек его положения, глава одного из самых древних и самых именитых родов Европы, позволил увлечь себя этому мелкопоместному дворянчику, хотя довольно неглупому, в общем, этому обыкновенному выскочке, Вильгельму Гогенцоллерну. Вот что, пожалуй, меня более всего шокирует в этой войне». И поскольку едва ли не самое важное место в самосознании господина де Шарлюса занимало его дворянское происхождение и порой он мог позволить себе странное ребячество, то сказал мне таким же тоном, каким говорил о Марне или Вердене, что есть весьма любопытные и весьма важные обстоятельства, которые не должен пропустить тот, кто собирается писать

историю этой войны. «Вот, например, — сказал он мне, — люди настолько несведущи, что никто не заметил такого вопиющего факта: великий магистр Мальтийского ордена, чистокровный бош, продолжает себе преспокойно жить в Риме и пользуется там, по праву великого магистра, привилегией экстерриториальности. Любопытно», — добавил он, словно желая сказать: «Вот видите, вы не потеряли напрасно время, встретившись со мной». Я поблагодарил его, а он скромно потупился с видом человека, отказывающегося от вознаграждения. — «Так что я вам говорил? Ах да, что люди ненавидят теперь Франца-Иосифа, как предписывает им их газета. Что же касается греческого короля Константина или болгарского царя, тут публика колебалась, причем неоднократно, между неприязнью и симпатией, поскольку то им говорили, будто он на стороне Антанты, то якобы на стороне тех, кого Бришо называет Центральными империями. Точно так же Бришо повторяет нам, не переставая, что «еще пробьет час Венизелоса». Нисколько не сомневаюсь, что господин Венизелос — весьма способный политик, но с чего мы взяли, что греки точно так же хотят его? Как нам заявляют, он желает, чтобы Греция выполнила

свои обязательства перед Сербией. Вот только хотелось бы знать, что это за обязательства, были ли они серьезнее тех, что нарушили Италия и Румыния. Не касайся это наших интересов, вряд ли мы бы так беспокоились о том, чтобы Греция не нарушила договор и уважала свою конституцию, как мы беспокоимся об этом сейчас. Вы что, и в самом деле полагаете, что, не будь войны, эти так называемые «государства-гаранты» обратили бы внимание на два роспуска палаты депутатов? Я вижу только то, что короля Греции лишают один за другим всех видов поддержки, чтобы без труда вышвырнуть его или заключить в тюрьму в тот день, когда у него не будет больше оружия, чтобы защищаться. Я говорил вам уже, что публика судит о греческом короле или болгарском царе исключительно по газетным публикациям. А как она может судить о них иначе, чем по публикациям, ведь она их не знает лично? А я видел их много раз, я хорошо знал короля Греции Константина, когда он был еще наследником престола, это было настоящее чудо. Мне всегда казалось, что император Николай питал к нему весьма теплые чувства. По делам и честь, разумеется. Принцесса Христина открыто говорила об этом, но это же известная злюка.

Что касается болгарского царя, так это тот еще плут, невероятный хвастун, однако весьма умен, ничего не скажешь, примечательный человек. Он очень меня любит».

При том, что господин де Шарлюс умел казаться очень приятным человеком, когда он касался этой темы, то становился просто отвратителен. Он весь лучился самодовольством, которое раздражает даже у больного, когда он назойливо демонстрирует вам свое отменное здоровье. Я часто думал, что в пригородном поезде Бальбека «верные», которые обычно любили всякого рода признания и перед которыми он охотно разоблачался, наверное, тоже не могли выносить этого бравирования, выставления своей мании напоказ и, чувствуя такую же дурноту, что подкатывает к горлу в комнате больного или в присутствии наркомана, который при вас вытаскивает свой шприц, вероятно, старались положить конец этим откровениям, которые сами поначалу и спровоцировали. Более того, всех раздражала манера обвинять целый свет, причем, вероятно, чаще всего не обременяя себя никакими доказательствами, манера, усвоенная теми, кто сам забывал причислить себя к особой категории, к которой, как всем, однако, было известно, он при-

надлежал и куда охотно относил других. В конце концов он, столь умный, обзавелся на этот счет ограниченной философией (исходя из которой, по всей вероятности, и не испытывал ни капельки любопытства к этой «жизни», в отличие от Свана), объясняющей буквально все этими особыми случаями, и благодаря которой, подобно любому, кто впадает в этот грех, он не только не стыдился его проявлений, но был исключительно доволен собой. Вот почему он, такой солидный и благородный, так глупо улыбался, заканчивая фразу: «Поскольку относительно императора Вильгельма существуют серьезные подозрения того же рода, что и относительно герцога Фердинанда Кобургского, это могло бы объяснить, почему царь Фердинанд встал на сторону «империи хищников». В сущности, это все вполне понятно, к сестре испытываешь снисхождение, ей ни в чем невозможно отказать. Я нахожу, что это вполне красивое объяснение альянса Болгарии и Германии». И над этим глупейшим объяснением сам господин де Шарлюс смеялся так долго, будто и впрямь находил его чрезвычайно остроумным, и даже если оно основывалось на реальных обстоятельствах, оно все равно выглядело таким же наивным, как и размышления господина де

Шарлюса о войне, о которой он рассуждал, как какой-нибудь феодал или рыцарь ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Впрочем, закончил он примечанием более тонким. «Удивительно, — сказал он, — что та самая публика, которая судит о людях или событиях этой войны по газетным статьям, искренне убеждена, что эти суждения — ее собственные».

И в этом господин де Шарлюс был абсолютно прав. Как мне рассказывали, стоило посмотреть на госпожу де Форшвиль, когда она, выдержав многозначительную паузу, которую можно было принять за раздумья, необходимую отнюдь не просто для изложения, но для формирования собственного мнения, произносила, как нечто, глубоко выстраданное: «Нет, не думаю все же, что они возьмут Варшаву»; «у меня такое впечатление, что второй такой зимы не выдержать»; «чего бы я не хотела, так это непрочного мира»; «что всерьез пугает меня, коль скоро вы настаиваете на моем признании, так это Палата»; «нет, думаю все же, что прорваться можно». Высказывая подобные сентенции, Одетта принимала весьма манерный вид, что делалось совершенно невыносимым, когда она произносила, к примеру, следующее: «Я вовсе не хочу сказать, будто

германская армия сражается плохо, но им не хватает того, что называют куражом». Чтобы произнести это слово «кураж» (и даже просто «наступательный дух»), она делала взмах рукой и моргала глазами, как подмастерье художника, повторяющий термин, услышанный в мастерской. А в ее собственной речи еще больше, чем прежде, проскальзывали нотки восхищения перед англичанами, которых она, уже не довольствуясь, как прежде, словами «наши соседи по ту сторону Ла-Манша» или просто-напросто «наши друзья-англичане», именовала не иначе, как «наши верные союзники». Бесполезно говорить, что теперь она кстати и некстати цитировала выражение *fair play,* ссылаясь на англичан, считавших немцев непорядочными игроками, и еще «что нам нужно, так это выиграть войну, как говорят наши храбрые союзники». Мало этого, она теперь совершенно не к месту приплетала имя своего зятя, если речь заходила об английских солдатах и об удовольствии, которое доставляла ему возможность дружить с австралийцами, шотландцами, новозеландцами и канадцами. «Мой зять Сен-Лу теперь знает арго этих славных *tommies,* он знает, что творится в самых отдаленных *dominions,* прекрасно ладя и с генералом, командующим базой,

и с самым скромным *private».*

Пусть это отступление о госпоже де Форшвиль, которое я позволил себе сделать, шагая по бульвару в компании с господином де Шарлюсом, даст мне право на еще одно, несколько более обширное, но необходимое, чтобы дать представление об этом времени, и касаться оно будет отношений госпожи Вердюрен и Бришо. В самом деле, если беднягу Бришо так безжалостно осуждал господин де Шарлюс (будучи человеком достаточно тонким и к тому же — осознанно или нет — германофилом), гораздо хуже обращались с ним у Вердюренов. Разумеется, все они были шовинистами, поэтому их должны были весьма привлекать статьи Бришо, не лишенные к тому же достоинств стиля, столь ценимых госпожой Вердюрен. Следует вспомнить, что еще во времена пребывания в Распельере Бришо из великого человека, каким казался он Вердюренам в первое время, превратился если не в козла отпущения, как Саньет, то по крайней мере в объект довольно откровенных насмешек. Но, во всяком случае, в тот момент он оставался еще верным из верных, что обеспечивало ему определенную долю преимуществ, которые сами собой подразумевались статусом основателя или

полноправного члена маленькой группы. Однако по мере того как (возможно, благодаря войне или той стремительности, с какой выкристаллизовывалось изящество, несколько запоздавшее, но элементами которого была пропитана атмосфера салона Вердюренов) салон воспринимал новую реальность, и завсегдатаи, поначалу оглушенные этой новой реальностью, в конце концов оказались ею поглощены, нечто подобное происходило и с Бришо. Несмотря на Сорбонну, на Институт, до войны его известность не переступала границы салона Вердюренов. Но когда почти ежедневно стали появляться его статьи, украшенные этими фальшивыми бриллиантами, которые когда-то он направо и налево расточал завсегдатаям салона, и в то же время отмеченные действительно богатой эрудицией, которую, как истинный сорбоннец, он не пытался скрыть за очаровательными обтекаемыми формулировками, весь «высший свет» был в буквальном смысле ослеплен. Раз в кои веки этот свет дарил своей милостью человека и впрямь отнюдь не бездарного, могущего привлечь своим изобретательным умом и обширной памятью. И в то время как три герцогини отправлялись провести вечер у госпожи Вердюрен, трое других оспарива-

ли друг у друга честь заполучить к себе на ужин великого человека, который в конце концов принимал приглашение одной из них, еще и потому чувствуя себя более свободным, что госпожа Вердюрен, обескураженная успехом, какой имели его статьи в квартале Сен-Жермен и по соседству с ним, позаботилась о том, чтобы не видеть больше у себя Бришо, между тем как у нее проводила вечера одна блистательная особа, с которой тот еще не был знаком и которая, несомненно, привлекла бы его. Таким образом, журналистика (которой Бришо посвятил себя, получив с некоторым запозданием — причем с честью для себя и в обмен на очень даже приличное жалованье — то, что он всю жизнь, только даром и инкогнито, растрачивал в салоне Вердюренов, поскольку при его-то красноречии и учености написание этих статей стоило ему не больше, чем салонная болтовня) чуть было не принесла ему, а в какой-то момент даже показалось, что принесла, бесспорную славу… если бы не госпожа Вердюрен. Разумеется, статьи Бришо были далеко не столь замечательны, как это принято было считать в свете. Неприкрытая пошлость проскальзывала на каждом шагу под видом учености. И наряду с образами, которые сами по себе ничего не зна-

чили («немцы не смогут больше смотреть в лицо статуи Бетховена», «Шиллер, должно быть, не раз уже перевернулся в гробу», «едва лишь высохли чернила, которыми было подписано соглашение о нейтралитете Бельгии», «Ленин говорит, и степной ветер разносит его голос»), попадались такие вот тривиальности: «двадцать тысяч заключенных, это вам не шутка», «наше командование должно открыть глаза и кошелек», «мы хотим победы, и это все, *что* мы хотим». И в то же самое время сколько познаний, ума, сколько точных наблюдений! Госпожа Вердюрен, принимаясь за чтение статьи Бришо, заранее чувствовала удовлетворение от мысли, что непременно найдет в ней много смешного, и читала с неослабевающим до самого конца вниманием, чтобы ничего ненароком не пропустить. И в самом деле, к сожалению, находила это там, и неоднократно. Трудно было представить себе заранее, где она сможет отыскать то, что ее особенно порадует. Самая удачная цитата не слишком известного автора, во всяком случае, в произведении, к которому обращался Бришо, служила поводом для обвинения в несносном педантстве, и госпожа Вердюрен не могла дождаться вечера, чтобы рассмешить собравшихся у нее за ужином гостей. «Ну, что

вы скажете о Бришо, что он нынче отмочил? Я прочитала эту цитату из Кювье и сразу подумала о вас. Боже мой, мне кажется, он окончательно сошел с ума». — «Я еще не прочел», — говорил Коттар. «Как, неужели еще не прочли? Вы даже не представляете, какого удовольствия себя лишили. Можно умереть со смеха». И, довольная в глубине души, что кто-то еще не читал Бришо и, стало быть, она сама имеет возможность пролить свет на эти нелепости, госпожа Вердюрен просила метрдотеля принести сегодняшний номер «Ле Тан» и принималась читать вслух, с невероятной выспренностью произнося самые невинные фразы. После ужина в течение всего вечера эта антибришотская кампания продолжалась, но уже с показной сдержанностью. «Я не могу говорить об этом в полный голос, потому что опасаюсь, что там, — произносила она, указывая на графиню Моле, — это не слишком придется по вкусу. Светские люди гораздо более наивны, чем это может показаться на первый взгляд». Госпожа Моле, которой, говоря достаточно громко, давали понять, что речь идет именно о ней, и в то же время изо всех сил стремились показать, что понижают голос специально для того, чтобы она их не услышала, вероломно отрекалась от

Бришо, которого в действительности ставила наравне с Мишле. Она признавала правоту госпожи Вердюрен и, стремясь закончить разговор чем-то таким, что казалось ей самой непреложным, говорила: «И все-таки написано это хорошо, этого у него не отнимешь». — «Вы полагаете, это хорошо написано, в самом деле? — переспрашивала госпожа Вердюрен. — А мне кажется, так любая свинья напишет», — подобная дерзость вызывала смех присутствующих, тем более что госпожа Вердюрен, словно сама смущенная грубым словом, произносила его шепотом, поднеся ладонь к губам. Ее ярость против Бришо усиливалась, тем более что тот по наивности не скрывал, что весьма доволен своим успехом, несмотря на приступы дурного настроения, вызванные свирепостью цензуры: каждый раз, когда он, по своему обыкновению, употреблял какое-нибудь новое слово, желая показать, что не слишком академичен, она «вымарывала» целый кусок статьи. При нем госпожа Вердюрен не слишком показывала, разве что своим неприветливым видом, который должен был бы насторожить более прозорливого человека, как невысоко ценит она то, что написал Шошот. Как-то раз только она сказала ему, что он злоупотребляет место-

имением «я». И в самом деле, он взял в привычку постоянно его употреблять, сперва оттого что, по профессорскому обыкновению, пользовался выражениями вроде «я допускаю, что», если хотел сказать «я хочу, чтобы»: «Я хочу, чтобы огромная протяженность фронта вынудила и т. д.», но главным образом потому, что, будучи ярым антидрейфусаром, который чуял все эти германские приготовления еще задолго до войны, теперь он довольно часто имел возможность написать: «Я заявлял еще в 1897 году», «Я обращал на это внимание еще в 1909 году», «Я предупреждал в своей брошюре, ныне труднодоступной (habent sua fata libelli)», а впоследствии эта привычка так у него и осталась. Он горячо покраснел в ответ на замечание госпожи Вердюрен, сделанное к тому же весьма язвительным тоном. «Вы правы, мадам. Некто, любивший иезуитов не больше, чем господин Комб (хотя и не получил в качестве предисловия статьи нашего нежного мэтра прелестного скептицизма) Анатоля Франса, который был, если я не ошибаюсь, моим противником… еще до потопа, сказал, что «я» всегда отвратительно». Начиная с этого момента, Бришо стал заменять «я» безличным оборотом, но этот самый безличный оборот нисколько не мешал читате-

лям догадаться, что автор говорит о себе, а автор так и продолжал говорить о себе, но отныне любая его фраза, даже если он строил свою статью на одном отрицании, находилась под защитой этого безличного оборота. К примеру, писал ли Бришо о том, что германские войска во многом утратили свою доблесть, свою статью он начинал так: «Здесь никто не собирается скрывать правду. Говорят, немецкие войска во многом утратили свою доблесть. Никто не говорит, что доблестными их назвать уже нельзя. И уж во всяком случае никто не осмелится утверждать, что ни о какой доблести уже и речи быть не может. Равно как и то, что никто не сможет сказать, что территория завоевана, если на самом деле она вовсе не завоевана, и т. д.». В общем, Бришо мог без особых усилий составить увесистый том исключительно из заявлений о том, чего он не собирается говорить, напоминаний о том, что он говорил несколько лет назад, а также о том, как высказывались Клаузевиц, Жомини, Овидий и Аполлоний Тианский в течение нескольких последних веков. Остается только посетовать, что том так и не был опубликован, потому что эти столь насыщенные статьи ныне труднодоступны. Предместье Сен-Жермен, наставляемое госпожой

Вердюрен, смеялось над Бришо, сидя у нее в гостиной, но восхищалось им, едва лишь покинув ее. Издеваться над ним вошло в моду, как прежде было модным им восхищаться, и даже те из дам, что втайне восторгались, в уединении читая его статьи, решительно меняли свое мнение, оказавшись в компании, и начинали вместе со всеми смеяться над ним из опасения прослыть менее тонкой, чем остальные. Никогда прежде в маленьком кружке не говорили так много о Бришо, как сейчас, но говорили исключительно насмехаясь. Критерием ума всякого вновь прибывшего считалось то, что он думал о статьях Бришо: если он в первый раз не совсем удовлетворял этому критерию, то здесь не упускали случая указать ему, по какому именно признаку распознаются умные люди.

«В конце концов, дружочек, все это просто чудовищно, и мы здесь оплакиваем не просто скучные статьи, а нечто гораздо большее. Много любят говорить о вандализме, о разбитых статуях. Но разрушение стольких юных умов, которые тоже можно сравнить с бесподобными полихромными статуями, это, по-вашему, разве не вандализм? Разве город, в котором уничтожены все прекрасные люди, не будет похож на

город, в котором уничтожена вся скульптура? Что за удовольствие получу я, придя поужинать в ресторан, где меня станет обслуживать старый уродливый шут, похожий на Отца Дидона, а то и тетки в чепцах, как будто бы я вдруг попал в «Буйон Дюваль»? Да-да, именно так, дорогой мой, и думаю, я имею право так говорить, потому что Прекрасное остается Прекрасным, в какой бы материи ни было выражено. Что за удовольствие, когда тебя обслуживает какой-нибудь рахитичный субъект в очках, у которого на физиономии написано, что он освобожден от военной службы по состоянию здоровья! В отличие от того, что было прежде, теперь, если хочешь порадовать взгляд каким-нибудь красивым лицом в ресторане, смотреть нужно не на официантов, а на клиентов. Но встретить вновь того же официанта еще возможно, хотя они и часто меняются, а вот если видишь английского лейтенанта, который, быть может, пришел сюда впервые, а завтра его вообще убьют, попробуй узнать, кто это! Когда Август Польский, как рассказал нам очаровательный Моран, тончайший автор «Клариссы», обменял один из своих полков на коллекцию китайских фарфоровых ваз, на мой взгляд, он заключил неудачную сделку. Подумайте только,

что все эти выездные лакеи под два метра ростом, которые некогда украшали монументальные лестницы дворцов наших самых красивых приятельниц, теперь убиты, а когда их призывали, то все твердили, что война продлится месяца два, не больше. Ах! если бы они, как я, знали мощь Германии, доблесть прусской расы», — забывшись, произнес он.

И потом, заметив, что слишком уж открылся, поспешил добавить: «Франции опасна даже не Германия, но сама война. Людям в тылу кажется, будто война — это всего лишь гигантский боксерский поединок, за которым они могут наблюдать издалека, читая газеты. На самом деле — ничего подобного. Это как болезнь, когда кажется, что отпустило в одном месте, — начинает болеть в другом. Сегодня освобожден Нуайон, завтра не будет ни хлеба, ни шоколада, послезавтра те, кто не беспокоились ни о чем и полагали, что готовы, если будет необходимо, получить пулю, которой они, впрочем, в реальности представить себе не могли, придут в бешенство, узнав из газет, что подлежат мобилизации. Что же касается памятников, то меня ужасает даже не то, что могут исчезнуть такие уникальные в своем роде шедевры, как Реймский собор, а то, что гибнет такое

количество ансамблей, придающих невыразимое очарование и прелесть любой французской деревушке».

Я тотчас же подумал о Комбре, но некогда я полагал, что упаду в глазах герцогини Германтской, признавшись, какое невысокое положение занимала наша семья в Комбре. Я спрашивал себя, а вдруг это стало уже известно Германтам или господину де Шарлюсу, может быть, через Леграндена, Свана, Сен-Лу или Мореля. Но даже это умолчание было не столь тягостным для меня, как объяснения задним числом. Я хотел только, чтобы господин де Шарлюс не говорил о Комбре.

«Нет, месье, я не хочу сказать ничего плохого про американцев, — продолжал он, — похоже, их щедрость и в самом деле неиссякаема, и, поскольку в этой войне с самого начала не нашлось дирижера и каждый из танцующих вступал в круг с большим опозданием, а американцы начали, когда мы почти уже завершили свою партию, ничего удивительного, что у них сохранился пыл, который у нас за четыре года войны уже несколько поутих. Еще до войны они очень любили нашу страну, наше искусство, готовы были платить большие деньги за шедевры. Теперь многие из них перевезены туда. Но совершенно очевидно,

что это лишенное корней искусство, как сказал бы господин Баррес, не имеет ничего общего с тем, что составляло невыразимое очарование Франции. Замок подчеркивал прелесть церкви, а церковь, будучи местом паломничества, подчеркивала прелесть древнего сказания. Я вовсе не собираюсь здесь расхваливать собственное происхождение и упоминать именитых предков, впрочем, не об этом сейчас и речь. Но не так давно мне пришлось, несмотря на некоторое охлаждение между мною и другими членами семьи, поехать повидаться с моей племянницей Сен-Лу, которая живет в Комбре, нужно было уладить кое-какие денежные вопросы. Комбре — всего лишь маленький городок, каких во Франции множество. Но на некоторых витражах остались имена наших предков-дарителей, на других запечатлены наши гербы. Там есть и наша часовня, наши могилы. Эта церковь была разрушена французами и англичанами, поскольку служила немцам наблюдательным пунктом. Вот эта вот связь искусства с живой историей и была разрушена, а ведь конца войны еще не видно. Я, разумеется, не собираюсь сравнивать, это было бы просто нелепо, разрушение церкви в Комбре с разрушением Реймского собора, который был

жемчужиной французской готики и в то же время весь светился прозрачной чистотой античности, или, к примеру, собора в Амьене. Я даже не знаю сейчас, отколота ли поднятая рука святого Фирмена. Если да, то в этом мире исчезло высочайшее проявление торжества веры и небесной силы». — «Их символ, месье, — ответил я ему. — Я, так же, как и вы, просто обожаю некоторые символы. Но было бы абсурдным приносить символу в жертву ту реальность, которую они символизируют. Соборами можно восхищаться до того самого дня, пока ради их сохранения не потребуется отречься от истин, которые они проповедуют. Рука святого Фирмена, поднятая в почти военном командном жесте, означала: пусть мы будем уничтожены, если этого потребует честь. Нельзя жертвовать людьми ради камней, красота которых запечатлела не что иное, как определенный миг торжества человеческих истин». — «Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать, — ответил мне господин де Шарлюс, — и господин Баррес, который заставил нас совершить, увы, слишком много паломничеств к статуе, символизирующей Страсбур, и к могиле господина Деруледа, был весьма изящен и трогателен, когда писал, что сам величественный Реймский собор нам не столь дорог, как жизнь

наших солдат-пехотинцев. Рядом с подобным заявлением особенно нелепым выглядит гневное возмущение наших газет немецким генералом, командующим в тех краях, который сказал, что Реймский собор менее ценен для него, чем жизнь одного-единственного немецкого солдата. Но, впрочем, прискорбнее всего то, что каждая страна заявляет одно и то же. Соображения, которые заставляют утверждать индустриальные общества Германии, будто владение Бельфором необходимо для защиты их нации от наших реваншистских идей, в общем, нисколько не отличаются от доводов Барреса, требующего Майнца для нашей защиты от поползновений бошей. Почему возврат Эльзаса и Лотарингии показался Франции мотивом, недостаточным для того, чтобы начать войну, но вполне достаточным, чтобы ее продолжить, возобновляя ее снова и снова, из года в год? Вы, судя по всему, полагаете, что отныне победа Франции обеспечена, и если я желаю ее всем своим сердцем, то вы в ней и не сомневаетесь. Но в конце концов, с тех пор как союзники, с основанием на то или без, считают, что победят наверняка (что касается меня, то я, естественно, был бы просто счастлив, если бы так и случилось, но вижу, что вокруг слишком много

побед на бумаге, пирровых побед, обошедшихся нам в такую цену, которую мы платить были не готовы), а боши теперь вовсе не считают, что победят наверняка, похоже, что Германия всеми силами старается приблизить мир, а Франция — продолжать войну, та самая Франция, которую называют справедливой Францией и которая совершенно права, полагая, что необходимо донести до всех слова справедливости, но это еще и «милая Франция», которой необходимо донести до всех слова милосердия, хотя бы ради собственных детей, хотя бы для того, чтобы распустившиеся по весне цветы украшали не только могилы. Вспомните, мой дорогой друг, вы же сами излагали мне свою теорию, будто все в мире существует лишь благодаря тому, что процесс созидания возобновляется беспрестанно. Сотворение мира не есть нечто такое, что произошло раз и навсегда, так вы сами мне говорили, оно происходит ежедневно. Так вот, если вы будете искренни, то не сможете исключить из своей теории войну. И напрасно наш великолепный Норпуа написал (вытащив на свет божий всю эту кучу риторических аксессуаров, столь ему дорогих, вроде «заря победы» или «генерал Зима»): «Теперь, когда Германия захотела войны, кости

брошены», истина заключается в том, что войну заново объявляют каждое утро. Следовательно, тот, кто желает продолжения войны, виновен не меньше, чем тот, кто ее начал, а быть может, даже еще и больше, поскольку тот, первый, очевидно, не мог представить все эти ужасы.

Вряд ли кто возьмется утверждать, что столь продолжительная война, даже если она должна закончиться победой, не принесет никакого вреда. Довольно затруднительно рассуждать о вещах, не имеющих ни прецедента, ни последствий, если иметь в виду операцию, которую пытаются проделать впервые. В общем, правда заключается в том, что все новшества, которых опасаешься, проходят как раз превосходно. Самые мудрые республиканцы полагали, что отделение церкви от государства — это безумие. А все прошло как по маслу. Не успели прийти в себя, как Дрейфус оказался реабилитирован, а Пикар стал военным министром. И тем не менее попробуйте представить себе последствия того перенапряжения, что испытывают все во время войны, не прекращающейся уже несколько лет! Что станет с теми, кто вернется? Усталость сломит их или доведет до безумия? Все может еще очень плохо обернуться если и не для Франции, то по крайней

мере для правительства, возможно, даже для самого общественного устройства. Вы мне как-то посоветовали прочитать восхитительную «Эме де Куани» Морраса. Странно было бы, если бы какая-нибудь Эме де Куани не ожидала от войны, которую ведет Республика, того же самого, что в 1812 году Эме де Куани ожидала от войны, которую вела Империя. Если подобная Эме существует, сбудутся ли теперь ее надежды? Мне бы очень этого не хотелось.

Если вернуться к самой войне, кто первый начал ее, император Вильгельм? Весьма в этом сомневаюсь. А если и так, чем он отличается, к примеру, от Наполеона: то, что он сделал, на мой взгляд, чудовищно, но меня удивляет, почему это внушает такой же ужас наполеономанам, тем самым людям, которые в день объявления войны воскликнули, как генерал По: «Я ждал этого сорок лет. Это самый прекрасный день в моей жизни». Одному Богу известно, протестовал ли кто-нибудь сильнее, чем я, когда в обществе непропорционально большое место стали занимать националисты, шовинисты, когда любой человек, отдававший себя искусству, обвинялся в том, что его деятельность пагубна для родины, когда тлетворной объявлялась всякая цивилиза-

ция, не прославляющая войну! Ни один истинно светский человек не выдерживал сравнения с генералом. Одна идиотка чуть было не представила меня господину Сиветону. Вы скажете, все то, что я старался всеми силами поддерживать, всего лишь светские правила. Но, несмотря на их кажущуюся нарочитость, быть может, именно они и помогли бы избежать всяческих эксцессов. Я всегда почитал тех, кто защищает грамматику или логику. Это начинаешь понимать лет через пятьдесят после того, как они предотвратили огромную опасность. Наши националисты — самые большие германофобы, и громче всех кричат о войне-до-победного-конца. Но за пятнадцать лет их философия коренным образом изменилась. Они и в самом деле хотят продолжения войны. Но это, видите ли, лишь из любви к миру и для того, чтобы искоренить воинствующую расу. Потому что эта цивилизация, прославляющая войну, которую они находили прекрасной лет пятнадцать назад, теперь внушает им ужас. Они не просто упрекают Пруссию в том, что в этой стране преобладает военное начало, они полагают, будто воинствующие цивилизации суть разрушительны для всего, что отныне они считают ценным, причем имеется в виду не только искусство, но

вообще все прекрасное. Достаточно одному из их критиков заделаться националистом, чтобы он тут же вступил в партию мира. Он убежден, что во всех воинственных цивилизациях женщина занимает приниженное и второстепенное положение. Бесполезно им и пытаться объяснить, что «прекрасные дамы» рыцарей Средневековья и дантовская Беатриче были вознесены, может быть, выше, чем героини господина Бека. Вполне возможно, что в один прекрасный день я окажусь за столом рядом с каким-нибудь русским революционером или даже просто с одним из наших генералов, которые воюют исключительно из страха перед войной или еще для того, чтобы наказать народ, проповедующий идеалы, которые они сами считали единственно верными лет пятнадцать назад. Прошло всего лишь несколько месяцев после того, как несчастному царю оказывали всяческие почести, поскольку он собрал конференцию в Гааге. А теперь все приветствуют освобожденную Россию и забывают этот славный титул. Так крутится колесо мира.

И тем не менее выражения, употребляемые Германией, настолько похожи на те, что произносит Франция, что можно подумать, она ее цитирует, Германия тоже не устает повторять, что «борется

за существование». Когда я читаю: «Мы будем бороться против жестокого и безжалостного врага, пока не заключим мир, который защитит нас в будущем от любой агрессии, чтобы кровь наших славных солдат не проливалась понапрасну» или «Кто не с нами, тот против нас», я не могу определить, кто сказал эту фразу: император Вильгельм или господин Пуанкаре, потому что и тот и другой произносили это раз по двадцать по меньшей мере, разве что с незначительными вариациями, хотя, по правде говоря, должен признать, император в данном случае подражал президенту Республики. Быть может, Франция и не стремилась бы так к продолжению войны, останься она слабой, но, главное, Германия не хотела бы так закончить войну, не потеряй она своей силы. Скажем так, значительной ее части, потому что она, как вы видите, еще достаточно сильна».

Он приобрел привычку очень сильно кричать, это происходило от нервозности, от попыток найти выход эмоциям, от которых — не занимаясь никаким видом искусства — он избавлялся, как авиатор от запаса бомб, где угодно, хоть в чистом поле, даже когда его слова не достигали ничьего внимания, и особенно в свете, где они падали

наугад и где его слушали из чистого снобизма, из доверчивости и даже, настолько он тиранил своих слушателей, из страха, можно даже сказать, против их воли. Здесь, на бульварах, эти тирады были, помимо всего прочего, еще и знаком презрения по отношению к прохожим, ради которых он не собирался понижать голос, как если бы их не было и вовсе. Но прохожие были, они наталкивались на эти тирады, удивлялись и оборачивались на сии речи, из-за которых, очевидно, принимали нас за пораженцев. Я указал на это господину де Шарлюсу, но в ответ он лишь громко рассмеялся: «Согласитесь, это было бы забавно, — сказал он и добавил: — В конце концов, никогда не знаешь, каждый из нас ежевечерне рискует попасть в завтрашнюю колонку новостей. Собственно говоря, почему бы мне не оказаться расстрелянным во рвах Венсенского замка? Ведь произошло же такое с моим двоюродным дедом герцогом Энгьенским. Жажда благородной крови пьянит простолюдинов, иные из них, дабы утолить ее, становятся изобретательнее львов. Вы же знаете повадки этих тварей — чтобы они набросились на госпожу Вердюрен, достаточно одной царапины у нее на носу. На той части лица, которая в дни нашей молодости

называлась рубильником!» И он засмеялся во весь голос, как если бы мы находились с ним одни в гостиной.

Порой, видя, как некие трудноразличимые силуэты, выхваченные из тьмы на пути следования господина де Шарлюса, скапливаются на некотором расстоянии от него, я задавал себе вопрос, что будет ему приятнее: если я оставлю его одного или продолжу путь с ним вместе. Так, если кто-то оказывается в обществе старика, подверженного частым приступам эпилепсии, и по бессвязности его движений догадывается о неминуемом приближении очередного припадка, то он спрашивает себя, необходимо ли его общество, чтобы по возможности оказать помощь или же, напротив, неприятно, как наличие свидетеля, от которого хотят скрыть припадок и одно лишь присутствие которого способно ускорить его, в то время как абсолютный покой, быть может, позволил бы отодвинуть приступ. Но, предвидя возможность события, о котором неизвестно, стоит ли пытаться его избежать или нет, больной начинает кружить, словно пьяный. Что касается господина де Шарлюса, эти судорожные перемещения, предвещающие возможный инцидент — причем я не знаю, хотел он или нет, чтобы мое

присутствие помешано ему произойти, — были элементами некоего изобретательно срежиссированного спектакля, в котором участвовал не сам барон, шагающий твердо и прямо, а весь этот хоровод статистов. И все же, думаю, он предпочел бы избежать встречи, потому что вдруг увлек меня в одну из боковых улиц, где было гораздо темнее, чем на бульваре, но куда тем не менее с этого самого бульвара продолжал перетекать, втянутый, как в воронку, поток солдат всех армий и всех национальностей, молодой прилив, столь утешительный и успокоительный для господина де Шарлюса, компенсирующий отлив, увлекший на фронт всех мужчин, опустошивший Париж в первые недели мобилизации. Господин де Шарлюс без устали восхищался блестящими мундирами, фланирующими мимо него, делающими Париж таким же городом-космополитом, как и любой порт, столь же нереальным, как декорация художника, что воздвиг несколько архитектурных построений лишь для того, чтобы получить возможность собрать в одном месте самые разнообразные, самые немыслимые костюмы.

Он по-прежнему испытывал любовь и уважение к дамам высшего света, обвиняемым в пораженческих настроениях, как некогда к тем,

кого обвиняли в дрейфусарстве.

Он сожалел лишь о том, что, снизойдя до занятий политикой, они дали повод для «журналистских сплетен». Он же в отношении к этим дамам не изменился нисколько. Ибо его легкомыслие было столь упорным, что благородное происхождение, предполагающее одновременно красоту и прочие достоинства, казалось ценностью неизменной, а война, так же как и процесс Дрейфуса, — чем-то пошлым и преходящим. Даже если бы герцогиню Германтскую расстреляли за попытки установить сепаратный мир с Австрией, она бы по-прежнему оставалась для него особой благородной и униженной не более, чем кажется нам сейчас обезглавленная Мария-Антуанетта. Произнося эти речи, господин де Шарлюс, величественный, как какой-нибудь Сен-Валье или Сен-Мегрен, держался прямо, строго, чуть высокомерно, слова выговаривал торжественно и в эту минуту нисколько не ломался, как это часто случается с подобными людьми. И все-таки почему не найдется никого, кто мог бы говорить естественным голосом? Даже сейчас, в этот самый момент, звуча величественно и серьезно, он был фальшив и нуждался в настройщике.

Впрочем, при этом господин де Шарлюс в самом

прямом смысле не знал, куда девать голову, и часто вскидывал ее, выражая сожаление, что не имеет бинокля, который, по правде сказать, не так уж ему и пригодился бы, потому что в гораздо большем количестве, чем обычно, из-за налета цеппелинов накануне, удвоившего бдительность властей, в небе висели военные самолеты. Аэропланы, которые несколько часов назад казались мне насекомыми, коричневыми точками облепившими синий вечер, теперь медленно проплывали по небу, приглушая один за другим уличные фонари, словно туша подожженные брандеры. Самым ярким впечатлением, которое мы испытывали, глядя на падающие, такие живые, звезды, было то, что мы вообще смотрим на небо, к которому в обычные времена так редко устремляется взор. В этом же самом Париже, где в 1914 году я видел красоту, беззащитно ожидающую нападения уже близкого врага, так же как и теперь, поражало древнее, неизменное веками, величие луны, угрожающе, таинственно спокойной, что проливала на еще нетронутые памятники бессмысленную красоту своего сияния, но как и в 1914 году, а быть может, даже еще и больше, чем тогда, было и другое — разные свечения, пульсирующие огни, то ли от этих аэро-

планов, то ли от прожекторов Эйфелевой башни, которыми управляла некая разумная воля, некая дружеская зоркость, которые внушали те же эмоции, вызывали во мне ту же признательность и ощущение покоя, испытанные некогда в комнате Сен-Лу, в келье монастыря, где совершенствовались в ожидании дня, когда пожертвуют собой в расцвете юности, без единой минуты колебания, столько пылких и укрощенных сердец.

После вчерашнего налета, когда небо испытало больше потрясений, чем земля, оно успокоилось, как море после бури. Но, как и море после бури, все еще не вернулось в состояние абсолютного покоя. По-прежнему поднимались аэропланы, как ракеты, нацеленные на звезды, и медленно перемещались прожекторы на небе, поделенном на участки, словно бледная звездная пыль, блуждающий Млечный Путь. Но вот эти аэропланы затерялись среди созвездий, и, наблюдая эти «новые звезды», можно было подумать, будто находишься в другом полушарии.

Господин де Шарлюс высказал мне восхищение этими авиаторами и, поскольку не мог уже больше сдерживаться, дал волю своему германофильству, впрочем, как и другим своим наклонностям, старательно отрицая при этом и

то и другое: «Должен, впрочем, добавить, что я точно так же восхищаюсь и немцами, которые поднимаются на своих готасах. А на цеппелинах! Подумать только, какая нужна храбрость! Это самые настоящие герои, ничего не скажешь. Какой от них вред гражданским, ведь по ним садят батареи? А вы боитесь готасов и пушек?» Я уверил его, что нет, и, должно быть, ошибался. Именно моя лень привила мне привычку откладывать работу со дня на день, и я представлял себе, что нечто похожее было и со смертью. Как можно бояться пушки, если совершенно уверен, что именно сегодня она тебя не убьет? Впрочем, сами по себе эти мысли о сброшенных бомбах, о возможной смерти не добавляли трагических красок к той картине, что я мысленно нарисовал, наблюдая полет германских воздушных аппаратов, пока однажды вечером мне не показалось, будто от одного такого аэроплана, покачивающегося, раздробленного волнами льющегося с неба тумана, аэроплана, который казался мне лишь звездным и небесным, и лишь каким-то уголком разума — смертоносным, отделяется бомба, сброшенная на нас. Потому что подлинная реальность опасности ощущается лишь в этом новом, не сводимом к уже известному, и называется это

впечатлением, которое довольно часто, как и произошло в этом случае, выражается одной-единственной линией — линией, начертавшей замысел, линией, в которой угадывалась скрытая мощь исполнения, искажающая ее до неузнаваемости, в то время как на мосту Конкорд вокруг аэроплана, грозного и затравленного, словно отраженные в облаках фонтаны Елисейских Полей, площади Конкорд и сада Тюильри, в небе изгибались светящиеся струи прожекторов, и их линии также были полны замыслов, замыслов предвидеть и защитить, — и это были замыслы людей могущественных и мудрых, которым, как в ту самую ночь в Донсьере, я был признателен за то, что они с такой прекрасной решительностью соблаговолили позаботиться о нас.

Ночь была так же красива, как тогда, в 1914 году, когда так же, как и теперь, над Парижем нависла угроза. Лунный свет казался мягким мерцающим магнием, чьи вспышки позволяли в последний раз заметить ночные силуэты таких прекрасных ансамблей, как Вандомская площадь, площадь Конкорд, и ужас, который я испытывал при мысли о снарядах, которые, возможно, превратят их в руины, придавал этому зрелищу, очевидно, по законам контраста — руины и эта еще нетро-

нутая красота — некую завершенность, словно бы они, устремляясь вперед, сами подставляли под удары свою беззащитную архитектуру. «Так вы не боитесь? — переспросил господин де Шарлюс. — Парижане порой сами этого не осознают. Мне рассказали, что госпожа Вердюрен устраивает приемы каждый день. Я-то знаю это лишь по слухам, мне лично о них ничего не известно, я полностью с ними порвал», — добавил он, опуская не только глаза, как будто бы мимо пробежал мальчишка-разносчик телеграмм, но также и голову, плечи и подняв руки в жесте, который должен был означать если не «я умываю руки», то по крайней мере «что я могу еще вам сказать», хотя я ни о чем его и не спрашивал. «Я знаю, что Морель по-прежнему часто у них бывает», — сказал он (и тогда он впервые заговорил со мной о нем). «Можно подумать, он сожалеет о прошлом и желает вновь сблизиться со мной», — добавил он, демонстрируя одновременно наивность обитателя Предместья, утверждающего: «Говорят, что никогда еще Франция и Германия не были так близки к пониманию друг друга, и что будто бы уже объявлено о начале переговоров», и влюбленного, которого не могут убедить никакие, самые решительные отказы. «Во всяком случае,

если он действительно этого хочет, что ему мешает просто сказать? В конце концов, я старше, и не мне делать первый шаг». Уж разумеется, он мог бы этого не говорить, настолько все было очевидно. К тому же это прозвучало неискренне, и за господина де Шарлюса становилось так неловко, ведь было совершенно ясно: говоря о том, что не ему делать первый шаг, он как раз и делал его, ожидая, что я предложу свои услуги по их примирению.

Разумеется, мне было знакомо это наивное и притворное простодушие людей, которые кого-то любят или просто-напросто не приняты в доме у кого-то и приписывают этому кому-то намерения, которых он вовсе и не высказывал, несмотря на назойливые намеки. Но по странно дрожащим ноткам в голосе господина де Шарлюса, когда он произносил эти слова, его смятенному взору у меня создалось впечатление, что это была не просто настойчивость, а нечто другое. Похоже, я не ошибался, и прямо сейчас мне хочется рассказать о двух случаях, которые подтверждают это задним числом (я забегаю на много лет вперед, потому что второй из них произошел уже после смерти господина де Шарлюса. А она случилась гораздо позднее, и у нас еще будет возможность

встретиться с ним, совсем непохожим на того, каким мы его знали, и описать последний случай, произошедший в то время, когда он уже окончательно забыл Мореля). Что касается первого из них, он имел место года через два или три после того вечера, когда я шел по бульварам с господином де Шарлюсом. Итак, года через два или три после того вечера я встретил Мореля. Я тотчас же подумал о господине де Шарлюсе, о том, как был бы он счастлив, вновь увидев скрипача, и стал настаивать, чтобы тот пошел его проведать, хотя бы раз. «Он был добр к вам, — сказал я Морелю, — он уже стар, вот-вот умрет, хватит копить старые обиды, пора уже положить конец этой ссоре». Похоже, Морель был совершенно согласен со мной в том, что пора уже, наконец, успокоиться, но категорически отказывался нанести хотя бы один-единственный визит господину де Шарлюсу. «Вы не правы, — сказал я ему, — в чем здесь причина, вы не хотите из-за упрямства, лени, озлобленности, из-за неуместного самолюбия, а может, из-за добродетели (так будьте уверены, ей ничего не угрожает), из каприза, наконец?» Тогда скрипач, изменившись в лице, так дорого далось ему это признание, ответил дрожащим голосом: «Нет, уверяю вас, ничего подобного, все

это здесь ни при чем. Добродетель? Да плевал я на добродетель. Озлобленность? Как раз наоборот, я начинаю его жалеть, и не из каприза, при чем здесь это? И не от лени, я порой целыми днями напролет ничего не делаю. Нет, все это здесь ни при чем, только не говорите никому, я не знаю, зачем я говорю это вам, я, наверное, сошел с ума, просто, просто… я просто… я боюсь!» И задрожал. Я стал уверять его, что ровным счетом ничего не понимаю. «Нет, не спрашивайте меня, не будем больше об этом говорить, вы не знаете его, как я, могу сказать, что вы совсем его не знаете». — «Но что он может вам сделать? И во всяком случае, чем меньше останется между вами недоразумений, тем меньше он сможет вам навредить. И потом, если быть до конца справедливым, вы ведь знаете, как он добр». — «Черт возьми, мне ли не знать, как он добр! Какая деликатность, какая порядочность! Но хватит, оставьте. Хватит об этом, я вас умоляю, в этом стыдно признаваться, я боюсь!»

Второй случай произошел уже после смерти господина де Шарлюса. Мне принесли несколько вещиц на память, которые он мне оставил, и еще письмо в тройном конверте, написанное по крайней мере лет за десять до смерти. Но он был

так серьезно болен, что заранее отдал все необходимые распоряжения, позже поправился, а еще позже впал в то состояние, в каком мы увидим его однажды утром, когда я направлялся к принцессе Германтской, — и письмо, положенное в сейф вместе с другими предметами, оставленными им друзьям, пролежало там семь лет, семь лет, в течение которых он полностью забыл Мореля. Письмо, написанное тонким и решительным почерком, гласило следующее:

«Мой дорогой друг, пути Господни неисповедимы. Порой Провидение использует несовершенство ничтожнейшего существа, чтобы не позволить пасть праведнику. Вы знаете Мореля, откуда он вышел, и до каких вершин хотел поднять его я, чтобы он возвысился до меня. Вам известно, что он предпочел вернуться даже не в пыль и пепел, откуда любой человек может возродиться, как феникс, но в грязь, кишащую гадами. Он позволил себе пасть, что спасло от падения меня. Вам известно также, что на моем гербе начертан тот же девиз, что и у Господа: «Inculcabis super leonem et aspidem», и на

нем изображен человек, стоящий на щите, который держат лев и змей. Если смог я так же попрать в своей душе льва, так это, благодаря змею и его осторожности, которую я только что так легкомысленно назвал несовершенством, ибо истинная мудрость Евангелия сделала из нее добродетель, по крайней мере добродетель для других. Наш змей с его шипением, некогда гармонично-переливчатым, когда им управляла дудочка заклинателя — самого во власти заклятия, — был не просто музыкален, он обладал добродетелью, которую отныне я могу назвать божественной, он обладал благоразумием. Именно благодаря этому божественному благоразумию и смог он противостоять моим призывам прийти ко мне, и не будет мне покоя в этом мире и надежды на прощение в другом, если сейчас я не сделаю вам этого признания. Он стал орудием божественной мудрости, ибо я принял решение, что он не уйдет живым из моего дома. Один из нас двоих должен был исчезнуть. Я решился его убить. Господь внушил ему осторожность, чем уберег

от преступления меня. Я не сомневаюсь, что заступничество архангела Михаила, моего святого покровителя, сыграло здесь свою роль, и я прошу его простить меня за то, что многие годы так пренебрегал им и так небрежно отвечал на неисчислимые свидетельства его доброты ко мне, особенно в моей борьбе со злом. Я обязан этому служителю Божию, я признаю это со всей своей верой и со всем своим разумом, не кто иной, как Отец Небесный подсказал Морелю не приходить ко мне. Теперь при смерти нахожусь я.

Остаюсь искренне ваш, semper idem,

П.-Г. Шарлюс

Теперь только понял я страхи Мореля; конечно, были в этом письме и гордыня, и позерство. Но признание было искренним. И Морелю куда лучше меня было известно, что «нечто безумное», что находила в своем родственнике герцогиня Германтская, не ограничивалось, как я имел наивность предполагать до сих пор, этими знаменитыми вспышками гнева, быстро проходящими и неопасными.

Но вернемся назад. Я шел по бульварам рядом

с господином де Шарлюсом, который только что в завуалированной форме предложил мне быть посредником в мирных переговорах между ним и Морелем. И, видя, что я не отвечаю ему: «Не понимаю, почему он больше не играет, сейчас вообще никто не играет под предлогом, что идет война, но при этом танцуют, ужинают в ресторанах, женщины изобретают всякие кремы для кожи. Праздники сменяют один другой, и, если немцы продвинутся еще немного, это будет напоминать последние дни Помпеи. Быть может, именно это и спасло бы его от беспечности. Если только лава какого-нибудь немецкого Везувия (а ведь его морской флот будет поопаснее вулкана) застанет этих дам за туалетом и увековечит в застывшей магме их жесты, будущие школьники будут получать сведения по истории, разглядывая на картинках в учебниках госпожу Моле, накладывающую румяна перед тем, как отправиться ужинать к золовке, или герцогиню Германтскую, подрисовывающую брови. Это окажется материалом для изучения будущим Бришо, так легкомыслие эпохи по прошествии десятка веков тоже оказывается предметом изучения, тем более если материал сохранился в неприкосновенности под продуктами вулканической деятельности или

каким-нибудь веществом, аналогичным лаве, извергаемой при бомбардировках. Какой материал для историков будущего, когда удушающие газы, подобные тем, что выбрасывал Везувий, или обломки, вроде тех, под которыми похоронены Помпеи, сохранят в неприкосновенности все эти жилища, хозяева которых оказались непредусмотрительны и не переправили в Байонну картины и статуи! Впрочем, разве уже в течение последнего года мы не были похожи чем-то на Помпеи, когда люди спускаются в погреба, но не для того, чтобы вынести оттуда бутылку старого мутон-ротшильда или сент-эмийона, а для того, чтобы получше спрятать самое ценное, как те священники Геркуланума, настигнутые смертью в тот момент, когда выносили священные сосуды? Привязанность к вещи приводит к смерти ее обладателя. Конечно, Париж это не Геркуланум, основанный Гераклом. Но сколько поразительных совпадений! А эта дарованная нам проницательность, она ведь свойственна не только нашему времени, ею обладала любая эпоха. Если я сейчас говорю, что, возможно, завтра нас постигнет участь городов, погребенных Везувием, то эти города ведь тоже знали, что им уготована судьба проклятых библейских городов.

Не случайно на стене одного из домов в Помпеях нашли эту надпись: «Содом, Гоморра»». Не знаю, почему в этот момент господин де Шарлюс поднял глаза к небу, то ли это название Содома вызвало у него соответствующие мысли, то ли возможность бомбардировки, но он быстро опустил их вниз, на землю. «Я восхищаюсь всеми героями этой войны, — сказал он. — Возьмем, к примеру, этих английских солдат, которые, должен признаться, в начале войны казались мне чем-то вроде футболистов-любителей, которые самонадеянно вздумали тягаться с профессионалами — и какими профессионалами! — так вот, чисто эстетически это же просто греческие атлеты, вы понимаете, что я хочу сказать, греческие, дорогой, те самые платоновские юноши, или, скорее даже, спартанские воины. У меня есть друзья, они ездили в Руан, там у них лагерь, и они видели чудеса, настоящие чудеса, о которых мы просто не имеем представления. Это уже больше не Руан, а совсем другой город. Разумеется, есть еще и старый Руан с изможденными святыми на фасаде собора. Конечно, это тоже красиво, но это совсем другое. А наши пуалю! Мне даже не объяснить вам, какое очарование нахожу я в этих пуалю, в этих парижанчиках, вот посмот-

рите, совсем как этот, сейчас прошел, разбитной малый, смышленая физиономия. Мне случается иногда их остановить и даже перекинуться парой слов, какая тонкость, какой здравый ум! А эти провинциалы, как они забавны и милы со своим раскатистым «р», со своим местным говорком! Мне пришлось довольно много жить в провинции, ночевать на фермах, я даже умею говорить на их манер, но при всем нашем восхищении французами мы не можем себе позволить унижать наших врагов, это значит унижать себя. А вы не знаете, что это такое, немецкий солдат, вы, в отличие от меня, не видели, как он марширует в парадном строю гусиным шагом по Унтер ден Линден». Если вернуться к идеалу мужественности, который он излагал мне еще в Бальбеке и который со временем приобрел философскую форму, хотя случалось, что его рассуждения звучали весьма абсурдно, и порой, даже когда он хотел казаться высшим существом, сквозь плотную ткань просвечивала основа, слишком тонкая основа обычного светского человека, хотя и весьма умного. «Видите ли, — сказал он мне, — этот лихой парень бош — существо сильное, здоровое, думающее только о величии своей страны. «Deutschland uber alles» — не так уж это и

глупо, в то время как мы — пока они оттачивали свое мужество — мы погрязли в дилетантстве». Вероятно, это слово означало для господина де Шарлюса что-то вроде литературы, потому что тут же, вспомнив, без сомнения, что я любил литературу и в какой-то момент даже подумывал заняться ею всерьез, он хлопнул меня по плечу (опершись на него при этом и сделав мне почти так же больно, как и ружейный приклад винтовки образца 76-го года, что врезался мне в плечо), и сказал, словно смягчая упрек: «Да-да, мы погрязли в дилетантизме, мы все, и вы тоже, признайтесь, вы, так же как и я, можете произнести tea culpa, мы все слишком дилетанты». Удивленный этим упреком и не обладая должной находчивостью, в отличие от моего собеседника, к тому же растроганный его дружеским тоном, я ответил, как он и ожидал, не хватало еще постучать себя кулаком в грудь, что было бы в крайней степени глупо, поскольку лично я ни в малейшей степени не мог упрекнуть себя в дилетантстве. «Ну ладно, — произнес он, — вынужден вас покинуть, — поскольку группа, которая сопровождала его на расстоянии, в конце концов оставила нас — отправляюсь спать, как порядочный старый месье, тем более что, похоже, война и в самом деле изменила все

наши привычки, вот еще один из тех идиотских афоризмов, столь любимых Норпуа». Впрочем, мне было известно, что, вернувшись к себе, он все равно оказывался среди солдат, поскольку давно уже превратил свой особняк в нечто вроде военного госпиталя, уступая при этом — так, во всяком случае, кажется мне — не столько призывам своего воображения, сколько своей врожденной доброте.

Ночь была ясной, без единого дуновения ветерка; мне казалось, что Сена, текущая внутри замкнутой окружности моста (одна половинка — это собственно мост, а другая — его отражение в воде), была похожа на Босфор. И символ то ли вторжения, которое предсказывал господин де Шарлюс с его пораженческим настроением, то ли взаимодействия наших братьев-мусульман с французской армией — узкая, изогнутая, как цехин, луна, казалось, пометила парижское небо восточным знаком полумесяца.

И еще через мгновение, прощаясь со мной, он стиснул мне руку так, словно хотел раздавить, что представляется совсем немецкой чертой у людей, чувствующих так же, как барон, и продолжал какое-то время пережевывать мою ладонь, как выразился бы Котар, словно желая вернуть

суставам гибкость, которую они вовсе и не утратили. Так у некоторых слепцов прикосновение в какой-то мере заменяет зрение. Не совсем понимаю, какой из органов восприятия оно заменяло в данном случае. Должно быть, сам он полагал, что просто пожимает мне руку, точно так же как был уверен, что просто смотрит на некоего сенегальца, прошедшего мимо и даже не соизволившего заметить, что им любуются. Но в обоих этих случаях барон ошибался: он именно грешил, грешил взглядом, чрезмерным прикосновением. «Разве вы не видите здесь весь этот Восток Декана, Фромантена, Энгра, Делакруа? — спросил меня он, еще не придя в себя после появления сенегальца. — Вы же прекрасно знаете, вещи и люди интересуют меня лишь в их освещении в живописи, философии. Впрочем, я уже слишком стар. Но какая жалость, для полноты картины нужно, чтобы один из нас двоих был одалиской!»

Но когда мы расстались с бароном, не Восток Декана и даже не Восток Делакруа стал будоражить мое воображение, но старый Восток сказок «Тысячи и одной ночи», бесконечно мною любимых, и, запутываясь понемногу в лабиринте этих темных улочек, я думал о калифе Гарун аль-Рашиде, блуждавшем в поисках приключений по

глухим багдадским кварталам. Кроме того, тепло этого вечера и тепло, что я испытывал от ходьбы, вызвали жажду, но уже очень давно все бары были закрыты, а из-за нехватки бензина редкие такси, встречавшиеся мне по пути и за рулем которых сидели негры и представители Востока, не обращали никакого внимания на мои призывы. Единственным местом, где мне можно было бы что-нибудь выпить и набраться сил перед возвращением домой, был бы какой-нибудь отель.

Но в этих далеких от центра улочках, где пришлось мне оказаться в ту ночь, все было закрыто с тех пор, как готасы стали бомбить Париж. Закрыты были и почти все лавочки, владельцы которых то ли от нехватки приказчиков, то ли просто от страха сбежали в деревни, оставив на дверях обычное в таких случаях уведомление, написанное от руки и обещавшее возобновление работы в отдаленные сроки, весьма к тому же сомнительные. Те же немногочисленные заведения, что сумели до сих пор продержаться, таким же способом извещали, что открыты всего два дня в неделю. Чувствовалось, что в квартале обитают нищета, запустение и страх. И я был очень удивлен, заметив, что среди этих заброшенных домов есть один, где жизнь, казалось, восторже-

ствовала над страхом и запустением и отстаивала свои права. Из щелей закрытых по полицейскому предписанию ставень из окон пробивался свет, свидетельствующий о полной беспечности в отношении экономии. Ежесекундно открывалась дверь, впуская или выпуская какого-нибудь очередного посетителя. Это был отель, вне всякого сомнения, вызывающий зависть соседей-коммерсантов (из-за того, что владельцы его, должно быть, получали большие доходы); мое любопытство возросло еще больше, когда я увидел, что из его дверей, метрах в пятнадцати от меня, то есть достаточно далеко, чтобы я сумел в темноте как следует его разглядеть, торопливо вышел какой-то офицер.

И все же что-то поразило меня, не его лицо, которого я не видел, и не мундир, скрытый широкой накидкой, а странное несоответствие между довольно значительным расстоянием, на которое переместилось его тело, и той стремительностью, с какой произошло это перемещение, больше похожее на попытку выскользнуть из засады. Это впечатление было таким отчетливым, что я тотчас подумал, хотя и не могу сказать, что узнал его — речь даже не о внешности, не о гибкости, не о походке и не о стремительности Сен-Лу — о той

вездесущности, что являлась особым свойством его натуры. Офицер, умеющий в столь короткое время занять столько точек в пространстве, исчез, не заметив меня на перекрестке, и я стоял, раздумывая, войти мне или нет в этот отель, чей невзрачный внешний вид заставлял сильно сомневаться, действительно ли оттуда вышел Сен-Лу.

Я внезапно вспомнил, что Сен-Лу был несправедливо замешан в какую-то историю о шпионаже, потому что имя его было упомянуто в письме, перехваченном у немецкого офицера. Однако военными властями была полностью доказана его непричастность. Но я невольно сопоставлял эти воспоминания с тем, что только что увидел. А что, если этот отель был шпионской явкой? Тот офицер давно уже скрылся из глаз, когда я заметил, что в отель входит группа простых солдат явно разных армий, что еще больше подкрепило мои предположения. Но, с другой стороны, мне безумно хотелось пить. Вполне вероятно, что мне удастся здесь утолить жажду, а заодно и удовлетворить свое любопытство, к которому примешивалась изрядная доля тревоги.

Не думаю, однако, что именно любопытство, возбужденное этой встречей, заставило меня

подняться на несколько ступенек по лестнице, на верху которой находилось что-то вроде двери в прихожую, широко распахнутой, без сомнения, из-за жары. Я подумал поначалу, что не смогу удовлетворить здесь это свое любопытство, потому что с верхней ступеньки лестницы, где я стоял никем не замеченным, я увидел нескольких человек, которые спрашивали комнату и которым отвечали, что, к сожалению, нет ни одной свободной. Очевидно, против них было то, что они не принадлежали к шпионской сети, потому что, когда минуту спустя с той же просьбой обратился какой-то ничем не примечательный моряк, ему тотчас же выдали ключи от комнаты 28. Сам не будучи замечен в темноте, я разглядел нескольких военных и двух рабочих, которые мирно беседовали в маленькой душной комнате, претенциозно украшенной цветными женскими портретами, вырезанными из иллюстрированных журналов. Эти люди спокойно разговаривали, высказывая вполне патриотические идеи. «Ну что ты хочешь, все там будем», — говорил один. «Ну о чем ты! Конечно же, меня не могут убить», — произносил в ответ на недослышанное мной пожелание другой, который, насколько я понял, назавтра должен был

отправиться на опасный участок фронта. «Сам понимаешь, в двадцать два года, когда и в армии всего-то шесть месяцев, это было бы слишком», — кричал он, и в том восклицании еще больше, чем желание жить долго, пробивалось стремление дать добросовестный ответ, словно тот факт, что ему только-только исполнилось двадцать два, давал ему больше шансов не быть убитым, такого просто не могло случиться. «А в Париже странно, — говорил другой, — и не скажешь, что война. Ну а ты чего, Жюло, не передумал вербоваться?» — «Еще чего, передумал, жду не дождусь, когда можно будет пострелять в этих сраных бошей». — «Но послушай, Жоффр — это тот, кто спит с женами министров, а больше про него и сказать-то нечего». — «Противно такое слушать, — отвечал авиатор на вид чуть постарше, и, повернувшись к рабочему, который только что произнес фразу, услышанную всеми, добавил: — Я не советовал бы вам так болтать на передовой, пуалю быстро вас поставят на место». Разговоры эти были настолько банальны, что у меня не возникло никакого желания прислушиваться к ним дальше, и я уж собирался было войти или спуститься вниз, когда следующая фраза буквально пригвоздила меня к полу: «Странно, хозяин все не

возвращается, черт, в такое время где он найдет цепи». — «Но ведь тот уже привязан». — «Привязан-то привязан, конечно, но как привязан, так и отвяжется, я бы запросто отвязался». — «Но ведь замочек висит». — «Разумеется, висит, но если очень захочет, откроет. Главное, цепи не очень длинные». — «Ты, что ли, будешь мне тут объяснять, я вчера колотил всю ночь, так что все руки в крови были». — «А сегодня опять ты будешь?» — «Нет, сегодня не я, сегодня Морис, а я в воскресенье, хозяин обещал». Я понял теперь, почему так понадобились сильные руки моряка, а от мирных буржуа старались отделаться. Так этот отель не был никаким шпионским гнездом. Здесь должно было совершиться чудовищное преступление, если его не успеют предотвратить и не арестуют виновных. Но в эту ночь, такую мирную с виду, в которой таилась опасность, все казалось каким-то нереальным, вымышленным, и я, преисполненный одновременно гордости поборника справедливости и тщеславия поэта, решительно шагнул вперед.

Я дотронулся рукой до шляпы, и присутствующие, не вставая с мест, более или менее вежливо ответили на мое приветствие. «Вы не скажете, к кому мне обратиться? Я хотел бы

получить комнату, а еще, если можно, выпить что-нибудь». — «Подождите немного, хозяин вышел». — «Но там, наверху, главный», — намекнул один из беседующих. «Ты же знаешь, его нельзя беспокоить». — «Вы думаете, мне возможно будет получить комнату?» — «Наверно». — «Сорок третья вроде свободна», — сказал молодой человек, тот самый, который был уверен, что его не убьют, потому что ему всего двадцать два. И чуть подвинулся на диване, уступая мне место. «Открыли бы окно, здесь так накурено!» — попросил летчик; и в самом деле, у каждого из присутствующих в зубах была трубка или сигарета. «Можно, но сначала закройте ставни, вы же знаете, что из-за цеппелинов нельзя никакого освещения». — «Цеппелинов больше не будет. Вроде в газетах даже было, что всех их подстрелили». — «Не будет, не будет, много ты понимаешь! Вот посидишь пятнадцать месяцев в окопах, как я, и собьешь пятый самолет бошей, тогда рассуждай. Нечего верить газетам. Как раз вчера они летали над Компьенем, и убили мать с двумя детьми». — «Мать с двумя детьми!» — воскликнул с неподдельным состраданием молодой человек, который надеялся, что его не убьют, и у которого из всех из них было самое решительное, открытое и симпатичное лицо. «От

большого Жюло все нет новостей. Его «крестная» не получала от него писем вот уже целую неделю, это с ним в первый раз такое». — «Ну и кто у него «крестная»?» — «Одна дама, у нее туалетные кабинки недалеко от Олимпии». — «Они что, спят вместе?» — «Да с чего ты взял? Она замужем, и вообще приличная женщина. Она каждую неделю посылает ему деньги, потому что очень добрая. Просто замечательная женщина». — «Так, стало быть, ты знаешь большого Жюло?» — «Еще бы мне его не знать! — горячо ответил двадцатидвухлетний. — Да это мой лучший приятель. Я его уважаю как мало кого, добрый парень, и товарищ замечательный, всегда готов помочь. Черт! Если с ним что случилось, это было бы такое свинство». Кто-то предложил партию в кости, и, судя по тому, с какой горячечной суетливостью этот двадцатидвухлетний парень перемешивал кости и выкрикивал результаты, видно было, что игрок он азартный. Мне не удалось расслышать, что ему сказали затем, но ответил он с искренней жалостью: «Жюло — сводник! То есть он сам говорит, что сводник. Но на самом деле ни черта подобного. То есть я не хочу сказать, что Жанна-Алжирка ничего ему не давала, она ему кое-что давала, но какие-то жалкие пять франков, не

больше, а это женщина из приличного борделя, она зарабатывает не меньше пятидесяти франков в день. И чтобы ему платили при этом пять франков, что он, идиот совсем? А теперь она на фронте, жизнь у нее нелегкая, ничего не скажешь, но зато и зарабатывает сколько хочет, так вот, и ничего она ему не посылает. Тоже мне, сводник Жюло! Этак любой скажет, что он сводник. Никакой он не сводник, а если хотите знать мое мнение, то он вообще кретин». Самый старший из этой компании, которому хозяин, судя по всему, именно из-за возраста велел присматривать за остальными, ухватил лишь конец разговора, поскольку в какой-то момент отлучался в уборную. Но он не мог удержаться и взглянул на меня, оставшись, судя по всему, недовольным тем эффектом, что этот разговор на меня произвел. Не обращаясь прямо к тому двадцатидвухлетнему молодому человеку, который излагал эту теорию продажной любви, он заявил всем: «Вы слишком много болтаете, к тому же очень громко, а окна открыты, и многие уже спят в это время. Вы же знаете, если хозяин вернется и услышит, как вы тут треплетесь, он будет недоволен».

Как раз в этот момент дверь распахнулась и все замолчали, полагая, очевидно, что вернулся

хозяин, но это оказался какой-то шофер, причем иностранного автомобиля, присутствующие бурно его приветствовали. При виде цепочки шикарных часов, свисающей из кармана пиджака, двадцатидвухлетний парень удивленно усмехнулся, а затем, подмигнув, чуть повел бровью в мою сторону. И я понял, что усмешка означала: «Где ты это отхватил, украл? Поздравляю», а подмигивание: «Не говори ничего, черт его знает, что за тип». В эту самую минуту вошел хозяин, обливаясь потом и волоча несколько метров железных цепей, достаточных, чтобы связать десяток каторжников, он сказал: «Ну и работку я провернул, бездельники, ведь ни один задницы не поднимет». Я сказал ему, что мне нужна комната. «Всего лишь на несколько часов, я неважно себя чувствую и не смог найти машину. И еще дайте мне, пожалуйста, что-нибудь выпить». — «Пьеро, спустись в погреб, принеси черносмородинной наливки и скажи, чтобы прибрали сорок третий номер. А вот звонок из седьмого. Они сказали, что больны. Больны, как бы не так! Нанюхались коко, и вообще, сразу видно, что колются, надо бы их вышвырнуть отсюда. В двадцать второй принесли одеяла? Хорошо! Вот опять седьмой звонит, сбегай посмотри. Эй,

Морис, а ты что тут делаешь? Ведь знаешь, что тебя ждут, поднимайся в четырнадцатый-бис, и поживее давай». Морис поспешно вышел, а вслед за ним и хозяин, который, раздосадованный, что я видел его цепи, поспешил их унести. «Чего так поздно?» — спросил двадцатидвухлетний парень у шофера. «Как это поздно? Даже на час раньше. Но идти очень жарко. А мне только в полночь». — «Так чего ты пришел?» — «Из-за Памелы», — засмеялся восточного вида шофер, открывая в улыбке белоснежные зубы. «А!» — понимающе кивнул двадцатидвухлетний.

Вскоре я поднялся в свою сорок третью комнату, но атмосфера была такой неприятной, а любопытство мое столь велико, что, выпив свою «наливку», я спустился было вниз, затем, внезапно передумав, поднялся вновь и, миновав этаж, на котором находилась моя сорок третья, добрался до самого верха. Внезапно из комнаты, что была чуть на отшибе в самом конце коридора, до меня донеслись приглушенные стоны. Я быстро прошел туда и приложил ухо к двери. «Умоляю вас, прошу, умоляю, пощадите, не бейте меня, развяжите, не бейте так сильно, — слышался голос. — Я буду ноги вам целовать, все что хотите, я больше не буду. Пожалейте». — «Нет, негодяй, — отвечал

другой голос, — а раз ты орешь и ползаешь тут на коленях, надо тебя привязать к кровати, никакой тебе пощады», — и я услыхал звук удара плетью, очевидно, с вплетенной на конце проволокой, потому что вслед за ним вновь раздались крики. Тогда я заметил, что в стене этой комнаты имелось боковое слуховое окно, на котором забыли задернуть занавеску, крадучись проскользнув в темноте, я пробрался до этого самого окошка и увидел, что в комнате, привязанный к кровати, словно Прометей к своей скале, пытаясь спастись от ударов расщепленной плети, которые наносил ему Морис, лежит окровавленный, в кровоподтеках, которые доказывали, что наказание происходило не впервые, господин де Шарлюс.

Внезапно дверь распахнулась и вошел Жюпьен, к счастью, не заметивший меня. Он приблизился к барону, всем своим видом выказывая почтение и понимающе улыбаясь: «Ну так что, я вам не нужен?» Барон стал просить Жюпьена, чтобы Морис вышел на минутку. Жюпьен выставил его довольно грубо. «Нас не могут услышать?» — спросил барон Жюпьена, и тот уверил, что нет. Барон знал, что Жюпьен, человек в целом неглупый, был до чрезвычайности простодушен, и в присутствии заинтересованных лиц говорил

обычно намеками, которые не могли никого обмануть, и употреблял прозвища, которые также всеми легко прочитывались.

«Минуточку», — прервал Жюпьен, услышав звонок из третьего номера. Это собирался уходить депутат от Аксьон Либераль. Жюпьену не нужно было даже смотреть на доску, ему был знаком звук этого звонка, в самом деле, депутат приходил каждый день после обеда. Но именно сегодня он вынужден был изменить свое расписание, поскольку в полдень выдавал замуж дочь в Сен-Пьер-де-Шайо. Поэтому он пришел вечером, но был вынужден уйти довольно рано из-за жены, которая очень беспокоилась, когда он поздно возвращался, особенно теперь, из-за частых бомбежек. Жюпьену хотелось его проводить, чтобы засвидетельствовать почтение к его парламентской деятельности, нет-нет, сама личность была здесь ни при чем. Поскольку хотя этот самый депутат, отвергавший крайности и перегибы «Аксьон Франсез» (впрочем, он был не способен понять ни строчки в писаниях Шарля Морраса или Леона Доде), был накоротке с министрами, которым льстило, что он приглашает их на охоту, Жюпьен никогда бы не осмелился попросить его хотя бы о малейшей поддержке

при неприятностях с полицией. Он понимал, что стоит ему рискнуть и заговорить об этом с удачливым и трусоватым законодателем, он не только не избежит этих самых «неприятностей», но еще и лишится самого щедрого из своих клиентов. Проводив до дверей депутата, который, надвинув шляпу низко на глаза, подняв воротник и стараясь проскользнуть быстро, как скользил в своих речах перед избирателями, счел, что замаскировался достаточно, Жюпьен вновь поднялся к господину де Шарлюсу и сказал ему: «Это был господин Эжен». У Жюпьена, как в клиниках, людей называли исключительно по именам, но при этом не забыв шепнуть на ушко, чтобы удовлетворить любопытство завсегдатая или повысить престиж заведения, настоящее имя клиента. Однако порой самому Жюпьену была не известна личность его клиентов, и тогда он напрягал воображение и говорил, что это такой-то биржевой делец, такой-то герцог, такой-то художник, — мимолетная выдумка, весьма трогательная для того, чье имя всплывало таким образом, а Жюпьен так и смирялся с невозможностью когда-либо выяснить, кто же такой этот «господин Виктор». Чтобы понравиться барону, Жюпьен усвоил привычку поступать не так, как

было принято на некоторых собраниях, а как раз наоборот. «Позвольте представить вам господина Лебрена» (и на ушко: «Он велит называть себя господином Лебреном, но на самом деле это великий князь из России»). Жюпьен поступал наоборот, он чувствовал, что господину де Шарлюсу недостаточно просто представить разносчика молока. Он шептал ему, подмигивая: «Вообще-то он разносчик молока, но на самом деле это один из самых опасных бандитов Бельвиля». (При этом надо было видеть, каким игривым тоном Жюпьен произносил слово «бандит».) И, словно бы этих рекомендаций было недостаточно, он старался добавить несколько «подробностей»: «Его несколько раз приговаривали к заключению за кражи со взломом, он обворовывал виллы, он сидел в тюрьме Френ за то, что подрался с прохожими (тот же игривый тон), и искалечил чуть ли не насмерть, а еще он был в штрафном батальоне в Африке. Он убил своего сержанта».

Барон даже сердился слегка на Жюпьена, потому что знал, что в этом заведении, которое он приобрел для себя через доверенное лицо и которым управлял один из его людей, буквально все благодаря болтливости дядюшки мадемуазель д'Олорон более или менее знали его по имени

(правда, многие полагали, что это не настоящее имя, и произносили его так, что узнать было невозможно, поэтому если барону и удавалось сохранить инкогнито исключительно, то это благодаря их собственной глупости, а не потому, что Жюпьен проявлял сдержанность). Но он находил, что гораздо проще будет делать вид, будто верит ему и, успокоенный, что никто их не слышит, барон сказал: «Я не хотел говорить при этом мальчике, вообще-то он весьма мил и видно, что очень старается. Но мне кажется, он недостаточно груб. Лицо его мне нравится, но, когда называет меня негодяем, кажется, будто он выучил урок». — «О нет, что вы! Никто ему ничего такого не говорил, — заверил Жюпьен, сам не замечая, как неправдоподобно звучит его заявление. — Кстати, он был замешан в убийство консьержки в Ла Валетт». — «О! Это уже интересно», — улыбнулся барон. «Но как раз сейчас у меня здесь есть забойщик, работает на настоящей бойне, а здесь совсем случайно, он даже немного похож на него. Хотите попробовать?» — «О да, охотно». Вошел забойщик, он и в самом деле немного походил на Мориса, но, что еще более любопытно, оба они принадлежали к одному и тому же типу, который лично я не выделял никак,

но черты которого, я отдавал себе в этом отчет, прослеживались в лице Мореля, эти лица имели сходство если и не с Морелем, каким видел его я, то по крайней мере с лицом, которое тот, кто смотрел на Мореля другими, чем я, глазами, мог соотнести с этим типом. И как только из черт, позаимствованных у моих воспоминаний о Мореле, я мысленно сделал модель того, что мог он представлять в глазах других, я тотчас же осознал, что два этих молодых человека, один из них — помощник ювелира, а другой — служащий отеля, были приблизительными суррогатами Мореля. Следовало ли из этого заключить, что господин де Шарлюс, во всяком случае, в определенной форме своих любовных пристрастий всегда был верен одному и тому же типу и что желание, заставившее его выбрать одного за другим этих двух молодых людей, было в основе своей тем же, что заставило его когда-то остановить Мореля на перроне вокзала в Донсьере; что все трое походили немного на юношу-эфеба, чей внешний вид, ограненный в сапфире, то есть в глазах господина де Шарлюса, придавал его взгляду это особенное нечто, что так испугало меня в ту первую нашу встречу в Бальбеке? Или, быть может, это любовь его к Морелю определила искомый им тип, и,

чтобы утешиться в его отсутствие, он пытался найти людей, похожих на него? Я сделал еще одно предположение, что, возможно, между ним и Морелем, вопреки видимости, существовали лишь дружеские отношения и что господин де Шарлюс попросил Жюпьена привести к нему этих двух молодых людей, немного похожих на Мореля, потому что в их присутствии у него возникала иллюзия, будто он предается удовольствиям именно с ним. Правда, если вспомнить, что господин де Шарлюс сделал для Мореля, это предположение должно было бы показаться маловероятным, хотя нам ли не знать, что любовь не только толкает нас к самым великим жертвам ради того, кого мы любим, но порой заставляет нас жертвовать самим нашим желанием, что, впрочем, тем труднее исполнить, чем больше любимое нами существо будет чувствовать, как мы его любим.

Что еще говорит в пользу этого предположения, каким бы неправдоподобным оно ни казалось поначалу (хотя оно совершенно не соответствует реальности), так это нервический темперамент, страстный и пылкий характер господина де Шарлюса, сходный в этом с характером Сен-Лу, что в начале его отношений с Морелем могло играть

ту же негативную роль, но в более пристойном варианте, что и в начале связи его племянника с Рахилью. Отношения с любимой женщиной (это может распространяться также и на любовь к молодому человеку) остаются порой платоническими не только из-за женской добродетели или потому, что любовь, которую она нам внушает, лишена чувственности. Так бывает и потому тоже, что влюбленный, слишком нетерпеливый от избытка своей любви, не умеет, изображая приличествующее случаю равнодушие, дождаться момента, когда достигнет желаемого. Он все время возобновляет попытки, беспрестанно пишет ей письма, ищет встреч, она отказывает ему, он в отчаянии. И в какой-то момент она понимает, что, если одарит его своим обществом, своей дружбой, эти блага уже покажутся столь бесценными тому, кто считал себя лишенным их, что она может счесть для себя возможным больше ничего и не предлагать, и, воспользовавшись моментом, когда он не в силах уже выносить муки не видеть ее, когда он любой ценой хочет закончить войну, она принуждает его заключить мир, первым условием которого являются платонические отношения. Впрочем, в течение всего времени, предшествующего этому догово-

ру, влюбленный, взволнованный, в постоянном ожидании письма, уже и сам перестал мечтать о физическом обладании, желание которого так терзало его вначале, но истощилось в ожидании и уступило место совсем иным потребностям, что кажутся еще более мучительными, если не удается их удовлетворить. И удовольствие, которое в первые дни представлялось в виде ласк и объятий, теперь принимают другую, измененную форму: дружеские слова, обещания увидеться, и это все после мук неопределенности, после холодного взгляда, который отдаляет ее настолько, что кажется, никогда больше не увидишь ее вновь, приносит сладостное облегчение. Женщины догадываются обо всем этом и знают, что могут подарить себе роскошь никогда не отдаваться тем, в ком чувствуют — если они были слишком нетерпеливы и не смогли это скрыть в первое время — неисцелимое желание обладать. Как счастлива женщина, когда, ничего не отдавая, она получает гораздо больше, чем если бы отдалась. А те, нетерпеливые, незыблемо верят в добродетель своего идола. Тот ореол, что видят они вокруг ее головы, это тоже следствие их чрезмерной любви. Есть в женщине то, что свойственно и некоторым лекарствам, таким, как

снотворные, морфин. Эти лекарства жизненно необходимы вовсе не тем, кому дарят счастье сна или истинное ощущение блаженства, не они будут покупать их за сумасшедшие деньги и отдавать за них все, что только есть в доме больного, они нужны другим больным (впрочем, быть может, это те же самые, но по прошествии нескольких лет ставшие другими), им это лекарство не поможет заснуть, не даст никакого удовлетворения, но без него они находятся во власти возбуждения, которое хотят остановить любой ценой, даже ценой жизни.

Что касается господина де Шарлюса, чей случай, с легкой поправкой на пол, в целом подпадает под общие законы любви, пусть он принадлежал к роду более древнему, чем Капетинги, пусть он был богат, его внимания искало самое изысканное общество, а Морель не имел ничего, и он мог бы сказать Морелю, как говорил когда-то мне: «Я принц, я желаю вам только добра», но именно Морель одерживал верх, если не хотел уступать. А для того чтобы он не уступил, ему достаточно было почувствовать себя любимым.

Ужас, который великие люди испытывают перед снобами, желающими во что бы то ни стало подружиться с ними, сильный мужчина

перед гомосексуалистом, такой же ужас женщина испытывает перед тем, кто слишком в нее влюблен. Господин де Шарлюс не только имел все, бесконечно многое из этого всего он мог бы предложить Морелю. Но, возможно, его желание разбилось о чужую волю. Случай с господином де Шарлюсом напоминал то, что происходило с немцами, к которым он, кстати сказать, и принадлежал по рождению и которые в той войне, что происходила сейчас, были, как любил повторять сам барон, победителями на всех фронтах. Но для чего нужны были эти их победы, если после каждой из них союзники еще более решительно отказывали им в том единственном, что они, немцы, хотели получить, в примирении? Так Наполеон, вступив в Россию, великодушно предложил, чтобы власти пришли к нему. Но никто так и не явился.

Я спустился и вновь вошел в маленькую прихожую, где Морис, не зная, позовут ли его опять, и которому Жюпьен на всякий случай велел подождать, как раз в этот момент играл в карты с одним из своих приятелей. Все были очень возбуждены, потому что как раз перед этим нашли на полу крест «За боевые заслуги» и тщетно гадали, чей он, кому возвращать, чтобы владелец его

не был наказан. Затем заговорили о благородстве какого-то офицера, который пожертвовал своей жизнью, пытаясь спасти адъютанта. «Все-таки и среди богатых бывают хорошие люди. Я бы с радостью получил пулю ради такого», — сказал Морис, который, конечно же, исполнял свои жестокие обязанности — хлестал кнутом барона — просто машинально, по привычке, взявшись за эту работу по причине дурного воспитания, нужды в деньгах и определенной склонности зарабатывать эти деньги способом, предполагающим, очевидно, меньше усилий, чем обычная работа, но приносящим больше. Но, как и опасался господин де Шарлюс, у него, наверное, было слишком доброе сердце и, похоже, это был весьма отважный молодой человек. Когда он говорил о гибели того офицера, у него едва не выступили слезы на глазах, и его двадцатидвухлетний товарищ был взволнован не меньше. «Да, это парни хоть куда. Таким бедолагам, как мы, и терять-то нечего, а у этого господина небось куча лакеев, и каждый день в шесть часов можно пойти и выпить аперитив, вот классно! Можешь сколько угодно смеяться, но когда такие типы вроде этого умирают, это да. Бог не должен позволять, чтобы такие вот богатые умирали, главное, они очень

нужны рабочим. Да хотя бы только из-за такой вот смерти, как эта, нужно перестрелять этих бошей всех до единого; а что они сделали в Лувене, а еще — отрубить ручки у маленьких детей! Нет, я, конечно, такой же, как все, но пускай мне лучше пулю в глотку забьют, чем подчиняться этим дикарям, это же не люди, это настоящие варвары, попробуй только скажи, что нет». В общем, все эти ребята были патриотами. Только один из них, легко раненный в руку, оказался не на высоте, очевидно, потому, что в скором времени должен был возвращаться на фронт, он произнес: «Черт, не та это рана» (то есть не та, по которой могли комиссовать), так госпожа Сван некогда говорила: «Я нашла способ подцепить досадную инфлюэнцу».

Дверь закрылась, впустив шофера, который выходил на минутку подышать воздухом. «Что, уже все? Недолго сегодня», — сказал он, заметив Мориса, который, по его представлению, в эту минуту должен был находиться наверху и хлестать человека, которого здесь прозвали по аналогии с газетой, что выходила в ту пору, «Связанный человек». «Это для тебя недолго, ты ведь выходил проветриться, — ответил Морис, уязвленный тем, что присутствующие могли предположить,

будто он не понравился там, наверху. — А вот если бы тебе пришлось, как мне, хлестать изо всех сил, да еще в такую жару! Если бы не эти пятьдесят франков». — «И потом с ним приятно поболтать, сразу видно, образованный. Что он говорит, скоро все это кончится?» — «Он говорит, что победить их нельзя, и вообще в конце концов никто не победит». — «Ну сразу видно, яблочко от яблони, это же бош…» — «Вам ведь уже было сказано, слишком громко болтаете», — крикнул присутствующим самый старый из них, заметив меня. «Вам больше не нужна комната?» — «Эй ты, заткнись, что ты здесь командуешь?» — «Да, спасибо, уже все, я пришел расплатиться». — «Лучше заплатить хозяину. Морис, иди поищи».

«Но я не хотел бы вас беспокоить». — «Ничего, никакого беспокойства». Морис поднялся и вскоре вернулся со словами: «Хозяин сейчас спустится». Я дал ему два франка за труды. Он покраснел от удовольствия: «О! спасибо большое. Отошлю своему брату, он в плену. Нет, не так чтобы очень плохо. Все от лагеря зависит».

В это время двое клиентов, очень хорошо одетых, в костюмах и белых галстуках, что виднелись под плащами — русские, показалось мне по их легкому акценту, — стояли на пороге и

совещались, стоит ли заходить. Было совершенно очевидно, что здесь они впервые, должно быть, кто-то порекомендовал им это заведение, и теперь они колебались между желанием, соблазном и страхом. Один из них — красивый молодой человек — все время повторял другому, с полувопросительной улыбкой, очевидно, призванной убедить: «Ну и что, и что тут такого?» Но напрасно он этим хотел сказать, что в конце концов плевать на последствия, — очевидно, все-таки не так уж было и плевать, потому что за его словами следовала не попытка войти, а очередная улыбка и очередное «ну и что тут такого». Его «ну и что тут такого» было одним из тысячи образчиков этого замечательного языка, столь отличного от того, каким мы изъясняемся обычно и в котором эмоции искажают все, что мы хотели бы сказать, и на месте одной фразы расцветает совсем другая, всплыв из неведомого озера, в котором обитают все эти выражения безо всякой связи с нашими мыслями и которые тем не менее эти мысли выявляют. Помню, однажды, когда Франсуаза неслышно для нас вошла в тот момент, когда Альбертина стояла передо мной совсем обнаженной, у моей подруги, желавшей предупредить меня, невольно вырвалось: «Вот и прекрасная

Франсуаза». Франсуаза, которая видела уже не очень хорошо и к тому же прошла через комнату довольно далеко от нас, разумеется, ничего не заметила. Но эти необычные слова «прекрасная Франсуаза», которых Альбертина никогда в своей жизни не произносила, сами проявили свою природу, она их подобрала случайно, в смятении, и Франсуазе, чтобы все понять, не понадобилось ничего видеть, и она ушла, бормоча на своем языке слово «шлюха». Второй подобный случай произошел гораздо позже, когда Блок, ставший отцом семейства, выдавал замуж свою дочь за католика и некий плохо воспитанный господин сказал ей, что слышал, будто бы ее отец — еврей, и поинтересовался его фамилией. Молодая женщина, которая с рождения звалась мадемуазель Блок, ответила ему, произнеся свою фамилию на немецкий манер, как произнес бы герцог Германтский, когда конечное «к» прозвучало как глухое немецкое «х».

Хозяин, если вернуться к сцене в отеле (куда двое русских в конце концов все-таки решились проникнуть после всех этих «ну и что тут такого»), еще не успел появиться, как вошел Жюпьен и стал возмущаться, что здесь слишком шумно и соседи могут пожаловаться. Но, заметив меня,

он остолбенел. «А ну выходите все на площадку». Все начали уже было подниматься, когда я произнес: «Пускай лучше все останутся здесь, а я на минуточку выйду с вами». Он проследовал за мной в полном недоумении. Я объяснил ему, почему пришел сюда. Из комнат было слышно, как клиенты спрашивают хозяина, не может ли тот познакомить их с выездным лакеем, мальчиком из хора, шофером-негром. Этих старых безумцев интересовали буквально все профессии, все рода войск, союзники всех национальностей. Некоторые требовали исключительно канадцев, испытывая, очевидно, необъяснимую тягу к этому очаровательному акценту, столь неуловимому, что трудно было понять, французский он или английский. Из-за юбок, будивших игривые фантазии, шотландцы пользовались особым успехом. И поскольку всякое безумие приобретает особые черты, исходя из обстоятельств, а порой и усугубляется этими обстоятельствами, какой-то старик, все прочие желания которого были давно уже, видимо, удовлетворены, настойчиво спрашивал, не могли бы его познакомить с калекой. На лестнице послышались медленные шаги. Жюпьен, чья нескромность стала уже частью натуры, не мог удержаться и сообщил, что это

спускается барон и что ни в коем случае нельзя, чтобы он меня увидел, но если бы я захотел войти в комнату, смежную с вестибюлем, где сидели молодые люди, он открыл бы форточку, которую вырезал специально, чтобы барон мог все видеть и слышать, не будучи замеченным сам, и которой я теперь мог бы воспользоваться, наблюдая за ним. «Только не шевелитесь». И, втолкнув меня в темноту, ушел. Впрочем, другой комнаты мне предоставить все равно не смогли бы, отель, несмотря на военное время, был полон. Та, что я только что покинул, была занята виконтом де Курвуазье, который, получив двухдневный отпуск в Красном Кресте, заехал ненадолго расслабиться в Париж, перед тем как отправиться в замок де Курвуазье, где намеревался сказать ожидавшей его там виконтессе, что не смог сесть на нужный ему поезд. Он и не подозревал, что господин де Шарлюс находится всего в нескольких метрах от него, равно как и барон тоже ничего не знал об их соседстве, поскольку никогда не встречал своего кузена у Жюпьена, которому, впрочем, ничего не было известно о личности виконта, каковую тот тщательно скрывал.

Вскоре и в самом деле вошел барон, чьи движения были несколько затруднены из-за ран, к

которым, впрочем, он уже привык. Хотя время его удовольствий уже истекло и ему осталось лишь вручить Морису причитавшуюся ему сумму, на собравшихся в кружок молодых людей он направил нежный и любопытствующий взгляд, мечтая наградить каждого из них приветствием хотя и вполне платоническим, но весьма нежным. И я вновь узнал, во всей его резвой беспечности, какую он демонстрировал перед этим гаремом, в действительности внушающим ему робость, эти поклоны, покачивание головой, многозначительные взгляды, поразившие меня в тот вечер, когда мы впервые приехали в Распельер, кокетство, унаследованное от какой-нибудь бабки, с которой я знаком не был, все эти черточки, в обыденной жизни скрытые под маской мужественности, но вдруг расцветавшие при благоприятных тому обстоятельствах, когда он хотел очаровать низшее общество, хотел выглядеть гранд-дамой.

Широким жестом Жюпьен отдал их всех под покровительство барона, заверив его, что это все «коты» из Бельвиля, готовые за двадцать франков торговать собственной сестрой. Тут Жюпьен одновременно и лгал, и говорил правду. Будучи лучше и чувствительнее, чем хотел представить он их в глазах барона, они вовсе не принадле-

жали к племени дикарей. Но те, кто считал их таковыми, верили в это совершенно искренно, и подобной же искренности ожидали от этих монстров. Садист напрасно полагает, будто находится рядом с убийцей, его душа от этого нисколько не изменилась, и он потрясен ложью этих людей, вовсе не убийц по своей природе, которые просто по-легкому захотели «слупить» пять франков и чьи родственники: отец, мать, сестра по очереди то умирают, то воскресают вновь, потому что время от времени возникают в разговорах с клиентом, которому он очень хочет понравиться. Наивный клиент поражен странными взглядами жиголо, восхищенный многочисленными убийствами, виновником которых считает его, он все же озадачен противоречиями и откровенным враньем, которые ловит в его словах.

Похоже, все здесь знали его, и господин де Шарлюс подолгу останавливался возле каждого из них, разговаривая с ними на языке, который считал им свойственным, отчасти из снобистского пристрастия к местному колориту, отчасти из садистского удовольствия почувствовать свою причастность к их гнусной жизни. «Ах негодяй ты эдакий, я видел тебя возле Олимпии с двумя девками. Что, решил «срубить деньжат»? Вот как

ты меня обманываешь». К счастью для того, кому адресованы были эти слова, он просто не успел заявить, что никогда бы не стал «срубать деньжат», беря плату с женщины, что уменьшило бы пыл господина де Шарлюса, а приберег свой протест, оспаривая лишь конец фразы: «Что вы, я вас не обманываю». Эти слова доставили господину де Шарлюсу живейшую радость, и, поскольку ум, в действительности свойственный ему самому, чудился ему во всех, к кому он испытывал расположение, повернувшись к Жюпьену, он произнес: «Как мило с его стороны мне это сказать. И как хорошо сказано! Можно даже подумать, что это правда. В конце концов, какая разница, правда это или нет, раз я все равно поверил? Какие хорошенькие глазки! В наказание вот вам два поцелуйчика. Будешь вспоминать обо мне в окопах. Что, очень там тяжко?» — «Черт побери, когда в двух шагах от тебя падает снаряд…» И молодой человек попытался изобразить звук разрывающейся гранаты, самолетный вой. «Но надо быть, как все, можете нисколько не сомневаться, мы пойдем до конца». — «До конца! Знать бы только, где этот конец!» — меланхолично произнес барон, который, как известно, был «пессимистом». «Вы не видели в газетах, что сказала Сара Бернар:

«Франция пойдет до конца. Французы, не колеблясь, позволят себя убить все до одного»». — «Я ни единой минуты не сомневаюсь, что французы мужественно позволят себя убить все до одного, — сказал господин де Шарлюс, как будто бы проще этого не было ничего на свете, хотя лично он не имел намерений предпринимать для этого что бы там ни было. Но этими словами он хотел сгладить впечатление о себе как о пацифисте, которое он производил, когда переставал себя контролировать. — Нисколько в этом не сомневаюсь, вот только непонятно, с какой стати госпожа Сара Бернар уполномочена говорить от имени Франции. Но, кажется, я не знаком с этим очаровательным, с этим милым молодым человеком», — прибавил он, заметив другого, которого он не узнавал, а быть может, никогда раньше и не видел. Он поприветствовал его, как приветствовал бы какого-нибудь принца, встреченного на аллеях Версаля, и, решив воспользоваться случаем получить дополнительное, к тому же бесплатное удовольствие, как было со мной в детстве, когда мама брала меня с собой к Буассье или Гуашу и я мог по предложению женщины за стойкой, царившей среди стеклянных ваз, наполненных доверху вкуснейшими конфетами, взять

одну из них, барон стиснул руку очаровательного молодого человека и долго жал ее по-прусски, не спуская с него глаз и улыбаясь нескончаемо долго, как бывает порой, когда хочешь сделать фотографию, а света недостаточно: «Месье, я очень рад, я счастлив с вами познакомиться. У него красивые волосы», — сказал он, обернувшись к Жюпьену. Затем он приблизился к Морису, собираясь отдать ему пятьдесят франков, но вначале обхватил его за талию: «А ты мне никогда не говорил, что сунул перо в бок одной консьержке из Бельвиля». И господин де Шарлюс почти захрипел в исступлении, приблизив свое лицо к лицу Мореля. «Что вы, господин барон, — сказал жиголо, которого, очевидно, забыли предупредить, — как вы могли поверить? — то ли в самом деле это было неправдой, то ли такое действительно имело место, но он считал это слишком чудовищным и предпочел все отрицать: — Чтобы я поднял руку на себе подобного? На боша — да, потому что война все-таки, но на женщину, к тому же старую женщину!» Эта декларация в духе добродетели произвела на барона эффект холодного душа, и он отошел от Мориса, отдав ему тем не менее деньги, но с видом человека весьма раздосадованного, которого обманули, который не хочет устраивать

сцен, платит, но при этом очень недоволен. Дурное впечатление усилилось еще больше от того, как облагодетельствованный молодой человек поблагодарил барона, сказав: «Пошлю своим старикам и еще немного оставлю для братана, он как раз на фронте». Эти трогательные чувства почти так же разочаровали барона, как способ их проявления, в котором почудилось что-то крестьянское, мало приличествующее случаю. Впрочем, порой Жюпьен предупреждал их, что следует демонстрировать больше извращенности. И вот один из них, с таким видом, будто решился доверить нечто дьявольское, рискнул произнести: «Послушайте, барон, вы небось не поверите, но когда я был мальчишкой, то любил подглядывать в замочную скважину, как мои родители кувыркались в постели. Правда, мерзко? Вы что, думаете, вру, говорю вам, чистая правда». И господин де Шарлюс был одновременно разочарован и раздражен этими убогими попытками продемонстрировать порочность, которые на самом деле выявили лишь невероятную глупость и столь же невероятную неискушенность. Его бы сейчас не удовлетворил даже самый настоящий вор или убийца, потому что они-то о своих преступлениях не рассказывают, а у садиста — каким

бы добрым он ни был и более того, чем он добрее, чем сильнее это проявляется — есть некая жажда зла, которую злые люди, поступающие так по другим причинам, удовлетворить не могут.

Молодой человек, слишком поздно осознав свою оплошность, напрасно стал уверять, что на дух не выносит фараонов, и осмелел настолько, что сам предложил барону: «Ну что, назначим свиданку», — очарование рассеялось. В этом чувствовалось убогое бахвальство, такое впечатление бывает при чтении книжек, авторы которых неумело пытаются изъясняться на арго. Напрасно молодой человек подробно описывал все те «мерзости», что он проделывал со своей бабой. Если господин де Шарлюс и был чем-то поражен, так это именно тем, как примитивны и неизобретательны были эти мерзости. Впрочем, причина была не только в неискренности. Нет ничего более ограниченного в вариантах, чем удовольствия и порок. В этом смысле, несколько переиначивая смысл высказывания, можно сказать, что мы бесконечно вращаемся в порочном кругу.

Если господина де Шарлюса все считали здесь по меньшей мере принцем, то в заведении весьма сожалели о смерти другого клиента, о ком жиголо

говорили: «Не знаю его настоящего имени, кажется, это какой-то барон», а был это не кто иной, как принц де Фуа (отец одного приятеля Сен-Лу). В то время как жена его полагала, будто он посещает разные кружки и общества, в действительности он часами пропадал у Жюпьена, болтал, рассказывал светские сплетни здешнему народу. Это был высокий, красивый мужчина, как и его сын. Невероятно, но господин де Шарлюс, очевидно, оттого, что встречал его лишь в свете, не подозревал, что тот разделяет его склонности. Случалось даже слышать, будто он привил эти склонности собственному сыну, в ту пору еще совсем юному (приятелю Сен-Лу), что, по всей вероятности, было неправдой. Напротив, весьма осведомленный касательно нравов, о которых большинство и не подозревает, он ревностно следил за тем, чем именно занимается его сын. Однажды отец случайно подобрал записку, которую некий человек, впрочем, низкого происхождения, проследовав за юным принцем де Фуа до самого особняка его отца, бросил в окно. Но этот самый поклонник, не посещая аристократические кружки подобно господину де Фуа-отцу, тем не менее был знаком с аристократами, так сказать, с другого боку. Не составило особого труда среди обычных людей,

замешанных в этом деле, отыскать посредника, который заставил замолчать господина де Фуа, убедив его, что именно молодой человек сам спровоцировал эту выходку. Возможно, так оно и было. Потому что принцу де Фуа удалось оградить сына от подозрительных знакомств, но не удалось уберечь от наследственности. Впрочем, юный принц де Фуа, как и его отец, не знал с этой точки зрения людей своего круга, хотя с людьми не своего круга зашел дальше некуда.

«Какой простой, и не скажешь, что барон», — сказал кто-то из присутствующих, когда господин де Шарлюс вышел, сопровождаемый до самой двери Жюпьеном, которому, не переставая, жаловался на добродетель молодого человека. По недовольному виду Жюпьена, который должен был бы вымуштровать того юнца заранее, было понятно, что мальчишку ожидает изрядная головомойка. «Ты мне заявлял совсем другое, — выговаривал барон, чтобы Жюпьен как следует усвоил этот урок на будущее. — У него на физиономии написано, что порядочный, и семью свою очень уважает». — «Но с папашей своим он все-таки не ладит, — оправдывался Жюпьен, застигнутый врасплох, — хотя они живут вместе, но запас выпивки у каждого свой». Это, конечно,

было весьма хилое преступление по сравнению с убийством, но ничего лучшего растерявшийся Жюпьен придумать в ту минуту не мог. Барон ничего добавлять не стал, поскольку, если он и хотел, чтобы его удовольствия тщательно подготавливались, себе он желал оставить иллюзию, будто все происходит непреднамеренно. «А вообще-то это настоящий бандит, он вам тут понарассказывал, чтобы обмануть, а вы такой наивный», — продолжал оправдываться Жюпьен, еще больше задевая самолюбие господина де Шарлюса.

«Похоже, в день он проедает целый миллион», — сказал двадцатидвухлетний молодой человек, которому это утверждение не казалось таким уж неправдоподобным. Вскоре послышался шум автомобиля, увозящего господина де Шарлюса. В этот самый момент я увидел, как медленно входит некая особа, которую я принял вначале за пожилую даму в черной юбке, рядом с ней шагал офицер, и похоже, вышли они из соседней комнаты. Но я тотчас же понял свою ошибку, это был священник. Священник дурного нрава — вещь весьма редкая, а во Франции — совершенно исключительная. Судя по всему, военный как раз насмехался над спутником, и объектом его на-

смешек было то, как мало поведение священника соответствовало его одеянию, потому что тот, с серьезным видом подняв к уродливому лицу палец жестом профессора теологии, напыщенно произнес: «Ну что вы хотите, я ведь не (я ожидал, что он скажет «ангел») святая». Впрочем, они уже уходили и зашли, чтобы попрощаться с Жюпьеном, который только что вернулся, проводив барона, но по рассеянности дурной священник забыл расплатиться за комнату. Жюпьен, никогда не терявший ощущения реальности, встряхнул коробкой, в которую складывал полученную от клиентов контрибуцию, и, звякнув монетами, сказал: «На нужды прихода, господин аббат!» Омерзительный персонаж извинился, отдал деньги и исчез.

Жюпьен вернулся за мной в полутемную каморку, где я стоял, боясь пошевелиться. «Зайдите на минутку в переднюю, где пируют мои молодцы, а я пока поднимусь, запру комнату; вы ведь постоялец, так что никто не удивится». Там был как раз хозяин, и я расплатился. В эту минуту вошел молодой человек в смокинге и властным тоном сказал хозяину: «Могу я завтра утром получить Леона не в одиннадцать, а без четверти одиннадцать, потому что я обедаю в городе?»

— «Это зависит от того, — ответил хозяин, — какое время оставит ему аббат». Ответ нисколько не удовлетворил молодого человека в смокинге, который, казалось, готов уже был разразиться бранью в адрес аббата, но гнев его направился по другому руслу, когда, заметив меня, он угрожающе шагнул к хозяину: «Кто это? Что это значит?» — бормотал он негромко, но в голосе его слышалась ярость. Смущенный хозяин объяснил, что присутствие мое не имеет решительно никакого значения, что я всего-навсего снимал тут комнату. Но, похоже, это объяснение никоим образом не успокоило молодого человека в смокинге. Он беспрестанно повторял: «Все это крайне неприятно, такого быть не должно, вы же знаете, как я это ненавижу, вы добьетесь того, что ноги моей больше у вас здесь не будет». Однако было не похоже, чтобы он исполнил эту угрозу в ближайшее время, потому что он ушел хотя и разъяренный, но настоятельно требуя, чтобы Леон постарался освободиться без четверти одиннадцать, а еще лучше в половине одиннадцатого. Жюпьен зашел за мной и проводил до самого выхода.

«Не хотелось бы оставлять у вас неприятное впечатление, — сказал он мне, — это заведение приносит мне отнюдь не так много денег, как

вы, быть может, думаете, я вынужден держать и порядочных жильцов, правда, с ними одними пришлось бы прогореть. Здесь вам не монастырь кармелиток, здесь добродетель живет за счет порока. Нет, если я и принял это заведение, вернее, если я согласился им управлять, как вы сами заметили, так исключительно только для того, чтобы оказать услугу барону и скрасить его старость». Жюпьену хотелось поговорить не только о сценах садизма вроде тех, свидетелем которых был я, и о том, как барон тешит здесь свой порок. А тот, когда хотел поболтать, сыграть в карты, просто иметь кого-нибудь рядом за компанию, теперь предпочитал общество исключительно людей простых, которые им без зазрения совести пользовались. Конечно же, снобизм сброда можно понять, как и любой другой снобизм. Впрочем, вместе они были уже давно, сменяя друг друга возле господина де Шарлюса, который не мог найти никого ни достаточно изысканного для своих светских отношений, ни достаточно порочного для отношений иного свойства. «Ненавижу середину, — говорил он, — буржуазная комедия — это такое занудство, мне нужно, чтобы это была либо принцесса из классической трагедии, либо грубый фарс. Никакой середины,

«Федра» или «Скоморохи»». Но в конечном итоге равновесие между двумя этими разновидностями снобизма оказалось нарушено. Может, причиной тому была старческая усталость, или его чувственность требовала более банальных отношений, теперь барон жил только с «низшими», бессознательно следуя при этом за таким великими предшественниками, как герцог де Ларошфуко, принц д'Аркур, герцог де Берри, они, по свидетельству Сен-Симона, проводили свои дни с лакеями, которые выманивали у них огромные суммы, обыгрывая в разные грубые игры, и было очень неловко, приходя к этим знатным господам, заставать их с фамильярной прислугой за картами или за выпивкой. «Все это для того, — добавил Жюпьен, — чтобы избавить его от неприятностей, ведь барон, как вы сами понимаете, в сущности, просто большой ребенок. Даже теперь, когда в этом заведении он может найти все, что только пожелает, ему еще нравится искать приключений на свою голову. И при его-то щедрости в наше время это может иметь кое-какие последствия. Ведь был же случай, когда один мальчишка-посыльный из отеля чуть не умер от страха при виде этой кучи денег, которые предложил ему барон, чтобы прийти к нему?

(К нему, какая неосторожность!) Этот парень, который, впрочем, любит только женщин, тут же успокоился, когда понял, чего от него хотят. Ведь сперва, когда ему стали обещать такие деньги, он принял барона за шпиона. И совершенно расслабился, когда понял, что от него требуется не предать родину, а всего-навсего отдать тело, что, быть может, так же безнравственно, но во всяком случае куда менее опасно, а главное, гораздо проще». Я думал, слушая Жюпьена: «Какая жалость, что господин де Шарлюс не сочиняет романов или стихов! И вовсе не для того, чтобы описывать то, что он видит, но та точка в пространстве, где находится некий Шарлюс по отношению к желаниям, рождает вокруг него скандалы, заставляет его принимать жизнь всерьез, вкладывать эмоции в удовольствия, мешает ему остановиться, взглянуть на вещи с иронией и как бы со стороны, и без конца растравляет в нем нечто болезненное. Почти каждый раз, признаваясь в любви, он подвергается унижениям, а то и рискует тюрьмой». Не только воспитание детей, но и воспитание поэтов делает их такими уязвимыми. Будь господин де Шарлюс романистом, заведение, которое устроил для него Жюпьен, в значительной степени снижая риск, по крайней

мере (поскольку рейдов полиции следовало опасаться все равно) риск нарваться на человека, в реакции которого, встреть барон его просто на улице, он не был бы уверен, — являлось бы для него настоящим несчастьем. Но господин де Шарлюс в искусстве был всего лишь дилетантом, который и не помышлял о писательстве, да и не имел к этому склонности.

«Впрочем, должен вам признаться, — продолжал Жюпьен, — я не слишком щепетилен в получении такого рода барыша. И даже то, что здесь происходит, не стану скрывать от вас, мне нравится, это вполне в моем вкусе. И кто запретит получать деньги за деятельность, которую не считаешь преступной? Вы гораздо образованнее меня, и вы мне, без сомнения, возразите, что Сократ не считал возможным брать деньги за свои уроки. Но в наше время профессора философии, равно как и врачи, а также художники, драматурги, директора театров придерживаются совсем иного мнения. Не подумайте только, что подобного рода деятельность вынуждает общаться с одним лишь сбродом. Да, конечно, управляющий такого заведения, подобно куртизанке, принимает только мужчин, но это мужчины, примечательные во всех отношениях, которые

в обычной ситуации самые тонкие, самые чувствительные, самые изысканные представители своего сословия. Уверяю вас, довольно скоро это заведение превратится в интеллектуальный клуб и агентство новостей». Но я все еще находился под впечатлением от сцены избиения господина де Шарлюса, невольным свидетелем которой мне пришлось стать.

И в самом деле, если хорошо знать господина де Шарлюса, его гордыню, его пресыщенность светскими удовольствиями, его капризы, легко превращающиеся в страсть к людям низкого пошиба, самого дурного сорта, довольно легко можно понять, что такое громадное состояние, которое, достанься оно какому-нибудь парвеню, наполнило бы его тщеславием оттого, что он может выдать свою дочь за герцога и приглашать их светлейшества на охоту, — господину де Шарлюсу было нужно, потому что позволяло прибрать к рукам какое-нибудь заведение, а возможно, и не одно, где всегда были под рукой молодые люди для развлечений. Вероятно, для этого не обязательно было даже обладать его пороком. Он был наследником стольких высокородных господ, принцев крови или герцогов, которые, по словам Сен-Симона, не посещали никого, «чье

имя можно было бы назвать без опасения выглядеть нескромным», и проводили время, играя в карты со слугами, которым отдавали неслыханные суммы!

«Но пока что, — сказал я Жюпьену, — ваше заведение совсем другого рода, это нечто худшее, чем просто сумасшедший дом, поскольку безумие его обитателей показное, срежиссированное, слишком уж заметное. Настоящий вертеп. Я-то думал, что, подобно калифу из «Тысячи и одной ночи», пришел на помощь человеку, которого жестоко истязают, но оказывается, это совсем другая сказка из «Тысячи и одной ночи», та, где превратившаяся в собаку женщина сама подставляет себя под удары, чтобы обрести прежнее обличье». Казалось, Жюпьен был очень взволнован моими словами, он понял, что я видел, как хлестали барона. Несколько мгновений он молчал, а я в это время остановил проходящий мимо фиакр; потом, вдруг озарившись улыбкой, обратился ко мне с изящной речью, демонстрируя тонкий ум, так часто поражавший меня в этом человеке, которому самому пришлось озаботиться собственным образованием, когда на пороге нашего дома он приветствовал меня или Франсуазу: «Вы упомянули здесь о сказках

«Тысячи и одной ночи», — сказал он мне. — А я знаю еще одну сказку, которая имеет некое отношение к другой книге, что я как-то заметил у барона (он намекал на перевод Рескина «Сезама и лилий», который я сам когда-то послал господину де Шарлюсу). — Если когда-нибудь вечерком вас разберет любопытство взглянуть на, не скажу сорок, но десяток разбойников, вам останется лишь прийти сюда, чтобы узнать, здесь ли я сам, вам достаточно будет взглянуть на то окошко вверху, освещено оно или нет, я оставлю щелочку открытой, это будет означать, что я пришел, и можно смело заходить; это мой Сезам. Я сказал лишь Сезам. Что же касается лилий, советую пойти поискать где-нибудь в другом месте, здесь вы их не найдете». И бесцеремонно поприветствовав меня, поскольку аристократическая клиентура и банда молодых людей, с которыми он обращался, как с пиратами, приучили его к фамильярности, он собирался уже было распрощаться со мной, когда звук взрывающейся бомбы, о которой не предупредили сирены, заставил его задержать меня еще. Тотчас же началась канонада, и такая яростная, что казалось, будто немецкий самолет находится совсем близко, прямо над нашими головами.

В одно мгновение улицы стали совершенно темными. Только иногда вражеский самолет, пролетавший совсем низко, освещал то место, куда собирался сбросить бомбу. Я не мог больше найти дороги. Я подумал о том дне, когда по пути в Распельер тоже повстречал самолет, словно некое божество, заставившее встать на дыбы мою лошадь. Я подумал, что нынешняя встреча совсем не похожа на ту и что теперь это злое божество убьет меня. Я ускорил шаги, стараясь спастись, словно путник, которого преследует прилив, я бесконечно долго кружил по черным площадям, откуда не мог найти выхода. Наконец пламя пожара осветило мой путь, и я смог найти дорогу, в то время как пушечные залпы, не переставая, трещали за спиной. Но мысли мои приняли другое направление. Я думал о доме Жюпьена, возможно, сейчас уже превращенном в развалины, потому что, когда я оттуда выходил, бомба упала как раз рядом со мной, о доме, на котором господин де Шарлюс тоже мог бы пророчески начертать «Содом», как сделал это с не меньшим предвидением, а быть может, уже при первых признаках извержения вулкана, в самом начале катастрофы, неведомый нам житель Помпеев. Но какое значение имеют всякие там сирены и гота-

сы для тех, кто пришел сюда за удовольствиями? Мы почти не думаем о социальном окружении, о природном обрамлении, в которых бушуют наши страсти. На море свирепствует буря, пляшет на волнах корабль, с неба низвергаются лавины, скрученные ветром, а мы едва ли сделаем хоть малейшее усилие, чтобы попытаться отвратить то, что она несет нам, выстоять в этой огромной декорации, в которой представляем собой такую малость, и мы сами, и то тело, к которому нас влечет. Сирены, предвестницы бомб, тревожили завсегдатаев жюпьеновского дома не больше, чем какой-нибудь айсберг. Более того, грозившая им физическая опасность избавляла от страха, который преследовал их, как болезненное наваждение, уже очень давно. Ошибочно предполагать, будто существует прямая зависимость между степенью опасности и внушаемым ею страхом. Можно бояться бессонницы и не бояться завтрашней дуэли, бояться крысы и не бояться льва. В течение нескольких часов полицейские, очевидно, занимались только спасением жизни горожан, делом весьма незначительным, и отказались от мысли их ловить и уличать в неподобающих деяниях. Многих из них больше, нежели моральная свобода, прельщал мрак,

неожиданно спустившийся на улицы. Некоторые из этих жителей Помпеев, пытаясь спастись от падающего с неба огненного дождя, спустились в переходы метро, мрачные, как катакомбы. Они знали, что будут там не одни. Ибо мрак, в который погружено все, словно в новую стихию, представляющий для многих людей непреодолимое искушение, заставляет нас, минуя первую стадию удовольствия, сразу же приступить к ласкам, что обычно бывает лишь по прошествии какого-то времени. Неважно, кто оказывается этим вожделенным объектом, женщина или мужчина, даже если допустить, что обхождение не представляет труда и бесполезны все эти бесконечно долгие салонные уловки (во всяком случае среди бела дня), вечерами (даже на таких плохо освещенных улицах, как теперь) требуется по крайней мере некое вступление, во время которого одни лишь глаза выражают то, что необходимо выразить, когда боязнь прохожих, боязнь быть узнанным, позволяет лишь смотреть и разговаривать, и ничего больше. Во тьме все эти неизбежные прежде прелюдии оказываются ненужными, и руки, губы, тела вступают в игру сразу, без подготовки. Темнотой можно объяснить и извинить все, и даже если ваши действия будут плохо восприняты,

она поглотит и оплошность. Если же они будут приняты хорошо, немедленный ответ тела, не отпрянувшего, но прильнувшего, даст понять нам, что та (или тот), к кому мы безмолвно обращаемся, лишена предрассудков, но готова отдаться пороку, и это еще больше обострит ощущение счастья от того, что удалось откусить плод, не пожирая его глазами перед этим и не спрашивая дозволения. Но темнота не рассеивается: погруженные в эту новую стихию посетители жюпьеновского заведения, полагая, будто совершили путешествие и стали свидетелями некоего природного феномена вроде гигантской морской волны или солнечного затмения и вместо подготовленного и запланированного удовольствия вкусили радость случайной встречи во тьме и неизвестности, исполняли тайные ритуалы здесь, в сумраке катакомб, у подножия нового Везувия, под вулканическим громыханием бомбежки.

В одном зале собралось множество людей, не желающих спасаться бегством. Они не были знакомы друг с другом, но, судя по всему, все же принадлежали к одному и тому же миру, миру богачей и аристократов. Во внешности каждого из них было нечто отталкивающее, не вызывало сомнений, что они не способны устоять перед

соблазном низменных удовольствий. У одного из них, огромного и толстого, лицо было покрыто красными пятнами, как у хронического алкоголика. Мне объяснили, что он приходит сюда не так уж давно, и первое время довольствовался тем, что просто поил молодых людей. Но, ужасаясь при мысли о возможной мобилизации (хотя, похоже, ему уже было за пятьдесят), он, поскольку и так был уже очень толстый, стал пить сам без остановки, пытаясь перевалить за вес в сто килограммов, свыше которого уже не призывали. Затем то, что поначалу было простым расчетом, превратилось в страсть, и, хотя за ним присматривали, порой ему удавалось все же сбежать, и тогда все знали, что отыщется он в винной лавке. Но стоило ему заговорить, становилось ясно, что при всей посредственности ума это был человек, обладающий незаурядными познаниями, образованием и культурой. Тут вошел еще один, явно принадлежавший к высшему свету, довольно молодой, с внешностью весьма примечательной. По правде говоря, на нем еще не проступило заметного всем клейма порока, но, что волновало еще больше, оно, это клеймо, было как бы изнутри. Он был очень высокий, с приятным лицом, его манеры свидетельствовали

о совсем ином уме, чем у соседа-алкоголика, и ум этот, безо всякого преувеличения, можно было бы назвать весьма замечательным. Но все, что он произносил, сопровождалось выражением, которое приличествовало бы совсем другой фразе. Как если бы, обладая необходимым набором мимики, он, существуя в ином мире, производил эти выражения на свет в неподобающем порядке, казалось бы, совершенно случайно, словно срывая наугад лепестки, дарил свои улыбки и взгляды безо всякой связи с предметом беседы. Я надеюсь, если, конечно, он еще жив, что это было следствием не серьезной болезни, но кратковременной интоксикации. Вполне вероятно, что если у этих людей попросить визитные карточки, то, к нашему изумлению, окажется, что все они принадлежат к высшим слоям общества. Но некие пороки, и самый серьезный из них — недостаток воли, мешающий противостоять кому и чему бы то ни было, собирал их в отдельных номерах, причем каждый вечер, так что если бы их имена и были на слуху у женщин высшего света, то они, эти женщины, постепенно забывали их лица и никогда больше не имели случая заполучить к себе с визитом. Они продолжали еще получать приглашения, но сила привычки

приводила их на эти разношерстные сборища. Впрочем, они не очень-то и прятались, в отличие от всех этих мальчиков-посыльных, рабочих и других молодых людей, что обслуживали их прихоти. И при наличии множества причин, о которых можно только догадываться, объяснить все можно одной. Для какого-нибудь служащего или лакея прийти сюда означало почти то же самое, что для женщины с приличной репутацией отправиться в дом свиданий. Иные, которые все-таки признавали, что ходили в это заведение, оправдывались, утверждая, что этого никогда больше не повторится, и сам Жюпьен, вынужденный лгать, чтобы защитить их репутацию или избавиться от конкурентов, говорил: «О нет, что вы! Он ко мне не ходит, с какой стати ему сюда ходить».

Для тех, кто принадлежит к высшему свету, это не так важно, тем более что другие, которые не ходят сюда, не знают, что это такое, и им дела нет до вашей жизни. В то же самое время, если бы сюда заявился какой-нибудь слесарь с авиационного завода, его приятели выследили бы его в два счета, и, значит, ни за что на свете никакой слесарь не согласился бы сюда прийти из опасения, что о его похождениях все узнают.

Продолжая идти по направлению к дому, я размышлял о том, насколько быстро наше сознание перестает контролировать привычки, оно словно отрекается от них, не заботясь о них более, а еще я думал о том, как велико бывает наше удивление, когда мы просто-напросто наблюдаем — предполагая при этом, что они овладевают всем индивидом целиком, — за действиями человека, чьи нравственные и интеллектуальные качества развиваются независимо одни от других, зачастую в совершенно противоположных направлениях. Очевидно, что именно недостаток воспитания, а быть может, и полное его отсутствие, в сочетании со стремлением заработать немного денег способом если и не наименее тягостным (поскольку очевидно, что существует множество работ гораздо более приятных, но вот, к примеру, больной, разве все эти причуды, ограничения и лекарства не делают его существование гораздо более мучительным, чем та не слишком-то и серьезная болезнь, с которой он таким образом борется?), но по крайней мере наименее трудоемким изо всех возможных, заставляет этих «молодых людей» с наивным простодушием и за мизерные деньги делать то, что не доставляет им никакого удовольствия, а первое

время просто внушает сильнейшее отвращение. Уже из-за этого одного их можно было бы назвать крайне порочными, но при этом не только на фронте они слыли превосходными солдатами, отчаянными «храбрецами», но довольно часто и в обычной жизни это были добрые, славные люди. Они уже давно не отдавали себе отчета, нравственной или безнравственной была жизнь, что они вели, поскольку ничем не отличались от своего окружения. Так, когда мы изучаем некоторые периоды Древней истории, нам странно бывает понять, как люди, сами по себе не злые, безо всяких угрызений совести принимали участие в массовых убийствах, в человеческих жертвоприношениях, что, по всей вероятности, казалось им совершенно естественным.

Впрочем, дому Жюпьена помпейские надписи подошли бы как нельзя лучше, особенно если принять во внимание, что нынешнее время весьма напоминало конец Французской революции и начало Директории. Уже не дожидаясь объявления мира, прячась в темноте, не решаясь в открытую нарушать предписания полиции, повсюду задавали балы, часто всю ночь напролет. Наряду с этим в артистических кругах уже высказывались мнения не столь антигерманские,

как в первые годы войны, в сдавленное горло начинал поступать кислород, но, чтобы иметь право высказывать эти мнения, необходимо было представить свидетельство о благонадежности. Некий профессор написал замечательную книгу о Шиллере, и о ней упоминали во всех газетах. Но в начале каждой рецензии, словно клеймо цензора «Разрешено к печати», стояла информация о том, что автор был на Марне и под Верденом, получил пять благодарностей в приказе, а два его сына убиты на фронте. А дальше уже воздавали должное ясности слога и глубине этой его книги о Шиллере, которого дозволено было даже назвать великим, лишь бы вместо «этот великий немец» было сказано «этот великий бош». Для статьи это был словно пароль, по которому пропускали сразу же и повсюду.

Без сомнения, тому, кто будет читать историю нашего времени через две тысячи лет, тоже покажется, что некоторые наши понятия о совести и морали, изначально безупречные и чистые, оказались поглощены некоей средой обитания, чрезвычайно тлетворной и губительной, к которой они тем не менее прекрасно приспособились. С другой стороны, я знал не так уж много людей, а по правде сказать, не знал и вовсе, которые

были бы столь же интеллектуально и чувственно одарены, как Жюпьен, ибо этот чудесный «багаж», составляющий духовную основу его высказываний, был приобретен им не благодаря обучению в колледже или университетскому образованию, которые могли бы сделать из него поистине замечательного человека, в то время, как столько светских молодых людей не извлекли из ученья вовсе никакой пользы. Врожденный здравый смысл, природный вкус в сочетании с беспорядочным, бессистемным, просто чтобы убить время, чтением, воспитали его речь, такую точную и ясную, в которой все совершенство языка раскрывалось и обнаруживало свою красоту. Однако профессия, которой он занимался, могла с полным на то основанием считаться хотя и одной из самых прибыльных, но при этом самой последней из всех профессий. Что же касается господина де Шарлюса, какое бы презрение его аристократическая гордость ни питала ко всем этим сплетням и пересудам, как же все-таки чувство собственного достоинства и самоуважения не заставило его отказаться от некоторых удовольствий, влечение к которым может оправдать лишь полное безумие? Но у него, так же как и у Жюпьена, привычка отде-

лять мораль от всякого рода деятельности (что, впрочем, встречается во многих профессиях, например, иногда у адвокатов, иногда у политиков, и много где еще), должно быть, укоренилась так давно (нисколько не соотносясь с его понятиями о морали и нравственности), что теперь уже все зашло слишком далеко и усугублялось день ото дня, пока этот безвольный Прометей не оказался насильно прикован к скале чистой материи.

Я, конечно, прекрасно осознавал, что это новая стадия болезни господина де Шарлюса, которая, с тех пор как я ее заметил и мог собственными глазами наблюдать ее различные периоды, прогрессировала с головокружительной быстротой. Несчастному барону сейчас, должно быть, оставалось не так уж далеко до конца, то есть до смерти, даже если перед этим ему не грозит, как предрекала и желала госпожа Вердюрен, тюремное заключение, которое в его возрасте может лишь ускорить ее. И все же, сказав — «скала чистой материи», я, пожалуй, выразился не совсем точно. В этой «чистой материи» были, возможно, некоторые примеси духовного. Этот сумасшедший, несмотря ни на что, прекрасно осознавал, что является жертвой безумия, и в то же время играл, поскольку прекрасно понимал, что тот, кто

сейчас хлещет его плетью, на самом деле не злее какого-нибудь мальчишки, которому в дворовой баталии по жребию выпало быть «пруссаком» и на которого набросились приятели в пылу всамделишного патриотизма и напускной ненависти. Жертва безумия, в котором проступали все же черты личности господина де Шарлюса. Даже в этих извращениях человеческая природа (как в любви или в путешествиях) потребность в вере выдает за стремление к истине. Франсуаза, когда я рассказывал ей о какой-нибудь церкви в Милане — городе, куда она, скорее всего, никогда не попадет — или о Реймском соборе — да хотя бы и о соборе в Аррасе, — которые она тоже не сможет никогда увидеть, поскольку они почти совсем разрушены, завидовала богачам, что могут позволить себе любоваться подобными сокровищами, и с ностальгическим сожалением восклицала: «Как это, должно быть, красиво!» — так вот, она, уже столько лет живя в Париже, так до сих пор и не удосужилась пойти посмотреть Нотр-Дам. Ведь Нотр-Дам был всего-навсего частью Парижа, города, где текла повседневная жизнь Франсуазы и в котором нашей старой служанке — а впрочем, наверное, и мне тоже, если бы изучение архитектуры не искоренило бы во мне в какой-то

степени инстинкты Комбре — невозможно было представить себе объекты своих мечтаний. Так в людях, которых мы любим, есть свойственная только им одним некая мечта, которую мы не всегда можем различить, но просто понимаем, что она существует. Так моя вера в Бергота, в Свана заставила меня полюбить Жильберту, моя вера в Дурного Жильбера заставила меня полюбить герцогиню Германтскую. А какой огромной глубины и протяженности море было даровано мне в любви, пускай самой мучительной, самой ревнивой, самой единственной, любви к Альбертине! Впрочем, именно благодаря этой единственности, которую мы так все оберегаем, наша любовь уже является в каком-то смысле извращением. (А телесные недуги, по крайней мере те из них, которые хоть в какой-то степени связаны с нервной системой, разве не являются они порождением и следствием наших собственных пристрастий или наших собственных страхов, что передаются, словно вирус, органам и суставам, которые оказываются способны воспринять этот ужас, столь же необъяснимый и столь же стойкий, как и странная склонность, что некоторые мужчины испытывают к женщинам в пенсне или, например, к наездницам? Это влечение, что

пробуждается каждый раз при виде наездницы, кто может объяснить, с какими неосознанными мечтаниями связано оно, неосознанными и столь же таинственными, как, к примеру, бывает у человека, всю жизнь страдавшего приступами астмы, который вдруг попадает в какой-то город, с виду ничем не отличимый от других, но где он впервые может дышать свободно?)

Значит, эти извращения сродни любви, в которой болезненный порок поглотил все и всем завладел. Даже в самом безумном из них можно еще угадать любовь. Господин де Шарлюс настойчиво просил, чтобы руки его и ноги были продеты в крепкие, надежные кольца, требовал колодок и всех этих свирепых аксессуаров, которые, как объяснил мне Жюпьен, было невероятно трудно раздобыть даже у матросов — потому что они служили для наказаний, давно не применяемых и там, где за дисциплиной следили строже всего, то есть на борту военных кораблей, — но при всем этом в господине де Шарлюсе жила мечта о мужественности, отсюда его тяга к грубой силе, а еще было в нем нечто, невидимое нам, но временами дающее отсветы: креста правосудия, феодальных пыток, что украшало странным орнаментом его средневековое воображение. С

тем же самым чувством он говорил всякий раз, появляясь у Жюпьена: «Этим вечером по крайней мере не будет тревоги, я знаю, что меня уже спалил небесный огонь, как жителя Содома». И он притворялся, будто боится готасов, не испытывая при этом и тени страха, а просто чтобы иметь предлог, как только завоют сирены, поспешить в укрытие метрополитена, где он надеялся в темноте получить свою долю удовольствия от случайных прикосновений, смутно грезя о средневековых подземельях и монастырской тюрьме. В сущности говоря, это его стремление оказаться привязанным, избитым при всей свой гнусности было отражением некой мечты, столь же романтической, как у кого-нибудь другого, например, отправиться в Венецию или взять на содержание танцовщицу. И господин де Шарлюс столь упорно настаивал на том, чтобы мечта его как можно больше была приближена к реальности, что Жюпьену пришлось убрать деревянную кровать из комнаты 43 и заменить ее железной, с которой цепи сочетались гораздо лучше.

Когда я подходил к дому, прозвучал наконец отбой воздушной тревоги. Кричал какой-то мальчишка, передразнивая вой пожарной машины. Я повстречал Франсуазу, которая как раз подни-

малась из подвала вместе с метрдотелем. Она думала, что я уже мертв. Она сказала, что заходил Сен-Лу, извинялся, хотел посмотреть, не уронил ли он где-нибудь в доме во время своего утреннего визита ко мне военный крест. Потому что только сейчас заметил, что где-то его потерял, а поскольку завтра утром собирался уже отправиться в свой полк, хотел выяснить, не у меня ли. Они вместе с Франсуазой обшарили все, но не нашли. Франсуаза полагала, что он, должно быть, обронил крест еще до того, как приходил ко мне, потому что, она точно помнит, может поклясться: когда она видела Сен-Лу, никакого креста уже не было. В этом-то она и ошибалась. Вот чего стоят все показания свидетелей и все воспоминания! Впрочем, все это не имело большого значения. Офицеры уважали Сен-Лу в той же степени, в какой любили его солдаты, и все можно было бы легко уладить. Впрочем, по тому, как равнодушно говорили о Сен-Лу Франсуаза и метрдотель, я тотчас же почувствовал, что он произвел на них весьма неудовлетворительное впечатление. Было очевидно, что сын метрдотеля и племянник Франсуазы, с одной стороны, и Сен-Лу, с другой, предприняли одинаковые усилия, только в противоположном направлении: первые, чтобы

окопаться в тылу, второй, и небезуспешно — чтобы оказаться в центре опасности. А вот этого-то, поскольку судили по себе самим, Франсуаза и метрдотель понять не могли никак. Они были убеждены, что богачи всегда сумеют отвертеться. Впрочем, даже если бы они и узнали правду о смелости и мужестве Робера, это не произвело бы на них особого впечатления. Он не употреблял слово «боши», он отдавал должное отваге немцев, а тот факт, что мы не победили в первый же день войны, объяснял отнюдь не чьим-то предательством. А именно это они и хотели бы услышать, именно это было в их представлении признаком мужества. И, продолжая искать военный крест, о Сен-Лу они отзывались довольно холодно. Я, который догадывался, где именно этот крест мог быть потерян (однако если Сен-Лу и был в тот вечер рассеян до такой степени, так это оттого, что, охваченный желанием увидеть Мореля, он задействовал все свои военные связи, чтобы выяснить, в каком полку тот служит, и сходить его повидать, но на сегодняшний день получил лишь сотню совершенно противоречивых ответов), посоветовал Франсуазе и метрдотелю идти спать. Но тот, похоже, не спешил расстаться с Франсуазой с тех пор, как благодаря войне отыскал

повод более действенный, чем изгнание из школ сестер-монахинь и дело Дрейфуса, мучить ее. Этим вечером, а также те несколько вечеров, что я провел рядом с ними, пока не уехал из Парижа в другую клинику, я слышал, как метрдотель говорит испуганной Франсуазе: «Ну разумеется, они не спешат, зачем спешить? Они ждут, пока груша созреет, но в тот день, когда они возьмут Париж, тут уж пощады не жди!» — «Господи Боже, Пресвятая Дева! — восклицала Франсуаза. — Мало им того, что победили несчастную Бельгию. Мало она страдала, когда они ее захватили». — «Бельгия, Франсуаза, что Бельгия! То, что сделали с Бельгией, это только цветочки!» И, поскольку война ввела в обиход множество новых терминов, которые простолюдины различали только на глаз, видя их в газетах, и, следовательно, не имели ни малейшего представления о том, как их следует произносить, метрдотель добавлял: «Не понимаю, не понимаю, как мир мог так сойти с ума… Вот попомните мои слова, Франсуаза, они готовят новое наступление, причем такое большое, какого раньше не было». Пытаясь защитить даже не несчастную Франсуазу и не разумную военную стратегию, но хотя бы просто грамматику, и заявив, что надо правильно

произносить «насупление», я добился лишь того, что каждый раз, входя на кухню, я слышал все ту же чудовищную фразу, адресованную Франсуазе, потому что метрдотель был счастлив оттого, что способен нагнать страху на свою приятельницу, но еще больше оттого, что может показать своему хозяину, что хотя он и бывший садовник из Комбре и обыкновенный метрдотель, но как добропорядочный француз, судя по уставу Сент-Андре-де-Шан, из Декларации о правах человека он извлек право произносить «насупление» так, как ему это угодно, и не позволит, чтобы ему делали замечания относительно того, что не имеет отношения к его прямым обязанностям и что вообще после революции никто не имеет права ничего ему говорить, поскольку он такой же гражданин, как и я.

Я был весьма опечален, слыша, как Франсуазе твердят о «насупательной» операции с настойчивостью, призванной доказать, что подобное произношение является следствием не безграмотности, но продуманного и зрелого выбора. Он путал правительства, газеты, и каким презрением был полон его безличный оборот, когда он говорил: «Нам говорят о потерях бошей и совсем не говорят о наших, можно подумать, что их в

десять раз больше. Нам заявляют, что силы их на исходе, что им больше нечего есть, но я-то думаю, что еды у них в сто раз больше, чем у нас. Не надо вешать нам лапшу на уши. Если бы у них и в самом деле было нечего есть, они не сражались бы так, как в тот самый день, когда убили сто тысяч наших мальчиков, которым не было и двадцати». Все-таки он изрядно преувеличивал, расписывая триумф немцев, как преувеличивал некогда, расхваливая успехи радикалов; а еще он живописал их кровожадность, чтобы их триумф вызывал еще больший ужас у Франсуазы, которая, не переставая, причитала: «Ах Дева Мария, заступница наша, ах Божья Матерь!», а временами, стараясь, чтобы ей было еще неприятнее, он говорил: «А впрочем, и мы сами стоим не больше, чем они, разве то, что мы сделали в Греции, не лучше того, что они сотворили в Бельгии? Вот попомните мои слова, мы еще восстановим против себя все страны, нам придется еще сражаться со всем светом», хотя на самом деле все обстояло как раз наоборот. В те дни, когда новости были хорошими, он отыгрывался на Франсуазе, сообщая ей, что война продлится тридцать пять лет, и в предвидении возможного мира утверждал, что он установится всего лишь на несколько месяцев,

зато потом начнутся такие сражения, по сравнению с которыми эти покажутся невинными детскими игрушками, и после них от Франции не останется вообще ничего.

Тем не менее победа союзников начинала казаться если и не близкой, то, во всяком случае, вполне правдоподобной, и, к сожалению, следует признать, что метрдотеля это огорчало. Ведь поскольку всю «мировую» войну он свел к войне против Франсуазы (которую он, несмотря на это, любил, как можно любить приятеля, которого каждый день обыгрываешь в домино, и испытываешь счастье от того, что приводишь его в ярость), победа в его представлении сводилась к высказываниям Франсуазы, впервые осмелившейся заявить, к его большой досаде: «По всему видать, это уже конец, и похоже, они отдадут больше, чем получили от нас в семидесятом». Впрочем, он всегда полагал, что расплата неотвратима, поскольку не осознаваемый им самим патриотизм делал его, как и всех французов, жертвой той же иллюзии, что овладела и мной, когда я был болен, он считал, что победа — а я полагал, что мое выздоровление — случится не далее чем завтра. Он подстраховывался на всякий случай, заявляя Франсуазе, что, возможно, победа

и будет, но сердце его уже кровоточит от этой мысли, поскольку за ней наверняка последует революция, а потом и новое вторжение. «Ох уж эта чертова война, только боши и сумеют быстро оправиться, Франсуаза, они уже заработали сотни миллиардов. Но разве они нам выложат хотя бы су, и не надейся! Может быть, так будет в газетах, — добавлял он из осторожности и чтобы защититься на всякий случай, — чтобы успокоить народ, как нам уже три года твердят, что война закончится завтра». Франсуаза была тем более потрясена этими словами, что и в самом деле, поверив поначалу оптимистам больше, чем метрдотелю, она могла убедиться, что война, которая должна была закончиться в две недели, несмотря на «захват несчастной Бельгии», все продолжалась и продолжалась, а войска никуда не продвигались. Линия фронта остановилась, в чем она, впрочем, ничего не понимала, а все эти многочисленные «крестники», которым она отсылала все заработанное у нас, рассказывали ей, что от народа скрыли то одно, то другое. «Все это рабочему человеку выйдет боком, — говорил в заключение метрдотель. — Вас еще, Франсуаза, оберут до нитки». — «О Господи Боже!» Но этим отдаленным несчастьям он предпочитал все

же неприятности более близкие и с жадностью поглощал газеты, надеясь сообщить Франсуазе о каком-нибудь поражении. Он ожидал дурных известий, как дети ждут пасхальных яиц, надеясь, что на этот раз все будет достаточно плохо, чтобы напугать Франсуазу, но при этом не настолько, чтобы лично он мог материально пострадать. Так, налет цеппелинов привел его в восторг, потому что ему было приятно видеть, как Франсуаза прячется в подвале, а с другой стороны, он был убежден, что в таком огромном городе, как Париж, бомбы просто не могут попасть именно в наш дом.

Впрочем, Франсуазу начинали уже вновь одолевать приступы пацифизма, как некогда в Комбре. Она уже почти сомневалась в «жестокостях бошей». «В начале войны нам говорили, что эти немцы просто убийцы, разбойники, настоящие бандиты, эти б-б-боши…» (Если она произносила несколько «б» в слове «боши», так это потому, что обвинения немцев в бандитизме казались ей, в общем, вполне правдоподобными, но то, что они еще и боши, было почти невероятно, настолько непомерно огромным представлялось ей это слово. Правда, довольно трудно понять, какое такое мистически чудовищное значение вкладывала

Франсуаза в слово «боши», ведь речь-то шла о начале войны, к тому же она произносила его несколько неуверенно. Ведь хотя сомнение в том, что немцы являлись преступниками, могло быть ни на чем не основано, с точки зрения логики оно не содержало в себе никакого противоречия. Но как сомневаться в том, что они боши, ведь слово это на языке простых людей как раз и означает «немцы»? Быть может, она лишь повторяла своими словами услышанные где-то резкие высказывания, в которых особая энергия вкладывалась как раз в слово «бош».) «Я верила всему этому, — говорила она, — а теперь вот думаю, а что, если мы точно такие же негодяи?» Появление этой кощунственной мысли у Франсуазы можно объяснить опять-таки влиянием метрдотеля, который, видя, что его приятельница питает некоторую склонность к греческому королю Константину, без устали живописал ей, как мы лишаем его продовольствия в ожидании дня, когда он наконец уступит. Так отречение монарха от престола до такой степени потрясло Франсуазу, что она даже заявила: «Мы сами не лучше, чем они. Окажись мы в Германии, мы бы еще и не такое устроили». Впрочем, эти несколько дней я мало видел ее, потому что она часто отправлялась

навещать своих родственников, тех самых, про которых мама сказала мне однажды: «Знаешь, они ведь богаче тебя». И мы оказались свидетелями одной прекрасной истории, которые в то время были нередки по всей стране и которые, если бы нашелся какой-нибудь историк, чтобы увековечить их в анналах, могли бы свидетельствовать о величии Франции, о величии ее души, величии по всем канонам Сент-Андре-де-Шан, которое гражданские, выжившие в тылу, проявили не в меньшей степени, чем солдаты, погибшие на Марне. В Берри-о-Бак был убит племянник Франсуазы, который являлся также племянником ее родственников-миллионеров, бывших хозяев кафе, давно уже отошедших от дел, после того как им удалось сколотить капитал. Итак, он был убит, этот скромный, не имевший никаких средств владелец небольшого бара, призванный в возрасте двадцати пяти лет, оставивший молодую жену хозяйничать в этом самом баре, куда надеялся вернуться несколько месяцев спустя. Он был убит. А мы стали свидетелями такой истории. Франсуазины родственники-миллионеры, которым эта молодая женщина, вдова их племянника, никем, в общем, не приходилась, приехали из своей деревни, где жили уже десять лет, и, не

желая трогать ни единого су, вновь заделались владельцами кафе; каждое утро, в шесть часов, жена миллионера, истинная дама, одетая, как «компаньонка», приходила помочь этой своей родственнице, жене племянника. И в течение целых трех лет мыла стаканы и обслуживала клиентов с раннего утра до половины десятого вечера, без праздников и выходных. В этой книге, где нет ни единого невыдуманного факта, ни единого реального персонажа, где все от первой до последней строчки выдумано мной, волей моей фантазии, к чести своей страны должен сказать, что эти родственники-миллионеры Франсуазы, покинувшие свой дом, чтобы помочь оставшейся без поддержки племяннице, — единственные реально существующие люди. И, будучи уверен, что их скромность не будет задета, по той простой причине, что они никогда не прочтут этой книги, с детской радостью и глубоким волнением, не имея возможности поименовать здесь стольких других, действовавших подобным же образом и благодаря которым Франция выжила, сообщаю здесь их настоящее имя, самое что ни на есть французское: Ларивьер. Если и существовали всякие гнусные тыловые крысы вроде того настойчивого молодого человека в смокинге,

которого я встретил у Жюпьена, единственной заботой которого было заполучить к себе Люсьена именно в десять тридцать и никак не позже, потому что в тот день он «обедает в городе», их существование искупали все эти бесчисленные французы Сент-Андре-де-Шан, все благородные солдаты, к которым я отношу и Ларивьеров.

Чтобы еще больше разжечь беспокойство Франсуазы, метрдотель показывал ей найденные им старые номера «Чтения для всех», на обложках которых (а это были еще довоенные номера) была изображена «немецкая императорская семья». «Вот наш завтрашний хозяин», — говорил метрдотель Франсуазе, показывая ей «Вильгельма». Она вовсю таращила глаза, потом переводила взгляд на особь женского пола, стоящую рядом с ним, и говорила: «А вот Вильгельмесса».

Мой отъезд из Парижа задержался из-за известия, которое причинило мне столько печали, что я какое-то время был просто не в силах отправиться в путь. Я узнал о смерти Робера де Сен-Лу, убитого на следующий день после возвращения на фронт, когда он прикрывал отход своих солдат. Не было на свете человека, до такой степени лишенного ненависти (что касается императора, то Сен-Лу по причине каких-то личных сообра-

жений, быть может, ошибочных, был уверен, что Вильгельм II пытался не развязать войну, а, напротив, предотвратить ее). Отсутствовала в нем и германофобия; последними словами, которые я услышал от него шесть дней назад, были начальные строки романса Шумана, которые он напел мне, стоя на лестнице, по-немецки, и я еще, опасаясь соседей, просил его петь потише. Привыкший благодаря в высшей степени изысканному воспитанию избегать всяких восхвалений, равно как и оскорблений, и вообще любых красивых фраз и позерства, он, как и в момент мобилизации, не мог позволить себе перед врагом того, что, быть может, спасло бы ему жизнь; он стремился сделать свое присутствие незаметнее рядом с другими, в этом был он весь, когда, например, шел с непокрытой головой проводить меня до фиакра и сам захлопывал дверцу каждый раз, когда я уходил от него. Несколько дней я сидел, запершись у себя в комнате, беспрестанно думая о нем. Я вспоминал первый его приезд в Бальбек, когда, в белом шерстяном костюме, с глазами зеленоватыми и беспокойными, словно море, он шагал через холл, примыкающий к большой столовой, стеклянные двери которой выходили на берег. Помню, он показался мне тогда человеком совер-

шенно необыкновенным, словно явившимся из какого-то другого мира, человеком, с которым мне сразу же страстно захотелось подружиться. Пожелание это осуществилось в куда большей степени, чем я мог даже предполагать, но тогда я был не в состоянии это оценить и только лишь потом стал понимать, сколько достоинств таилось за этой внешней элегантностью. Все это другое, и плохое, и хорошее, он расточал без счета каждый день, и в тот свой последний день тоже, когда пошел на штурм траншеи, щедро отдав другим все, что имел сам, помню, как однажды вечером в ресторане он, пробираясь к выходу, передвигался не по полу, а по дивану, чтобы не побеспокоить меня. И, в сущности, видясь с ним за всю жизнь не так уж и много, в разных местах, при совершенно различных обстоятельствах, и, как правило, с довольно большими перерывами, в холле дома в Бальбеке, в кафе Ривебеля, в кавалерийской казарме и на военных приемах в Донсьере, в театре, когда он однажды дал пощечину журналисту, у принцессы Германтской, я смог составить из его жизни картину более убедительную и четкую, а смерть его причинила мне горе гораздо более острое, чем это бывает по отношению к людям, любимым нами куда больше, но которых

мы видим и наблюдаем так часто, что их образ получается каким-то размытым, изо всех этих неуловимо разных картинок составляется нечто среднее, и наша пресыщенная любовь к этим людям не оставляет нам, в отличие от нашей любви к тем, кого мы видим всего лишь редкие моменты, в течение коротких, несмотря на их и на наше желание, встреч, не оставляет иллюзии, что любовь эта могла бы быть сильнее, и лишь случайное стечение обстоятельств помешало этому. Несколько дней спустя после появления его в холле дома в Бальбеке со своим моноклем, когда он показался мне таким высокомерным, мне было подарено другое живое видение, оно явилось мне впервые на пляже Бальбека, который теперь тоже существовал лишь в области моих воспоминаний, это была Альбертина, шагающая в тот первый вечер по песку, безразличная ко всему и естественная в этом морском пейзаже, как чайка. Я полюбил ее так стремительно, что, желая быть с Альбертиной каждый вечер, я никогда не навещал Сен-Лу в Бальбеке. И все-таки были свидетельства моих с ним отношений в то время, когда я перестал любить Альбертину, потому что если я и обосновался на какое-то время в Донсьере, возле Робера, так лишь из-за

того, что мне было больно осознавать: чувства, которые я питал к госпоже Германтской, не были взаимными. Его жизнь и жизнь Альбертины, обе так поздно, лишь в Бальбеке, мной узнанные и обе так рано оборвавшиеся, едва пересекались: именно его, повторял я себе, видя, как снующий меж годами челнок соединяет нитями те наши воспоминания, что казались поначалу ничем не связанными; именно его послал я к госпоже Бонтан, когда Альбертина покинула меня. А потом оказывалось, что две эти жизни имели каждая сходную тайну, о которых я и не подозревал. Тайна Сен-Лу теперь, быть может, причиняла мне больше грусти, чем тайна Альбертины, жизнь которой стала мне такой чужой. Но я не мог утешиться при мысли о том, что ее жизнь, как и жизнь Сен-Лу, оказалась столь короткой. И он, и она часто повторяли мне, проявляя заботу: «Вы ведь так нездоровы». А умерли они, и я мог сопоставить, проведя не такую уж длинную черту, последний их образ, перед окопом, возле реки, с первым образом, который, особенно это касается Альбертины, если и что-то для меня значил, то лишь по ассоциации с заходящим над морем солнцем.

Его смерть была воспринята Франсуазой с

куда большим огорчением, чем смерть Альбертины. Она немедленно прониклась ролью плакальщицы и неизменно сопровождала свои воспоминания об умершем плачем и отчаянными стенаниями. Она выставляла напоказ свое горе и принимала холодный вид и отворачивалась, стоило лишь ей, против моей воли, увидеть мое лицо, которое она предпочитала не замечать. Как это бывает со многими нервными людьми, нервозность других, слишком похожая на их собственную, ее безмерно раздражала. Теперь она любила привлечь внимание к малейшему хондрозу или головокружению, которые вдруг случались с ней. Но стоило мне заговорить о своих болях, ставших постоянными и довольно сильными, она делала вид, что не слышит.

«Несчастный маркиз», — говорила она, что, впрочем, не мешало ей быть убежденной в том, что он в свое время сделал все возможное и невозможное, чтобы остаться в тылу, а будучи все же мобилизован, старался избегать опасностей. «Несчастная дама, — говорила она, думая о госпоже де Марсант, — как она, должно быть, плакала, узнав о смерти своего мальчика! Если бы только она могла его еще раз увидеть, а может, оно и лучше, что не могла, потому что у него нос разбит

и лицо совсем изуродовано». Глаза Франсуазы наполнялись слезами, но сквозь них блестело кровожадное крестьянское любопытство. Конечно, Франсуаза искренне сочувствовала горю госпожи де Марсант, но весьма сожалела, что не может воочию наблюдать, как именно выражено это самое горе, и вынуждена лишать себя такого интересного зрелища, зрелища скорби. И поскольку ей очень нравилось плакать, а еще больше — чтобы я видел ее плачущей, она приговаривала, стремясь завести себя: «Господи, да за что же мне такое!» На мне она тоже жадно выискивала следы горя, что заставляло меня принимать холодный вид, когда я заговаривал о Робере. И скорее из чувства подражания, поскольку свои клише есть везде, в том числе и в том, что связано с трауром, она говорила, впрочем, не без некоторого бедняцкого удовлетворения: «И никакое его богатство не спасло ему жизни, он умер так же, как и другие, зачем теперь ему оно?» Метрдотель не мог упустить случая, чтобы не заявить Франсуазе, что все это, конечно, весьма печально, но не идет ни в какое сравнение с теми миллионами людей, которых ежедневно убивают на фронте, несмотря на все усилия правительства скрыть эти факты. Но на этот раз он не преуспел

в своей затее и огорчить Франсуазу еще больше ему не удалось. Она отвечала ему: «Так-то оно так, они тоже умирают за Францию, но они же все незнакомые, гораздо интереснее, когда это лю-у-ди, которых знаешь». И Франсуаза, которая всегда плакала с большим удовольствием, добавляла: «Если о смерти маркиза будет в газетах, не забудьте мне показать».

Робер часто говорил мне с грустью еще до войны: «О моя жизнь! Не будем о ней, я уже заранее приговорен». Быть может, он имел в виду свой порок, который ему удавалось сохранить в тайне от всех, но сам-то он знал о нем, и, вероятно, преувеличивал его тяжесть, так дети, впервые познавшие, что такое физическая любовь, или даже пытавшиеся до этого получить удовольствие наедине с собой, полагают, будто подобны растениям, которые погибают, рассеяв свою пыльцу. Возможно, у Сен-Лу, как и у тех детей, это преувеличение было связано с идеей греха, к которой как-то еще не успели привыкнуть, с тем, что любое новое ощущение обладает силой поистине необыкновенной, которая впоследствии будет лишь уменьшаться. Или, быть может, у него было предчувствие своей преждевременной кончины, которое он сам себе объяснял смертью

отца, тоже умершего молодым? Конечно же, подобное кажется невероятным. И все же смерть, похоже, подчиняется определенным законам. Довольно часто, к примеру, можно сказать, что люди, родившиеся от родителей, умерших или в очень старом или очень молодом возрасте, почти наверняка обречены дожить именно до такого возраста; первые вынуждены влачить чуть не до ста лет все свои горести и неизлечимые недуги, вторые, несмотря на благополучное, здоровое существование, оказываются унесены в неизбежный и преждевременный срок каким-нибудь несчастьем столь внезапным и нелепым (глубокие корни которого он мог с рождения, конечно, не подозревая об этом, носить в себе), что оно кажется всего лишь некоей формальностью, необходимой, чтобы смерть, наконец, призвала его. А возможно ли, чтобы сама эта случайная смерть — как смерть Сен-Лу, связанная, впрочем, с особенностями его характера еще больше, чем могу я это выразить, — была, и она тоже, как бы предрешена заранее, о чем знали одни лишь невидимые человеком боги, но она, эта смерть, обнаруживала себя печалью, наполовину бессознательной, а наполовину все-таки осознанной (и в этом последнем случае, поведанной другим

с такой беспредельной искренностью, с какой возвещают о несчастьях, которых в глубине души пытаются избежать и которые все-таки происходят), свойственной тому, кто носит ее в себе и постоянно ощущает неотвратимость роковой даты?

Он был, должно быть, прекрасен в свои последние часы. Он, при взгляде на которого всегда казалось, даже когда он просто сидел, просто шагал по комнате, что жизнь его — это разбег, преддверье какой-то важной миссии, когда он прятал за улыбкой железную волю, — в общем, он имел в этой жизни какое-то задание. Избавившись от всех своих книг, феодальная башня вновь стала башней орудийной. Кто же все-таки умер? Сам этот человек или, скорее, представитель расы, к которой он принадлежал, в которой он был всего лишь одним из Германтов, как это оказалось символически очевидно во время похорон в церкви Сент-Илер в Комбре, задрапированной черным крепом, на котором выделялась красная буква под замкнутой короной, ни начальных букв имени, ни титула, ничего, только это красное «Г» — Германт, которым он и стал после своей смерти.

Но прежде чем ехать на похороны, которые

состоялись не сразу, я написал Жильберте. Мне следовало бы, наверное, написать и герцогине Германтской, но я думал, что смерть Робера она восприняла с тем же безразличием, какое, как мне не раз приходилось наблюдать, проявляла к смертям стольких людей, которые, казалось бы, были так тесно связаны с ее собственной жизнью, и что, возможно даже, обладая особым складом ума, свойственным Германтам, она пыталась показать, как глубоко чужд ей такой предрассудок, как кровные узы. Но я не мог написать всем, я слишком страдал. Когда-то я искренне верил, что они с Робером любили друг друга в том общепринятом смысле этого понятия, то есть, находясь рядом, высказывали друг другу приличествующие моменту нежности. Но вдали от нее он, не смущаясь, объявлял ее полной идиоткой, а она, если и испытывала порой эгоистическое удовольствие видеть его, то была, как мне порой представлялось, совершенно не способна сделать хотя бы малейшее усилие, использовать хоть сколько-нибудь свои связи, чтобы оказать ему услугу, даже ради того, чтобы избавить его от неприятностей. Недоброе отношение к нему, которое она в очередной раз проявила, отказавшись порекомендовать его генералу де Сен-Жозефу,

когда Робер должен был отправиться в Марокко, доказывало, что преданность, которую продемонстрировала она ему по случаю женитьбы, была чем-то вроде компенсации, в сущности, недорого ей и стоившей. И я тем более был удивлен, узнав, что, поскольку в момент смерти Робера она была нездорова, домашние решили под самыми надуманными предлогами хотя бы какое-то время прятать от нее газеты, из которых она могла бы узнать об этой смерти, желая избавить ее от потрясения. Но удивление мое усилилось еще больше, когда мне стало известно, что, узнав в конце концов правду, герцогиня проплакала целый день, тяжело заболела и долго — больше недели, что и в самом деле для нее очень долго, — не могла утешиться. Я был весьма тронут, узнав о такой ее печали. Из-за этого все вокруг стали утверждать, и я могу подтвердить, что так оно и было, будто между ними существовала большая дружба. Но, вспоминая, сколько злобных сплетен отравляло их жизнь, я думаю о том, какая все-таки ничтожная вещь — большая дружба в наши дни.

Впрочем, несколько позже, при обстоятельствах более значительных исторически, хотя и в меньшей степени затронувших лично мои

чувства, герцогиня Германтская изменила мое мнение о себе в лучшую сторону. Она, которая, будучи совсем еще юной девушкой, проявляла столько дерзости по отношению к русской императорской фамилии и, уже выйдя замуж, говорила о них с такой вольностью, которая порой выглядела просто нахальством, оказалась, должно быть, чуть не единственной, кто после русской революции демонстрировал великим князьям и княгиням безграничную преданность. В последний перед войной год она до белого каления доводила Великого князя Владимира, называя графиню де Гогенфельцен, морганатическую супругу Великого князя Павла, не иначе как «Великой княгиней Павлой». Но не успела разразиться русская революция, как наш посол в Петербурге, господин Палеолог («Па-лео», как называли его в дипломатических кругах, где так же были в ходу всяческие якобы изысканные аббревиатуры, как и везде) был буквально завален депешами герцогини Германтской, желавшей иметь известия о здоровье Великой княгини Марии Павловны. И в течение долгого времени единственные знаки симпатии и сочувствия, которые не переставала получать княгиня, исходили от герцогини Германтской.

Но был человек, у которого смерть Сен-Лу, и не столько даже сама смерть, сколько то, что делал он в последние недели перед ней, вызвала печаль еще большую, чем печаль герцогини. На следующий день после того вечера, когда мы виделись с ним, и два дня спустя после того, как Шарлюс сказал Морелю: «Я отомщу», усилия, связанные с поисками Мореля, принесли результаты. А результаты были таковы, что генерал, под командованием которого должен был находиться Морель, объявил, что тот дезертировал, отдал приказ отыскать и арестовать его, и, желая как-то оправдаться перед Сен-Лу за наказание, какому должен будет подвергнуться тот, кем он интересуется, предупредил об этом Сен-Лу письмом. Морель не сомневался, что его арест вызван кознями господина де Шарлюса. Он, вспомнив его слова: «Я отомщу», решил, что именно это и есть та месть, о которой тот говорил, и попросил разрешения сделать признание. «Да, я дезертировал, — заявил он. — Но если я и пошел по плохой дороге, разве это моя вина?» И он рассказал о господине де Шарлюсе и о господине д'Аржанкуре, с которым поссорился тоже, несколько историй, каковые, по правде говоря, лично его никак не касались, но были ему рассказаны в порыве от-

кровенности двумя любовниками, что повлекло за собой аресты одновременно и господина де Шарлюса, и господина д'Аржанкура. Сам этот арест, должно быть, причинил обоим меньше страдания, чем известие о том, что другой был его соперником, о чем они и не догадывались, и расследование выявило, что таких соперников, никому неведомых, с которыми он просто знакомился на улице, было множество. Впрочем, их вскоре отпустили. Мореля тоже, потому что письмо, написанное Сен-Лу генералом, вернулось ему с припиской: «Убит на поле боя». Ради памяти погибшего генерал добился, чтобы Морель не был наказан, но просто отправлен на фронт, там он проявил себя как герой, сумел избежать всех опасностей и по окончании войны вернулся с крестом, которого когда-то господин де Шарлюс тщетно пытался для него добиться и который принесла ему — косвенным образом — смерть Сен-Лу.

Я часто думал потом, вспоминая тот военный крест, потерянный у Жюпьена, что, если бы Сен-Лу вернулся с войны, его бы очень даже просто избрали депутатом на первых послевоенных выборах, на той пене глуповатой восторженности и сияния славы, что оставила она после

себя, когда один лишь ампутированный во фронтовом лазарете палец оказывался важнее многовековых предрассудков и позволял сделать блистательную партию с женщиной самого аристократического семейства, а военного креста, пусть даже полученного в конторах и кабинетах, было достаточно, чтобы с триумфом пройти в Палату депутатов, а то и в саму Академию. Благодаря принадлежности к «святому» семейству избрание Сен-Лу заставило бы пролить господина Артюра Мейера много чернил и слез. Но, быть может, он слишком искренне любил народ, чтобы пытаться завоевать на выборах голоса этого самого народа, который, впрочем, принимая во внимание его дворянскую родословную, простил бы ему демократические идеи. Сен-Лу, разумеется, вполне успешно изложил бы их в Палате авиаторов. Эти герои поняли бы его, конечно, как и немногие высокие умы. Но благодаря козням Национального блока удалось вытянуть за уши всю эту старую политическую шваль, которая всегда оказывается переизбранной. Те, кто не мог пройти в Палату авиаторов, назойливо клянчили, хотя бы для того, чтобы оказаться в Академии, поддержку маршалов, президента Республики, председателя Палаты и т. д. Они бы

не были благосклонны к Сен-Лу, зато оказались таковыми по отношению к другому завсегдатаю жюпьеновского заведения, депутату от Аксьон Либераль, который и прошел без конкурентов. Он так и не смог расстаться с мундиром тылового офицера, хотя война давным-давно закончилась. Его избрание восторженно приветствовали все газеты, пришедшие к удивительному «единодушию» относительно его кандидатуры, а также богатые знатные дамы, носившие теперь исключительно лохмотья, исходя из своего понимания приличия, а также опасаясь налогов, в то время как биржевики покупали без счета бриллианты, но не для того, чтобы порадовать собственных жен, а потому, что, потеряв всякое доверие к народу вообще, они пытались укрыться за этим осязаемым богатством и поднимали таким образом индекс Бирс на тысячу франков. Подобная концентрация глупости несколько раздражала, но всякие претензии к Национальному блоку казались не столь уж и значительными, когда повсюду можно было встретить людей, пострадавших от большевиков, великих княгинь, чьих мужей задавили тачками, а сыновей забросали камнями, перед этим оставив на несколько дней без пищи и воды, заставляли выполнять грязную

работу под улюлюканье и свист, бросали в колодцы, потому что думали, что они заражены чумой и могут передать ее другим. Те, кому удавалось ускользнуть, появлялись снова.

Новая клиника, в которую я попал теперь, оказалась нисколько не лучше предыдущей, и прежде чем я смог ее покинуть, прошло довольно много лет. Когда я сидел в вагоне поезда, везущего меня, наконец, обратно в Париж, мысли об отсутствии литературного дара, впервые посетившие меня когда-то во время прогулок в сторону Германтов и укрепившиеся в моем сознании во время ежедневных наших прогулок с Жильбертой перед ужином, почти уже в полной темноте, в Тансонвиле, которые накануне моего отъезда из этого дома после чтения нескольких страничек из дневников Гонкуров я пытался смягчить размышлениями о суетности и лживости литературы вообще, эти мысли, быть может, не столь уже болезненные, как раньше, но все же довольно невеселые, особенно когда направлены они были не на мой личный недостаток, но на невозможность существования того идеала, в который я верил, эти мысли, не посещавшие меня уже довольно давно, вдруг возникли вновь и причинили мне такую боль, как никогда прежде.

Это было, как я сейчас помню, когда поезд вдруг остановился в чистом поле. Солнце освещало ровно половину стволов деревьев, вытянувшихся линией вдоль полотна железной дороги. «Деревья, — думал я, — вам нечего больше мне сказать, мое заледеневшее сердце вас уже не слышит. А между тем вот он я, здесь, собственной персоной, и с равнодушием и скукой скользит мой взгляд по пограничной черте, что отделяет вашу сияющую крону от затененного ствола. Если даже когда-нибудь я и считал себя поэтом, то теперь-то точно знаю, что никакой я не поэт. Быть может, на новом, наступающем как раз сейчас этапе моей выдохшейся жизни люди сумеют внушить мне то, что не может уже поведать природа. Вот только годы, когда я был способен ее воспеть, никогда уже не вернутся». Но, пытаясь утешиться размышлениями о том, что, вероятно, умение наблюдать придет на смену вдохновению, которое уже невозможно, я понимал, что это всего-навсего попытки утешиться и ничего больше, причем попытки бесплодные. Если бы и в самом деле я обладал душой художника, какую радость испытывал бы я сейчас при виде этой стены деревьев, освещенных заходящим солнцем, полевых цветов, усыпавших железнодорожную насыпь и

доходящих почти до самой подножки вагона, я пытался сосчитать их лепестки, но, пожалуй, не возьмусь передать цвет, как сделали бы многие литераторы, ибо как можно надеяться внушить читателю чувства, которых сам не испытываешь? Чуть позже с таким же безразличием смотрел я на золотые и оранжевые солнечные точечки, осыпавшие оконные стекла домов, и наконец — поскольку час уже был довольно поздний — я увидел еще один дом, который был, казалось, построен из какого-то трудноопределимого розоватого материала. Но все эти многочисленные наблюдения не вызвали во мне абсолютно никаких эмоций, как если бы, прогуливаясь по саду с дамой, я заметил осколок стеклышка, а чуть дальше какой-то предмет из чего-то похожего на алебастр, чей необычный цвет все равно не вывел бы меня из состояния оцепенелой апатии, но, желая выглядеть учтивым перед дамой и сказать хоть что-нибудь, а еще — показать, что я все-таки обратил внимание на этот цвет, я указал бы ей мимоходом и на зеленое стеклышко, и на кусок искусственного мрамора. Точно так же, словно для очистки совести, я обращал свое собственное внимание, как обращал бы внимание какого-нибудь попутчика, способного извлечь из

этого зрелища гораздо больше удовольствия, на отблески зарева в оконном стекле и на розоватую прозрачность дома. Вот только попутчик мой, кому я все это показывал, оказался натурой гораздо менее восторженной, чем многие люди, которых привело бы в восхищение подобное зрелище, он смотрел на все эти краски, не испытывая никакой радости.

Мое длительное отсутствие в Париже не мешало старым друзьям, поскольку имя мое по-прежнему фигурировало в их списках, регулярно посылать мне приглашения, и, когда по возвращении я нашел одно, на аперитив, который устраивала Берма для дочери и зятя, и еще одно, на обед, который должен был состояться на следующий день у принца Германтского, грустные размышления, одолевавшие меня в поезде, оказались не последней причиной, заставившей меня эти приглашения принять. Какой смысл отказываться от светской жизни, думал я, поскольку та знаменитая «работа», которую я каждый день, вот уже столько времени, откладываю на завтра, может быть не является моим призванием, а возможно, ее и вообще не существует. По правде говоря, именно эта причина была не столь уж и важной и годилась лишь для того, чтобы другие

причины, которые могли помешать мне отправиться на этот светский раут, выглядели бы по сравнению с ней вовсе не серьезными. Но что заставило меня туда пойти, так это имя Германтов, так давно уже выпавшее из моего сознания, оно, когда я увидел его вверху пригласительного письма, вдруг пробудило какой-то участок моего внимания, подняло из глубин памяти некий слой прошлого, со всеми его образами: окрестный лес, высокие стебли цветов вдоль его опушки, — и вновь приобрело для меня все то очарование и значимость, что я придавал ему в Комбре, когда, возвращаясь домой по улице л'Уазо, я видел снаружи, словно неясную лаковую картинку, витраж Жильбера Дурного, сира Германтского. На какое-то мгновение Германты вновь показались мне совершенно не похожими на всех прочих людей света, несравнимыми с ними и вообще ни с кем, даже с самим государем, существами, зародившимися в горьковатом и ветреном воздухе этого сумрачного городка Комбре, где прошло мое детство и где до сих пор ощущалось прошлое, на тесной улочке, на высоком и узком витраже. Мне очень захотелось отправиться к Германтам, как если бы это помогло мне приблизиться к собственному детству и к глубинам памяти, в

которых оно было спрятано. Я вновь и вновь перечитывал приглашение, пока буквы, из которых было составлено такое знакомое и такое таинственное название, как, например, Комбре, вдруг, взбунтовавшись, не восстали против меня и не начертали перед моими уставшими глазами какое-то новое слово, которое я больше не узнавал. Поскольку мама собиралась отправиться на чай к госпоже Сазра, хотя заранее знала, что там будет смертельно скучно, я безо всяких колебаний отправился к принцессе Германтской.

Я взял машину, чтобы доехать до принца Германтского, который жил теперь не в своем старом особняке, а в новом, великолепном, выстроенном для него на авеню дю Буа. Одна из самых существенных ошибок светских людей состоит в том, что они не могут понять простой вещи: если они хотят, чтобы мы в них верили, необходимо прежде всего, чтобы сами они поверили в себя или по крайней мере уважали основные элементы нашей веры. В те времена, когда я мог еще поверить, хотя и знал, что это не так, будто Германты живут в подобном дворце по праву наследников, проникнуть во дворец колдуньи или волшебной феи, двери которого открывались лишь повинуясь магическому заклинанию,

казалось мне таким же невозможным, как и встретиться самому с колдуньей или феей. Мне не было ничего легче, чем убедить самого себя, будто старый слуга, которого наняли в городской конторе или которого предоставили на этот вечер Потель и Шабо, был сыном, внуком, потомком тех, кто служил этому семейству еще задолго до Революции, и я охотно готов был принять за фамильный портрет картину, купленную месяц назад в галерее Бернхейма-младшего. Но очарование имеет обыкновение рассеиваться, воспоминания не могут делиться на две половины и от принца Германтского теперь, когда он сам развеял мои иллюзии, переехав на авеню дю Буа, не так уж много и осталось. Под сводами, которые, вопреки моим опасениям, не рухнули, когда было произнесено мое имя, и где витало еще столько волшебства и столько страхов, как когда-то, в дни моей юности, давала приемы какая-то американка, совершенно мне не интересная. Конечно же, сами по себе вещи властью не обладают, и, поскольку именно мы присваиваем им эту власть, должно быть, сейчас какой-нибудь юный студент, стоя перед особняком на авеню дю Буа, испытывал такие же чувства, что некогда и я перед старым особняком принца Германтского.

Ведь он был еще в том возрасте, когда верят, а я уже из него вышел, я утратил эту привилегию, как организм детей, вышедших из младенческого возраста, утрачивает способность расщеплять на легко усваиваемые элементы молоко, которое они сосут. Вот почему взрослые с такой осторожностью и в небольших количествах пьют молоко, в то время как дети тянут его, не переводя дыхания. Новое местоположение особняка принца Германтского было хорошо для меня уже тем, что машина, которую я вызвал, чтобы добраться туда и в которой предавался этим размышлениям, должна была прохать по улочкам, ведущим к Елисейским Полям. Они были тогда очень плохо вымощены, но даже это не отвлекло меня от моих мыслей и, когда машина въехала туда, — странное дело — вдруг возникло неизвестно почему ощущение мягкости и покоя, как будто колеса не подпрыгивали на выбоинах и камнях, а катились бесшумно и осторожно, как бывает, когда через открытую калитку въезжаешь на луг или плавно скользишь по аллее, посыпанной мелким песком или покрытой опавшей листвой. Практически это не выразилось ничем, просто я мгновенно почувствовал, что устранены какие-то внешние преграды, потому что в тот момент мне не нуж-

но было делать усилий, чтобы приспособиться к обстоятельствам или просто сосредоточиться, как невольно происходит всегда, когда мы сталкивается с чем-то новым для нас: улицы, по которым я проезжал в тот момент, были теми же, давно забытыми, по которым я когда-то ходил с Франсуазой, направляясь к Елисейским Полям. Сама земля знала, куда идти. Ее сопротивление было побеждено. И, словно авиатор, который, мучительно долго катясь по взлетной полосе, вдруг резко отрывается от земли, я медленно воспарял в молчаливые выси воспоминаний. Эти улицы в Париже всегда будут для меня особенными, не такими, как другие. Когда я оказался на углу Королевской улицы, где когда-то стоял уличный торговец фотографиями, которые так любила Франсуаза, мне показалось, что машина, закрученная вихрем когда-то уже проделанных кругов, не может сама не повернуть туда. Я проезжал сейчас вовсе не по тем улицам, по которым шли прохожие, я проезжал по прошлому, ускользающему, грустному, нежному. Причем само это прошлое состояло из такого множества разных прошлых, что мне трудно было объяснить причину моей грусти, связано ли это было с Жильбертой, и страхом, что она не придет, с тем

ли, что мы как раз подъезжали к одному дому, куда, как мне сказали, Альбертина ходила с Андре, с размышлениями о бренности всего сущего, когда кажется, что идешь по той же дороге, по которой шел тысячу раз, но нет уже той страсти, она исчезла безвозвратно; по этой самой дороге я когда-то бежал после завтрака, с лихорадочным возбуждением торопясь взглянуть на еще не просохшие от клея афиши «Федры» и «Черного домино». Выехав на Елисейские Поля, я, поскольку не горел желанием прослушивать с начала до конца даваемый в доме Германтов концерт, остановил машину и собирался уже было выйти из нее, чтобы пройтись немного пешком, как вдруг внимание мое привлекла другая машина, так же, как и моя, остановившаяся у тротуара. Какой-то человек, с неподвижным взглядом, сгорбленный, скорее лежал, чем сидел на заднем сиденье, и, стараясь держаться прямо, делал для этого столько же усилий, как и ребенок, которому строгие родители велели хорошо себя вести. Но его соломенная шляпа позволяла разглядеть спутанную, совершенно седую шевелюру, и белая борода, как снежная дорожка, стекающая зимой со статуй в парках, покрывала подбородок. Это рядом с Жюпьеном сидел господин де Шарлюс,

выздоравливающий после апоплексического удара, о котором я и не знал (мне сказали только, что он потерял зрение, но, судя по всему, речь шла лишь о временном расстройстве, поскольку он вновь видел ясно и четко), и теперь, если только до сих пор он не красил волосы, а после болезни ему это было запрещено, чтобы не утомлялся, — теперь, словно в результате некой химической реакции, четко проявился и засверкал весь этот металл, который, как гейзер, разбрасывали пряди из чистого серебра, пряди волос и бороды, к тому же эта болезнь придавала поверженному принцу шекспировское величие короля Лира. В этой всеобщей конвульсии, в этом металлическом сумасшествии особенно выделялись глаза, но — противоположный феномен — они-то как раз и потеряли весь свой блеск. И самым волнующим было ощущение, что этот утраченный блеск каким-то образом являлся проявлением нравственного достоинства, и что физическое и даже интеллектуальное существование господина де Шарлюса пережило его аристократическую гордость, которая, как казалось прежде, была неотделима от них. В этот момент, тоже, вне всякого сомнения, направляясь к принцу Германтскому, победоносно прошествовала госпожа

де Сент-Эверт, которую барон всегда находил недостаточно для себя изысканной. Жюпьен, который заботился о нем, как о малом ребенке, шепнул ему на ухо, что эта особа, госпожа де Сент-Эверт, ему знакома и с ней следует поздороваться. И тотчас же с невероятными усилиями, но с мучительной старательностью больного, желающего показать, что вполне способен исполнять все эти движения, хотя они и даются ему с трудом, господин де Шарлюс, сняв шляпу и поклонившись, поприветствовал госпожу де Сент-Эверт с тем же почтением, как если бы она была королевой Франции. Быть может, в самом усилии, что вложил господин де Шарлюс в это приветствие, и была причина, заставляющая его это сделать, поскольку он понимал, что получит вдвойне за действие, которое, будучи весьма болезненно для больного, должно было показаться тем более достойным похвалы в адрес того, кто его сделал, и особенно лестным тому, кому было оно адресовано, ведь больные, как и короли, склонны переусердствовать в учтивости. Впрочем, возможно еще, движения барона отличались плохой координацией вследствие нарушения мозговой деятельности, и поэтому-то его жесты казались несколько преувеличенными. Что же

касается меня, я увидел в этом какую-то почти невероятную кротость, равнодушие к жизни, особенно поразительные у людей, которых уже задела своим крылом смерть. Даже серебряная его шевелюра не так свидетельствовала о произошедших в нем переменах, как это неосознанное смирение, что поменяло все ролями, нарушило социальные связи, унизило перед госпожой де Сент-Эверт, унизило бы перед последней из американок (которая, возможно, удостоилась бы ранее недоступной для нее учтивости барона) ту гордость, что казалась прежде надменностью и снобизмом. Ведь барон все еще жил, все еще думал, его интеллект не был затронут. И что не мог сказать хор Софокла об униженной гордости Эдипа, все, что надгробные речи и сама смерть не могли сказать о смерти, поведал о недолговечности и бренности на земле величия и человеческой гордости суетливый и смиренный поклон барона госпоже де Сент-Эверт. Господин де Шарлюс, который прежде не согласился бы ужинать вместе с госпожой де Сент-Эверт, теперь поклонился ей до земли. Быть может, он приветствовал эту особу, не ведая о положении ее в обществе (удар мог стереть из его памяти понятия об общественной иерархии, так же как и многое другое), а быть

может, просто-напросто из-за плохой координации движений, ставшей причиной того, что очевидная неуверенность в личности этой дамы — при иных обстоятельствах могущая выглядеть высокомерной — стала казаться униженностью. Он приветствовал ее, как вежливый ребенок, который по призыву матери робко приходит поздороваться с пришедшими в гости взрослыми. Именно в ребенка, но без присущей детям гордости, он и превратился.

Получить приветствие господина де Шарлюса — тешило ее снобизм, точно так же, как прежде для барона снобизмом было отказывать ей в приветствии. Миф о неприступности и исключительности, которые, в чем ему с успехом удавалось убедить госпожу де Сент-Эверт, были ему присущи, оказался развенчан самим же господином де Шарлюсом в мгновение ока той детской робостью, пугливым усердием, с каким сорвал он шляпу, из-под которой струились потоки серебряных прядей, пока он почтительно держал голову непокрытой с красноречивостью какого-нибудь Боссюэ. Когда Жюпьен помог барону выйти из машины и я поздоровался с ним, он заговорил со мной, очень быстро и столь неразборчиво произнося слова, что я не мог понять

их смысла, и, когда я попросил его повторить в третий раз, это вызвало у него жест нетерпения и досады, который поразил меня безучастностью лица, что, без всякого сомнения, тоже было следствием перенесенного паралича. Но когда я немного привык к этому пианиссимо его шепота, то смог убедиться, что интеллект больного не пострадал совершенно.

Впрочем, господ де Шарлюсов было, как минимум, двое. Один из них, интеллектуал, постоянно жаловался, что у него нарушена речь, что он все время произносит одно слово вместо другого, путает буквы. Но когда и в самом деле с ним такое случалось, другой господин де Шарлюс, его подсознание, стремящийся вызывать восхищение, так же как тот, первый, — жалость, и обладающий кокетством, которое первый презирал, немедленно обрывал начатую фразу, словно дирижер оркестра, где музыканты фальшивят, и необыкновенно ловко присоединял то, что должно было по логике вещей следовать за словом, случайно вырвавшимся вместо другого, задуманного. Даже память его оставалась великолепной, отсюда еще один повод для кокетства, право на которое нужно было заслужить тяжелыми усилиями, с коими он вытаскивал на свет старые, малозначи-

тельные воспоминания, имеющие отношение и ко мне тоже, которые призваны были продемонстрировать, что он сохранил или восстановил всю четкость мышления. Неподвижный, с остановившимся взглядом, ровным, без модуляций, голосом, он говорил мне, к примеру, такое: «На этой тумбе такая же афиша, как и та, возле которой я стоял, когда впервые увидел вас в Авранше, нет, кажется, все-таки это было в Бальбеке». И в самом деле это была реклама той же продукции.

Сперва я едва разбирал, что он говорил, — так в первые минуты мы не различаем ни единого предмета в комнате с наглухо закрытыми ставнями. Но, как и глаза к темноте, уши мои постепенно привыкли к этому пианиссимо. Думаю, что голос даже как-то усилился за то время, пока барон говорил, то ли оттого, что первоначальную его слабость отчасти можно объяснить нервными страхами, которые постепенно рассеялись, когда, отвлекшись моим присутствием, он перестал о них думать, то ли, напротив, как раз эта слабость голоса и соответствовала его истинному состоянию, а усиление его, которое ясно ощущалось при разговоре, было вызвано неестественным возбуждением, кратковременным и даже скорее пагубным, что хотя и заставляло постороннего

заметить: «Ему уже лучше, ему можно не думать о своей болезни», но в действительности только усугубляло эту болезнь, проявления которой не заставили себя ждать. Что бы там ни было, в эту минуту барон (осознавая даже, что мне удалось как-то приспособиться к его речи) выбрасывал слова гораздо громче, так в ненастные дни прилив — свои корявые волны. Остаточные явления его недавнего удара казались фоном его словам, как шуршание гальки под ногами. Впрочем, продолжая говорить со мной о прошлом, без сомнения, с целью нагляднее продемонстрировать, что памяти он не потерял, он предпочитал темы довольно мрачные, хотя грусти при этом не испытывал. Так, он без конца перечислял членов своей семьи или людей своего круга, уже ушедших от нас, но, похоже, испытывая при этом не столько грусть от потери, сколько удовлетворение от того, что смог их пережить. Судя по всему, вспоминая их кончину, он лучше осознавал собственное выздоровление. С почти триумфальной твердостью повторял он бесцветным тоном, слегка заикаясь, с глуховатым замогильным эхом: «Аннибал де Бреоте, умер! Антуан де Муши, умер! Шарль Сван, умер! Адалбер де Монморанси, умер! Бозон де Талейран, умер! Состен де Дудовиль, умер!» И это

многократное «умер», казалось, падало на усопших, словно ком земли, с каждым разом все более тяжелый, который бросала лопата могильщика, стремящегося как можно глубже закопать гроб.

Герцогиня де Летурвиль, которая не собиралась присутствовать на приеме у принцессы Германтской, поскольку еще совсем недавно тяжело болела, как раз в эту самую минуту прошла мимо нас и, заметив барона, о недавнем ударе которого осведомлена не была, остановилась его поприветствовать. Но собственная болезнь, недавно лишь ее отпустившая, не позволяла ей должным образом воспринимать чужие недуги, они вызывали у нее досаду и были поводом для проявлений черной меланхолии, за которой, впрочем, скрывалась непритворная жалость. Услышав, с каким трудом, а порой и неправильно барон произносит некоторые слова, увидев, как неловко действует он рукой, она бросила взгляд сначала на Жюпьена, затем на меня, ища объяснений столь странному феномену. Поскольку мы не сказали ей ничего, ее долгий взгляд, полный не только грусти, но и укора, обратился непосредственно на самого господина де Шарлюса. Казалось, она упрекала его в том, что он вел себя с ней необычным образом, не так, как она привык-

ла, как если бы он вышел из дома без галстука или без ботинок. При очередной оговорке, совершенной бароном, ее страдание и негодование возросли в равной степени, и она сказала ему: «Паламед!» — тоном вопросительным и в то же время раздраженным, какой бывает свойствен слишком нервным людям, не терпящим ни минуты ожидания, а если их приглашают войти тотчас же, но при этом объясняют, что должны закончить туалет, они говорят вам с горечью, не извиняясь, но обвиняя: «Так я вас беспокою!», как если бы это было преступлением именно со стороны того, кого беспокоят. В конце концов она распрощалась с нами с видом глубоко удрученным, сказав напоследок барону: «Вам лучше было бы вернуться».

Он сказал, что посидит немного в машине, пока мы с Жюпьеном прогуливаемся по тротуару, и с трудом вытащил из кармана книгу — мне показалось, это был молитвенник. Я был не прочь узнать от Жюпьена некоторые подробности относительно состояния здоровья барона. «Я рад поговорить с вами, месье, — сказал мне Жюпьен, — но мы только до перекрестка и обратно. Хотя, слава богу, барону теперь получше, я все-таки не хочу надолго оставлять его одного, он ведь все такой

же, у него слишком доброе сердце, его бы воля, он бы все роздал другим. И мало того, он ведь остался таким же волокитой, как какой-нибудь юнец, за ним нужен глаз да глаз». — «Тем более он-то как раз своими глазами теперь пользоваться может, я очень огорчился, когда мне сказали, что он потерял зрение». — «Да, паралич был такой глубокий, что он абсолютно ничего не видел. Представьте себе, пока продолжалось лечение, в общем, довольно успешное во всем остальном, он в течение нескольких месяцев не видел вообще ничего, как будто слепой от рождения». — «По крайней мере это его состояние облегчило ваш присмотр хотя бы в одном смысле». — «Уверяю вас, нисколько, стоило нам только въехать в отель, он тут же спрашивал меня, как выглядит такая-то прислуга. Я изо всех сил старался уверить его, что вокруг одни страшилища. Но он чувствовал, что здесь что-то не так, что я его обманываю. Представляете, какой распутник! И потом, знаете, у него какое-то чутье, что ли, наверно, он их по голосу как-то распознает, прямо и не знаю. Он умудрялся отсылать меня за какими-то якобы срочными покупками. Как-то раз — извините, что я вам все это рассказываю, но вы сами, помнится, явились однажды в этот «храм распутства», мне

нечего от вас скрывать (впрочем, ему всегда было свойственно эдакое бахвальство, со стороны малопривлекательное, — выставлять напоказ чужие секреты), как-то раз я вернулся после этих «срочных» поручений, тем более что прекрасно догадывался — меня отослали специально, и старался обернуться как можно быстрее, так вот, подойдя к двери барона, я услышал какой-то голос: «Как это?» — «Ты что, — ответил барон, — первый раз, что ли?» Я вошел, не постучав, и представьте себе мой ужас! Барона, очевидно, обманул голос, который и впрямь был грубее, чем обычно в этом возрасте (а как раз в то время он был совершенно слеп), он, который всегда любил зрелых мужчин, находился в комнате с десятилетним мальчиком!

Мне рассказали, что в этот период он был подвержен практически ежедневным приступам депрессии, и выражались они не просто разглагольствованиями, но громогласными исповедями перед посторонними людьми, о чьем существовании он просто-напросто забывал и высказывал суждения, которые обычно привык скрывать, например, свое германофильство. Еще долго после окончания войны он оплакивал поражение немцев, к которым относил и себя, и гордо

говорил: «Не может быть, чтобы мы отказались взять реванш, мы ведь доказали, что способны на самое серьезное сопротивление и у нас самая лучшая организация». Или же его признания принимали другой оборот, и он яростно восклицал: «Пусть лорд Х. или принц*** попробуют только повторить то, что сказали вчера, я едва сдержался, чтобы не ответить им, как они того заслуживают: «Вам не хуже моего известно, что вы из себя представляете!» Бесполезно и говорить, что когда господин де Шарлюс позволял себе в те моменты, когда был, как говорится, «не в себе», подобные германофильские или иные признания, те, кто находился при этом рядом с ним, будь то Жюпьен или герцогиня Германтская, обычно пресекали эти неосмотрительные высказывания, и присутствующее при этом третье лицо, не столь близкое барону и, возможно, не умеющее хранить тайны, получало толкование хотя и несколько притянутое, но вполне допустимое.

«Но боже мой! — вскричал Жюпьен. — Я был тысячу раз прав, когда не хотел, чтобы мы надолго оставляли его, вот, полюбуйтесь, он уже умудрился завязать разговор с каким-то мальчишкой-садовником. До свидания, месье, мне лучше покинуть вас, моего подопечного нельзя

ни на минуту оставлять одного, это же просто большой ребенок».

Я снова вышел из машины, не доезжая немного до дома герцогини Германтской, и опять стал размышлять о той усталости и безразличии, с какими накануне пытался разглядывать линию, которая прочертила на стволах деревьев границу, отделяющую область света от области тьмы, в той местности, что пользовалась славой одной из самых красивых во Франции. Разумеется, те выводы, что извлек я из своих наблюдений, сегодня не травмировали так жестоко мою чувствительность. Они-то остались прежними. Но, как всякий раз, когда случалось мне оторваться от моих привычек, выйти в неурочное время, оказаться в незнакомом месте, я испытывал живейшее удовольствие. Это удовольствие, отправиться на праздник к принцессе Германтской, казалось мне сегодня удовольствием легкомысленным. Но коль скоро я знал отныне, что никаких других удовольствий, кроме легкомысленных, мне теперь и не может быть доступно, с какой стати отказываться от них? Я вновь и вновь повторял себе, что, пытаясь сделать это описание, я не испытывал и тени того энтузиазма, что является хотя и не единственным, но самым

главным критерием таланта. Я старался извлечь из собственной памяти и другие «моментальные снимки», в частности, те, что были сделаны ею в Венеции, но одно лишь это слово вызывало во мне такую же скуку, как какая-нибудь выставка фотографий, и, чтобы описать то, что видел когда-то, я ощущал в себе не больше склонности и таланта, чем для того, чтобы передать, что видел вчера, что внимательным и хмурым взглядом наблюдал как раз сейчас. Через минуту-другую множество друзей, которых не видел я столь давно, станут, конечно, уговаривать не уединяться так больше, проводить больше времени с ними. У меня не было решительно никаких причин отказывать им в этом, ведь у меня теперь имелись доказательства, что я ни на что больше не годился, что литература не могла мне отныне принести никакой радости, был ли в этом виноват я сам, поскольку оказался недостаточно талантлив, или это ее вина, коль скоро в ней и в самом деле было куда меньше достоверности, чем я предполагал.

Вспоминая слова Бергота: «Да, вы больны, но жалости не вызываете, у вас остались духовные радости», я думал: как же он ошибался во мне! Как мало было радости в этой бесплодной ясности сознания! Могу добавить даже, что если порой

я и испытывал удовольствия — не интеллектуальные, — то каждый раз это была всего-навсего другая женщина; так что подари мне судьба еще сто лет жизни, причем жизни без недугов, она бы добавила лишь одну за другой несколько последовательных вставок в длину, ничего, в сущности, не изменив, так что не было никакого смысла, чтобы жизнь эта продолжалась еще, тем более так долго. Что касается «интеллектуальных радостей», имел ли я право называть подобными словами эти холодные факты, которые мой проницательный взгляд, или разум, всего лишь фиксировал и только, безо всякого удовольствия, и которые так и оставались неоплодотворенными?

Но порой именно в те минуты, когда нам кажется, что все потеряно, приходит спасительное знамение, мы стучали во все двери, которые никуда не выходят, а на единственную дверь, через которую можно войти и которую тщетно искали бы сто лет, наталкиваешься совершенно случайно, и она открывается.

Перебирая все эти грустные мысли, что теснились в моей голове минуту назад, я вступил во двор особняка Германтов и по своей рассеянности не заметил приближающейся машины; услышав

крики водителя, я успел лишь быстро отпрянуть в сторону и, отступая, нечаянно споткнулся о плохо пригнанные булыжники мостовой, за которыми находился гараж. Но в ту минуту, когда я, вновь обретя равновесие, ставил ногу на булыжник, чуть вдавленный по сравнению с предыдущим, мое уныние было сметено тем блаженством, что в разные периоды моей жизни дарили мне деревья, которые я узнал во время автомобильной прогулки вокруг Бальбека, вид колоколов Мартенвиля, аромат размоченных в чае мадленок и множество других ощущений, о которых я уже говорил и которые показались мне собранными воедино в последних произведениях Вентейля. Как в тот момент, когда я попробовал мадленку, пропали все тревоги о будущем, все страхи. Одолевавшие меня только что сомнения относительно моих литературных способностей и даже реальности литературы вообще рассеялись, словно наваждение.

При том, что я не сделал никаких новых умозаключений, не нашел никакого решающего аргумента, все казавшиеся неразрешимыми сложности вдруг потеряли всякое значение. Только на этот раз я решил не смиряться, не оставаться в неведении относительно природы

этого явления, как в тот день, когда попробовал размоченные в чае мадленки. Блаженство, которое я только что испытал, было того же свойства, что почувствовал я, откусив кусочек пирожного, но не став в тот момент искать объяснение этому. Отличие, чисто материальное, заключалось в возникших в представлении образах; яркая, глубокая лазурь омыла мои глаза, ощущение свежести, ослепительного света опьянило меня, и, стремясь их ухватить и удержать, не смея пошевелиться, как тогда, когда я наслаждался ароматом мадленки, пытаясь разобраться в своих ощущениях и понять, что именно они мне напомнили, я стоял, пошатываясь, не обращая внимания на смех многочисленных водителей, сделав такое же движение, как только что: одна нога на чуть выпирающем из мостовой булыжнике, другая — на том, что пониже. Когда я просто машинально повторял этот самый шаг, все было напрасно, но стоило мне, позабыв о празднике у Германтов, вновь ухватить ощущение, испытанное мной, когда я поставил именно так, а не иначе свои ноги, вновь ослепительное, но неотчетливое видение мелькало передо мной, словно говоря: «Попробуй, схвати меня на лету, если можешь, и попытайся разгадать загадку счастья, что тебе

загадываю я». И почти тотчас же я узнал ее. Это была Венеция, попытки описать которую и сделать якобы моментальные снимки при помощи памяти никогда мне не удавались, и ощущение, что я испытал когда-то, стоя на двух неравных по высоте плитах часовни Святого Марка, вернулось ко мне, обогащенное другими ощущениями, испытанными только что; оно до сих пор ждало своего часа на своем месте в череде позабытых дней, откуда его властным жестом выдернула случайность. Точно так же вкус маленькой мадленки напомнил мне Комбре. Но почему все-таки образы Комбре и Венеции подарили мне, тогда и сейчас, радость уверенности, которой одной, без иных доводов, оказалось достаточно, чтобы смерть сделалась мне безразлична?

Задавая себе этот вопрос и будучи уверен, что именно сегодня найду на него ответ, я вошел в особняк Германтов, потому что всем очевидная роль, которую мы должны исполнить, всегда оказывается важнее той внутренней работы, что нам нужно проделать, а моей ролью на сегодня была роль гостя. Но когда я поднялся на второй этаж, метрдотель попросил меня войти в небольшую гостиную-библиотеку, смежную с буфетной, и подождать там, пока не закончится

музыкальный отрывок, который как раз сейчас играли, поскольку принцесса Германтская не хотела, чтобы во время исполнения открывали дверь. И как раз в эту самую минуту я получил еще один знак в добавление к тем двум неравномерно пригнанным камням на мостовой, что и укрепило меня в стремлении добиться наконец ответа. Слуга дома, тщетно пытаясь не зашуметь, все-таки звякнул случайно ложечкой о тарелку. И меня охватило такое же блаженство, какое я испытал только что на неровных плитах мостовой, — это опять было ощущение теплоты и даже жара, но теперь совсем другое, смешанное с запахом дыма, хотя смягченное при этом свежестью лесной прохлады; и я понял: то, что сейчас показалось мне таким приятным, было не чем иным, как тем же рядом деревьев, на которые мне было так скучно смотреть и так скучно описывать, и мне на мгновение почудилось, что я сижу перед ними, откупоривая бутылку пива, купленную в вагоне, я почти поверил в это, находясь в каком-то странном забытьи, настолько явственно этот звук звякнувшей о тарелку ложки извлек из моей памяти, пока я вновь не овладел собой, стук молотка дорожного рабочего, который исправлял что-то в колесе поезда, когда мы остановились

перед той рощицей. Создавалось впечатление, что этих знаков, призванных в тот именно день избавить меня от моего отчаяния и вернуть веру в литературу, становилось все больше и больше, потому что метрдотель, состоявший на службе у Германтов уже очень давно, узнал меня и, чтобы избавить от необходимости идти в буфетную, сам принес мне в библиотеку печенье и стакан оранжада, я вытер губы поданной им салфеткой; и тотчас же, подобно персонажу «Тысячи и одной ночи», который случайно, сам того не ведая, выполнив некий ритуал, вызвал к жизни послушного его воле духа, готового унести его далеко-далеко, я поймал еще одно видение лазури, промелькнувшее перед глазами, но на этот раз она была чистой и солоноватой, набухающей синеватыми сосками, впечатление оказалось таким сильным, что пережитое когда-то мгновение показалось мне мгновением настоящим; мне, потрясенному больше, чем в тот день, когда я спрашивал себя, в самом ли деле меня примет принцесса Германтская или все рухнет, почудилось, будто слуга сейчас распахнул окно на пляж и мне только и оставалось, что выйти из дому и пойти прогуляться вдоль плотины во время прилива; салфетка, которую я взял, чтобы вытереть

губы, была точь-в-точь такой же накрахмаленной и жесткой, как и та, которой я с таким трудом пытался вытереться, стоя у окна, в первый день после моего приезда в Бальбек, и теперь, в этой библиотеке особняка Германтов, она во все свое полотнище, со всеми заломами, развернула передо мной оперенье океана, зеленого и синего, как павлиний хвост. И я наслаждался не только этими красками, но тем мгновением жизни, которое возникло в памяти благодаря им, которое было, вне всякого сомнения, ими вдохновлено и которым тогда, в Бальбеке, очевидно, по причине усталости или печали, я не смог насладиться до конца, но зато теперь, когда я избавился от всего, что затрудняло тогда мое восприятие, оно, чистое и бесплотное, наполнило меня радостью.

Исполняемый сейчас в гостиной отрывок должен был вот-вот закончиться, и мне придется войти туда. Значит, мне нужно было как можно быстрее сделать усилие и постараться осознать природу счастливых ощущений, что пришлось мне пережить трижды за последние несколько минут, и затем извлечь из этого необходимые уроки. Мне недостаточно было просто определить ту огромную разницу между истинным ощущением, что получаем мы от предмета, и ощущением

искусственным, которое сами внушаем себе, когда по собственной воле пытаемся воссоздать его; слишком хорошо помня, с каким безразличием Сван рассказывал о днях, когда был любим, потому что видел за фразами не только сами эти дни, но и многое другое, ту внезапную боль, которую причинил ему небольшой музыкальный отрывок Вентейля, вернув ему эти дни такими, какими он воспринимал их когда-то, — я слишком хорошо понимал: то, что пробудило во мне ощущение неравных плит, жесткость салфетки, вкус мадленки, не имело никакого отношения к тому, что я часто пытался вспомнить о Венеции, о Бальбеке, о Комбре, вспомнить, если можно так выразиться, обычным способом, обычной памятью; и еще я понимал, хотя в какие-то моменты жизнь казалась прекрасной, ее можно было назвать вполне заурядной, потому что на первый план выходит не она сама по себе, а что-то другое, потому что ее судят и обесценивают по образам, в которых от нее ничего не сохранилось. И я мог самое большее отметить: отличие, существующее между двумя подлинными впечатлениями, — подобные отличия объясняют, почему ровная картина жизни все-таки лишена однообразия, — можно объяснить, вероятно, тем, что малейшее

слово, произнесенное нами в тот или иной период нашей жизни, самый незначительный наш жест несли на себе отсвет вещей, логически с ними ничем не связанных, и были отделены от них преградой разума, который в данном случае оказался совершенно не нужен, но в сердцевине этих вещей — здесь: розоватый отблеск вечера на увитой цветами стене деревенского ресторанчика, чувство голода, тяга к женщине, удовольствие от роскоши — там: синие барашки утреннего моря, обволакивающие музыкальные мелодии, которые выступают из волн, словно плечи ундины, — самый простой жест и поступок оказывается словно запрятан и заперт в тысячу закрытых сосудов, каждый из которых наполнен доверху вещами, обладающими различной расцветкой, запахом, температурой; не говоря уже о том, что эти сосуды, расставленные вдоль вереницы наших лет, на протяжении которых мы без конца менялись, пусть хотя бы лишь только в мечтах или в мыслях, расположены каждый на своей высоте, и это вызывает у нас ощущение в высшей степени непохожих атмосфер. Следует признать, однако, что все эти изменения в нас происходят незаметно, понемногу; но между нахлынувшим внезапно воспоминанием и нашим

нынешним состоянием, а также между двумя воспоминаниями, относящимися к событиям разных лет и мест, дистанция огромна настолько, что одного, этого было бы достаточно — а ведь существует еще и особое своеобразие, — чтобы их вообще нельзя было сравнивать. Именно так, если воспоминание вследствие нашей забывчивости невозможно привязать ни к какой местности, перебросить хотя бы узенький мостик между ним и настоящим мгновением, если оно так и осталось на своем месте, в своем дне, если ему удалось сохранить свою отдаленность и свою отдельность во впадине долины или на вершине горы, вот тогда-то оно вдруг заставляет нас вдохнуть новый воздух как раз потому, что это именно тот воздух, каким мы дышали когда то, это воздух более чистый, чем тот, каким поэты тщетно пытались наполнить атмосферу рая и который мог подарить это глубокое ощущение возрождения только лишь в том случае, если им уже дышали когда-то, потому что истинный рай — это потерянный рай.

И я заметил попутно, что в том произведении искусства, к которому, хотя и не решившись окончательно, я готов был уже приступить, я мог бы столкнуться с большими трудностями. Потому

что его последовательные части должны были бы состоять из совершенно различной материи, которая к тому же очень отличалась бы от той, что годилась бы для воспоминаний об утреннем береге моря или о послеполуденной Венеции, если бы мне захотелось передать эти вечера в Ривебеле, где в распахнутой в сад столовой начинала таять, спадать, оседать жара, где последний отблеск света еще освещал розы, увившие стену ресторанчика, пока последние акварельные наброски этого дня были еще видны на небе, — из материи отличной от других, новой, особой прозрачности и звучности, плотной, прохладной и розоватой.

Я скользил в своих мыслях, чувствуя еще большую, чем прежде, потребность отыскать причину подобного блаженства, той неизбежности, с какой оно мной овладело, потребность осуществить, наконец, попытку, когда-то давно мной отложенную на потом. Ибо я смутно угадывал ее, эту причину, сравнивая различные блаженные ощущения, которые имели столько общего, что я понимал: стук ложечки о тарелку, неровность плит, вкус мадленки я осознаю одновременно и в настоящий момент, и в давнюю минуту, только потом прошлое начинало посягать на настоящее, заставляя меня сомневаться, в прошлом или на-

стоящем я нахожусь; на самом деле то существо, что наслаждалось тогда во мне этим впечатлением, наслаждалось им в том пространстве, что являлось общим для прошедшего дня и дня настоящего, то есть во вневременном, и само это существо появлялось лишь тогда, когда благодаря этой идентичности прошлого и настоящего оно оказывалось в единственном месте, где только и могло находиться, наслаждаться сущностью вещей, то есть вне времени. Это объясняло, почему тревога по поводу смерти мгновенно отпустила меня как раз в тот момент, когда я бессознательно вспомнил вкус маленькой мадленки, потому что именно в это самое мгновение существо, каким я тогда являлся, было вневременным существом, следовательно, его нисколько не заботили превратности будущего. Оно жило лишь сущностью вещей и не могло уловить ее в настоящем, где воображение не участвует в игре, а значит, чувства не способны представить ему эту сущность; само будущее, к которому устремлено действие, нам в нем отказано. Это самое существо появлялось и проявлялось во мне лишь вне всякого действия, вне непосредственной радости, каждый раз, когда таинственное волшебство сходства выхватывало меня из настоящего. Оно лишь одно

было властно возвратить мне прошедшие дни, утраченное время, перед которыми усилия моей памяти и разума всегда оказывались бесплодны.

И возможно, если только что я и счел, что Бергот был не прав, говоря о радостях духовной жизни, так это потому, что в тот самый момент «духовной жизнью» я называл логические рассуждения, в действительности ничего общего не имеющие ни с ней, ни с тем, что существовало во мне в этот момент, — точно так же я счел этот мир и эту жизнь скучными потому лишь только, что вздумал судить о них по не-истинным воспоминаниям, в то время как теперь я чувствовал в себе такую жадность жить, которую только что трижды пробудило во мне истинное мгновение прошлого.

Всего лишь мгновение прошлого? Должно быть, гораздо больше — нечто такое, что, будучи присуще одновременно и прошлому и настоящему, было гораздо более значимо, чем и то и другое. Сколько раз в течение всей моей жизни реальность разочаровывала меня, потому что в тот момент, когда я воспринимал ее, воображение, будучи единственным моим органом восприятия красоты, никак не могло с ней соотнестись в силу непреложного закона,

гласящего, что невозможно представить себе то, чего не существует. И вот внезапно действие этого сурового закона оказалось нейтрализовано, устранено чудодейственной уловкой природы, заставившей одно и то же ощущение — стук ложки и молотка, одинаковое название книги — сверкнуть одновременно и в прошлом, что позволило моему воображению насладиться им, и в настоящем, когда воздействие на мои органы слуха и осязания добавило к грезам воображения то, чего они обычно лишены: идею существования — и благодаря этой уловке позволило моему существу получить, выделить, зафиксировать — хотя бы на длительность вспышки — то, что оно обычно никогда не воспринимает: немного чистого времени. То существо, что возродилось во мне, когда, охваченный счастливым трепетом, я услышал звук, напоминающий и звяканье ложки о тарелку, и стук молотка об обод колеса, ощутил одновременно и неровные камни во дворе особняка Германтов, и неровные плиты часовни Святого Марка, и т. д., живет лишь сущностью вещей и в ней одной находит и пищу, и наслаждение. Оно изнемогало, наблюдая настоящее, где были бессильны чувства, оглядываясь на прошлое, которое иссушил разум, ожидая

будущее, которое воля составляла из фрагментов настоящего и прошлого, лишив их реальных черт и оставив от них лишь то, что отвечает цели утилитарной, человеческой и только, которую сама она им предназначила. Но какой-нибудь звук, какой-нибудь запах, однажды уже услышанный и почувствованный, — и вот они вновь, одновременно в настоящем и прошлом, оказываются реальны, но не существующи, идеальны, но не абстрактны, и вот неизменная, но обычно скрытая сущность вещей оказывается высвобождена, и наше истинное «я», которое порой давно уже кажется умершим, а на самом деле все-таки нет, вдруг пробуждается, оживает, вкусив небесной пищи, принесенной ему. Минута, освободившаяся от власти времени, пробудила в нас человека, освободившегося от власти времени. И нет сомнений, что человек этот уверен в своем счастье, хотя объективно во вкусе обыкновенной мадленки нет ничего такого, что могло бы стать причиной этого счастья, нет сомнений, что слово «смерть» не имеет для него никакого смысла: ему, существующему вне времени, что ему бояться будущего?

Но эта иллюзия, этот оптический — или какой еще — обман, явивший мне одно мгновение

прошлого, несовместимого с настоящим, такая иллюзия не могла длиться долго. Можно, конечно, пытаться продлить образы, возникающие в памяти, и это потребует от нас не больше усилий, чем если бы мы просто перелистывали книжку с картинками. Так когда-то, к примеру, в тот самый день, когда я впервые должен был отправиться к принцессе Германтской, из освещенного двора нашего парижского дома я лениво разглядывал возникшие моей волей то площадь перед церковью в Комбре, то пляж в Бальбеке, как будто перелистывал альбом акварелей, написанных в разных местах, где я бывал когда-то, и с эгоистическим удовольствием коллекционера думал, составляя каталог иллюстрацией моей памяти: «Все-таки в своей жизни я видел прекрасное». Конечно же, и тогда моя память отмечала разницу в ощущениях, но она лишь комбинировала один с другим однородные элементы. А в тех трех воспоминаниях, только что промелькнувших, все было совсем не так, и, вместо того чтобы проникнуться большей любовью к собственному «я», я, напротив, стал почти сомневаться в реальности этого «я». Точно так же как в тот день, когда я обмакнул мадленку в горячий чай, в том самом месте, где я находился, неважно, была ли это, как

тогда, моя парижская комната или, как сегодня, как сейчас, библиотека принца Германтского или, чуть раньше, двор их особняка, во мне возникло, словно некая зона излучения, ощущение (вкус пирожного, металлический звук, поза при движении), свойственное и тому месту, где я в тот момент находился, и одновременно совсем другому месту (комната тети Октав, железнодорожный вагон, часовня Святого Марка). В тот самый момент, когда я предавался этим размышлениям, пронзительный взвизг водопроводной трубы, похожий на те, что порой доносились с прогулочных теплоходов летом в Бальбеке, заставил испытать меня (как это уже было однажды в большом парижском ресторане при виде роскошного полупустого зала, летнего, нагретого солнцем) нечто гораздо большее, чем просто ощущение, аналогичное тому, что чувствовал я ранними вечерами в Бальбеке, когда на всех столах уже были разостланы скатерти и лежали приборы, а застекленные двери широко распахнуты прямо на дамбу, без единого промежутка, заполненного стеклом или камнем, — только воздух, — и солнце медленно опускалось за море, откуда слышались уже гудки пароходов, и, чтобы подойти к Альбертине и ее подружкам, прогули-

вающимся вдоль дамбы, мне достаточно было лишь перешагнуть деревянный порожек террасы, чуть выше лодыжки, в пазах которого — для лучшего проветривания ресторана — двигались стеклянные двери. В этом ощущении не было болезненных воспоминаний о любви к Альбертине. Вспоминать с болью можно только мертвых. Но они так быстро разрушаются там, в земле, и вокруг их могил остается лишь красота природы, чистый воздух, тишина. Впрочем, ощущение, что заставил меня испытать вновь шум водопроводной трубы, было даже не эхом, не двойником прошлого ощущения, это было само то ощущение. В этом случае, как и во всех предыдущих, самое обычное ощущение попыталось воссоздать вокруг себя прежнее место действия, однако нынешнее место действия всеми своими силами, всей своей громадой сопротивлялось вторжению в парижский особняк нормандского пляжа или железнодорожной насыпи. Ресторанчик в Бальбеке со своими тканными узорчатыми скатертями, сложенными, как покров на алтаре для встречи заката солнца, попытался расшатать особняк Германтов, взломать его двери, и какое-то мгновение перед моими глазами качались диваны, как в тот, другой день, столики парижского ресто-

рана. И, как всегда, прежнее место действия, где родилось единое ощущение, и нынешнее место на какое-то мгновение сплелись в одно целое, как два борца на ковре. И, как всегда, победило нынешнее, и как всегда побежденный показался мне самым прекрасным, прекрасным настолько, что я застыл в восхищении на неровных плитах тротуара, пытаясь удержать — в миг появления, и пытаясь вызвать вновь — в миг ускользания этот Комбре, эту Венецию, этот Бальбек, неотступные и вытесненные из сознания, они возникали, чтобы тотчас покинуть меня в лоне этой самой новой местности — новой, но проницаемой для прошлого. И если бы эта новая, нынешняя местность сразу же не оказывалась победительницей, думаю, я бы просто потерял сознание, ибо эти вторжения прошлого, то мгновение, пока они длятся, всеобъемлющи настолько, что не просто заставляют нас ослепнуть и не видеть комнаты, в которой находишься, но при этом видеть аллею деревьев или море в час прилива. Они вынуждают наши ноздри вдыхать воздух того далекого места, нашу волю — выбирать между несколькими предложенными ими же замыслами, а все наше существо — верить, что окружено этим, или по крайней мере колеблется между давнишним

и настоящим, испытывая головокружение от нерешительности, подобное тому, какое испытываешь порой перед невыразимым видением в момент засыпания.

Таким образом, то, с чем соприкоснулось это трижды или четырежды возрожденное во мне существо, возможно, как раз и было фрагментами существования, изъятыми у времени, но это созерцание, пускай и созерцание вечности, было мимолетным. И все же я сознавал: радость, что оно дарило мне несколько раз за всю мою жизнь, была единственной плодотворной и подлинной радостью. Разве о неплодотворности и неподлинности других мы не догадываемся порой по невозможности нас удовлетворить — вот, к примеру, светские удовольствия, после которых не остается ничего, кроме дурноты, как после несвежей пищи, или дружба — не более чем притворство, ведь художник, который — неважно, какое оправдание приводит он сам, — жертвует часом работы ради болтовни с приятелем, знает, что приносит реальность в жертву чему-то несуществующему (поскольку друзья являются таковыми лишь в тихом помешательстве, что настигает нас несколько раз на протяжении жизни, причем мы добровольно поддаемся ему, хотя в

то же время достаточно умны, чтобы понимать, в чем заключается безумие сумасшедшего, который беседует с предметами обстановки, полагая, будто они живые), — а порой по грусти, что всегда следует за удовлетворением этих желаний, вроде той, что почувствовал я в тот день, когда меня познакомили с Альбертиной, сделав незначительное усилие, чтобы добиться того, чего я хотел, — познакомиться с этой девушкой (впрочем, и результат показался мне незначительным, возможно оттого, что я все-таки добился его)? Даже радость более глубокая, как та, что должен был бы чувствовать я, любя Альбертину, в действительности осознавалась лишь опосредованно, как противоположность тревоге, которую я испытывал, не видя ее рядом, потому что когда я точно знал, что она вот-вот появится, как в тот день, когда она вернулась с Трокадеро, я, кажется, не чувствовал ничего, кроме легкой скуки, но при этом я приходил в возбуждение по мере того, как, все больше наполняя радостью, в меня проникали звук — звяканье ложки, вкус — аромат мадленки, которые впустили сюда, в эту комнату, комнату тети Леонии, а за ней и весь Комбре с обеими его сторонами. И вот теперь я решил, что надо зацепиться, наконец, за это созерцание

сущности вещей, зафиксировать его, но как? Каким способом? Конечно же, в тот миг, когда жесткая салфетка вернула мне Бальбек, какое-то мгновение ласкало мое воображение, причем не только видом моря, такого, каким было оно в то утро, но ароматом комнаты, прикосновением ветра, легким чувством голода перед обедом, сомнением — какую из прогулок предпочесть, и все это, вызванное прикосновением салфетки, словно навеянное тысячью крыльев ангелов, делающих тысячу взмахов в минуту; конечно же, в тот миг, когда неровные плиты вернули к жизни эти ссохшиеся и сжавшиеся картины Венеции и часовни Святого Марка, продлили их и продолжили во всех направлениях и всех измерениях, благодаря множеству ощущений, испытанных мною когда-то, соединивших площадь с церковью, пристань с площадью, канал с пристанью, со всем, что видимо зрением, и со всем, что видимо только разумом, — я попытался если и не заскользить вновь по каналам Венеции, всегда, вне зависимости от времени года, для меня весенним, то по крайней мере хотя бы возвратиться в Бальбек. Но я не позволил себе ни на мгновение задержаться на этой мысли. Мало того, что я знал — местности не бывают такими,

какими рисовало мне их название, и только лишь в сновидениях передо мной расстилался какой-то неведомый край, сотканный из чистой материи, совершенно отличной от обычных вещей, которые можно увидеть, потрогать, и это была материя моих представлений об этих вещах. Что же касается образов совсем иного рода, образов воспоминаний, я помнил, что, живя в Бальбеке, не находил его особенно красивым, и даже красота, оставшаяся мне в воспоминаниях, не соответствовала красоте того Бальбека, что я нашел во время второго своего приезда. Я на собственном опыте осознал невозможность достичь в действительности того, что находилось в глубине меня, а еще я понял, что не на площади Святого Марка, и не во время второго своего путешествия в Бальбек, и не тогда, когда я вернусь в Тансонвиль повидать Жильберту, обрету я Утраченное время, и путешествие, в очередной раз дающее иллюзию, будто все эти прежние впечатления существуют где-то вне меня, в каком-то строго обозначенном месте, было вовсе не тем средством, что я искал. И я не хотел лишний раз самообольщаться, потому что мне важно было узнать наконец, возможно ли в самом деле достичь того, что я, испытывая всегда одно лишь

разочарование, видя какую-то местность или в присутствии каких-то людей (хотя однажды пьеса для концерта Вентейля, казалось, доказала мне совсем противоположное), полагал неосуществимым. В общем, мне совершенно не хотелось продолжать свои опыты в том направлении, которое, как я знал уже давно, ни к чему привести не могло. Такие впечатления, как те, что я пытался зафиксировать, могли лишь померкнуть от соприкосновения с непосредственной радостью, которая была бессильна их породить. Единственным способом насладиться ими всецело было попытаться полностью осознать их там, где они находились, то есть во мне самом, высветить их до самой глубины. Мне не дано было познать радость в Бальбеке, счастье жить с Альбертиной, которое я осознал как счастье лишь много после. И, перебирая в памяти разочарования собственной жизни, прожитой так, как была она прожита, которые заставили меня поверить, будто реальность ее заключается не в действии, а в чем-то другом, между этими различными обманутыми надеждами я не мог поставить знака равенства, даже совершенно случайно, наугад, следуя за обстоятельствами моей жизни. Я осознавал, что разочарование в путешествии, разочарование

в любви в действительности было одним и тем же разочарованием, просто разными его видами, какие, в зависимости от обстоятельств, в которых они проявляются, принимает наше бессилие проявить себя, реализоваться в каком-то материальном наслаждении, в реальном действии. И, думая вновь об этой вневременной радости, порожденной то звяканьем ложечки, то вкусом мадленки, я повторял себе: «Быть может, именно такое счастье та небольшая музыкальная фраза и подарила Свану, который ошибался, полагая, будто счастье — это любовное наслаждение, и так и не смог отыскать его в творчестве; то счастье, благодаря которому еще более неземным, чем коротенькая фраза сонаты, мне показался яркий, таинственный призыв этого септета, который Сван не мог узнать, потому что умер, как и многие другие, прежде чем истина, предназначенная для них, была им открыта? Впрочем, она была ему и ни к чему, ибо фраза эта могла, конечно, олицетворять призыв, но не могла породить силу и сделать из Свана писателя, каковым он не был».

Впрочем, размышляя обо всех этих всплесках памяти, я догадался в какой-то момент, что, хотя и несколько иначе, но эти неясные ощущения когда-то, например, в Комбре, в стороне Германтов,

уже владели моими мыслями, как некие смутные воспоминания, но скрывали в себе не прежние впечатления, а совершенно новую истину, бесценный образ, что я пытался воспроизвести, прибегая к тем же усилиям, с помощью которых стараются вспомнить нечто, как если бы самые прекрасные наши идеи были подобны мелодиям, что возвращаются к нам, хотя нам никогда раньше не приходилось их слышать, и мы изо всех сил пытаемся вслушаться в них, переложить на ноты. Я припомнил — не без удовольствия, поскольку это доказывало, что уже тогда я был таким же, как теперь, и следовательно, это составляло одну из основных черт моей натуры, и в то же время с грустью, поскольку это означало, что с тех пор я совершенно не переменился, — что уже в Комбре я тщательно фиксировал в мыслях какой-то образ, который прямо-таки заставлял обратить на себя мое внимание: облако, птичий клин, колокольню, цветок, камешек — смутно чувствуя, что было за всеми этими знаками нечто другое, что я должен попытаться разгадать, какая-то мысль, которую они передавали с помощью иероглифов, хотя казалось, будто это самые обычные предметы. Конечно, расшифровка была трудной, но только она позволяла прочесть что-то истинное.

Потому что те истины, которые разум выхватывает непосредственно из ярко освещенного окна в мир, не так глубоки, не так необходимы, как те, что жизнь, порой даже против нашей воли, передала нам через ощущение, безусловно, ощущение материальное, поскольку проникло в нас через наши органы чувств, но из которого мы можем высвободить дух. Иными словами, в том или ином случае, шла ли речь о впечатлениях — например, вид колокольни Мартенвиля, или смутных воспоминаниях — о двух неравных плитах или вкусе мадленки, — было необходимо попытаться истолковать эти ощущения как знаки и законов, и идей одновременно, стараясь продумать, то есть извлечь из тьмы то, что я почувствовал, превратить знаки в их духовный эквивалент. А существовало ли для этого лучшее средство, а по моим представлениям — вообще единственное, чем создать произведение искусства? И уже начинали в моей голове тесниться возможные варианты, ибо шла ли речь о смутных воспоминаниях вроде звяканья ложечки или вкуса мадленки, или же об истинах, начертанных с помощью фигурок, смысл которых пытался найти я в своей голове, где все эти колокольни, ковыли составляли какую-то тарабарщину, запу-

танную и цветистую, их первая буква была уже предложена мне как данность, и я не был волен выбирать ее. Я чувствовал, что это и была печать, удостоверяющая их подлинность. Я не искал специально две неровные плиты во дворе, о которые споткнулся. Именно случайность, неизбежность и ничто иное выверяли подлинность возрожденного прошлого, образов, высвобожденных у памяти, поскольку мы чувствуем их усилие взмыть вверх, как чувствуем радость обретенной реальности. Помимо этого, они удостоверяли достоверность картины, составленной из нынешних впечатлений, с безукоризненным чувством пропорций света и тьмы, откровенности и недосказанности, воспоминаний и забвений, о чем сознательная память или наблюдение по-прежнему не имеют ни малейшего представления. Что же касается книги, испещренной незнакомыми знаками (причем рельефными знаками, которые я, исследуя собственное подсознание, находил, задевал, огибал, как водолаз, измеряющий глубину), при чтении которых я не мог воспользоваться ничьим советом, само это чтение тоже представляло собой творческий акт, в котором никто не мог ни заменить меня, ни даже читать вместе со мной. Так сколько же свернули с пути,

не желая писать это! Сколько сделано усилий, чтобы избежать этого! Любое событие, будь то дело Дрейфуса или же эта война, являлись для писателей оправданием, лишь бы не разгадывать эту книгу, им, желавшим обеспечить торжество справедливости, восстановить нравственное единство нации, разумеется, некогда было подумать о литературе. Но это были всего лишь отговорки, потому что они не обладали, или уже не обладали, гением, то есть интуицией. Ибо интуиция подсказывает цель, а разум находит способы от нее уклониться. Вот только отговоркам нет места в искусстве, намерения здесь не в счет, художник в любой момент должен быть готов услышать свою интуицию, а потому искусство — это и есть то, что реальнее всего на свете, самая суровая школа жизни, самый истинный Высший суд. Эта книга, самая трудная для расшифровки, является в то же время единственной книгой, которую продиктовала нам реальность, единственной, где «ощущение» внушено самой реальностью. О какой бы идее, подаренной нам жизнью, не шла бы речь, ее материальная форма, отпечаток реальности по-прежнему является гарантией ее истины. Идеи, сформулированные чистым разумом, обладают лишь потенциальной

истиной — истиной, требующей доказательств, их выбор произволен. И лишь книга, написанная иносказательными знаками, начертанными не нами, является единственной нашей книгой. Не то чтобы излагаемые нами идеи не могут быть справедливы, логически это возможно, просто мы не знаем, истинны они или нет. Только лишь впечатление, какой бы чахлой ни казалась нам его материя, каким бы неразличимым — след, является критерием истины, и из-за этого одно лишь оно достойно быть воспринято духом, ибо только оно одно способно, умея извлечь эту самую истину, довести ее до еще большего совершенства и доставить чистую радость. Впечатление для писателя то же самое, что для ученого — эксперимент, с той лишь разницей, что у ученого работа разума стоит на первом месте, а у писателя на втором. А то, что нам не нужно расшифровывать, не нужно прояснять нашим собственным старанием, что было уже ясно и до нас, это просто не наше. Наше лишь то, что мы сами извлекаем из мрака, в который погружены, и то, чего не знают другие.

Косой луч заходящего солнца внезапно напомнил мне о времени, о котором я никогда не вспоминал прежде, когда, в раннем моем детстве,

поскольку тетушка Леония лежала в лихорадке, которую доктор Персепье счел симптомом брюшного тифа, меня на неделю переселили в небольшую комнатку Евлалии на площади перед церковью, где на полу лежал лишь плетеный коврик, а на окне висела перкалевая занавеска, пропускавшая солнце, к которому я не привык. И, видя, как воспоминание об этой крошечной комнатке нашей бывшей служанки вдруг добавило к моей прошлой жизни огромное пространство, столь отличное от остального и столь блаженное, я по контрасту подумал о том, что самые пышные празднества в самых роскошных особняках, напротив, не оставили у меня абсолютно никаких впечатлений. Единственное, что было грустно в этой комнатке Евлалии, так это то, что по вечерам из-за близости виадука здесь слышны были крики поездов. Но, поскольку мне было известно, что рев этот издавали управляемые и отлаженные механизмы, они не ужасали меня так, как в доисторические времена могли бы испугать крики мамонтов, свободно разгуливающих неподалеку.

Итак, я пришел уже к тому выводу, что мы не свободны перед произведением искусства, что мы творим его отнюдь не по собственной воле, но, поскольку оно уже ранее, до всего, до замыс-

ла, существует в нас и является объективной, но скрытой, реальностью, мы должны открыть его, как закон природы. Но это самое открытие, которое заставляет нас сделать искусство, не является ли оно, в сущности, открытием того, что должно быть нам дороже всего на свете и что обычно остается так и не познанным — это наша собственная жизнь, реальность, именно такая, какой мы ощутили ее, и столь отличная от той, которой мы привыкли верить, и что наполняет нас невыразимым счастьем, когда какая-то случайность вдруг дарит нам истинное воспоминание? Я смог убедиться в этом, осознав лживость и фальшь так называемого реалистического искусства, которое не было бы столь обманчиво, не заимей мы сами привычку давать всему, что чувствуем, отображение, столь отличное от наших чувств, и которое, по прошествии некоторого времени, мы и принимаем за саму реальность. Я понимал, что мне не следовало бы забивать голову разными литературными теориями, которые так волновали меня когда-то, — а именно теми, что излагали критики в разгар дела Дрейфуса, — и вновь взяли на вооружение во время войны, которые призывали художника «покинуть свою башню из слоновой кости» и

обратиться к сюжетам не легкомысленным и сентиментальным, но живописующим, например, массовые движения рабочих, и по крайней мере, изображать не всяких там праздных ничтожеств («должен признаться, мне совершенно не доставляет радости описывать всех этих бездельников», — говорил Блок), но благородных интеллектуалов или героев.

Впрочем, даже если оставить в стороне логическое содержание всех этих теорий, мне казалось, они свидетельствуют о слабости и зависимости людей, их излагающих, так хорошо воспитанный ребенок, услышав от людей, у которых он обедает, следующее заявление: «Мы говорим правду, мы искренни и откровенны», чувствует, что подобное высказывание свидетельствует о нравственных качествах более низких, нежели простой, бесхитростный поступок, не требующий никаких слов. Истинное искусство обходится без громких лозунгов и свершается в тишине. Впрочем, люди, которые теоретизировали подобным образом, употребляли устойчивые выражения, до странности похожие на те, какими пользовались всякие идиоты, и таким образом компрометировали их. И, быть может, об уровне интеллектуального и нравственного труда следует судить не по эсте-

тической манере, а, скорее, по качеству языка. Но происходит совсем противоположное, это качество языка (для того чтобы изучать законы человеческой природы, не имеет значения, какие сюжеты использовать для этого, серьезные или легкомысленные; как прозектору совершенно безразлично, чье тело использовать для изучения анатомии, тело идиота или гения, точно так же для великих законов нравственности, как и для изучения закона кровообращения или почечной функции не имеет значения, какими интеллектуальными достоинствами обладает индивидуум), которое, как кажется теоретикам, не имеет никакого значения, а те, кто поклоняется теоретикам, с готовностью верят, будто оно нисколько не свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне — уровне, который необходим им, для того чтобы уметь различать его, понять, как оно выражено, — оно, по их мнению, никак не связано с красотой образа. Вот почему писатель чувствует сильнейший соблазн создавать интеллектуальные произведения. Редкостная безнравственность. Произведение, изобилующее теориями, подобно вещи, на которой оставили этикетку с ценой. Вот только этикетка подчеркивает стоимость вещи, в то время как в литературе

любое логическое рассуждение эту стоимость уменьшает. Рассуждать — значит блуждать, такое происходит всякий раз, когда не хватает сил, чтобы заставить себя бережно пронести образ через все состояния последовательно и в результате добиться яркости и выразительности.

Реальность, которую нужно отобразить, заключается, как я понимал это теперь, не во всем очевидном сюжете, но в той глубине, где эта самая очевидность не имеет значения, и доказательство тому — стук ложки о край блюдца, жесткость крахмальной салфетки, которые для моего духовного обновления оказались более ценны и значимы, чем бесчисленные разговоры, гуманистические, патриотические, антивоенные и философские. «Довольно стиля, — доводилось мне слышать когда-то, — довольно литературы, нужно больше жизни». Можно себе представить, как самые простенькие теории господина де Норпуа против «флейтистов» во время войны словно получили второе дыхание. Ибо все те, кто не имеет художественного чутья, иными словами не умеет подчиняться внутренней реальности, бывают наделены способностью бесконечно долго рассуждать об искусстве. Стоит только им, помимо этого, оказаться еще дипломатами

или финансистами, вовлеченными в «реалии» нынешнего времени, они уже искренне готовы поверить, будто литература есть некая игра ума, которая в будущем постепенно, но неизбежно, сойдет на нет. Некоторые из них желали бы, чтобы роман был чем-то вроде синематографического дефиле. Это представление совершенно абсурдно. Нет ничего более чуждого нашему восприятию действительности, чем подобный синематографический взгляд.

Поскольку, входя в эту библиотеку, я вспомнил, что именно говорили Гонкуры о прекрасных оригинальных изданиях, которые в ней хранятся, я дал себе слово взглянуть на них, коль скоро мне довелось здесь оказаться. Продолжая свои размышления, я один за другим, не обращая особого внимания на остальное, вытаскивал драгоценные тома, когда вдруг, рассеянно открыв один из них, а именно «Франсуа-найденыш» Жорж Санд, я был поражен неприятным ощущением, столь не соответствующим моим нынешним мыслям, когда, охваченный смятением, едва не вызвавшим у меня слезы, вдруг понял, насколько все же это ощущение к ним подходило. В то время как в доме умершего служащие похоронной компании готовятся вынести гроб из комнаты,

а сын человека, верой и правдой служившего родине, пожимает руки последних друзей, вдруг под самыми окнами раздается звук фанфар, и сын умершего возмущен, сочтя подобное издевательством над своим горем. Но тут же он, который до сих пор справлялся со своими эмоциями и не терял самообладания, не может сдержать слез: он понял, что бывший полк его отца этой музыкой присоединяется к его горю и отдает последнюю дань умершему. Точно так же я только что осознал, до какой степени соответствует моим нынешним мыслям тягостное ощущение, которое я испытал, прочтя название одной из книг в библиотеке принца Германтского; название, которое навело меня на мысль, что литература и в самом деле дарит нам этот мир тайны, в чем я уже начинал было сомневаться. И при всем том книга эта не была какой-то уж необыкновенной, это был всего-навсего «Франсуа-найденыш». Но это название, как и имя Германтов, лично для меня отличалось от тех, которые я узнал после: оно пробудило во мне воспоминание о том, что казалось мне необъяснимым в сюжете книги Жорж Санд «Франсуа-найденыш», когда мама читала мне ее в детстве (точно так же в имени Германтов, когда я не видел их уже долгое

время, заключалась для меня сущность самого кодекса феодализма, как в названии «Франсуа-найденыш» — сущность романа), и вытеснило на какое-то мгновение расхожее представление о том, что есть вообще эти беррийские романы Жорж Санд. Во время какого-нибудь званого обеда, когда можно, не углубляясь, скользить по поверхности, я мог бы, конечно, поговорить и о «Франсуа-найденыше», и о Германтах, никак не связывая их с Комбре. Но, оказавшись, как сейчас, в одиночестве, я погружался в глубины совершенно невероятные. В такую минуту мысль о том, что такая-то особа, с которой я познакомился в свете, была родственницей герцогини Германтской, то есть персонажа из волшебного фонаря, казалась мне абсолютно непостижимой, и точно так же самые прекрасные книги, прочитанные мной, оказались — не скажу даже лучше, хотя на самом деле так оно и было — но равны этому восхитительному «Франсуа-найденышу». Это было очень давнее впечатление, здесь оказались любовно перемешаны мои детские и семейные воспоминания, которые я распознал не сразу. В первое мгновение я с негодованием вопрошал, кто этот незнакомец, причинивший мне только что такую боль. А незнакомцем, которого возродила

к жизни эта книга, оказался я сам, тот ребенок, каким я был когда-то, потому что, не зная меня, а зная только этого ребенка, книга его и позвала, желая быть увиденной лишь его, а не моими глазами, любимой лишь его сердцем и желая говорить лишь с ним. Так эта книга, которую мать читала мне вслух в Комбре почти до самого утра, сохранила для меня все очарование той ночи. Конечно же, «перо» Жорж Санд, если использовать выражение Бришо, который так любил повторять, что такая-то книга написана «бойким пером», вовсе не казалось мне, как казалось когда-то давно моей матери, пока она постепенно не стала выверять свои литературные вкусы моими, волшебным пером. Но это было перо, которое я, сам того не желая, заряжал электричеством, как порой развлекаются школьники, и вот уже сотня мелочей родом из Комбре, которые я давно уже перестал замечать, получив этот электрический заряд, вдруг вытянулись в ряд и повисли, зацепившись одна за другую намагниченными клювиками, образовав бесконечную и дрожащую цепочку воспоминаний. Иные умы, увлеченные мистикой, склонны верить, будто на предметах остается некий след от взгляда, которым на них смотрят, и что памятники и картины предстают

перед нами словно окутанные вуалью, сотканной за многие века любовью и созерцанием стольких восхищенных почитателей. Подобная фантазия могла бы быть правдой, окажись она перенесена в ту область, где царит единственная для каждого реальность, то есть во владение его собственных чувств. Да, в этом смысле, и только в этом (хотя на самом деле он гораздо шире), тот предмет, на который мы уже смотрели прежде, представ перед нашим взором вновь, приносит нам и нашему взгляду, который мы на нем остановили, все те образы, что возникли когда-то. Дело в том, что предметы — например, книга в красной обложке, такой же, как и другие, — будучи замечены и восприняты нами, становятся чем-то вне-материальным, состоящим из той же субстанции, что все наши тогдашние заботы или ощущения, и неразличимо сливаются с ними. Между слогами, составляющими имя, прочитанное когда-то в книге, живет порыв ветра или солнечный луч, если тогда действительно дул ветер или светило солнце. Так что литература, довольствующаяся просто «описанием вещей», представляющая всего лишь строчки и верхний слой, хотя и называется реалистической, на самом деле далека от реальности как никакая другая, именно она

больше всего обедняет и огорчает нас, потому что резко и грубо обрывает всякую связь нашего нынешнего «я» с прошлым, сущность которого хранят предметы, и с будущим, где они побуждают нас вновь насладиться этой сущностью. Ибо именно ее должно выражать искусство, достойное называться таковым, а если это не удалось, из его бессилия тоже можно извлечь урок (а из удач реализма — нет), и состоит он в том, что эта самая сущность отчасти субъективна и непередаваема.

Более того, то, что мы пережили в какой-то момент своей жизни, книга, что мы прочли, оказывается навсегда связанной не только с тем, что окружает нас; она остается верна нам, таким, какими мы были в те времена, и отныне может быть заново прочувствована и продумана только лишь чувствами и мыслями той особы, какой мы в ту пору являлись; и если я вновь беру с книжной полки «Франсуа-найденыша», во мне мгновенно пробуждается и занимает мое место ребенок, который один лишь и имеет право прочесть это название, «Франсуа-найденыш», и читает его так, как читал когда-то, с тем же ощущением прохлады, что царила тогда в саду, с теми же мыслями о жизни и о тех местах, что его окружали, с той же тревогой о завтрашнем дне. А стоит мне вновь

увидеть нечто, относящееся к другому, более позднему времени, — появится молодой человек. А моя нынешняя личность — всего-навсего выработанный карьер, может показаться, что его содержимое однообразно и неинтересно, но каждое воспоминание, как гениальный скульптор, извлекает из него многочисленные статуи. Я сказал: предмет, что предстает перед нашим взором вновь, ибо книги ведут себя в данном случае, как предметы, — то, как перегибается корешок, зернистость бумаги — все это может хранить в себе такие же яркие воспоминания о том, как я представлял себе тогда Венецию и как мечтал поехать туда, что и сами фразы на странице. И даже еще более яркие, потому что фразы порой даже мешают, как фотографии человека, которые дают более смутные представления о нем, чем наши воспоминания. Конечно же, если говорить о большинстве книг моего детства и, увы, о некоторых книгах самого Бергота, коль скоро однажды вечером мне, усталому, и случается взять их с полки, это походило на то, как если бы я сел в поезд в надежде отдохнуть, созерцая различные вещи и вдыхая атмосферу прошлого. Но бывает порой, что длительное чтение книги, напротив, становится помехой этому столь желанному вос-

крешению прошлого. Так случилось с одной из книг Бергота, которая здесь, в библиотеке принца, была снабжена посвящением, невероятно пошлым и угодливым, в ней, прочитанной мною когда-то зимним вечером, когда я не мог увидеться с Жильбертой, теперь мне не удалось отыскать фразы, которые я так любил. Судя по некоторым знакомым мне словам, вот они, эти фразы, но нет, вроде бы и не они. Где красота, что прежде я находил в них? Вот только снег, падавший на Елисейские Поля в тот день, когда я читал этот том, он-то никуда не делся, его я вижу и сейчас.

Вот именно поэтому, попытайся я заделаться библиофилом вроде принца Германтского, я был бы совершенно необычным библиофилом. Та особая ценность книги, не зависящая от самих по себе ее достоинств, но которая для любителя измеряется тем, на полках чьих библиотек она стояла, кому и в связи с какими обстоятельствами была дана, о ком из известных людей напоминает, возможность проследить ее жизнь от продажи к продаже, эта в каком-то смысле историческая ценность книги не оказалась бы утрачена для меня. Но я бы куда охотнее, не желая быть просто любопытным, избавил бы ее историю от истории моей собственной жизни, и больше связывал

бы ее не с конкретным экземпляром, но с самим произведением, как, например, этот томик «Франсуа-найденыша», впервые увиденный в моей маленькой комнатке в Комбре той ночью, быть может, самой чудесной и самой грустной ночью моей жизни, когда мне, увы — в те времена, когда таинственные Германты казались еще совершенно недоступными, — впервые удалось добиться от родителей отречения от власти, и с этого дня начался отчет моей болезни и упадка моей воли, отказа, с каждым днем все более решительного, от трудных задач — и вновь обретенный сегодня в библиотеке не кого-нибудь, а именно Германтов, в тот самый прекрасный день, когда внезапно оказались так ярко озарены не только мои прежние робкие намерения, но и вся цель моей жизни, а быть может, и искусства. Что касается самих по себе экземпляров книги, я мог бы, впрочем, заинтересоваться и ими тоже, и заинтересоваться искренне. Первое издание любого произведения было бы для меня более ценным, чем последующие, но через него я бы видел то издание, в каком прочел эту книгу впервые. Я бы разыскивал подлинники, я хочу сказать, те издания, в которых эта книга дала мне первое, подлинное впечатление. Потому что все последу-

ющие впечатления подлинными не являются. *Я* коллекционировал бы прежнее сияние романов, сияние того времени, когда читал свои первые романы и столько раз слышал от папы: «Выпрями спину!»; так платье, в котором мы видим женщину в первый раз, помогло бы мне вновь обрести прежнюю любовь, увидеть прежнюю красоту, на которую впоследствии наслаивалось столько образов, все менее и менее любимых, и все это, чтобы отыскать первый образ; я, который уже не тот «я», что видел ее прежде и который должен уступить место тому «я», каким был тогда, если именно оно называет вещи, которые знало когда-то и которые мое нынешнее «я» уже не знает. Но даже в том смысле, единственном, который доступен моему пониманию, я не стал бы пытаться сделаться библиофилом. Я слишком хорошо знаю, что вещи обладают пористой структурой и пропитаны разумом.

Моя библиотека, составленная таким вот образом, оказалась бы даже еще более ценной, ибо книги, прочитанные мною когда-то в Комбре, в Венеции, теперь, благодаря моей памяти, словно обогащенные новыми иллюстрациями, изображающими церковь Сент-Илер, гондолу, пришвартованную к подножию Сен-Жоржле-

Мажор на Большом Канале, инкрустированном мерцающими сапфирами, стали бы сродни этим «иллюстрированным альбомам», разукрашенным виньетками Библиям, Часословам, которые библиофил открывает не для того, чтобы прочесть, а чтобы в очередной раз восхититься красками, которые добавил сюда какой-нибудь соперник Фуке, которые и составляют всю ценность книги. И тем не менее даже открывать эти книги, прочитанные когда-то, лишь для того, чтобы взглянуть на картинки, показалось бы мне столь опасным, что даже в этом смысле, единственном, который доступен моему пониманию, я не стал бы пытаться сделаться библиофилом. Я слишком хорошо знаю, что образы, порожденные разумом, с необыкновенной легкостью разумом же и стираются. Он подменяет прежние образы новыми, которые не обладают той же способностью к воскрешению. И если бы у меня был еще «Франсуа-найденыш», тот самый том, который мама вытащила однажды вечером из стопки книг, приготовленных мне бабушкой к празднику, я бы никогда больше не взглянул на него; мне было бы слишком страшно привнести туда мои сегодняшние впечатления и заслонить ими впечатления прежние, мне было бы слишком

страшно увидеть, как она, эта книга, станет до такой степени сегодняшней, что, когда я попрошу у нее вновь окликнуть ребенка, который впервые разобрал ее название в маленькой комнатке в Комбре, этот ребенок не узнает ее голоса, не ответит на ее призыв и навсегда будет предан забвению. Идея народного искусства, равно как и искусства патриотического, казалась мне если и не опасной, то по крайней мере нелепой. Если речь шла о том, чтобы сделать его доступным народу, принеся в жертву эстетизм и утонченность формы, «пригодную для бездельников», то могу сказать, что я достаточно много общался со светскими людьми, чтобы знать: именно они настоящие невежды, а не монтеры или слесари. В этом смысле форма народного искусства больше бы подошла для членов Жокей-Клуба, чем для членов Всеобщей конфедерации труда; что же касается сюжетов, то эти так называемые популярные романы вызывают такую же скуку у простых людей, как у детей — сочиненные специально для них книжки. При чтении всегда пытаешься перенестись в другую обстановку, и рабочих так же интересует жизнь принцев, как принцев — жизнь рабочих. С начала войны господин Баррес утверждал, что художник (в

данном случае Тициан) должен прежде всего служить славе своего отечества. Но он может служить ей, лишь будучи художником, то есть при условии, что в ту минуту, когда изучает эти законы, проводит эти эксперименты и совершает эти открытия, столь же сложные, как и открытия научные, в ту минуту не думает ни о чем другом — даже об отечестве, — а только об истине, что перед ним. Не станем же уподобляться революционерам, которые из соображений «гражданского долга» отрицали, а то и уничтожали произведения Ватто и де Ла Тура, художников, что прославили Францию куда больше, чем все эти деятели Революции. Тщательный анализ — это, вероятно, не то, что выбрало бы нежное сердце, будь у него выбор. Отнюдь не доброта его целомудренного, по-настоящему доброго сердца побудила Шодерло де Лакло написать «Опасные связи», не любовь к крупной или мелкой буржуазии заставила Флобера избрать такие сюжеты, как «Госпожа Бовари» или «Воспитание чувств». Иные утверждали, будто в эпоху скоростей искусство будет лаконичным, как некоторые до начала войны предсказывали, что она продлится недолго. Точно так же железная дорога должна была бы убить созерцание, но не стоит жалеть о

дилижансах, теперь автомобили выполняют их функцию и вновь доставляют туристов к заброшенным церквам.

Образ, что предлагала нам жизнь, в действительности дарил нам в ту минуту разнообразные, несходные друг с другом ощущения. Так, например, вид обложки прочитанной когда-то книги выткал в буквах заглавия лунные лучи той далекой летней ночи. Вкус утреннего кофе с молоком дарит нам смутную надежду на хорошую погоду, что некогда так часто, в те минуты, когда мы пили этот кофе из белой большой фарфоровой чашки, сливочной и ребристой, которая сама казалось вылеплена из загустевшего молока, когда начинающийся день был еще цельным и неповрежденным, — начинала нам улыбаться в прозрачной переменчивости раннего утра. Час — это не просто час, это сосуд, наполненный запахами, звуками, планами, атмосферой. То, что мы называем реальностью, — это некая связь между ощущениями и воспоминаниями, которые в одно и то же время окружают нас, связь, отринувшая простое синематографическое видение, что тем дальше отходит от истины, чем больше претендует на слияние с нею — единственная связь, которую должен отыскать писатель, чтобы

навсегда соединить в своей фразе два различных понятия. Можно, конечно, последовательно выстраивать в бесконечный ряд описания предметов, находящихся в том или ином описываемом месте, но истина появится лишь тогда, когда писатель, взяв два различных предмета, установит их связь — аналог в мире искусства тому, что является единственной причинной связью в материальном, научном мире и заключит их в окружность изящного стиля. То же самое и в жизни, когда, сравнивая общее качество двух различных ощущений, он высвободит их единую сущность, объединив то и другое, дабы избавить от условности времени, в одну метафору. Разве не сама природа, если смотреть с этой точки зрения, указала мне путь в искусстве, разве не сама она явилась истоком искусства, она, позволявшая мне, зачастую с большим опозданием, осознать красоту вещи лишь через другую вещь, красоту полдня в Комбре — через красоту колокольного звона, утра в Донсьере — через бульканье воды в нашей батарее? Эта связь может быть вовсе неинтересной, вещи примитивными, а стиль убогим, но не будь этого, не было бы ничего вообще.

А ведь было гораздо большее. Если бы реальность заключалась именно в таких вот клочках

жизненного опыта, более или менее идентичного для каждого из нас, потому что когда мы говорим: плохая погода, война, стоянка экипажей, освещенный ресторан, цветущий сад — всем понятно, о чем именно идет речь; если бы реальность заключалась только в этом, достаточно было бы чего-то вроде синематографической съемки этих вещей, а понятия «стиль», «литература», отошедшие от своих первоначальных величин, стали бы просто искусственным приложением. Но разве реальность в этом? Пытаясь проанализировать, что именно происходит в то мгновение, когда некая вещь производит на нас некое впечатление, как в тот день, например, когда, проходя по мосту через Вивонну, я невольно вскрикнул, увидев в воде отражение облака: «Ну надо же!» — и даже подпрыгнул от радости; то ли тогда, когда прочел какую-то фразу Бергота и почему-то произнес: «Это восхитительно!», хотя такая оценка не особенно ей соответствовала; то ли когда, рассерженный чьим-то дурным поступком, Блок произнес слова, вовсе не подходящие к столь банальному событию, какими были они вызваны: «Так вести себя, я считаю, просто н-н-невероятно!»; то ли когда я, радуясь хорошему приему у Германтов и даже чуть захмелевший от

выпитого у них вина, покидая их дом, вполголоса повторял себе, не в силах остановиться: «Это совершенно исключительные, необыкновенные люди, с которыми было бы так приятно дружить всю жизнь», — я осознавал, что эту главную, единственную настоящую книгу крупному писателю не приходится сочинять в прямом смысле этого слова, потому что она существует уже в каждом из нас, он должен просто перевести ее. Долг и задача писателя сродни долгу и задаче переводчика.

Хотя нет, впрочем, иногда приходится, когда мы имеем дело с неточным языком — к примеру, языком самолюбия, тогда коррекция искаженной внутренней речи (которая все дальше отдаляется от первого, основного впечатления), пока она не начала сливаться с прямой линией, исходящей из самого впечатления, — эта коррекция довольно затруднительна, ведь против нее восстает наша собственная леность; или вот еще, к примеру, любовь, тогда это же самое выпрямление становится весьма болезненным. Все наше показное равнодушие, все наше негодование по поводу лжи столь естественной, столь похожей на ту, что мы позволяем себе сами, одним словом, все то, что мы не переставали, каждый раз чувствуя

себя несчастными или преданными, не только повторять любимому человеку, но даже, в ожидании встречи с ним, без конца говорить себе самому, порой в полный голос в тишине комнаты, нарушенной каким-нибудь: «Нет, в самом деле, такое поведение возмутительно» или «Я собирался принять тебя в последний раз и не стану скрывать, это огорчает меня», — сводя к осознанной истине, ставшей уже неразличимо далекой, мы уничтожаем то, к чему сильнее всего были привязаны, когда наедине с собственной душой, делая лихорадочные наброски своего существования в литературе и не только, мы могли беседовать с самим собой.

Даже в той радости, что стремится испытать художник, желая еще раз изведать ощущения, которые она приносит, мы стараемся как можно быстрее избавиться — потому что считаем, будто это выразить невозможно, — от того, что, собственно, и является этим ощущением, и, напротив, стремимся задержаться на том, что позволяет нам испытывать удовольствие, до конца не понимая его сущности, и полагаем, будто можем объяснить это другим дилетантам, с кем вообще возможен подобный разговор, поскольку темой нашей беседы станет предмет, значащий

одно и то же для них и для нас, коль скоро личное начало собственного впечатления оказалось утрачено. Даже в те минуты, когда мы беспристрастно наблюдаем природу, общество, любовь, само искусство, поскольку всякое впечатление двойственно и наполовину погружено в предмет, а наполовину продлено в нас, мы демонстративно пренебрегаем этой второй половиной, а как раз ее-то нам следовало бы осознать, и принимаем во внимание лишь ту, которая в принципе не может быть понята и прочувствована, поскольку находится вне нас, а значит, не утомит и не обеспокоит: слишком неглубока бороздка, которую прорезали в нашем сознании куст боярышника или церковь, мы даже не заметим ее, не стоит труда и разглядывать. Но мы вновь исполняем симфонию, вновь оборачиваемся взглянуть на церковь, пока — в этом бегстве подальше от нашей собственной жизни, которой мы не смеем взглянуть в лицо, и зовется это бегство эрудицией — не начинаем разбираться в музыке или археологии не хуже любого профессионала.

Сколько же людей держится за все это и ничего ровным счетом не извлекает из собственных впечатлений, старея, ненужные и неудовлетворенные, как холостяки от искусства! Они

томятся, как девственницы или бездельники; первых излечило бы оплодотворение, вторых — работа. Произведения искусства воодушевляют их больше, чем самих художников, ибо это воодушевление, не являясь для них результатом длительного, порой мучительного труда постижения, проявляется во внешних признаках, заливает краской лицо, усиливает жестикуляцию. Они полагают, будто выполнили свою задачу, когда орут до хрипоты: «Браво, браво!» — после исполнения понравившегося им произведения. Но подобная демонстрация отнюдь не побуждает их прояснить для себя природу своей любви, которой они не понимают и не желают понимать. И тем не менее эта самая невостребованная любовь захлестывает, словно наводнение, самые, казалось бы, спокойные разговоры, заставляет бурно жестикулировать, манерничать, многозначительно кивать головой, рассуждая об искусстве. «Был я на концерте. Должен вам признаться, восторга это у меня не вызвало. Но вот начался квартет. О-о, черт меня подери! Это было такое… — (В этот момент лицо говорящего выражает живейшее беспокойство, как если бы он думал: «Я вижу искры, пахнет паленым, где-то пожар».) — Тысяча чертей! То, что я слышал,

это так раздражает, так плохо написано, но это потрясающе, мало кто способен оценить». Беспокойным кажется не только выражение лица, но и интонация, посадка головы, жестикуляция, и вообще он похож на нелепого гусенка, который не научился пользоваться своими недоразвитыми крылышками, но уже всерьез подумывает о дальних перелетах. Так, из концерта в концерт, проходит жизнь этого выхолощенного любителя, озлобленного и неутоленного, лишенного надежды на спокойную старость в окружении детей и внуков, своего рода холостяка от искусства. Но эта совершенно омерзительная порода людей с провонявшим достоинством, вечно неудовлетворенная, по-своему даже трогательна, поскольку представляет из себя первую, еще не оформившуюся попытку обратить в постоянно действующий орган нечто изменчивое и непостоянное как интеллектуальное наслаждение.

Как ни нелепы эти типы, все же нельзя смотреть на них свысока. Они — первые опытные образцы природы, пожелавшей создать художника, образцы столь же бесформенные и столь же нежизнеспособные, как и первые животные, предшественники ныне существующих видов, которые тоже не были приспособлены для дли-

тельного существования. Эти слабовольные и бесплодные дилетанты должны нас умилять, так же как первые летательные аппараты, не способные оторваться от земли, но уже несущие в себе, нет, даже не способность, которую еще предстоит открыть, но стремление к полету. «Ну что, старина, — говорит этот любитель, хватая вас за рукав, — лично я слушаю это уже в восьмой раз и, уверяю вас, не последний». И в самом деле, не умея извлечь из произведения искусства того, что есть в нем истинно питательного, они постоянно нуждаются в искусственных удовольствиях, подвержены своего рода булимии и никак не могут насытиться. Они будут долго и много раз подряд рукоплескать одному и тому же произведению, полагая, будто своим присутствием выполняют некий долг, реализуют некий акт, как другие думают, что выполняют свой долг, присутствуя на заседании административного совета или на похоронах. Затем им на смену приходят другие произведения, совсем не похожие на прежние, в литературе, живописи или музыке. Ибо способность выдавать идеи, методы и особенно усваивать их во все времена встречалась гораздо чаще, в том числе и у творческих людей, чем хороший вкус, но особенно распространилась с

тех пор, как, подобно снежному кому, стало расти количество литературных журналов и газет (а вместе с ними и лжепризвания писателей и художников). Так лучшая часть молодежи, самая умная ее часть, самая бескорыстная, разве она не ценит в литературе больше всего произведения с нравственной, социологической или даже религиозной идеей? Они искренне полагают, будто это и есть истинный критерий значимости произведения, повторяя таким образом ошибку Давидов, Шенаваров, Брюнетьеров и других. Берготу, самые красивые фразы которого и вправду требовали полного погружения в себя, предпочитали писателей, казавшихся более глубокими потому лишь, что писали гораздо хуже. Сложность его произведений делает их доступными лишь светскому обществу, утверждали демократы, воздавая таким образом светскому обществу совершенно незаслуженную честь. Но стоит только резонерствующим интеллектуалам начать судить художественное произведение, оказывается, нет ничего определенного, ничего бесспорного, и доказать можно все, что угодно. В то время как талант представляет собой универсальное благо и универсальную данность, наличие которого необходимо выявить через

образ мысли и приемы стиля, именно на этих двух критериях и останавливается критика, давая оценки авторам. Писателя, не привнесшего решительно ничего нового, она возводит в сан пророка за безапелляционный тон, за презрение к предшествующим течениям и школам. И в этом смысле заблуждение критики неизменно настолько, что сам писатель едва ли не предпочитает, чтобы его судила широкая публика (если, конечно, она хоть в какой-то степени способна оценить, что именно попытался исследовать художник, чего, как правило, она не понимает). Ибо существует гораздо больше аналогий между инстинктивным восприятием публики и талантом большого писателя, который сам не что иное, как инстинкт, в благоговении услышанный посреди обязательной для всех тишины, инстинкт усовершенствованный и осознанный, — не то что это бессмысленное словоблудие и изменчивые критерии записных критиков. Из десятилетия в десятилетие обновляется их пустословие (ибо в этом калейдоскопе крутится не только само так называемое светское общество, но еще и социальные, политические, религиозные идеи, которые приобретают сиюминутный размах благодаря тому, что способны преломляться в сознании

широких масс, но, несмотря на это, обречены на недолгую жизнь, как и любые идеи, чья новизна может привлечь лишь невзыскательные умы, не нуждающиеся в доказательствах). Так и сменяли одна другую партии и школы, привлекая одних и тех же людей, обладающих не слишком высоким интеллектом, вечно обреченных на восторженное поклонение, от чего воздерживаются люди более взыскательные, более склонные к критическому мышлению. К несчастью, как раз именно потому, что те, первые, обладают в каком-то смысле умом неполноценным, недостаток разума им приходится компенсировать сверхактивностью, они гораздо энергичнее, чем утонченные умы, они привлекают толпу и мало того, что создают лжекумиров и низвергают заслуженные авторитеты, вокруг них вспыхивают гражданские и прочие войны, от которых могло бы спасти немного самокритики.

Что же касается того наслаждения, которое истинно изысканному уму, по-настоящему горячему сердцу дарит прекрасная мысль наставника, оно, вне всякого сомнения, здраво и полезно, но, сколь ни утонченны будут люди, способные насладиться ею в полной мере (а много ли их наберется за двадцать лет?), оно все же превратит их

всего лишь в отражение чужого сознания. Если какой-нибудь человек совершил все возможное, чтобы его полюбила женщина, которая сделала его несчастным и ничего больше, но, несмотря на огромные многолетние усилия, ему так и не удалось добиться с ней свидания, вместо того чтобы пытаться самому описать свои страдания и опасность, которой удалось избежать, он без конца перечитывает высказывание Лабрюйера, находя в нем самые волнующие воспоминания своей собственной жизни: «Зачастую люди хотят любить, но не умеют этого добиться, они ищут собственного поражения и никак не находят его, они, да будет мне позволено выразиться именно так, принуждены оставаться свободными». Какой бы смысл ни вкладывал в это высказывание его автор (по правде говоря, было бы более точно, да и более красиво вместо «любить» поставить «быть любимым»), очевидно, что для того, кто его перечитывает, оно приобретает особую значимость благодаря самой личности этого высоко просвещенного, чувствительного человека, светится именно его ярчайшим светом, от которого слепнут глаза, человек вновь и вновь повторяет его, переполненный радостью, до такой степени находит его точным и прекрасным,

но, увы, добавить к нему ничего не в состоянии, и высказывание это так и остается всего лишь высказыванием Лабрюйера.

Как литература ремарок и пометок могла приобрести хоть какую-нибудь значимость, поскольку именно в мелочах вроде тех, что отмечены ею, и заключается реальность (величие в гуле далекого аэроплана, в силуэте колокольни Сент-Илер, прошлое во вкусе мадленки и т. п.), но сами по себе они не имеют никакого значения, пока их не оттенят и не выделят?

Понемногу, сохраненная нашей памятью, череда всех этих неточных выражений, в которых не остается ничего из того, что в действительности было нами прожито, и оказывается той самой реальностью наших мыслей, нашей жизни, и воспроизводством этой лжи занимается это так называемое искусство «пережитого», простенькое, лишенное красоты, — получается репродукция, сколь скучная, столь и бессмысленная, того, что видят наши глаза, воспринимает наш разум, и задаешься вопросом, где человек, занимающийся этим, находит ту искру, радостную и беспокойную, что побуждает его начать движение и продвигаться в работе. Величие истинного искусства, в отличие от того, что госпо-

дин де Норпуа назвал игрой дилетантов, состоит в том, чтобы отыскать, ухватить, представить нам эту реальность, вдали от которой мы живем, от которой уходим все дальше и дальше, по мере того как плотнее и непроницаемей становится то условное знание, ее подменяющее, эту реальность, которую мы можем так и не познать до самой смерти и которая является всего-то навсего нашей жизнью. Истинная жизнь, наконец-то найденная и проясненная, то есть единственная жизнь, прожитая в полной мере, — это литература. Эта жизнь, которую проживает ежесекундно каждый человек, а не только лишь художник. Но люди не видят ее, поскольку не делают попыток ее объяснить. А еще их прошлое загромождено бесчисленными клише, абсолютно бесполезными, потому что разум так и не смог их «проявить». Это наша жизнь, это чужая жизнь, ибо стиль для писателя, точно так же, как и краски для художника, — это вопрос не техники, но видения. Это в какой-то мере выявление, невозможное обычными средствами, то есть с помощью сознания, качественного различия между способами, с помощью которых нам открывается мир, того различия, которое, не существуй на свете искусства, так и осталось бы нераскрытой тайной

каждого. С помощью искусства мы можем отстраниться от себя самих, понять, что другой человек видит в этой вселенной, которая не похожа на нашу, чьи ландшафты могли бы остаться для нас столь же незнакомыми, как и лунные. Благодаря искусству мы способны увидеть не только один-единственный мир, наш собственный, мы видим множество миров, сколько подлинных художников существует на свете, столькими мирами можем мы обладать, гораздо более отличными один от другого, чем те, что протекают в бесконечном времени, и даже много веков после того, как потухнет огонь, питающий его, каково бы ни было его имя: Рембрандт или Вермеер, — его особые лучи еще доходят до нас.

Эта работа художника — пытаться увидеть за материей, за опытом, за словами нечто другое — работа, совершенно противоположная той, что совершается в нас каждое мгновение, когда мы, словно предав себя самих, оказываемся во власти самолюбия, страстей, рассудка и привычек, которые загромождают, а в конечном итоге и прячут совсем наши истинные ощущения под грудой всякого рода терминологий, практических целей, что мы ошибочно называем жизнью. В сущности, это сложное искусство — единствен-

но живое искусство. Оно одно лишь способно выразить для других и заставляет нас самих увидеть нашу собственную жизнь, эту жизнь, которая не в состоянии «наблюдать себя сама», а когда наблюдают за ней, ее проявления нуждаются в переводе и слишком часто оказываются прочитаны неправильно и с трудом поддаются расшифровке. А ту работу, которую проделали наше самолюбие, страсть, дух подражания, наш абстрактный разум, наши привычки, искусство переделает заново, это движение в обратном направлении, это возвращение к глубинам, где все то, что существовало в реальности, осталось неведомо нам, а теперь должно быть открыто заново.

Какое это огромное искушение — попытаться воссоздать истинную жизнь, обновить прежние ощущения! Но для этого необходима смелость всякого рода, и даже смелость чувств. Ибо это означает прежде всего отказаться от самых дорогих иллюзий, перестать верить в объективность того, что когда-то придумал сам, и, вместо того чтобы в тысячный раз тешить себя словами: «Она была так мила», прочесть между ними: «Мне было так приятно целовать ее». Конечно же, все мужчины в любви испытывают то, что испытал

я. Испытывают, да, но испытанное и пережитое похоже на негативы фотографий, на которых сквозь черноту не разглядишь ничего, пока не поднесешь к лампе, и смотреть на них нужно с обратной стороны: точно так же очень многие вещи невозможно понять, пока не высветишь рассудком. И только когда разум высветит это, интеллектуализует, можно различить, да и то с трудом, очертания того, что мы чувствовали. Но я также прекрасно осознавал, что страдание, которое испытал я впервые с Жильбертой, поняв, что наша любовь не связана с существом, внушившим ее, — спасительное страдание. Это как дополнительное средство (ибо, как ни коротка наша жизнь, только в период страданий наши мысли, в какой-то степени разбуженные вечным, изменчивым движением, словно подхваченные шквалом ветра, взметаются на такую высоту, откуда мы можем увидеть эту упорядоченную безграничность с ее законами, которую, устроившись у слишком неудобного окошка, мы не видели прежде, ибо безмятежность счастья делает ее слишком однообразной и плоской; быть может, лишь некоторые великие умы наделены даром чувствовать это волнение постоянно, а не только в состоянии скорби. И потом вполне

возможно, что, когда мы наблюдаем свободный, размеренный слог их радостных книг, нам может показаться, будто жизнь авторов этих произведений тоже была счастливой и радостной, в то время как, возможно, совершенно напротив, она была мучительной и горестной), но, главное, если понятие «любовь» не означает лишь нашу любовь к какой-нибудь Жильберте (что причиняла нам столько страдания), так это не потому, что была еще любовь к Альбертине, а потому, что это часть нашей души, гораздо более неизменная, чем все эти различные «я», один за другим умирающие в нас и эгоистично желающие унести с собой частичку нашей души, которая должна — пусть это причинит нам какую-то боль, необходимую боль — отрешиться от конкретных людей, чтобы восстановить целостность и отдать эту любовь, понимание этой любви всем, универсальному разуму, а не той или иной женщине, в которых все мои «я», один за другим хотели бы раствориться.

Всем знакам, окружавшим меня (Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Бальбек и другие), следовало вернуть их первоначальный смысл, который из-за привыкания был для меня утрачен. И когда нам удастся достичь реальности, чтобы выразить ее, чтобы сохранить ее, мы

избавимся от всего, что не похоже на нее и что без конца подсовывает нам инерция привычки. И прежде всего я попытаюсь избавиться от слов, что произносят губы, а не разум, все эти шутки, сами пришедшие на язык в разговоре, от которых не отделаться еще долго, которые все повторяешь и повторяешь и которые переполняют наше сознание ложью, и при чтении автора, что снисходит до их написания, у нас появляется гримаса, так бывает, к примеру, когда читаешь какого-нибудь Сент-Бёва, между тем как настоящая книга — это дитя не болтовни и яркого света, но тишины и сумерек. И поскольку искусство в точности воссоздает жизнь, вокруг истин, что удалось достичь в себе самом, всегда будет витать атмосфера поэзии, нежность тайны, и это не что иное, как головокружение от полутьмы, сквозь которую мы должны были пройти, некий прибор-указатель, который, подобно лоту, измеряет глубину произведения. (Ибо эта самая глубина вовсе не присуща изначально некоторым сюжетам, как полагают романисты материалистического склада ума, поскольку они не способны выйти за пределы видимого мира и все их благородные намерения — подобно добродетельным тирадам иных персонажей, не способных на самый обычный

добрый поступок, — не мешают нам заметить, что у них не хватило ума, чтобы избавиться от банальностей формы, что является неизбежным следствием подражательности.)

Что же касается истин, которые разум — в том числе самые высокие умы — выхватывает отовсюду, где есть хоть какой-то просвет, их ценность может быть достаточно велика, но очертания слишком резки, а сами они затасканы и поверхностны, ведь, чтобы достичь их, не было необходимости преодолевать глубину, потому что они не были воссозданы. Довольно часто писатели, когда их душу больше не посещают таинственные откровения, начиная с определенного возраста пишут только разумом, что совершенствуется год от года; таким образом, книги, написанные ими в зрелом возрасте, обладают, возможно, и большей силой, чем произведения молодости, но нет в них уже такой бархатистости.

И все же я чувствовал: к этим истинам, что разум извлекает непосредственно из реальности, не стоит относиться свысока, пренебрегать ими, ведь они могли бы обрамлять материей не столь чистой, но все же проникнутой разумом, те впечатления, которые за пределами времени дарит

нам единая сущность ощущений прошлого и настоящего, но они ценятся дороже и в то же время слишком редкостны, чтобы из них одних могло состоять произведение искусства. Они могли бы для этого пригодиться, и я чувствовал, как они теснятся во мне, эти истины из мира страстей, характеров, нравов. Их постижение наполняло меня радостью и в то же время напоминало о том, что лишь одну из них я открыл в страданиях, другие же — в убогих удовольствиях.

Любой человек, заставляющий нас страдать, может быть причислен нами к божеству, он его фрагментарный отблеск и его последнее звено; божеству (Идее), созерцание которого наполняет нас радостью взамен печали, что мы испытывали когда-то. Искусство жить состоит в том, чтобы воспринимать людей, заставляющих нас страдать, лишь в качестве ступеньки, позволяющей дотянуться до их божественного образа, и радостно населить нашу жизнь божествами.

Итак, новый свет засиял перед моими глазами, не такой ослепительный, конечно, как тот, позволивший мне осознать, что единственный способ обрести Утраченное время — это произведение искусства. И я понял, что материал, необходимый для литературного произведения, — это мое про-

шлое; я понял, что собирал его в легкомысленных удовольствиях, в праздности, в нежности, боли, собирал, даже не догадываясь о его назначении, и вообще о том, что он сумел выжить, словно зерно, в котором накапливаются питательные вещества, необходимые растению. И, как зерно, я готов был умереть, когда во мне зародилось и стало развиваться растение, оказалось, я и жил-то ради него, только не подозревая об этом, не зная, что жизнь моя должна когда-нибудь соприкоснуться с этими книгами, которые мне хотелось бы написать и для которых, садясь прежде за письменный стол, я не находил сюжета. Так, вся моя жизнь до сегодняшнего дня могла бы и в то же время не могла проходить под знаком Призвания. Не могла бы в том смысле, что литература не сыграла в моей жизни никакой роли. И могла бы, поскольку эта жизнь, память о ее печалях, радостях приняла бы форму хранилища, подобного белку, что находится в завязи растений и из которого она черпает питательные вещества, чтобы превратиться в семя, тогда, когда и не известно еще, что существует уже и развивается эмбрион растения, это хранилище, в котором протекают химические процессы, тайные, невидимые глазу, но чрезвычайно активные. Так и жизнь моя пере-

живала процесс созревания. И все, что питалось ее соками, как и все то, что получает необходимые вещества из семени, не подозревало, что богатая субстанция, содержащая все нужное для его питания, вначале вскормила семя и дала возможность созреть ему.

Одно и то же сравнение может быть ложным, если из него исходить, и истинным, если им завершить. Литератор завидует художнику, ему тоже хотелось бы делать наброски, эскизы, хотя если он действительно делает их, он пропал. Но когда он пишет, нет ни единого жеста его персонажа, ни единой черточки, ни единой интонации, которые не были бы подсказаны вдохновению его памятью, нет ни единого имени героя, рядом с которым не вставали бы десятки имен реальных лиц, один позировал с гримасой на лице, другой с моноклем, третий в гневном негодовании, четвертый картинно скрестив руки. И тогда писатель осознает, что, хотя мечта его быть художником и не может быть осуществлена осознанно и намеренно, она все же осуществилась, потому что он, писатель, тоже все это время делал наброски в альбом, даже не подозревая об этом.

Ибо, побуждаемый врожденным инстинктом,

писатель, еще задолго до того, как поймет, что станет однажды писателем, все это время упускал из виду вещи, которые все прочие замечают автоматически, и это давало другим повод обвинять его в рассеянности, а ему самому — упрекать себя в неумении слушать и видеть; но в течение всего этого времени он приказывал своим глазам и ушам навсегда запоминать то, что другим казалось бессмысленными пустяками, интонацию, с какой была сказана фраза, выражение лица, передергивание плеч, что он подглядел, возможно, много лет назад в такой-то момент у такого-то человека, о котором, скорее всего, и не знает ничего больше, и все потому, что он слышал уже эту интонацию и каким-то образом понял, что услышит ее снова, что это было нечто возрождающееся вновь и вновь, нечто длительное; именно восприимчивость к общему сама работала за будущего писателя, отыскивая это общее, то, что могло бы стать частью произведения искусства. Потому что всех прочих он слушал лишь тогда, когда они, какими бы глупцами и безумцами ни были, как бы ни повторяли по-попугайски то, что говорят им подобные, становились глашатаями, провозвестниками какого-либо психологического закона. Он сам помнит лишь общее. Такой-то

интонацией, таким-то выражением лица, пусть даже все это увидено и услышано в далеком детстве, жизнь других людей становилась частью его внутренней жизни, и когда, позже, он станет писать, припомнит этот разворот плеч, свойственный многим, реалистически точный, как если бы он приметил его в анатомическом атласе, но необходимое именно здесь, чтобы выразить психологическую точность, и к этим плечам он мысленно приставит изгиб шеи, увиденный у кого-то другого, поскольку каждый подарил ему когда-то сеанс позирования.

Вполне возможно, что при создании литературного произведения воображение и чувствительность являются качествами взаимозаменяемыми и что второе из них без особых затруднений может быть заменено первым, так у людей, чей желудок оказывается неспособен переваривать пищу, функцию пищеварения берет на себя кишечник. Человек, от природы наделенный способностью чувствовать, но лишенный при этом воображения, все же мог бы писать восхитительные романы. Страдания, что причиняли бы ему другие люди, его попытки их предотвратить, столкновение между его и чужим жестоким характером — все это, проанализированное с

помощью разума, могло бы стать материалом для книги столь же прекрасной, как если бы она была с начала до конца выдумана, представлена в воображении, столь же неожиданной для него самого, столь же случайной, как и причудливая нечаянность фантазии.

Самые неумные существа своими движениями, высказываниями, невольно выданными чувствами обнаруживают законы, которые не способны уловить сами, но которые подмечает художник. Из-за этой-то наблюдательности чернь считает его существом злобным, и совершенно несправедливо, потому что в смешном художник умеет увидеть прекрасную обобщенность, человеку, за которым наблюдает, он высказывает претензий не больше, чем врач, который не сердится на больного, подверженного заболеванию двигательной системы; он меньше, чем кто бы то ни было, склонен смеяться над смешным. К несчастью, он скорее несчастен, чем зол: когда собственные страсти одолевают его, досконально зная их природу, он с трудом переносит страдания, причиной которой они являются. Конечно же, когда некий наглец наносит нам оскорбление, мы предпочли бы, чтобы он расхваливал нас, и в особенности если нам изменяет женщина, ко-

торую мы обожаем, чего мы бы ни отдали, чтобы все было по-другому! Но обида от оскорбления, боль от расставания — все это могло бы остаться неизведанными землями, и, как ни мучительно для человека открывать их, для художника это благо. Так злодеи и подлецы, вопреки их, вопреки его собственной воле, тоже являются героями его произведения. К своей славе памфлетист невольно приобщает заклейменного им негодяя. В каждом произведении искусства можно опознать тех, кого художник больше всего ненавидит, и, увы, даже тех женщин, которых он больше всего любит. Последние лишь позировали писателю в ту пору, когда, даже сами не осознавая этого, заставляли его страдать. Когда я любил Альбертину, я прекрасно понимал, она не любит меня, и мне ничего не оставалось, как лишь смириться с тем, что она помогает узнать мне, что есть страдания, что есть любовь, и даже, поначалу, что есть счастье.

И когда мы пытаемся вычленить суть нашей скорби, сделав попытку описать ее, мы, должно быть, чуть-чуть утешаемся еще одной причиной, отличной от тех, какие я приводил здесь, а именно, мыслью о том, что, в общем-то говоря, размышлять и писать — процесс для писателя

здоровый и необходимый, исполнение которого приносит ему счастье, как обычному человеку — физические упражнения, выступивший пот, морские ванны. По правде говоря, мне случалось порой восставать против этого. Хотя я полагал, будто высшая истина жизни — это искусство, а с другой стороны, хотя и не был более способен ни на малейшую попытку воспоминаний, необходимых мне, чтобы продолжать любить Альбертину или оплакивать бабушку, я спрашивал себя: а если все же произведение искусства, о котором они даже не знали, будет для них, для судьбы этих несчастных умерших, неким осуществлением? Моя бабушка, агонию которой и смерть я наблюдал с таким равнодушием! О, если бы мог я во искупление, когда мое произведение будет закончено, мучаясь без лекарств, долго-долго страдать, покинутый всеми перед смертью! Впрочем, мне было бесконечно жаль всех, даже не слишком дорогих мне людей, даже вовсе мне безразличных, жаль столько судеб, пытаясь понять которые, я использовал их страдания, а порой и смешные черточки. Мне представлялось, что все эти существа, которые помогли мне осознать различные истины и которых уже не существовало на свете, и жили-то только потому, что были нужны одно-

му лишь мне, и умерли тоже только для меня.

Мне грустно было думать, что любовь, которой я так дорожил, в моей книге окажется настолько оторванной от конкретного человека, что разные читатели станут примерять ее к своему собственному опыту, пережитому с другими женщинами. Но имел ли я право возмущаться этой посмертной изменой и тем, что тот-то или тот-то объектом описанных мною чувств сделал совершенно незнакомых мне женщин, когда эта измена, это разделение любви между множеством существ началось еще при моей жизни и даже задолго до того, как я начал писать? Я сам страдал сначала из-за Жильберты, затем из-за герцогини Германтской, потом из-за Альбертины. И точно так же, одну за другой, я забывал их, и только сама любовь, хотя и к разным женщинам, все продолжалась. Ведь я сам прежде осквернил собственные воспоминания, — мне ли возмущаться незнакомыми читателями! Меня самого это приводило почти в ужас, как бывает, должно быть, с какой-нибудь политической партией националистического толка, именем которой разворачивается настоящая война и которой одной лишь выгодна эта самая война, где будет страдать и погибнет столько невинных

жертв, даже не узнав — что для моей бабушки по крайней мере было благом — исхода борьбы. Терзаясь оттого, что она так и не узнала, что я стал писать, я утешал себя единственно тем, что такова вообще участь мертвых, и хотя она не могла порадоваться моим успехам, зато давно уже перестала осознавать мою бездеятельность, мою неудавшуюся жизнь, что доставляло ей когда-то столько страданий. И конечно же, я имею здесь в виду не только мою бабушку, не только Альбертину, но стольких других людей, с которыми я мог когда-то обменяться словом, взглядом, но их самих давно уже не помнил; книга — это гигантское кладбище, где на многих могильных плитах уже нельзя прочесть стершиеся имена. Бывает порой, что, напротив, имя помнится очень ясно, но совершенно непонятно, сохранилось ли что-либо от человека, носящего его, на этих страницах. Есть ли здесь та девушка с выразительными глазами, с певучим голосом? И если она и впрямь покоится здесь, то неизвестно, в какой части кладбища и как отыскать ее среди цветов?

Но поскольку мы в действительности существуем обособленно от других, поскольку самые сильные наши чувства, как, к примеру, моя лю-

бовь к бабушке, к Альбертине, по прошествии всего лишь нескольких лет стираются из памяти, потому что не значат для нас ничего, всего лишь некое слово, потому что мы можем говорить об этих мертвых в светской беседе с людьми, с которыми общаемся с большим удовольствием, хотя все, что мы когда-то любили, уже умерло, и, если существует средство научиться понимать забытые слова, разве не должны мы воспользоваться этим средством, пусть даже для этого и придется вначале перевести их на универсальный язык, который станет по крайней мере неизменным языком, который из тех, кого уже нет на свете, из их самой реальной, самой истинной сущности создаст нечто извечное, что будет принадлежать всем душам на свете? И если нам удастся объяснить этот закон перехода в другое состояние, сделавший слова невнятными, не станет ли наш недуг новой силой?

Впрочем, произведение, появившееся на свет благодаря нашим горестям и печалям, может стать для нашего будущего и роковым знаком страдания, и счастливым знаком утешения. В самом деле, если мы и признаем, что любовь и страдания оказались необходимы поэту, помогли ему создать его произведение, если незнакомки,

ни в коей мере не подозревая об этом, одна из-за своей недоброты, другая — по привычке все высмеивать, принесли каждая свой камень для возведения монумента, которого они не увидят, мы недостаточно ясно осознаем, что по завершении произведения жизнь самого писателя не заканчивается и что та же самая природа, заставившая его пережить столько страданий, давших жизнь его произведению, и после последней точки нисколько не изменится, останется тою же природой и заставит его полюбить других женщин в обстоятельствах, напоминающих прежние, если только время не внесет некоторые изменения, какие она вносит обычно в обстоятельства, в его потребность любить, в его умение противиться боли, да и в сам сюжет. С этой первой точки зрения любое произведение должно рассматриваться лишь как несчастная любовь, роковым образом предвещающая другую любовь, делающая жизнь похожей на произведение, а поэту нет больше необходимости ничего писать, поскольку в том, что он уже написал, будет заключено то, что случится потом. Так, моя любовь к Альбертине, при своей непохожести, была уже заложена в любовь к Жильберте, она существовала уже в те счастливые дни, когда я

впервые услышал имя Альбертины от ее тети, еще нисколько не догадываясь, что этот крошечный росток наберет силу и однажды прорастет сквозь всю мою жизнь.

Но, с другой точки зрения, произведение искусства — это знак счастья, оно объясняет нам, что во всякой любви общее соседствует с частным, и, чтобы проделать путь от второго к первому, нужна особого рода тренировка, что укрепляет нас и помогает сопротивляться скорби, поскольку учит не обращать внимания на ее причину и сосредоточиться на сущности. В самом деле, как я должен был проверить это впоследствии, даже тогда, когда мы любим или страдаем, если призвание наконец-то исполнено, в часы работы мы так ясно ощущаем, что любимое существо до такой степени теряется в слишком огромном пространстве реальности, что порой о нем даже забываешь и что в часы работы от любви страдаешь не больше, чем от какой-нибудь чисто физической боли, когда тот, кого любишь, совершенно ни при чем, как если бы у нас просто болело сердце. Правда, все это вопрос времени, и, если к работе приступаешь слишком поздно, эффект получится противоположный. Ибо люди, которым вследствие их недоброты или убожества

удалось, несмотря ни на что, разрушить наши иллюзии, сами сжались до ничтожных размеров и отделились от любовной химеры, которую мы выдумали себе сами, и, если затем мы приступим к работе, наша душа выдумает их вновь, признает в них — чтобы мы смогли изучить себя сами, — людей, которые смогли бы нас полюбить, и в этом смысле литература, когда мы, уже лишившись любовной иллюзии, вновь начинаем работу, помогает выжить чувствам, которых уже больше не существует.

Конечно же, нам приходится заново переживать наши собственные страдания, и для этого требуется не меньше мужества, чем врачу, который ради науки прививает себе опасную болезнь. Но в то же самое время мы рассматриваем наше страдание как бы извне, обобщенно, и этот взгляд в какой-то мере мешает ему стиснуть нас слишком сильно, и все вокруг как бы соучаствует в наших горестях, и подобная ситуация не лишена даже некоторой приятности. Там, где жизнь замуровывает нас в глухую стену, разум прорубает окно, ибо, если и не существует лекарства от неразделенной любви, можно все же избавиться от страдания, всего-навсего делая выводы из его уроков. Разум не знает безысходности.

Так и мне следовало смириться — поскольку все, что длится какое-то время, неизбежно обобщается, а дух обладает способностью к саморазрушению — с мыслью, что даже самые дорогие писателю существа всего-навсего позировали ему, как модели позируют художнику.

Наш счастливый соперник в любви, иными словами, наш враг, на самом деле является нашим благодетелем. К ничтожному физическому влечению, что мы испытываем к некоему существу, он добавляет нечто огромное, странное. Если бы не было у нас соперников, удовольствие не перерастало бы в любовь. Если бы у нас их не было или же если бы мы не думали, будто они у нас есть. Ведь совершенно не обязательно, чтобы они существовали в действительности. Для нашего блага достаточно этой иллюзии соперника, которую порождают к жизни наши подозрения и наша ревность.

Порой, когда печаль представляет собой нечто вроде наброска, жизнь дарит нам еще одну любовь, еще одно страдание, и мы можем завершить этот набросок, сделать его более насыщенным. Что касается серьезных горестей, полезных нам, здесь грех жаловаться, их-то как раз хватает, они не заставят себя долго ждать. И тем не ме-

нее необходимо поспешить, если хочешь ими воспользоваться, они длятся недолго: мы либо найдем утешение, либо, если они окажутся слишком сильными, а сердце не таким прочным, — умрем. Ибо для тела благотворно лишь счастье, но силы разума укрепляются только страданиями. Впрочем, они каждый раз открывают нам новый закон, и, хотя на самом деле он каждый раз новый, от этого не менее необходим нам, чтобы в очередной раз обратить к истине, чтобы заставить нас принимать все всерьез, вырывая сорняки привычки, скептицизма, легкомыслия, равнодушия. Правда и то, что эта самая истина, несовместимая со счастьем, со здоровьем, не всегда совместима и с самой жизнью. В конце концов скорбь убивает. Испытывая новое, слишком сильное огорчение, мы чувствуем, как набухает еще одна вена и вьется смертоносной змейкой через висок, под глазами. И так вот мало-помалу проступают эти страшные, опустошенные лица старика Рембрандта, старика Бетховена, над которыми все смеялись. И если бы не страдало сердце, всего-то и оставалось бы, что мешки под глазами да борозды морщин на лбу. Но коль скоро силы могут превращаться в другие силы, коль скоро долгое горение становится светом, а

электрический разряд молнии способен фотографировать, коль скоро наша тупая сердечная боль при каждом новом страдании может взметнуть над собой, словно флаг, очевидную незыблемость образа, примем эту боль ради таящегося в ней духовного познания; дадим разрушить свое тело, поскольку каждая новая частичка, что отделяется от него, ясная, светлая, пополняет это познание ценой страданий, которые не нужны другим, более одаренным, и делает его более прочным и основательным, по мере того как нашу жизнь раскалывают эмоции, и каждая такая частичка добавляется к нашему произведению. Идеи — это заменители горестей; в то самое мгновение, когда происходит это замещение, скорби утрачивают часть своего вредоносного действия на наше сердце, и более того, в первое мгновение сам процесс превращения становится счастьем. Впрочем, говоря «заменители», я имею в виду лишь очередность, ибо, похоже, первоначальным элементом является все же идея, а страдание — только способ проникновения в нас некоторых идей. Но в группе идей существует множество семейств, и иные из них сами по себе являются счастьем.

Размышляя обо всем этом, я сумел, наконец,

понять и объяснить то, что и так давно подсознательно чувствовал, например, когда госпожа де Камбремер удивлялась, как я мог ради Альбертины оставить такого замечательного человека, как Эльстир. Разумом я давно осознавал, что она не права, но не понимал, чего именно она не знала, а не знала она, где и как берут уроки писательства. Объективная ценность искусства здесь совершенно ни при чем, если что и нужно выявить, вытащить на свет, так это наши чувства, наши страсти, а значит, и всеобщие чувства и страсти. Женщина, которая нужна нам, которая заставляет нас страдать, извлекает из нашего сердца одно за другим чувства глубокие и жизненно важные, но по-иному глубокие и по-иному жизненно важные, чем какой-нибудь выдающийся человек, которым мы восхищаемся. Остается только понять, считаем ли мы, будто измены, от которых заставляет нас страдать эта женщина, действительно так мало значат по сравнению с истинами, что открылись нам именно благодаря этим изменам, которых женщина, счастливая оттого, что заставила страдать, сама понять так и не смогла. Во всяком случае, в подобных изменах недостатка нет. И писатель безо всякого опасения может приступать к длительному труду. Пусть

разум начнет свою работу — в пути встретится немало печалей, которые возьмут на себя задачу ее завершить. Что же касается счастья, едва ли не единственная польза, какую можно из него извлечь, так это то, что благодаря ему становится возможным несчастье. В счастливые мгновения нам необходимо создавать нежные и прочные связи доверия и преданности, чтобы разрыв их причинил нам столь драгоценное страдание, которое и зовется несчастьем. А если мы не были никогда счастливы, хотя бы лишь в мечтаниях, несчастье не будет безжалостным, а следовательно, окажется бесплодным.

И гораздо в большей степени, чем художнику, которому, чтобы нарисовать одну-единственную церковь, необходимо увидеть многие, писателю, чтобы добиться нужного объема и плотности, нужной степени обобщения и литературной реальности, чтобы описать единственное чувство, нужно увидеть много людей. Ибо если искусство вечно, а жизнь коротка, можно сказать зато, что если вдохновение коротко, то и чувства, которые должно оно живописать, немногим долговечнее. Страсти делают наброски для наших книг, но пишет их покой в паузах между ними. Когда вдохновение возвращается, когда мы снова мо-

жем приняться за работу, женщина, служившая нам моделью для описания такого-то чувства, больше не в силах заставить нас испытать его опять. Поэтому, коль скоро мы хотим и дальше описывать это чувство, необходимо отыскать другую модель, и если это и является изменой по отношению к конкретному человеку, то в литературном смысле благодаря похожести наших чувств, из-за чего произведение искусства является одновременно и воспоминанием о нашей прошлой любви, и пророчеством о нашей любви будущей, в подобного рода подмене нет ничего неуместного. В этом коренится одна из причин тщетности всякого рода исследований, в которых делаются попытки догадаться, о ком говорит автор. Ибо любое произведение, даже если это не что иное, как исповедь, заключено по меньшей мере между различными эпизодами жизни автора: предшествующими, которые его вдохновили, и последующими, имеющими не меньше сходства, поскольку своеобразные черты будущей любви скопированы с предыдущей. Существу, которое мы любили больше всего на свете, мы не можем быть верны так же, как самим себе, мы забываем его рано или поздно, чтобы иметь возможность — такова уж наша особенность

— полюбить вновь. Но если та, которую мы так когда-то любили, привнесла столько особенностей, одной ей присущих черт, это заставит нас хранить ей верность даже в нашей неверности. С другой женщиной нам будут нужны те же утренние прогулки, мы так же будем провожать ее вечерами и точно так же тратить на нее слишком много денег. (Странная вещь — этот круговорот денег, которые мы даем женщинам, а они из-за этого делают нас несчастными, то есть, иными словами, и позволяют нам писать книги — можно почти утверждать, что произведения искусства, подобно воде в артезианских колодцах, поднимаются тем выше, чем глубже страдания пробурили сердце.) Подобного рода замены привносят в произведение беспристрастность, некую обобщенность, что тоже является своего рода суровым уроком: не к живым существам должны мы привязываться, не живые существа действительны и реальны и, следовательно, поддаются отображению, но идеи. А еще следует спешить и не терять времени, пока у тебя в распоряжении находятся эти модели, ибо те, что служат нам моделями для счастья, не имеют возможности подарить нам много сеансов позирования, равно как и те, что позируют нам для скорби, ведь и она, увы,

недолговечна.

Впрочем, даже если страдания и не служат нам напрямую, обозначивая тему нашего произведения, они все же полезны, поскольку побуждают нас к нему. Воображение, размышления сами по себе могут быть чудесными механизмами, но зачастую они бездействуют. Именно страдание приводит их в движение. И те человеческие создания, что позируют нам для изображения страданий, дарят нам столь частые сеансы позирования в той мастерской-студии, куда мы наведываемся лишь в эти периоды и никогда больше, и которая, похоже, находится внутри нас самих. Такие периоды — словно картинки-образы нашей жизни с ее многочисленными горестями. Ведь они тоже бывают разными, и в ту минуту, когда кажется, что боль стихла, наступает время новой. Новой во всех смыслах этого слова — потому, быть может, что эти непредвиденные ситуации побуждают нас войти в более тесное соприкосновение с собой: мучительные дилеммы, что ежеминутно ставит перед нами любовь, нас учат и постепенно раскрывают перед нами материю, из которой мы состоим. Так, когда Франсуаза, наблюдая, как Альбертина, пробравшись ко мне, словно пес через все преграды, сеет

повсюду беспорядок, опустошает меня, причиняет столько боли, говорила (ведь я в ту пору был уже автором нескольких статей и переводов): «Вот если бы месье вместо этой девицы, с которой только время терять, нанял себе хорошего образованного секретаря, который разобрал бы все бумажки месье!», я думал, что в общем-то она права, и только сейчас понимаю: напрасно я так думал. Заставляя меня терять столько времени, причиняя столько боли, Альбертина оказалась, быть может, мне гораздо полезнее даже с творческой точки зрения, чем какой-нибудь секретарь, что и в самом деле привел бы в порядок мои бумаги. И все-таки, когда создание оказывается столь несовершенным (а в природе, должно быть, это создание — именно человек), что не способно любить, не страдая, ему необходимо страдание, чтобы найти истину, — жизнь подобного создания в конечном итоге оказывается слишком скучной. Счастливые годы — потерянные годы: чтобы работать, необходимо дождаться страдания. Понятие первичности страдания связано с понятием работы, мы испытываем страх перед каждым новым произведением при мысли о страданиях, которые необходимо будет испытать прежде, чтобы затем изобразить их. И посколь-

ку понимаешь, что страдания — это лучшее, что только можно встретить в жизни, о смерти думаешь безо всякого ужаса, едва ли не как об избавлении.

И все же если меня это и раздражало немного, следовало быть осторожным: слишком часто не мы играли с жизнью, не мы использовали модели для наших книг, но все как раз наоборот. Случай столь благородного Вертера, увы, не имел ко мне никакого отношения. Ни единой секунды не веря в то, что Альбертина любит меня, я десятки раз готов был лишить себя жизни ради нее, я опустошал себя, губил ради нее собственное здоровье. Если необходимо что-либо описать, стараешься быть особенно скрупулезным, вглядываться как можно внимательнее, отбросить все, что не имеет отношения к истине. Но когда речь идет всего-навсего о жизни, мы понапрасну растрачиваем силы, доводим себя до болезни, готовы умереть ради ложных истин. Хотя, по правде говоря, из оболочек этих самых ложных истин (если миновал уже возраст, когда становятся поэтами) только и можно извлечь немного истины. Печали — это мрачные, ненавистные слуги, против которых мы боремся, под власть которых мы попадаем все больше и больше, это жестокие

незаменимые слуги, что неведомыми, скрытыми под землей путями ведут нас к истине и к смерти. Счастливы те, что повстречали первую прежде второй и для которых, как бы близки одна от другой они ни оказались, час истины пробил прежде часа смерти!

Изо всей моей прошедшей жизни я понял, что самые незначительные на первый взгляд эпизоды способствовали тому, чтобы преподать мне урок идеализма, которым сегодня предстояло воспользоваться. К примеру, разве мои встречи с господином де Шарлюсом, задолго до того, как его германофильство преподнесло мне тот же урок, не убедили меня еще нагляднее, чем моя любовь к герцогине Германтской или к Альбертине, чем любовь Сен-Лу к Рахили, до какой степени незначим повод и что для пробуждения мысли годится абсолютно все; столь плохо воспринимаемое, столь напрасно порицаемое явление, как гомосексуализм, проясняет эту истину больше, чем переживания, связанные с так называемой обычной любовью, весьма, впрочем, тоже поучительные. Последние позволяют нам увидеть ускользающую красоту женщины, которую мы больше не любим и которая совсем еще недавно озаряла лицо, могущее другим показаться весьма

непривлекательным, которое нам тоже могло бы показаться и когда-нибудь покажется неприятным: но гораздо более поразительно наблюдать, как эта красота, вызвав восхищение знатного господина, мгновенно оставившего прекрасную принцессу, преображает лицо какого-нибудь контролера омнибуса. А разве мое собственное удивление, что я испытывал всякий раз, когда вновь случалось увидеть на Елисейских Полях, просто на улице, на пляже, лицо Жильберты, герцогини Германтской, Альбертины, не доказывало ли оно, что воспоминания длятся в направлении, противоположном впечатлению, с которым оно совпадает поначалу и с которым затем расходится все дальше и дальше?

И пусть не возмущается писатель, что гомосексуалист наделяет его героинь мужской внешностью. Эта особенность, пусть она и является в некоторой степени результатом заблуждения, единственная позволяет ему сообщить прочитанному элемент обобщения. Расин был вынужден, дабы придать универсальность, сделать из античной Федры янсенистку; точно так же, если бы господин де Шарлюс не представил «неверную» возлюбленную, над которой плачет Мюссе в «Октябрьской ночи» или в «Воспоминаниях»,

в облике Мореля, он не смог бы ни оплакать, ни понять ее, поскольку единственно этой дорогой, узкой, окольной, только и можно было достичь истин любви. Только лишенный подлинной искренности язык предисловий и посвящений позволяет писателю написать: «мой читатель». В действительности же всякий читатель читает прежде всего самого себя. А произведение писателя — не более чем оптический прибор, врученный им читателю, позволяющий последнему различить в себе самом то, что без этой книги он, вероятно, не смог бы разглядеть. Узнавание читателем в себе того, о чем говорится в книге, является доказательством ее подлинности, верно и обратное утверждение, по крайней мере в определенной степени, и различие между двумя текстами может быть поставлено в вину не столько писателю, сколько читателю. Более того, книга может оказаться слишком ученой, слишком непонятной для неискушенного читателя, стать для него лишь мутным стеклом, через которое читать он не сможет. Но существует здесь и другая сторона (своеобразная перестановка) — чтобы прочесть правильно, читателю необходимо читать определенным образом: автор не должен на это сердиться, напротив, он обязан предоставить

ему наибольшую свободу: «Выбирайте сами, какое стекло вам больше подойдет, с каким вам лучше видно, с этим, с тем или вот с этим».

И если меня всегда интересовала тайна сновидений, так это потому, что, компенсируя продолжительность явления силой и глубиной, они позволяют вам лучше осознать субъективное, например, любовь, хотя бы лишь потому, что с головокружительной быстротой заставят, грубо говоря, втрескаться в какую-нибудь девку, так во сне, длящемся какие-то несколько минут, мы можем страстно полюбить дурнушку, на что в реальной жизни потребовался бы не один год привыкания, притирания, как если бы существовали изобретенные неким чудесным доктором внутривенные любовные инъекции, — впрочем, возможно, это и есть инъекции страдания? И с такой же скоростью любовное наваждение, внушенное сновидением, рассеивается, и порой, мало того что ночная возлюбленная перестает быть для нас таковой, превратившись в хорошо знакомую дурнушку, но точно таким же образом рассеивается и нечто другое, более ценное, это чудесное полотно, сотканное из нежных чувств, наслаждения, сожалений, затянутых дымкой, последние приготовления к отплытию на Киферу

страсти, оттенки этого полотна мы хотели бы сохранить для состояния бодрствования, оттенки восхитительно подлинные, но они бледнеют, как выцветающие со временем краски на гобеленах, не подлежащие уже восстановлению. И более того, чем еще очаровывало и пленяло меня Сновидение, так это чудесной игрой, которую вело оно со Временем. Разве не случалось мне за одну ночь, за одну лишь минуту ночи ощутить, как времена весьма отдаленные, находящиеся на столь огромном от нас расстоянии, что мы не можем уже различить чувства, которые испытывали тогда, вдруг словно обрушиваются на нас всею своей махиной, ослепляя своей вспышкой, как если бы это были гигантские самолеты, а не бледные звезды, как мы полагали прежде, и заставляют нас заново почувствовать все, что значили для нас когда-то, вызывая волнение, потрясение, ослепление от столь близкого соседства, которые при нашем пробуждении вновь оказываются отброшены на расстояние, только что чудесным образом преодоленное нами, заставив нас — совершенно, впрочем, напрасно — поверить, будто это и есть один из способов обрести утраченное Время?

Я понимал, что только лишь восприятие гру-

бое, ошибочное заставляет нас считать, будто главное — это предмет, в действительности же главное — это сознание; свою бабушку я потерял несколько месяцев спустя, после того как это произошло на самом деле, мне случалось наблюдать, как люди меняли свой облик в соответствии с представлением о них, как человек преображался в зависимости от того, какими глазами на него смотрели (так, к примеру, в первые годы существовало сразу несколько Сванов, несколько принцесс Люксембургских): такой же феномен отмечал взгляд одного человека на протяжении нескольких лет (так было с именем Германтов, с непохожими — в разные периоды жизни — Сванами). Я видел, как любовь дает человеку то, что может быть только у любящего. Я понимал это тем отчетливее, что мне самому случалось осознать бесконечность расстояния между объективной реальностью и любовью (кем была Рахиль для Сен-Лу и для меня, Альбертина для меня и Сен-Лу, Морель или кондуктор омнибуса для Шарлюса и для кого-нибудь другого, и эта нежность Шарлюса, стихи Мюссе и т. д.). И наконец, в определенной степени германофильство господина де Шарлюса, так же как и взгляд Сен-Лу, брошенный на фотографию Альбертины,

помогли мне избавиться, хотя бы на мгновение, если и не от моей собственной германофобии, то по крайней мере от собственной веры в безупречную ее объективность и навело на мысль, что, вполне вероятно, механизмы зарождения ненависти сходны с механизмами зарождения любви и что в том чудовищном обвинении, которое как раз в этот момент Франция высказывала в адрес Германии, осуждая ее за бесчеловечность, имела место определенная объективация чувств, как и в том случае, когда Рахиль и Альбертина казались столь дорогими, первая — Сен-Лу, вторая — мне. Но ведь и вправду вполне возможно, что Германии как таковой вовсе не была свойственна та порочность, в которой ее обвиняли, лично я одну за другой пережил несколько любовных историй, по окончании которых объект моих пылких чувств утрачивал для меня всякую привлекательность, точно так же в моей стране на моих глазах рождались одна за другой ненависти, когда изменниками и предателями — стократ худшими, чем сами немцы, которым отдавали они Францию — оказывались дрейфусары вроде Рейнаха, с кем сотрудничали нынче патриоты против страны, каждый житель которой считался лжецом, хищником, слабоумным: исключение

составляли немцы, принявшие сторону французов, — например, король Румынии, бельгийский король или российская императрица. Правда, антидрейфусары возразили бы мне: «Ну это совсем другое дело». Но в действительности это всегда другое дело — другое дело и другой деятель: иначе тот, кто остался в результате обманутым, смог бы обвинить лишь свое собственное состояние, а не считал, будто достоинства или недостатки заключены в самом предмете. Исходя из этого различия разуму не составит труда обосновать какую-нибудь теорию (антиклерикальные законы в области образования, принимаемые радикалами, отсутствие для еврея смысла в понятии «родина», непреходящая ненависть германской расы к романской, при этом желтая раса мгновенно оказывалась реабилитирована, и тому подобное). Впрочем, субъективная сторона проявлялась в разговорах нейтралов, когда, к примеру, германофилы поражали способностью мгновенно переставать понимать и просто глохли, едва лишь речь заходила о зверствах немцев в Бельгии. (И тем не менее они имели место: то субъективное, что примечал я в ненависти, как и в любом взгляде на вещи, вовсе не исключало того, что эта самая вещь обладала реальными

достоинствами и недостатками, и реальность отнюдь не превращалась в чистый релятивизм.) И если сейчас, после стольких прошедших лет и утраченного времени, я понимал, какое существенное влияние может оказать некое малозначительное происшествие не больше не меньше как на международные отношения, разве еще в самом начале моей жизни я не догадывался об этом, когда читал в саду Комбре какой-нибудь роман Бергота, — и даже сегодня, стоит мне пролистать несколько забытых страниц, где плетет свои козни некий злодей, я не успокоюсь, пока не удостоверюсь, страниц через сто, что в конце концов этот самый злодей будет надлежащим образом наказан и проживет ровно столько, чтобы убедиться: его коварные планы потерпели неудачу? Я уже не слишком хорошо помнил, что же произошло с этими персонажами, — впрочем, это обстоятельство не отличало их от тех людей, которые нынче вечером собрались у герцогини Германтской и чья прошлая жизнь, во всяком случае жизнь большинства из них, была для меня столь же смутной, как если бы я прочел о ней в каком-нибудь полузабытом романе. Принц Агригентский все-таки женился на мадемуазель Х.? Или нет, кажется, это брат мадемуазель Х. соби-

рался жениться на сестре принца Агригентского? А может, я все спутал с каким-нибудь старым романом или просто-напросто все это мне недавно приснилось? Сновидения относились к тем явлениям моей жизни, которые всегда потрясали меня сильнее всего, они больше чем что-либо другое призваны были убедить меня, что мышление — это исключительно свойство реальности, и их помощью в сочинении моих книг я отнюдь не пренебрегал. Когда я, превозмогая собственный эгоизм, жил ради любви, сновидение снова приближало ко мне, заставляя преодолевать огромное пространство утраченного времени, бабушку, Альбертину, которую я вновь начинал любить, потому что она в моем сне представила мне объяснение (впрочем, не слишком убедительное) истории с прачкой. Я подумал, что порой сны могли бы приблизить ко мне истины, впечатления, которые одним лишь своим усилием или даже сочетанием естественных обстоятельств я заполучить был не в состоянии, они рождались во мне из тоски, из сожаления о чем-то несуществующем, и оказывались вследствие этого условием, обеспечивающим возможность работы, абстрагирования от привычного, отрешенности от конкретного. Я отнюдь не пренебрегал этой

второй, ночной музой, которая заменяла порой другую, первую.

Мне приходилось замечать, как люди благородного происхождения казались вульгарными, когда их ум (к примеру, ум герцога Германтского) был вульгарен. («Вас это не беспокоит», как выразился бы Котар.) Мне случалось наблюдать в деле Дрейфуса или во время войны, что люди верили, будто истина — это некий раз и навсегда установленный факт, будто министры, как и врачи, владеют парадигмой «да-нет», не требующей никакого толкования: подобно тому как рентгеновский снимок безошибочно указывает больной орган, так и люди, облеченные властью, знали, виноват ли Дрейфус, знали (и не было никакой необходимости посылать Рока для расследования на месте), мог ли Саррай выступить одновременно с русскими. Каждый час прожитой мной жизни утверждал меня в мысли, что лишь грубое, ложное восприятие заставляет верить, будто сущность заключена в предмете, на самом же деле она в разуме.

В общем, если как следует подумать, материал моего жизненного опыта, а следовательно, и моих книг тоже пришел ко мне от Свана, и дело даже не только в том, что касалось лично его и Жильбер-

ты. Но именно он еще в Комбре заронил во мне желание поехать в Бальбек, куда мои родители совершенно не собирались меня отправлять, а не будь этого, я не познакомился бы ни с Альбертиной, ни даже с Германтами, ведь моя бабушка не отыскала бы госпожу де Вильпаризи, я не узнал бы Сен-Лу и господина де Шарлюса, что, в свою очередь, привело к знакомству с герцогиней Германтской, а через нее с ее кузиной, — таким образом, самим моим присутствием в эту минуту у принца Германтского, когда мне пришли в голову эти размышления о моем творчестве (а стало быть, Сван подарил мне не только материал, но и его разрешение), я тоже был обязан Свану. Слишком хрупкий, возможно, стебелек, чтобы выдержать всю тяжесть моей жизни (в этом смысле оказывалось, что «сторона Германтов» была продолжением «стороны Свана»). Но слишком часто этот виновник переломных моментов нашей жизни оказывается существом, во всех отношениях уступающим Свану, человеком, самым что ни на есть посредственным. Не достаточно ли было какому-нибудь приятелю обмолвиться, какая там живет милая девушка (которую я, по всей вероятности, и не встретил бы), чтобы я поехал в Бальбек? Так сталкиваешься порой с не слишком

приятным товарищем, едва здороваешься с ним, а если подумать, именно его некогда брошенная в пространство фраза, какое-нибудь «Вам следовало бы съездить в Бальбек», переменила всю нашу жизнь и определила судьбу нашего творчества. Но мы не испытываем к нему никакой признательности, что, впрочем, ни в коей мере не свидетельствует о нашей неблагодарности. Ведь произнося эти слова, он даже не подозревал о громадных последствиях, что они будут иметь для нас. Именно наша восприимчивость и наш разум воспользовались обстоятельствами, которые, получив первичный импульс, стали являться на свет, подпитывая одно другое, хотя сам он, этот человек, не мог предвидеть ни нашей жизни с Альбертиной, ни праздника у Германтов. Конечно же, этот первый импульс был необходим, и в этом смысле внешнее течение нашей жизни и сама материя нашего творчества зависят от него. Не будь Свана, моим родителям не пришло бы в голову отправить меня в Бальбек. Впрочем, он ни в коей мере не был ответствен за страдания, что косвенно причинил мне. Они явились результатом моей собственной слабости. А его слабость заставила его самого страдать из-за Одетты. Но, предопределив таким образом нашу жизнь, он

тем самым исключил все прочие жизни, которые могли бы мы прожить вместо этой. Не заговори со мной Сван о Бальбеке, я бы не узнал Альбертину, Германтов, не увидел бы гостиную особняка. Но я бы отправился в какие-нибудь другие края, познакомился с другими людьми, моя память, как и мои книги, оказалась бы заполнена совсем другими образами, которые я сейчас не способен даже представить, чья новизна, неведомая мне, теперь пленяет меня и заставляет сожалеть, что я не избрал этот путь, и пускай бы Альбертина, пляж Бальбека, Ревебель, Германты так и остались незнакомы мне.

Правда, именно с лицом Альбертины, таким, каким я увидел его впервые у моря, я связывал многое из того, что непременно опишу. И в каком-то смысле я был прав, ощущая эту связь, ведь не пойди я в тот день к молу, не познакомься я с ней, все эти мысли не были бы изложены (разве что они были бы вызваны к жизни какой-нибудь другой женщиной). Но в такой же степени я был и не прав, поскольку эта первоначальная радость, какую мы, оглянувшись назад, испытываем при виде красивого женского лица, рождается нашими же чувствами: совершенно очевидно, что страницы, которые я напишу, Альбертина, и

прежде всего тогдашняя Альбертина, не поняла бы никогда. Но именно из-за того, что она была так на меня не похожа (вот, кстати, еще одно указание, почему не следует жить в слишком интеллектуальной атмосфере), она и наполнила меня печалью, — первое время это была печаль при мысли о том, как же она на меня не похожа. Окажись она способна понять эти страницы, это означало бы, что она не могла бы на них вдохновить.

Ревность — лучший вербовщик: когда в нашей картине обнаруживается белое пятно, она отыщет на улице красивую девушку, необходимую нам. И даже если она не была красивой, она становится ею, ибо мы ее ревнуем, и тогда она заполнит некую пустоту.

Едва только окажемся мы мертвы, нам станет совершенно все равно, как именно будет завершена картина. Но эта мысль нисколько не приводит нас в отчаяние, ибо мы чувствуем, что жизнь намного сложнее, чем об этом принято говорить, обстоятельства — тем более. И настоятельно необходимо эту сложность показать. Ревность совершенно не обязательно родится от взгляда, слова, отраженного света. Ее жало можно вдруг ощутить, листая ежегодник — например,

«Весь Париж», если речь идет о столице, или «Все замки» — для провинции. Прекрасная девушка, ставшая нам безразличной, как-то обмолвилась, что ей нужно будет съездить на несколько дней навестить сестру в Па-де-Кале, возле Дюнкерка; мы еще как-то рассеянно подумали, что, возможно, девушку эту соблазнил когда-то господин Е., с которым она больше не виделась, поскольку больше не посещала тот бар, где прежде с ним встречалась. Кем могла быть ее сестра? Уж не горничной ли? Мы по рассеянности ни о чем не спросили. И вот, открыв наугад «Все замки», мы вдруг обнаруживаем, что у господина Е. имеется, оказывается, собственный замок как раз в Па-де-Кале, возле Дюнкерка. Не остается никаких сомнений — чтобы сделать приятное девушке, он устроил ее сестру горничной, а если красавица и не видится с ним больше в баре, так это просто потому, что, проводя в Париже почти целый год, он, отправляясь в Па-де-Кале, не желает обходиться без нее и приглашает ее к себе. Кисти, опьяненные яростью и любовью, накладывают все новые и новые мазки. Ну хорошо, а если это все же не так? Если и вправду господин Е. больше не виделся с той девушкой, но из чистой любезности рекомендовал ее сестру своему брату, который

как раз и жил весь год в Па-де-Кале? Так что она приезжает навестить сестру когда ей вздумается, когда господина Е. там и нет вовсе, поскольку они больше друг друга не интересуют. Разве что ее сестра вообще никакая не горничная ни в замке, ни где-нибудь еще, просто в Па-де-Кале проживают их родители. Боль, настигшая нас в первое мгновение, отступает перед последним предположением, и ревность стихает. Но теперь это уже неважно, ибо эта самая ревность, укрывшаяся меж страничек ежегодника «Все замки», проснулась как раз вовремя, и теперь пустота, белое пятно, обнаружившееся на картинке, заполнено. И все прекрасно улаживается благодаря порожденному ревностью присутствию красивой девушки, которую мы сами уже больше не ревнуем и которую больше не любим.

В эту минуту вошедший метрдотель сообщил, что первый отрывок только что закончился, теперь мне можно покинуть библиотеку и войти в гостиную. Это заставило меня вспомнить, где я нахожусь. Но мои размышления отнюдь не оказались прерваны осознанием того, что именно светское сборище, мое возвращение в общество показались мне отправной точкой для новой жизни, которую мне не удалось отыскать в

одиночестве. В этом не было ничего необычного, поскольку ощущение, которое могло возродить во мне человека вечного, с одиночеством было связано не больше, чем с обществом (как я когда-то полагал, как это, вероятно, и было для меня когда-то, как это, вероятно, еще должно было быть, если бы я развивался гармонично и не было бы этой долгой остановки, которая, казалось, только сейчас и заканчивается). Ибо лишь теперь, когда я обрел это ощущение красоты, когда, присоединившись к нынешнему ощущению, каким бы малозначительным оно ни было, сходное ощущение, вновь вспыхнув во мне, распространяло то, первое, на множество эпох и наполняло мою душу, в которой отдельные ощущения обычно оставляли столько пустоты, некоей основополагающей сущностью, не было никаких причин, отчего бы мне не черпать впечатления подобного рода в свете, так же как и в природе, поскольку они предоставляются случаем, а способствует им особое возбуждение, благодаря которому в те дни, когда ты оказываешься отброшен течением жизни, даже самые обыкновенные вещи вновь начинают дарить нам ощущения, которые обыденность не доводит до сведения нашей нервной системы. А тому, что это как раз и были именно

ощущения, способствующие творчеству, именно те, а не какие-либо другие, я должен был попытаться найти объективную причину, продолжая размышления, которым предавался в библиотеке, ибо я понимал, что толчок, запустивший ход механизма духовной жизни, оказался достаточно силен, чтобы я мог продолжать думать об этом в гостиной среди множества приглашенных с тем же успехом, что и в библиотеке, в уединении; мне представлялось, что с этой точки зрения, даже в присутствии столь многочисленного общества я был бы способен сберечь свое одиночество. Ибо по той же причине великие события никак не способны повлиять на наши мыслительные способности, и посредственный писатель, доведись ему жить в эпическую эпоху, так и останется писателем посредственным, если что и есть опасного в свете, так это сама по себе предрасположенность к светской жизни. Но сам по себе свет не может сделать из вас посредственности, точно так же как и героическая война не способна из бездарности сделать вдохновенного поэта.

Вне зависимости от того, имеет ли смысл с теоретической точки зрения то обстоятельство, что произведение искусства организовано именно тем, а не иным образом, покуда я сам не осознаю

эту проблему, я не мог отрицать, во всяком случае в отношении себя самого, что, когда во мне рождалось поистине эстетическое впечатление, оно всегда оказывалось продолжением подобных ощущений. Правда, они в моей жизни случались довольно редко, но властвовали над нею, и в своем прошлом я мог бы отыскать несколько таких вершин, которые я по собственной вине потерял из виду (чего отныне, надеюсь, никогда больше со мной не случится). И я мог сказать уже, что, если у меня обнаруживалась — и мне представлялось это очень важным — какая-нибудь черточка, казавшаяся мне моей собственной, индивидуальной, мне все же было приятно уловить ее близость черточкам не столь ярко выраженным, но различимым, аналогичным тем, что встречаются у других писателей. Не правда ли, случай с мадленкой относится к ощущениям того же рода и примыкает к одному из красивейших отрывков «Замогильных записок»: «Вчера вечером я прогуливался в одиночестве… и размышления мои были прерваны щебетанием дрозда, расположившегося на самой высокой ветке березы. В одно мгновение благодаря этому волшебному звуку перед глазами моими возник отчий дом, я позабыл потрясения, которые мне только что довелось

пережить, и, внезапно перенесясь в прошлое, вновь оказался среди полей и равнин, где столь часто приходилось мне слышать щебетание дрозда». А одна из двух или трех самых прекрасных фраз из тех же «Записок» разве не вот эта: «Тонкий, нежный аромат гелиотропа исходил от грядки цветущей фасоли, но он был принесен отнюдь не дуновением отчизны, а яростным ураганом с Новой Земли, и растение-изгнанник было здесь совершенно ни при чем, и не было здесь сладости воспоминаний и наслаждения. В этом аромате, не вдыхаемом красотой, не очищенном ее легкими, не стелящемся по ее следам, в этом аромате другой зари, культуры и другой части света чувствовалась вся грусть сожалений, потерь и ушедшей юности»? Один из шедевров французской литературы «Сильви» Жерара де Нерваля, как и «Замогильные записки», связан с Комбуром, это ощущение того же свойства, что и вкус мадленки, и «щебетание дрозда». И наконец, у Бодлера эти многочисленные реминисценции гораздо менее случайны и, следовательно, на мой взгляд, более значимы. Сам поэт, тщательно, осознанно отбирая, ищет в аромате, например, в аромате женщины, ее волос, ее груди, вдохновляющие аналогии, которые могли бы воскресить

в памяти «лазурь небес, округлых и глубоких», или «в огнях и мачтах старый порт». Я как раз силился припомнить цитаты из Бодлера, в которых можно было бы угадать эти «перемещенные» ощущения, чтобы наконец утвердиться в столь благородном родстве и благодаря этому окончательно увериться в том, что произведение, за которое я был готов теперь взяться без малейших колебаний, стоило усилий, что я готов был ему посвятить, когда, ступив на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей из библиотеки, вдруг очутился в большой гостиной в самый разгар праздника, что показался мне совсем не похожим на те, в каких приходилось мне участвовать прежде и который должен был предстать передо мной в совершенно ином облике и приобрести иной смысл. В самом деле, стоило мне войти в большую гостиную, хотя я был по-прежнему уверен в себе и в тех замыслах, что только что для себя сформулировал, появилось неожиданное обстоятельство, что могло бы стать против моей затеи серьезнейшим из препятствий, которое я, конечно же, преодолел бы, но оно, пока я продолжал бы размышлять про себя об условиях появления на свет произведения искусства, могло бы, к примеру, повторив сотню раз замечания, способные

вызвать у меня колебания, в любой момент прервать мои размышления.

В первый момент я даже не сообразил, почему не сразу смог узнать хозяина дома, гостей и почему мне показалось, будто каждый из них «изменил внешность», — головы, как правило, были сильно напудрены, что совершенно меняло облик. Принц, встречающий вновь прибывших, еще выглядел эдаким добродушным королем карнавала, каким мне довелось увидеть его впервые, но на этот раз, словно чересчур увлекшись правилами игры, каковых требовал от собственных гостей, он наклеил себе белоснежную бороду и, казалось, исполнял одну из ролей в театрализованных сценках «аллегории возраста». Усы его тоже были белыми, как если бы на них осел иней с ветвей, меж которыми пробирался по заколдованному лесу Мальчик-с-пальчик. Казалось, они стесняли напряженный рот, покрасовавшись в них один раз, ему следовало бы их отклеить. По правде говоря, я и узнал-то его лишь вследствие логического размышления и сделав вывод, исходя из простого сходства некоторых черт. Уж не знаю, что сотворил со своим лицом Фезансак-младший, но в то время, когда у других оказалась выбелена то половина бороды, то одни только

усы, он, не сочтя нужным возиться со всей этой окраской, умудрился покрыть свое лицо сетью морщин, брови топорщились редкими волосками, — все это, впрочем, совершенно ему не шло, лицо сделалось более жестким, смуглым, торжественно важным, это до такой степени старило его, что молодым человеком представить его теперь никак было нельзя. В ту же минуту я удивился еще больше, услыхав, что герцогом Шательро называют этого маленького старичка с посеребренными усами а-ля дипломат, в котором лишь какая-то искорка, чудом сохранившаяся от прежнего взгляда, позволяла признать молодого человека, с которым я встречался однажды в доме госпожи де Вильпаризи. Когда я опознал таким образом первого человека, попытавшись абстрагироваться от его маскарада и дополнив природные черты — те, что остались, усилием воображения, моей первой (именно первой, но никак не второй) мыслью было поздравить его с тем, что он так хорошо загримировался, вызвав поначалу, еще до момента узнавания, сомнение, что сопутствует появлению на сцене больших актеров, вышедших в роли, в которой они очень отличаются от себя прежних, и публика, хотя и прочла распределение ролей в программке,

какую-то секунду остается повергнутой в изумление, прежде чем разразиться аплодисментами.

В этом смысле самую необычную картину являл мой личный враг, господин д'Аржанкур, истинный гвоздь программы. Мало того что он вместо обычной своей бороды с легкой проседью нацепил необыкновенную бороду совершенно неправдоподобной белизны, теперь это был (до такой степени совсем крошечные перемены в облике могут принизить или возвысить личность и, более того, изменить очевидные характерные черты, его индивидуальность) старый нищий, который не внушал ни малейшего уважения, — таким стал теперь этот человек, чья надменность и чопорность до конца еще не изгладились из моей памяти, и свою роль старого маразматика он играл с исключительным правдоподобием, так что напряженные члены его беспрестанно дрожали, а с лица, прежде столь высокомерного, теперь не сходила блаженная улыбка дурачка. Доведенное до такой степени искусство маскарада стало чем-то нарочитым, привело к полному преображению личности. В самом деле, некие малозначимые пустяки напрасно пыталась убедить меня, будто действительно д'Аржанкур, а не кто-то там еще являл это зрелище, уморительное

и довольно-таки живописное, сколько же последовательных изменений лица необходимо было мне преодолеть, если бы я захотел вновь обрести того д'Аржанкура, которого знал когда-то и который до такой степени отличался от себя самого, не имея в своем распоряжении ничего, кроме собственного тела! Это, вне всякого сомнения, являлось самой последней — дальше могла быть только смерть — стадией изменений гордого некогда лица, стройного торса, превратившегося в бесформенную кучу тряпья, перемещающуюся по паркету туда-сюда. Едва ли, вспоминая прежнюю улыбку д'Аржанкура, что когда-то смягчала на мгновение высокомерное выражение лица, в нынешнем д'Аржанкуре можно было узнать того, кого я столь часто видел, и осознать, что зачатки этой слабоумной улыбки жалкого старьевщика уже таились где-то в тогдашнем безукоризненном джентльмене. Но даже если предположить, что улыбался д'Аржанкур с теми же намерениями, что и прежде, благодаря полнейшему преображению его лица, само вещество этой улыбки и этого взгляда изменилось настолько, что выражение становилось другим и даже принадлежало другому. Я рассмеялся при виде этого величественного маразматика, так

же обмякшего в добровольной карикатуре на себя самого, как господин де Шарлюс, только в трагическом варианте, был раздавлен и учтив. Господин д'Аржанкур в своем воплощении умирающего-шута из пьесы Реньяра в гротескном изображении Лабиша, был столь же доступен, столь же приветлив и любезен, что и господин де Шарлюс в роли короля Лира, старательно снимающий шляпу перед самым ничтожным из прохожих. И все же мне не пришло в голову выразить свое восхищение тем необыкновенным зрелищем, какое он собою являл. И мешала этому отнюдь не моя прежняя антипатия, поскольку ему было суждено стать существом настолько отличным от себя самого, что мне казалось, будто я стою перед совсем другим человеком, в такой же степени доброжелательным, беспомощным, безобидным, в какой привычный д'Аржанкур был высокомерен, враждебен и опасен. Настолько другим человеком, что когда я смотрел на этого типа, беспрестанно гримасничающего, нелепого, совсем седого, на это чучело, изображающее генерала Дуракина в детстве, мне представлялось, что человеческое существо способно претерпевать сложнейшие метаморфозы подобно некоторым насекомым. Мне казалось, что я сквозь стекло в

музее естественной истории наблюдаю за тем, во что может превратиться самое быстрое, самое изящное в своих движениях насекомое, и при виде этой влажной куколки, которую можно было бы назвать скорее мерцающей, а не движущейся, не мог воскресить в себе чувств, что мне всегда внушал господин д'Аржанкур. Я промолчал, я не стал поздравлять его с тем, что он подарил мне зрелище, отодвинувшее, казалось, всякое представление о границах, меж которыми могли происходить превращения человеческого тела.

Разумеется, в театральном фойе или во время костюмированного бала правила хорошего тона заставляют нас преувеличивать, насколько трудно, почти невозможно узнать человека, переодевшегося в маскарадный костюм. Здесь же, напротив, инстинкт подсказывал, что мои затруднения необходимо как можно лучше скрывать, я чувствовал, что для человека в этом не было ничего лестного, ведь подобные перемены не были задуманы специально, и мне пришло в голову, о чем я совершенно не думал, входя в гостиную, что любой праздник, даже самый непритязательный, если ты долгое время вообще не выходил в свет, как бы мало там ни оказалось знакомых людей, всегда кажется вам маскарадом, самым удачным

из всех, таким, на котором вас совершенно искренне «интригуют» другие, — вот только лиц на этом маскараде, изменившихся уже давно и без желания на то их обладателей, не коснется салфетка, чтобы смыть грим, едва только праздник закончится. Нас интригуют другие? Увы, сами мы интригуем тоже. Ибо если я оказался в затруднительном положении, пытаясь подобрать к лицам знакомые имена, то подобную же сложность испытывали и другие люди, которые, заметив мое лицо, были заинтересованы не больше, как если бы видели его впервые или, в лучшем случае, силились высвободить из нынешнего моего облика свои прежние воспоминания.

Господин д'Аржанкур, только что отыгравший этот восхитительный «номер», который был, без сомнения, самым поразительным в своем шутовстве зрелищем, что сохраню я в своей памяти, был подобен актеру, который в последний раз выходит кланяться на авансцену, перед тем как окончательно упадет занавес среди раскатов смеха. Если я не сердился на него больше, так это оттого, что в нем, обретшем невинность младенчества, не осталось теперь никаких воспоминаний о том презрении, что он мог бы испытывать ко мне, — например, воспоминаний

о том, как господин де Шарлюс резко отдернул руку, может, в нем больше не осталось ничего из этих чувств, может, они, прежде чем достигнуть нас, должны были, словно преломляющиеся лучи, пройти через физические отражатели, деформирующие настолько, что в процессе прохождения до неузнаваемости меняли смысл, и господин д'Аржанкур казался добрым просто потому, что у него физически уже не осталось никаких средств выразить злость и отбросить приветливую веселость. Но даже актером назвать его было нельзя, он, утратив возможность делать что-либо осознанно, походил скорее на спотыкающуюся куклу с накладной бородой из белых шерстяных нитей: я видел, как он нервно передвигается по гостиной, словно персонаж гиньоля, одновременно ученого и философского, в котором, словно во время надгробной речи или лекции в Сорбонне, он сам служил и напоминанием о человеческом тщеславии, и экспонатом музея естественной истории.

Да, это были куклы, но, чтобы идентифицировать их с кем-либо из прежних знакомых, нужно было читать одновременно на нескольких чертежах-проекциях, что находились позади них и придавали перспективу, и заставляли напрячь

ум, когда ты видел перед собой этих старичков-марионеток, ибо на них приходилось смотреть в одно и то же время и глазами, и памятью, на этих кукол, раскрашенных в бесплотные краски лет, кукол, олицетворяющих Время, то самое, обычно невидимое Время, которое, дабы стать зримым, ищет тела, и повсюду, где находит, завладевает ими, чтобы направить на них свой волшебный фонарь. Столь же бесплотный, каким был когда-то Голо дверной ручке моей комнаты в Комбре, новый и такой неузнаваемый д'Аржанкур казался проявлением Времени, которое он отчасти сделал видимым. В новых деталях, составляющих лицо д'Аржанкура и его личность, можно было разглядеть определенное число лет, можно было узнать символический облик жизни, не такой, какой она являлась нам, то есть непрерывной, но реальной жизни, атмосферу изменчивую настолько, что гордый господин на закате предстает в карикатурном виде, в обличье старьевщика.

Впрочем, если говорить о других людях, все эти изменения, эти истинные помешательства, казалось, выходили за рамки естественной истории, и было странно услышать какое-то имя и увидеть, как соответствующий персонаж являет собой не просто особенности старательно снимающий

шляпу перед самым ничтожным из прохожих. И все же мне не пришло в голову выразить свое восхищение тем необыкновенным зрелищем, какое он собою являл. И мешала этому отнюдь не моя прежняя антипатия, поскольку ему было суждено стать существом настолько отличным от себя самого, что мне казалось, будто я стою перед совсем другим человеком, в такой же степени доброжелательным, беспомощным, безобидным, в какой привычный д'Аржанкур был высокомерен, враждебен и опасен. Настолько другим человеком, что когда я смотрел на этого типа, беспрестанно гримасничающего, нелепого, совсем седого, на это чучело, изображающее генерала Дуракина в детстве, мне представлялось, что человеческое существо способно претерпевать сложнейшие метаморфозы подобно некоторым насекомым. Мне казалось, что я сквозь стекло в музее естественной истории наблюдаю за тем, во что может превратиться самое быстрое, самое изящное в своих движениях насекомое, и при виде этой влажной куколки, которую можно было бы назвать скорее мерцающей, а не движущейся, не мог воскресить в себе чувств, что мне всегда внушал господин д'Аржанкур. Я промолчал, я не стал поздравлять его с тем, что он подарил

мне зрелище, отодвинувшее, казалось, всякое представление о границах, меж которыми могли происходить превращения человеческого тела.

Разумеется, в театральном фойе или во время костюмированного бала правила хорошего тона заставляют нас преувеличивать, насколько трудно, почти невозможно узнать человека, переодевшегося в маскарадный костюм. Здесь же, напротив, инстинкт подсказывал, что мои затруднения необходимо как можно лучше скрывать, я чувствовал, что для человека в этом не было ничего лестного, ведь подобные перемены не были задуманы специально, и мне пришло в голову, о чем я совершенно не думал, входя в гостиную, что любой праздник, даже самый непритязательный, если ты долгое время вообще не выходил в свет, как бы мало там ни оказалось знакомых людей, всегда кажется вам маскарадом, самым удачным из всех, таким, на котором вас совершенно искренне «интригуют» другие, — вот только лиц на этом маскараде, изменившихся уже давно и без желания на то их обладателей, не коснется салфетка, чтобы смыть грим, едва только праздник закончится. Нас интригуют другие? Увы, сами мы интригуем тоже. Ибо если я оказался в затруднительном положении, пытаясь подобрать к лицам

знакомые имена, то подобную же сложность испытывали и другие люди, которые, заметив мое лицо, были заинтересованы не больше, как если бы видели его впервые или, в лучшем случае, силились высвободить из нынешнего моего облика свои прежние воспоминания.

Господин д'Аржанкур, только что отыгравший этот восхитительный «номер», который был, без сомнения, самым поразительным в своем шутовстве зрелищем, что сохраню я в своей памяти, был подобен актеру, который в последний раз выходит кланяться на авансцену, перед тем как окончательно упадет занавес среди раскатов смеха. Если я не сердился на него больше, так это оттого, что в нем, обретшем невинность младенчества, не осталось теперь никаких воспоминаний о том презрении, что он мог бы испытывать ко мне, — например, воспоминаний о том, как господин де Шарлюс резко отдернул руку, может, в нем больше не осталось ничего из этих чувств, может, они, прежде чем достигнуть нас, должны были, словно преломляющиеся лучи, пройти через физические отражатели, деформирующие настолько, что в процессе прохождения до неузнаваемости меняли смысл, и господин д'Аржанкур казался добрым просто

потому, что у него физически уже не осталось никаких средств выразить злость и отбросить приветливую веселость. Но даже актером назвать его было нельзя, он, утратив возможность делать что-либо осознанно, походил скорее на спотыкающуюся куклу с накладной бородой из белых шерстяных нитей: я видел, как он нервно передвигается по гостиной, словно персонаж гиньоля, одновременно ученого и философского, в котором, словно во время надгробной речи или лекции в Сорбонне, он сам служил и напоминанием о человеческом тщеславии, и экспонатом музея естественной истории.

Да, это были куклы, но, чтобы идентифицировать их с кем-либо из прежних знакомых, нужно было читать одновременно на нескольких чертежах-проекциях, что находились позади них и придавали перспективу, и заставляли напрячь ум, когда ты видел перед собой этих старичков-марионеток, ибо на них приходилось смотреть в одно и то же время и глазами, и памятью, на этих кукол, раскрашенных в бесплотные краски лет, кукол, олицетворяющих Время, то самое, обычно невидимое Время, которое, дабы стать зримым, ищет тела, и повсюду, где находит, завладевает ими, чтобы направить на них свой волшебный

фонарь. Столь же бесплотный, каким был когда-то Голо дверной ручке моей комнаты в Комбре, новый и такой неузнаваемый д'Аржанкур казался проявлением Времени, которое он отчасти сделал видимым. В новых деталях, составляющих лицо д'Аржанкура и его личность, можно было разглядеть определенное число лет, можно было узнать символический облик жизни, не такой, какой она являлась нам, то есть непрерывной, но реальной жизни, атмосферу изменчивую настолько, что гордый господин на закате предстает в карикатурном виде, в обличье старьевщика.

Впрочем, если говорить о других людях, все эти изменения, эти истинные помешательства, казалось, выходили за рамки естественной истории, и было странно услышать какое-то имя и увидеть, как соответствующий персонаж являет собой не просто особенности нового, отличного биологического вида, как господин д'Аржанкур, но внешние черты совсем другого характера. Какие неожиданные возможности извлекло время из этой юной девушки, но возможности эти, при всей их телесности и материальности, имели и нравственную подоплеку. Черты лица, если они меняются, если компонуются по-другому, вместе с другим внешним видом приобретают

и другое значение. Вот, к примеру, была такая-то женщина, казавшаяся вам ограниченной и черствой, у которой расплывшиеся щеки, сделавшиеся совсем неузнаваемыми, неожиданно появившаяся горбинка на носу вызывали то же удивление, зачастую приятное удивление, что и прочувствованные, глубокие слова, мужественный и благородный поступок, каких вы никогда от нее не ожидали. У нее не просто появился новый нос, но открылись новые горизонты, на которые нельзя было и надеяться. Доброта, нежность, прежде совершенно немыслимые, вдруг сделались возможными вместе с этими щеками. Этот рот стал вдруг произносить слова, какие нельзя было услышать из того рта, что был на этом месте прежде. Все эти новые черты лица предполагали и новые черты характера, черствая и сухая девица превратилась в расплывшуюся и снисходительную пожилую даму. Можно было сказать, что теперь это была совсем другая личность, и не только в зоологическом плане, как господин д'Аржанкур, но также в плане моральном и социальном.

Благодаря всем этим особенностям любой праздник, вроде того, на котором я сейчас оказался, представлял собой нечто более ценное, чем

просто образ прошлого, предлагая мне последовательный ряд картин, которых я никогда раньше не видел, которые отделяли прошлое от настоящего, более того — существующую связь между настоящим и прошлым, праздник этот был чем-то вроде «объемного изображения», как говорили раньше, объемного изображения лет, причем это было изображение не какого-то мгновения, но человека в искажающей перспективе Времени.

Что же касается женщины, любовником которой был господин д'Аржанкур, она не слишком изменилась, если принимать во внимание прошедшее время, то есть лицо ее не было окончательно разрушено, учитывая, что это было лицо человека, который деформируется на протяжении всего своего пути в бездну, в ту бездну, куда он низвергнут, в бездну, направление которой мы способны выразить лишь с помощью сравнений в равной степени бессмысленных, поскольку заимствуем их из лексики, описывающей пространство, и единственно, что они могут, — используй мы такие слова, как высота, длина или глубина, — дать нам понять, что это немыслимое и осязаемое измерение все-таки существует. Необходимость в действительности постичь ход времени, чтобы вернуть лицам

соответствующие имена, заставляла меня восстановить в памяти годы — осознав их реальное место, — о которых я и не помышлял. С этой точки зрения и чтобы не дать себе обмануться мнимой идентичностью пространства, новое обличье господина д'Аржанкура было для меня разительным проявлением такой реальности, как цифра, обозначающая тысячелетие, которая обычно представляется нам чем-то абстрактным, точно так же, как изменение ландшафта и флоры, появление карликовых деревьев или гигантских баобабов указывают нам на смену меридиана.

Так жизнь предстает перед нами как феерия, в которой на сцене акт за актом мы видим, как ребенок становится подростком, зрелым человеком и склоняется к могиле. И как по беспрерывным изменениям догадываешься, что эти создания, выхваченные на достаточно больших промежутках времени, отличаются одно от другого, точно так же догадываешься: мы подчиняемся тому же закону, что и эти создания, которые изменились настолько, что больше не похожи (хотя тем не менее продолжают ими быть, именно потому, что продолжают быть) на тех, какими мы видели их прежде. Молодая женщина, которую я знал когда-то, теперь совсем седая и скукожившаяся

в маленькую зловредную старушонку, казалось, напоминала, что по правилам пьесы в финале представления нужно, чтобы все герои переоделись и стали совершенно неузнаваемы. Но вот ее брат остался таким прямым, таким похожим на себя самого, что казалось просто удивительно, с какой стати ему пришло в голову наклеить на свое юное лицо седые усы. Белоснежность бород, до недавнего времени безукоризненно черных, привносила меланхолию в людской пейзаж этого праздника, как первые желтые листья на деревьях, когда кажется, что лето будет еще долго и еще успеешь им насладиться, свидетельствуют, что все-таки уже осень. И я, с самого детства привыкший жить лишь сегодняшним днем и составивший окончательное мнение о себе и об окружающих, впервые заметил — и это открытие явилось для меня потрясением, — заметил по тем перевоплощениям, которым подверглись все эти люди, что время, прошедшее для них, прошло и для меня тоже. И не представляющая интереса сама по себе их старость опечалила меня, словно предупреждая о приближении моей собственной. Впрочем, признаки ее приближения были объявлены мне несколькими фразами, прозвучавшими от разных людей с интервалом в несколько

минут, и поразили меня, как трубы в день Страшного суда. Первая была произнесена герцогиней Германтской; мне только что удалось приблизиться ней, протиснувшись сквозь двойной ряд любопытствующих, которые, даже не осознавая, как действует на них великолепное искусство нарядов и гармоничность облика, потрясенные этой рыжеволосой головой и розовато-золотистым телом, едва виднеющимся сквозь черные кружевные чешуйки и россыпи драгоценностей, любовались им, наследственными изгибами его линий, как если бы это была какая-нибудь священная рыба, осыпанная драгоценными камнями, Гений-покровитель семейства Германтов. «Ах! — сказала мне она, — как приятно видеть вас, вы здесь мой самый старый друг». И мне, самолюбивому юноше из Комбре, который ни на одно мгновение не мог предположить, что когда-нибудь окажется одним из этих друзей, допущенных в таинственную жизнь дома Германтов, друзей, обладающих теми же правами, что и господин де Бреоте, господин де Форестель, Сван — все те, что давно уже умерли, мне бы следовало быть польщенным, но я почувствовал себя несчастным. «Ее самый старый друг! — подумал я, — она преувеличивает, ну, может быть, один из

самых старых, но разве я…» В эту минуту ко мне обратился племянник принца: «Вы, как старый парижанин…» — сказал он. Минуту спустя мне передали записку. Дело в том, что, едва лишь войдя в дом, я встретил молодого Летурвиля, не знаю точно, в каком именно родстве состоял он с герцогиней, но я был с ним немного знаком. Он только что покинул Сен-Сир, и, подумав, что этот человек мог бы стать для меня хорошим товарищем, каким был Сен-Лу, и просветить меня в военных вопросах, поведать армейские новости, я сказал ему, что в скором времени непременно разыщу его и что мы могли бы встретиться и поужинать вместе, за что он горячо поблагодарил меня. Но я слишком долго предавался мечтаниям в библиотеке, и Летурвиль просил передать мне записку, в которой говорилось, что, к сожалению, он не может больше меня ждать и оставляет свой адрес. Письмо этого, как я надеялся, товарища, заканчивалось так: «С уважением, ваш молодой друг Летурвиль». «Молодой друг»! Так я сам когда-то подписывал письма, обращенные к людям, на тридцать лет меня старше, например, к Легранделю. Как, этот младший лейтенант, которого я мечтал видеть своим приятелем вроде Сен-Лу, называл себя моим молодым другом! Значит, с

тех пор изменились не только способы ведения военных действий, и для господина де Летурвиля я был не товарищем, но пожилым господином; и от этого самого господина де Летурвиля, товарищем которого я был, так по крайней мере мне казалось самому, хорошим товарищем, неужели я был отодвинут стрелкой некоего невидимого компаса, о существовании которого и не подозревал и который отбросил меня так далеко от этого юного младшего лейтенанта, что для того, кто называл себя моим «молодым другом», я был уже пожилым господином?

Почти тотчас же кто-то произнес имя Блока, и я поинтересовался, кто имеется в виду, сын или отец (я понятия не имел о смерти последнего, последовавшей, как мне сказали, от переживаний за судьбу оккупированной Франции). «Я и не знал, что у него есть дети, — ответил принц, — я даже не знал, что он женат. Ну конечно же, мы говорим об отце, во всяком случае, на молодого человека он никак не похож. Будь у него сыновья, они были бы уже совсем взрослыми людьми». И я понял, что речь идет как раз о моем товарище. Впрочем, он тотчас же и сам вошел. В самом деле, я заметил на лице Блока выражение глуповатое и угодливое, у него чуть подергивалась голова, а

мудрая усталость милых стариков мне могла бы показаться знакомой, если бы я и в самом деле не узнал стоящего передо мной моего товарища и если бы мои воспоминания не наделили его той юношеской оживленностью и бодростью, каковыми он уже, увы, не обладал. Для меня, знавшего его в самом начале жизни и встречавшегося с ним более или менее регулярно, он был другом, юношей, молодость которого я соотносил со своей собственной, которой бессознательно наделял себя и сейчас. Услышав, как про него говорят, будто он выглядит не старше своих лет, я был удивлен, потому что заметил на его лице признаки, свидетельствующие, на мой взгляд, о старости. И я понял, что он и в самом деле уже старик и что жизнь делает стариков именно из таких вот юношей, чья молодость длится годы и годы.

Когда кто-то, услышав, что я был тяжело болен, спросил, не боюсь ли я подхватить грипп, эпидемия которого свирепствовала как раз в это время, другой благожелатель решил успокоить меня, сказав: «Не волнуйтесь, этим гриппом заболевают в основном молодые. Людям вашего возраста опасаться нечего». Насколько я понял, прислуга тоже меня узнала. Они зашептали мое имя, и, как

заявила мне одна дама, она даже слышала, как они сказали «на своем языке»: «Это папаша…» (и за этим определением последовало мое имя). Поскольку детей у меня не было, это могло относиться лишь к моему возрасту.

«Что значит была ли я знакома с маршалом? — сказала герцогиня. — Я знала и других людей, гораздо более примечательных, герцогиню де Галльера, Паулин де Перигор, Маргарет Дюпанлу». И, слушая ее, я простодушно сожалел о том, что мне не довелось быть знакомым с теми, кого она называла осколками прежнего режима. Мне следовало бы понять, что прежним режимом называют тот, от которого застали лишь самый конец, подобно тому как то, что мы различаем на горизонте, представляется нам сказочно великим и, как нам кажется, принадлежит миру, который уходит и который мы никогда больше не увидим; и все же мы продолжаем путь и вскоре сами оказываемся на горизонте для тех поколений, что следуют за нами, а горизонт отодвигается, и мир, что, как нам казалось, умер, возрождается вновь. «Когда я была совсем юной девушкой, — добавила герцогиня Германтская, — мне довелось увидеть герцогиню де Дино. Черт возьми, вам ведь известно, что мне уже не двадцать пять».

Последние ее слова вызвали у меня живейшую досаду: «Зачем она так говорит, это пристало бы какой-нибудь старой даме». И тут же я подумал, что она и впрямь была уже старой дамой. «Что же касается вас, — продолжала она, — вы совершенно не изменились. Да-да, вы, быть может, и удивлены, но вы все такой же молодой». Это заявление прозвучало довольно уныло, потому что по логике вещей могло иметь смысл лишь в том случае, если мы и вправду, пусть даже не внешне, постарели. И она окончательно добила меня, прибавив: «Я всегда сожалела, что вы не женаты. А впрочем, кто знает, может, это и к лучшему. Ваши сыновья по возрасту могли бы попасть на фронт, и если бы их убило, как несчастного Робера (я так часто его вспоминаю), вы при вашей чувствительности не смогли бы этого пережить». И я словно в зеркале, что первым из всех зеркал открыло мне правду, смог увидеть себя в глазах стариков, оставшихся, по их мнению, молодыми, каким и я казался себе сам, и когда я называл себя стариком, в ответ ожидая услышать возражение, в их глазах, видящих меня таким, какими себя они увидеть не могли, но какими видел их я, не было и намека на какой-то протест. Ибо мы не можем увидеть свой собственный облик, свой

собственный возраст, но каждый, словно стоящее напротив зеркало, видит облик и возраст другого. Вне всякого сомнения, очень многие, обнаружив, что постарели, огорчились бы этому обстоятельству гораздо меньше моего. Впрочем, то же самое можно сказать и о смерти. Кто-то встречает ее с равнодушием, но не потому, что они храбрее других, — просто у них меньше воображения. И потом, если человек с самого детства одержим одной идеей, у кого собственная лень или же состояние здоровья, заставляя бесконечно откладывать осознание очевидного, каждый вечер по одному отнимает прожитый и утраченный день, притом, что болезнь, которая ускоряет старение тела, замедляет старение разума, гораздо в большей степени удивлен и потрясен, поняв, что все эти годы жил не где-нибудь, а во Времени, нежели тот, кто нечасто обращается к собственной душе, сверяет жизнь с календарем и на кого не обрушивается внезапно вся громада лет, которые он постепенно складывал один к другому. Но гораздо более серьезная причина могла бы объяснить мою тревогу: я обнаружил это разрушительное воздействие Времени как раз в тот самый момент, когда собирался сделать попытку прояснить и осмыслить в произведении

вневременные реальности.

У многих людей постепенная, но происходящая вне моего внимания замена клеток новыми клетками привела к преображению столь полному, к столь завершенному перевоплощению, что я мог бы сотню раз ужинать в ресторане, сидя прямо напротив, и не подозревать о том, что я знал когда-то этого человека, так по внешности я не смог бы догадаться о владычестве некоего монарха-инкогнито или же о пороке некоего незнакомца. Впрочем, если я вдруг слышал их имена, то вынужден был признать, что сравнение несколько хромает, ибо вполне можно допустить, будто какой-нибудь незнакомец, сидящий напротив, преступник или король, между тем как этих, стоящих сейчас передо мной людей, их-то ведь я хорошо знал, вернее, знал людей, носящих те же имена, но совсем других. Однако, как представление о верховной власти или о пороке придает совершенно новое лицо незнакомцу, причем когда о нем еще ничего не известно, можно так легко ошибиться и стать дерзким или, напротив, слишком любезным, а в одних и тех же чертах можно отыскать и изысканное, и подозрительное, так и я попытался, увидев лицо неизвестной мне женщины, совершенно неизвестной, про-

сто поверить, будто это действительно госпожа Сазера, и в конце концов восстановить когда-то знакомый мне смысл этого лица, который не стал от этого мне ближе — это было лицо другого человека, столь же потерявшего все человеческие признаки, которые я знал когда-то, как если бы человек этот вновь превратился в обезьяну, и лишь имя и подтверждения, полученные от других — хотя задача была не из легких — могли натолкнуть меня на правильное решение. Порой, впрочем, прежний образ возникал передо мной столь ярко, что я мог позволить себе очную ставку, и, как свидетель в присутствии обвиняемого, которого когда-то видел, я вынужден был (настолько огромным оказалось отличие) все-таки признать: «Нет… я не узнаю ее».

Жильберта де Сен-Лу сказала мне: «Хотите, пойдем с вами поужинать в ресторан?» Когда я ответил: «С удовольствием, если только вы не считаете, что это вас скомпрометирует — ужинать наедине с молодым человеком, — я услышал, что все вокруг рассмеялись, и поспешил добавить: — или с не очень молодым». Я понимал, что фраза, вызвавшая смех, могла бы быть произнесена моей матерью, для которой я всегда оставался ребенком. Я замечал: чтобы судить о себе самом,

мне приходилось вставать на ту же точку зрения, что и она. Если я в конце концов, как и она, стал отмечать некоторые изменения, произошедшие со мной с детских лет, это все же были изменения, к тому времени уже устаревшие. Например, те, что имелись в виду, когда про меня говорили, чуточку преувеличивая, вернее, опережая действительность: «Это уже почти совсем взрослый молодой человек». Я и теперь продолжал так думать, но на этот раз с громадным опозданием. Я не замечал, насколько изменился. Но те, кто только что разразились смехом, они-то как смогли это заметить? Волосы мои не поседели, усы оставались черными. Я едва удержался, чтобы не спросить их, в чем проявился этот ужасающий меня факт.

И теперь я понимал, что такое старость — старость, которая изо всех реальностей нашей жизни, вероятно, дольше всего воспринимается нами чисто абстрактно, когда мы листаем календари, ставим дату в верхнем углу письма, присутствуем на свадьбах наших друзей, детей наших друзей, не осознавая, то ли от страха, то ли от лености, что именно все это означает, до того самого дня, когда замечаем незнакомый облик, например, господина д'Аржанкура, который и

возвещает нам, что мы живем уже в новом мире; до того самого дня, когда внук какой-нибудь нашей приятельницы, молодой человек, которого мы инстинктивно считали добрым своим товарищем, улыбается, как если бы мы добродушно подшучивали над ним, мы, которых он воспринимает как дедушку; так раньше я стал понимать, что означает смерть, любовь, радость творчества, страдания, призвание и т. д. Ибо если имена потеряли для меня свое своеобразие, слова обнаружили весь свой смысл. Красота образов находится за пределами вещей, красота идей — перед ними. Так что первая перестает нас восхищать, стоит этим вещам попасть в поле нашего зрения, а вторую мы осознаем лишь тогда, когда их минуем.

Конечно же, только что сделанное мною жестокое открытие могло быть только полезно, если говорить о материи моей книги. Поскольку я уже решил, что она не может состоять исключительно из впечатлений по-настоящему полных, законченных, находящихся вне времени, среди тех истин, которыми я рассчитывал скрепить, сцементировать их, особо важными были бы те, что имеют отношение ко времени, к тому самому времени, в которое погружены и

в котором меняются люди, нации, общества. Я старался бы не только отмечать внешние изменения, каким подвержены все, без исключения, создания и примеры которых я находил каждую минуту, ибо, продолжая размышлять о своем произведении, что уже складывалось окончательно у меня в голове и не могло прерваться из-за мимолетной рассеянности, я продолжал здороваться со знакомыми людьми и болтать с ними. Старение, впрочем, у каждого выражалось по-разному. Я услышал, как кто-то интересуется моим именем, мне сказали, что это господин де Камбремер. И, чтобы показать, что он узнал меня, он осведомился: «Ну как, вы по-прежнему подвержены этим приступам удушья? — и, услыхав мой утвердительный ответ, продолжал: — Как видите, долголетию это никак не мешает», словно мне было лет сто, не меньше. Я заговорил с ним, держа в поле зрения эти две-три черты, которые, словно куски мозаики, еще мог вставить в общую картину, дополнив деталями, которые моя память не сохранила. Но тут он к кому-то обернулся. И тотчас же сделался для меня неузнаваем из-за огромных красных мешков у него на щеках, мешавших ему полностью открыть рот и глаза, я стоял ошеломленный, не

решаясь разглядывать этот карбункул, о котором, как мне казалось, он должен был бы заговорить первым. Но, подобно мужественному больному, он и не намекал на это, смеялся, а я испытывал неловкость, мне казалось, что если я сам не спрошу ни о чем, то проявлю бессердечность, а если спрошу — бестактность. «Но, наверное, теперь, с возрастом, они беспокоят вас реже?» — спросил он, продолжая интересоваться все теми же приступами удушья. Я ответил, что нет. «А вот и да, моя сестра страдает от них гораздо меньше, чем раньше», — возразил он решительно, как если бы иначе и быть не могло, и именно возраст как раз и являлся тем лекарством, которое, раз уж оно помогло госпоже де Гокур, не могло не исцелить меня, иного он просто не допускал. Подошла госпожа Камбремер-Легранден, я все сильнее опасался выглядеть бесчувственным, не выразив сожаления по поводу того, что заметил на лице ее мужа, и в то же время все не осмеливался заговорить об этом первым. «Вы рады с ним повидаться?» — спросила она меня. «Да, и как он?» — поинтересовался я неуверенным тоном. «Спасибо, сами видите, совсем неплохо». Она не замечала этой болезни, которая смущала мой взгляд и была не чем иным, как одной из

масок Времени, которую оно наложило на лицо маркиза, но делала это постепенно, наращивая и утолщая ее понемногу, так что маркиза ничего не видела. Когда господин де Камбремер перестал задавать вопросы о моих приступах, настала моя очередь негромко поинтересоваться у кого-то, жива ли еще мать маркиза. В самом деле, когда пытаешься осмыслить прошедшее время, сложно сделать лишь первый шаг. Сперва невероятно трудно представить себе, что утекло столько времени, а затем так же трудно осознать, что прошло его не так уж и много. Невозможно представить себе, что XIII век так далеко, зато потом трудно поверить, что могло сохраниться столько церквей XIII века, и тем не менее во Франции их и в самом деле невероятно много. За несколько мгновений во мне оказалась проделана сложная работа, что происходит у тех людей, которые, с трудом поверив, что человеку, которого они знавали еще совсем юным, уже шестьдесят, затем, лет через пятнадцать, с еще большим изумлением узнают, что он все еще жив и ему всего лишь семьдесят пять. Я спросил у господина де Камбремера, как поживает его мать. «О! она очаровательна по-прежнему», — ответил он мне, употребив одно из этих определений, что в противополож-

ность племенам, где безжалостно относятся к престарелым родителям, в ходу в семьях, в которых возможности стариков производить самые простые, физические действия — нормально слышать, собственными ногами ходить к мессе, мужественно носить траур — свидетельствует, по мнению их детей, о необыкновенном нравственном величии.

У других, чьи лица казались не тронуты временем, была все же заметна некоторая затрудненность в движениях; можно было подумать, будто у них болят ноги, и только потом становилось понятно, что именно старость налила свинцом их колени. Некоторых она, напротив, украшала, среди них был принц Агригентский. На смену человеку высокому, худому, с тусклым взглядом, чьи волосы навсегда, казалось, обречены оставаться грязно-рыжими, в результате превращений, подобных метаморфозам насекомых, явился старик, у которого вместо рыжей шевелюры, столь привычной всем присутствующим, засверкала благородная седина. Его грудь приобрела неведомую доселе дородность, силу, почти воинственность, и это неизбежно повлекло за собой гибель хрупкой куколки бабочки, которую я знал когда-то; он был преисполнен собственной

значительности, а глаза излучали доброжелательность, которой он наделял каждого, на кого падал его взгляд. И поскольку, несмотря ни на что, все же существовало некое сходство между этим могущественным принцем и портретом, что остался в моей памяти, я любовался силой, с какой Время вершило свою работу по обновлению, не нарушив ни единства существа, ни законов жизни, просто изменив декорации и введя дерзкие контрасты в два последовательных облика одного и того же человека. Большинство из этих людей опознать можно было бы тотчас же, но они походили на собственные дурно выполненные портреты, собранные на одной выставке, где неумелый и недоброжелательно настроенный художник сделал черты одного резче, кожу другого менее гладкой, талию третьей полнее, а взгляд четвертого сумрачнее. Когда я сравнивал эти изображения с теми, что хранила еще моя память, нынешние, по правде сказать, нравились мне значительно меньше. Так очень часто одна из фотографий, предложенных нам на выбор каким-нибудь приятелем, нравится нам гораздо меньше, вот и здесь каждому человеку при взгляде на его изображение, что предлагалось мне, хотелось сказать: «Ну нет, только не эта, вы здесь

плохо получились, совсем не похоже». Я не осмелился бы добавить: «Вместо вашего чудесного прямого носа вам почему-то приделали крючковатый нос вашего отца, я вас таким совсем не знал». И в самом деле это был совершенно другой нос, хотя и обладавший фамильными чертами. Иными словами, художник по имени Время «представил» все эти модели таким образом, что они оказались узнаваемы, но не были при этом похожи, и вовсе не потому, что он им польстил, а потому, что состарил. Впрочем, художник этот работает очень медленно. Так едва намеченный эскиз лица Одетты, который я однажды заметил в лице Жильберты, Время довело в конце концов до разительного сходства, подобно тем художникам, которые подолгу хранят у себя произведения, не решаясь с ними расстаться, и год за годом вносят в них изменения.

Если старость некоторых женщин проявилась в том, что они стали подкрашиваться, то, напротив, именно в отсутствии румян выразилась старость у некоторых мужчин, на чьих лицах я ничего особенного не заметил, но которые тем не менее показались мне совсем другими с тех пор, как, потеряв надежду нравиться, они перестали и пытаться делать это. Среди них

был Легранден. Исчезновение с его губ и щек розовых красок, которые, по правде сказать, всегда казались мне искусственными, придало его лицу сероватый оттенок, а еще — скульптурную отточенность статуи, черты вырезанного из камня изваяния казались удлиненными и угрюмыми, как у некоторых египетских богов. Хотя, скорее, это был даже не бог, а привидение. Мало того что он перестал теперь румяниться, он перестал также смеяться, сверкать глазами, поддерживать изысканную беседу. Было странно видеть его таким бледным, подавленным, изредка цедящим ничего не значащие слова, которые произносят обычно мертвые, когда вызываешь их дух. Хотелось узнать, что за причина мешала ему быть живым, красноречивым, очаровательным, — такое же недоумение вызывает безликий «двойник» блестящего при жизни человека, которому на спиритическом сеансе задают вопросы, требующие остроумного ответа. Этой причиной, что подменила колоритного, стремительного Леграндена бледным и немощным призраком Леграндена, была старость.

Большинство из них я в конце концов узнал — узнал даже не столько их самих, сколько тех, какими были они прежде: например, Ски изме-

нился не больше, чем какой-нибудь увядший цветок или высохший плод. Он был словно незавершенный опыт, подтверждающий мои теории об искусстве. Других никак нельзя было назвать дилетантами, поскольку они являлись светскими людьми. Но и им тоже время не принесло зрелости, и, хотя на лоб и щеки была накинута сетка первых морщин, а голову венчал ореол седых волос, кукольные личики по-прежнему хранили игривость восемнадцати лет. Они были не стариками, но до крайней степени увядшими восемнадцатилетними юношами. Понадобилось бы совсем немного, чтобы стереть эти признаки увядания, и смерти не составит труда вернуть лицам былую юность: это будет не сложнее, чем почистить портрет, которому лишь небольшой слой пыли мешает сиять по-прежнему. Еще я думал о том, жертвами какой иллюзии мы становимся, когда, услыхав о каком-нибудь знаменитом старике, заранее верим в его доброту, справедливость, мягкость; я понимал, что, если сорок лет назад это был неприятный молодой человек, не было никаких оснований полагать, будто все его тщеславие, лицемерие, надменность и коварство куда-то вдруг исчезли.

И тем не менее я, к огромному своему изум-

лению, беседовал с мужчинами и женщинами, прежде совершенно несносными, которые постепенно утратили все свои недостатки, а возможно, сама жизнь, не оправдав или, напротив, удовлетворив все их стремления, исцелила от высокомерия и горечи. Выгодный брак, избавляющий вас от необходимости бороться или кичиться, благотворное влияние жены, медленно приходящее осознание ценностей иных, нежели те, в которые верит исключительно легкомысленная юность, позволили им усовершенствовать характер и показать все свои достоинства. Они, состарившись, похоже, приобрели другую индивидуальность, подобно тому, как деревья, меняя осенью цвет листвы, словно меняют и свою породу. Для них суть старения проявляется как нравственная категория. У других это, скорее, категория физическая, причем непривычная настолько, что особа (госпожа д'Арпажон, к примеру) казалась мне знакомой и незнакомой одновременно. Незнакомой, поскольку для меня было совершенно немыслимо представить себе, что это она, и я, отвечая на ее приветствие, не мог, несмотря на все свои старания, сдержаться и скрыть то проделанное мною умственное усилие, необходимое, чтобы выбрать из трех или четырех человек (сре-

ди которых госпожи д'Арпажон не было), чтобы понять, с кем это я здороваюсь с такой теплотой, которая должна была бы ее удивить, ибо, находясь в сомнениях и в то же время боясь показаться слишком холодным, если бы это вдруг оказалась моя близкая подруга, неуверенность взгляда я компенсировал улыбкой и твердым горячим рукопожатием. Но, с другой стороны, новый ее облик не был мне незнаком. Много раз в течение всей моей жизни я узнавал его в пожилых полных женщинах, но в ту пору мне не приходило в голову, что когда-то, много лет назад, они могли походить на госпожу д'Арпажон: эта внешность была настолько не похожа на ту, которая принадлежала этой даме, что можно было подумать, будто она, подобно сказочным персонажам, была обречена являться сначала в образе юной девушки, затем тучной матроны, а вскоре, вне всякого сомнения, это будет трясущаяся и сгорбленная старуха. Однако постепенно, по мере того как я всматривался в расплывшиеся контуры лица, нечеткие, словно изменчивая память, которая уже не в силах удержать прежние формы, мне удалось отыскать нечто, позволившее понемногу отсечь все эти квадраты и шестиугольники, что возраст налепил на ее щеки. Впрочем, женские

щеки украсились не только геометрическими фигурами.

Щеки герцогини Германтской, форма которых была вполне узнаваема, состояли теперь из множества разнообразных компонентов, как нуга: мне удалось различить какие-то странные серо-зеленые вкрапления, розоватый кусочек раскрошившейся раковины, утолщение непонятного происхождения, по размеру меньше шарика омелы и мутноватый, как жемчужина.

Некоторые мужчины заметно хромали, и было очевидно, что это не являлось следствием автомобильной аварии, а стало результатом первых апоплексических ударов, и многие из них, как говорится, стояли уже одной ногой в могиле. Что же касается женщин, то они, полупарализованные, казалось, были не в силах окончательно вытащить свои платья, застрявшие между плитами могильного склепа, и поэтому не могли выпрямиться, так и ходили с низко опущенной головой, согнутые в дугу, подобную той, на какой зависли они сейчас между жизнью и смертью, прежде чем окончательно соскользнуть вниз. Ничто не могло сопротивляться движению этой несущей их параболы, и когда они хотели выпрямиться и встать, мышцы их дрожали, а пальцы были не в

состоянии ничего удержать.

У некоторых даже волосы не поседели. Так я узнал старого камердинера принца Германтского, когда он подошел что-то сказать своему хозяину. Колючие волоски, которые топорщились на его щеках и вокруг черепа, по-прежнему остались рыжими, между ними виднелись розоватые проплешины, и, право, трудно было предположить, что он подкрашивается; подобно герцогине Германтской. Правда, от этого он не казался менее старым. Просто-напросто у людей, как и в растительном мире, существуют мхи, лишайники и другие виды, которые нисколько не изменяются с приближением зимы.

В действительности все эти перемены были атавистического порядка, и семейство — а порой даже, у евреев особенно, раса — блокировало те, что оставляло проходящее время. Неужели эти особенности рано или поздно отомрут? Отдельную особь я рассматривал всегда как нечто вроде колонии полипов — возьмем, к примеру, глаз, орган независимый, хотя и зависящий от остального организма: если в него вдруг попадает пылинка, он непроизвольно сморгнет, не дожидаясь команды разума; или вот еще, например, кишечник: если в него проникнет

вирус, он заражается без ведома того же разума; подобное можно было бы сказать про душу: на протяжении всей жизни расположенные рядом, хотя и отдельно, эти мои «я» умирали один за другим или чередовались между собой, как тогда, в Комбре, когда наступал вечер. Но я видел также, что эти нравственные частички, составляющие живое существо, живут гораздо дольше, чем оно само. Так я наблюдал, как пороки или храбрость Германтов перешли к Сен-Лу, равно как и все те странные недостатки и особенности характера, например, семитизм Свана. Я мог бы наблюдать это и у Блока. Несколько лет назад он потерял отца, и когда я в тот момент написал ему, поначалу он мне не ответил вовсе, потому что, помимо всех прочих чувств, особенно ярко выраженных именно в еврейских семьях, представление, что отец был человеком высшего порядка, придавало его любви к нему характер своеобразного культа. Он не мог вынести саму мысль о потере и целый год вынужден был находиться в специальной клинике. На мои соболезнования он ответил тоном глубоко прочувствованным и в то же время почти высокомерным, поскольку искренне полагал, будто я должен быть счастлив, что соприкоснулся с этим выдающимся челове-

ком, автомобиль которого он охотно отдал бы в какой-нибудь исторический музей. И теперь во время семейных обедов тот же гнев, каким некогда воодушевлялся господин Блок-отец против господина Ниссима Бернара, теперь вдохновлял Блока-сына против его тестя. Он так же яростно набрасывался на него за столом. Точно так же, слушая разговоры Котара, Бришо, многих других, я понимал, что, если судить по культуре и образу выражения, единое волнообразное движение распространяет во всех направлениях по всему пространству ту же манеру говорить, думать, равно как и на всем протяжении времени огромные донные волны поднимают из глубин лет тот же гнев, ту же печаль, ту же отвагу, то же безумие сквозь множество напластованных поколений, причем каждый многократно повторенный срез той же цепи множество раз проецирует, как тени на один за другим висящих экранах, картину тождественную, хотя и не столь ничтожную, той, что столкнула Блока-сына и его тестя, Блока-отца и Ниссима Бернара и множество других, с которыми я знаком не был.

Под шапками седых волос некоторые лица были уже отмечены окоченением, веки сомкнуты, как у людей, стоящих на пороге смерти, и

беспрестанно подрагивающие губы, казалось, бормотали последнюю молитву человека, находящегося в агонии. Для того чтобы хорошо знакомое лицо стало вдруг казаться совсем другим, можно было черные или белокурые волосы просто перекрасить в седой цвет. Так опытные театральные костюмеры знают, что одного лишь напудренного парика достаточно, чтобы загримировать актера и сделать его совершенно неузнаваемым. Юный граф де***, которого я, в ту пору еще лейтенанта, когда-то встретил в ложе герцогини Германтской в тот день, когда сама герцогиня Германтская находилась в бенуаре у своей кузины, по-прежнему отличался безукоризненно правильными чертами лица, более того, черты эти стали теперь еще правильнее, так неподвижность, физиологически свойственная артеросклерозу, еще больше подчеркивала бесстрастную правильность физиономии денди и придавала его чертам напряженную четкость, казавшуюся из-за неподвижности почти гримасой, как на этюдах Мантеньи или Микеланджело. Цвет лица, отличавшийся прежде яркостью красок, теперь казался одухотворенно бледным; серебряные волосы, здоровая полнота, благородная осанка дожа, аристократическая усталость,

кажущаяся порой сонливостью, — все это наделяло его новой внешностью и дарило роковым величием. Квадрат седой бороды, пришедший на смену ровно такому же квадрату белокурой, менял его едва ли не до неузнаваемости, и, когда я обратил внимание, что этот самый младший лейтенант, которого я встречал когда-то, теперь имел пять нашивок, первой моей мыслью было поздравить его, но не за производство в чин полковника, а за то, что ему так замечательно шел маскарадный костюм полковника, для которого он, казалось, позаимствовал не только соответствующий мундир, но торжественный и печальный вид прославленного офицера, каким был его отец. Седая борода, сменившая белокурую, поскольку лицо оставалось живым, улыбающимся и юным, придав еще большую яркость цвету лица, подчеркнула, сделав еще более блестящими, глаза и по-прежнему юному лицу подарила вдохновенный облик пророка.

Превращения, какие произвели седые шевелюры и прочие элементы, особенно у женщин, поразили бы меня не столь сильно, будь это всего лишь изменения в окраске и только, это могло бы поразить лишь взгляд, но нет, изменились личности, и это не могло не волновать разум. В

самом деле, «узнать» кого-то или, хуже того, так и не узнав, все-таки идентифицировать, означает осознать под одним именем существование двух противоречащих друг другу понятий, это означает допустить, что того, кто был здесь, того, кого мы помним, больше уже не существует, а тот, кто сейчас рядом с нами находится, совершенно нам незнаком; это означает необходимость разгадать загадку почти столь же волнующую, как и тайна смерти, предвестницей и прелюдией которой она, в сущности, и была. Ибо я прекрасно понимал, что означали эти изменения, что именно они предваряли. Эта белизна волос вкупе с другими изменениями особенно поражали у женщин. Мне назвали имя, и я был потрясен при мысли о том, что оно принадлежит одновременно и той легко вальсирующей блондинке, которую я знал прежде, и грузной седовласой даме, только что тяжелой поступью прошествовавшей мимо. Это имя — еще, быть может, розоватый тон увядшей кожи — пожалуй, было единственным, что имелось общего у этих двух женщин — одна из них принадлежала моей памяти, другая этому празднику у Германтов — ныне столь же непохожих, как два театральных персонажа, инженю и старая богатая вдова. Чтобы жизнь

в конечном итоге одарила легкую танцовщицу этим грузным телом, замедлила, словно по указке метронома, порывистые движения, чтобы, оставив одну-единственную общую черточку, розоватые щеки, ставшие со временем несколько полнее, но почти не утратившие своих красок, она невесомую блондинку превратила в старого пузатого маршала, ей пришлось произвести более опустошительное разрушение и более серьезную реконструкцию, чем если бы нужно было поставить купол вместо шпиля колокольни, и стоило лишь подумать, что подобная работа была проделана не над безжизненной материей, а над плотью, которая изменяется незаметно, постепенно, потрясающий контраст между нынешним явлением и существом, оставшимся у меня в памяти, отодвигало это последнее в прошлое столь далекое, что оно казалось почти неправдоподобным. С огромным трудом можно было сопоставить эти две внешности, наделить эти два существа одним именем, ибо если трудно представить себе, что мертвый был некогда живым, или тот, кто когда-то был жив, теперь умер, почти столь же трудно (ибо уничтожение юности, деструкция полной сил и изящества личности — это уже первый шаг в небытие) осознать, что

та, которая была молодой, теперь состарилась, когда облик этой самой старухи, вставший рядом с обликом молодой девушки, кажется, настолько его исключает, что, сменяя одна другую, старуха, молодая девушка, снова старуха казались нам всего-навсего сном, и нельзя было бы поверить, будто последняя когда-то была первой, будто материя, несмотря на замысловатые ухищрения времени, была той же самой материей, не покинувшей тела, — если бы не некоторые признаки, например, то же имя или свидетельства друзей, которым и придает видимость правдоподобия роза, когда-то затерянная меж золотистых колосьев, а теперь занесенная снегом.

Впрочем, точно так же как и для снега, степень белизны волос, казалось, свидетельствовала о бездне прожитого времени, подобно горным вершинам, которые, даже явившись взгляду на одной линии со всеми другими, тем не менее все же выдают свою высоту по уровню снежного покрова. Хотя и это не всегда было так, особенно в отношении женщин. Так, пряди принцессы Германтской, которые, будучи пепельными и блестящими, казались серебристым шелковым покрывалом вокруг выпуклого лба, став седыми, приобрели тусклую матовость пакли и казались

из-за этого серыми, словно грязный снег, утративший былой блеск.

Часто все эти белокурые танцующие дамы вместе с седыми париками присваивали себе не просто недоступную им прежде дружбу герцогинь. Но их, умевших прежде разве что танцевать, теперь озарило своей благодатью искусство. И как знаменитые женщины XVII века искали прибежище в религии, они теперь жили в квартирах, увешанных кубистскими полотнами, и какой-нибудь художник-кубист творил лишь ради них, а они жили ради него. Что касается стариков, чьи черты лица претерпели изменения, они пытались, однако, зафиксировать их в определенном состоянии, одном из тех мимолетных выражений, что принимают лишь на мгновение, позируя фотографу, и с помощью которых пытаются если и не извлечь выгоду из представившихся обстоятельств, то скрыть порок; казалось, они окончательно превратились в собственные моментальные фотоснимки.

Всем этим людям пришлось потратить столько времени на облачение в маскарадные костюмы, что это прошло практически незаметно для тех, кто жил рядом с ними. Им была даже предоставлена некая отсрочка, и довольно долго они имели

возможность оставаться самими собой. Но затем это отсроченное переодевание происходило в ускоренном темпе, оно было неизбежно в любом случае. Прежде мне не удавалось уловить никакого сходства между госпожой Икс и ее матерью, которую я знал лишь в старости, когда она стала походить на маленького приземистого турка. И в самом деле, саму госпожу Икс я в течение многих лет знал очаровательной и стройной, и она в течение многих лет таковой и оставалась, ибо как особа, которая перед наступлением темноты должна не забыть переодеться в турчанку, она приступила к этому с опозданием, и в итоге это изменение внешности произошло внезапно и стремительно, госпожа Икс почти мгновенно скрючилась и с точностью воспроизвела внешность старой турчанки, словно примерила маскарадный костюм своей матери.

Были здесь люди, родственников которых мне в свое время приходилось знать, хотя прежде не случалось замечать у них общих черт; и, любуясь старым седовласым отшельником, в которого превратился Легранден, я тотчас же удостоверился, можно сказать, с удовлетворением сделал открытие в зоологии, что в очертании его щек проступает рисунок щек его юного племянника,

Леонора де Камбремера, который при этом нисколько на него не походил; к этой первой общей черте я прибавил еще одну, которую не заметил у Леонора де Камбремера, затем — следующую, но это не были те черты, что, как правило, обобщали для меня его молодость, так что вскоре мне показалось, будто передо мной карикатура, причем гораздо более точная, более верная, чем если бы здесь имело место буквальное сходство; его дядя казался мне теперь всего-навсего юным Камбремером, который забавы ради решил переодеться в старика, каким в действительности однажды и станет; не то, во что превратились прежние молодые люди, а то, во что превратятся молодые люди нынешние, — вот что заставляло меня с необыкновенной силой ощущать Время.

Утратив черты, которые свидетельствовали пускай даже не о красоте, но хотя бы о молодости, женщины пытались обнаружить, нельзя ли с тем лицом, что у них осталось, отыскать другую молодость. Переместив если не центр тяжести своего лица, то угол зрения, компонуя вокруг него новые черты в зависимости от новых признаков, они в свои пятьдесят лет расцветали новой красотой, подобно тому как порой на склоне лет овладевают новой профессией или на некогда плодородной

земле, уже выдохшейся и не могущей родить виноград, начинают выращивать свеклу. Вокруг этих новых черт расцветала новая молодость. И только слишком красивые или слишком уродливые женщины так и не смогли приспособиться к такого рода перевоплощениям. Первые, как мраморные изваяния, идеальные линии которого не могли вынести никаких изменений, просто рассыпались, как статуи. Вторые, отличавшиеся безобразной внешностью, имели, как это ни странно, даже некоторые преимущества перед первыми. Прежде всего, именно их можно было узнать с первого взгляда. Ведь было известно, что во всем Париже не найти двух подобных ртов, и именно этот рот я с легкостью узнавал на празднике, где не узнавал вообще ничего и никого. И потом, они даже не казались постаревшими. Старость — категория человеческая, а они были монстрами, и, похоже, «изменились» не больше, чем какие-нибудь киты.

Некоторые мужчины и женщины, казалось, не постарели вовсе: осанка по-прежнему оставалась стройной, лицо — таким же молодым. Но если, желая поговорить с ними, вы приближались настолько, что удавалось вблизи разглядеть эту гладкую кожу и тонкие черты лица, оно пред-

ставлялось совсем другим — так бывает порой, когда рассматриваешь срез растения или, например, капельку воды или крови под микроскопом. Так под кожей, казавшейся до сих пор гладкой, я начинал различать какие-то жировые катышки, и к горлу подкатывала волна отвращения. Сами очертания лиц тоже страдали от этого приближения. Линия носа вблизи казалась изломанной, закругленной, а на самом носу обнаружились такие же сальные отложения, что и на других частях лица; глаза оказывались припухшими, с набрякшими нижними веками, и это немедленно разрушало сходство этого лица с прежним, которое, как вам казалось, вы узнали. Таким образом, что касается этих гостей, они были молоды при взгляде издалека, возраст прибавлялся, когда уменьшалось расстояние и менялся ракурс, с которого мы имели возможность их разглядывать; можно сказать, что возраст зависел от зрителя, которому надлежало самому отрегулировать расстояние и встать так, чтобы видеть эти лица, но видеть с далекого расстояния, уменьшающего предмет, как оптическое стекло, что подбирает оптик человеку, страдающему дальнозоркостью; для них старость, подобно наличию инфузорий в капельке воды, была не столько следствием

возраста, сколько указанием масштаба.

Я встретил здесь одного из прежних своих приятелей, с которым когда-то в течение десяти лет виделся почти ежедневно. Теперь мы были вновь представлены друг другу. Я подошел к нему, и он произнес голосом, который я тотчас же узнал: «Как мне приятно увидеть вас вновь после стольких лет». Но, Боже мой, как я был удивлен! Казалось, этот голос воспроизведен усовершенствованным фонографом, он действительно принадлежал моему другу, но исходил из гортани какого-то толстого седеющего человека, совершенно мне незнакомого, и с этого момента мне казалось, что здесь имеет место что-то искусственно подстроенное, некий механический трюк, каким-то образом голос моего товарища поместили в этого толстого старика. И тем не менее я знал, что это был именно он: человек, представивший нас друг другу после столь длительного перерыва, был кем угодно, только не мистификатором. Мой бывший приятель объявил, что я ничуть не изменился, из чего я заключил, что он сам считает, будто ничуть не изменился. Тогда я стал всматриваться в него пристальней. И в целом пришел к выводу, что, если не считать изрядной полноты, в нем осталось довольно много

от него же прежнего. И все же я упорно не верил, что это был именно он. Тогда я стал припоминать. В молодости у него были синие глаза, всегда смеющиеся, необыкновенно живые, вечно ищущие нечто, о чем я не имел представления, что-то совершенно бескорыстное, истину, без сомнения; была еще в его взгляде этакая неуверенность, даже детскость, ребяческое любопытство ко всем друзьям дома. Когда же этот человек стал влиятельным, умным, деспотичным политиком, его синие глаза, так, впрочем, и не нашедшие того, чего искали, сделались неподвижными, что придавало его взгляду неприятную пристальность, словно он смотрел из-под насупленных бровей. А еще выражение веселости, беспечности и наивности исчезло, уступив место хитрости и скрытности. Я окончательно уверился, что это совершенно другой человек, когда вдруг, в ответ на какую-то свою фразу, услыхал его смех, прежний заливистый смех, который так подходил к его живому, веселому, радостному взгляду. Меломаны считают, что музыка композитора Х. в обработке композитора У. звучит абсолютно по-другому. Профанам не уловить подобных нюансов. Но радостный детский смех под взглядом пристальным и острым, как хорошо отточенный синий

карандаш, это нечто большее, чем просто другая оркестровка. Смех прекратился, мне бы очень хотелось узнать своего друга, но, подобно тому, как Одиссей устремляется к тени умершей матери, как спирит напрасно пытается добиться от духа ответа, позволившего бы его идентифицировать, как посетитель выставки электрических приборов никак не может поверить, что голос, который в точности воссоздает фонограф, принадлежит человеку, только что специально произнесшему несколько фраз, так и я окончательно перестал узнавать своего друга.

Следует, однако, сделать одну оговорку: для некоторых людей сроки могут быть ускорены или замедлены. Так года четыре или пять назад я случайно столкнулся на улице с виконтессой де Сен-Фиакр (невесткой одной приятельницы Германтов). Казалось, ее точеные черты лица должны были обеспечить ей вечную молодость. Впрочем, она и была еще достаточно молода. Но я, несмотря на все ее улыбки и приветственные слова, так и не смог узнать ее в этой даме с чертами, искромсанными настолько, что сам рисунок ее лица стал неузнаваем. Оказывается, уже года три она употребляла кокаин и другие наркотики. Ее обведенные черными кругами глаза были почти

безумны. Рот перекосила странная ухмылка. Как мне сказали, она впервые поднялась специально ради этого праздника, пролежав до того в постели или шезлонге несколько месяцев. У Времени тоже есть свои экспрессы и поезда специального назначения, которые очень быстро доставляют к преждевременной старости. Но по параллельным путям в обратном направлении несутся другие поезда, почти с такой же скоростью. Господина де Курживо я принял за его собственного сына, до такой степени он выглядел моложе (ему, должно быть, уже перевалило за пятьдесят, а он казался не старше тридцатилетнего). Он нашел умного врача, перестал употреблять алкоголь и соль; он вернулся к своему тридцатилетию, а в тот самый день ему и тридцати нельзя было дать. Дело в том, что как раз нынче утром он подстригся.

Странное дело, свойства такого феномена, как старение, похоже, зависят от социальных аспектов и образа жизни. Некие знатные господа, из тех, что взяли привычку носить самую простую одежду и старые соломенные шляпы, да такие, от которых отказались бы и плебеи, состарились совершенно таким же образом, как садовники или крестьяне, среди которых им приходилось жить. На лицах проступили коричневые пятна, а

кожа пожелтела, потемнела, как книжные листы от времени.

Я подумал еще обо всех отсутствующих здесь, чьи силы были уже на исходе; секретари, пытающиеся поддержать иллюзию, будто те все еще живы, время от времени посылали принцессе депеши с извинениями от имени этих больных, существующих на грани жизни и смерти уже многие годы, которые больше не встают с постели, которые почти недвижимы и даже во время визитов многочисленных посетителей, привлеченных любопытством экскурсантов или доверчивостью туристов, лежат с закрытыми глазами, перебирая четки, с чуть приспущенным одеялом, напоминающим погребальный саван, похожие на надгробные памятники в виде лежащей фигуры, которые боль истончила до скелета из твердой и белой, как мрамор, плоти, и положила на их собственные могилы.

Женщины изо всех сил пытались удержать то, что составляло основу их былого очарования, но материя нового лица уже не позволяла им этого. Если только представить себе, сколько времени должно было пройти, прежде чем завершилась эта смена геологических пород на лице, было невыразимо страшно наблюдать глубокую

эрозию носогубных складок, огромные наносы пород вдоль щек, облепившие лицо бесцветной бугристой массой.

Без всякого сомнения, некоторые женщины были еще вполне узнаваемы, лица оставались почти прежними, разве только, пытаясь соответствовать определенному времени года, они вынуждены были надеть седые парики, украшения, приличествующие осени. Но у других женщин, да и у мужчин тоже, перемена была столь разительной, внешность столь неузнаваемой — например, черноволосый кутила, оставшийся в памяти, и этот старый монах, что стоял теперь передо мной, — что эти фантастические превращения наводили на мысль не столько об актерском искусстве, сколько о представлении величайших имитаторов, самым ярким представителем которых остается незабвенный Фреголи. Старая женщина с трудом удерживала слезы, осознав, что непостижимая задумчивая улыбка, некогда составлявшая ее прелесть и очарование, уже не в силах была озарить гипсовую маску, наклеенную временем на ее лицо. В отчаянии от того, что не может больше нравиться, сочтя более мудрым безропотно смириться, она сама надела на себя театральную маску, чтобы вызвать смех!

Но почти все женщины не знали устали в своих попытках бороться с возрастом, и вослед своей красоте, что ускользала от них, словно заходящее солнце, хотя бы последние лучи которого они страстно пытались удержать, тянули зеркала своих лиц. Чтобы достичь этого, некоторые из них пытались как-то сгладить, отбелить как можно больше поверхности, отказавшись от пикантных ямочек, над которыми нависла угроза, от шаловливой улыбки, которая тоже была обречена и уже почти беспомощна; в то время как другие, видя, что красота исчезает бесследно, и вынужденные прибегнуть к особенной выразительности, подобно тому как потерю голоса компенсируют преувеличенно четкой дикцией, цеплялись за капризную гримаску, лукавый взгляд, а порой и за улыбку, которая из-за потери координации лицевых мышц не удавалась им больше, и казалось, будто они вот-вот заплачут.

Впрочем, что касается мужчин, которые не слишком заметно изменились, только поседели усы и т. д., все равно чувствовалось, что перемены эти не только физические. Казалось, мы наблюдали их сквозь какой-то окрашенный пар, цветное стекло, которое, конечно же, изменяло облик, но прежде всего благодаря этой неотчетливости

показывало: то, что позволяло нам видеть «природное величие», было в действительности очень далеко от нас, правда, в отдалении не только временном, но и пространственном, из глубины которого, словно с другого берега, мы ощущали, что им так же трудно узнать нас, как нам — их. Одна, быть может, госпожа де Форшевиль, словно пропитанная чем-то вроде парафина, выглядела прежней кокоткой, навсегда «забальзамированной».

«Вы принимаете меня за мою мать», — сказала мне Жильберта. Так оно и было. Впрочем, это выглядело почти любезностью: мы исходим из мысли, что люди остались прежними, а оказывается, они постарели. Но если изначально признать как данность, что они постарели, при встрече обнаруживаешь, что не так уж все и плохо. Что же касается Одетты, дело было не только в этом: если знать ее возраст и ожидать увидеть перед собой пожилую даму, то ее внешность противоречила законам хронологии больше, чем сохранение в материи радия — законам природы. И если я узнал ее не сразу, так это не потому, что она сильно изменилась, а как раз потому, что она не изменилась вовсе. Уже в течение целого часа пытаясь осознать, что нового прибавило время к

людям и что необходимо вычесть, чтобы вновь обрести их такими, какими я знал их когда-то, я быстро произвел подсчет лет, прожитых ею, и получил в результате особу, которая, как мне показалось, никак не могла быть той, что я видел перед собой, прежде всего потому, что она слишком походила на ту, прежнюю. Где здесь были румяна и краски? Со своими золотистыми, гладко причесанными волосами, похожими на растрепанный шиньон большой механической куклы на удивленном и застывшем, тоже кукольном, личике, на которых громоздилась такая же плоская, как и прическа, соломенная шляпка времен выставки 1878 года (на которой она выглядела бы, вне всяких сомнений, особенно будь она в том же возрасте, что и сейчас, самой что ни на есть фантастической диковиной) — она имела такой вид, будто только что продекламировала свои куплеты на каком-нибудь рождественском ревю, но на этой выставке она могла бы сойти совсем за молодую женщину.

Неподалеку от нас прошел министр еще добуланжистской эпохи, вновь ставший министром, — прошел, послав дамам дрожащую и безучастную улыбку, словно стиснутую крепчайшими оковами прошлого, — скорее, даже

проплыл, подобно плохо различимому призраку, которого вела, как марионетку на ниточке, чья-то невидимая рука, он стал меньше ростом, изменил свою субстанцию, стал походить на собственную уменьшенную копию, выполненную из пемзы. Этот бывший премьер, столь хорошо принимаемый в предместье Сен-Жермен, некогда был объектом уголовных преследований, его ненавидели свет и народ. Но, благодаря появлению новых индивидуумов в составе того и другого, а в уже существующих индивидуумах — появлению новых страстей и даже новых воспоминаний, никто уже об этом не помнил, и министра почитали. Так, каким бы нестерпимым ни казалось унижение, разве нельзя смириться с ним с легкостью, если знаешь, что по прошествии всего лишь нескольких лет наши ошибки забудутся и превратятся в невидимые песчинки, над которыми станет смеяться торжествующая цветущая природа. Человек, в настоящий момент опороченный, однажды окажется — ведь время уравновешивает все — принят новыми социальными слоями, которые будут испытывать к нему почтение и восхищение, и наконец ощутит покой. Но подобного рода работа доверена одному лишь времени и никому больше; и в минуту

невзгод ничто не может человека утешить, если какая-то юная молочница напротив слышит, как толпа кричит ему «взяточник» и грозит кулаком, когда его заводят в полицейский фургон, та самая молочница, которая не способна видеть события в перспективе и не ведает, что люди, превозносимые утренней газетой, когда-то были опозорены, а человек, который сегодня едва избежал тюрьмы и, быть может, при мысли об этой юной молочнице униженно подыскивает оправдания, чтобы завоевать ее симпатию, в один прекрасный день окажется превознесен прессой и обласкан герцогинями. Точно так же время отдаляет и семейные ссоры. Даже сегодня на празднике у герцогини Германтской можно было встретить чету, мужа и жену, чьими близкими родственниками были два человека, ныне уже покойных, которым в свое время мало показалось взаимных оскорблений, так один из них, чтобы унизить противника еще больше, послал другому в качестве секундантов консьержа и дворецкого, давая понять, что люди благородного происхождения слишком хороши для него. Но все эти истории остались на страницах газет тридцатилетней давности, и сегодня ни одна живая душа о них не помнит. Так что салон принцессы Германтской был залит

светом, убран цветами и окутан забвением, как мирное кладбище. Время не только превратило в руины прежние создания, оно сделало возможным возникновение новых сообществ.

Если вернуться вновь к тому политику, несмотря на все изменения физического порядка, столь же значительные, как и трансформация представлений публики по поводу его моральных качеств, одним словом, несмотря на такое количество лет, прошедших с тех пор, как он был председателем кабинета, этот председатель сорокалетней давности теперь состоял членом нового кабинета, глава которого вручил ему портфель, подобно тому как какой-нибудь директор театра мог доверить роль одной из своих прежних приятельниц, давно уже ушедших со сцены, но которых он считает более способными, нежели молодое поколение, тонко сыграть эту роль, и которые к тому же, как ему известно, испытывают материальные трудности, они в свои без малого восемьдесят лет еще демонстрируют публике свой талант во всей его красе, нисколько не пострадавший от времени, и впоследствии остается только удивляться, когда оказывается, что дело происходило за несколько дней до их смерти.

Что же касается госпожи де Форшвиль, то здесь

произошло чудо совсем другого свойства: нельзя было даже сказать, что она помолодела, скорее — со всей этой рыжиной и карминной яркостью — расцвела вновь. Она была даже больше, чем воплощением Всемирной выставки 1878 года, на сегодняшней выставке растений она стала бы истинной достопримечательностью и самым ценным экспонатом. Впрочем, я и не ожидал услышать от нее: «Я — Выставка 1878 года», скорее уж: «Я — аллея Акаций 1892 года». Похоже, она так там и оставалась до сих пор. Хотя как раз именно потому, что она не изменилась, казалось, она и не жила вовсе. Она походила на искусственную розу. Я поздоровался с нею, и она какое-то время силилась отыскать на моем лице мое имя, как нерадивый ученик — ответ на лице экзаменатора, хотя этот ответ ей проще было бы найти в собственной голове. Я назвался, и тотчас же, словно бы благодаря звукам этого имени, с меня спали колдовские чары и я перестал выглядеть земляничником или кенгуру, облик которых, мне, вне всякого сомнения, придавал мой возраст, она узнала меня и заговорила голосом своеобразным и неповторимым, каким люди, некогда аплодировавшие ей в небольших театриках, были столь очарованы и, будучи приглашены на ужин с нею

куда-нибудь «в город», ловили эти интонации в каждом ее слове на протяжении всей беседы. Этот голос остался таким же, понапрасну теплым, берущим за душу, с едва заметным английским акцентом. И тем не менее, подобно тому как глаза ее, казалось, смотрели на меня с далекого берега, голос был грустным, почти умоляющим, как голоса мертвых в «Одиссее». Одетта до сих пор могла бы играть на сцене. Я сделал комплимент ее молодости. Она ответила: «Благодарю, my dear, вы так любезны», — и, словно ей было невероятно трудно любому чувству, даже самому искреннему, придать естественное, человеческое выражение, многократно повторила: «Благодарю вас, благодарю». Но мне, который когда-то проделывал столь длинный путь, чтобы хоть мельком увидеть ее в Булонском лесу, с упоением, словно драгоценные жемчужины, ловил звуки ее голоса, когда мне посчастливилось оказаться у нее впервые, теперь казались нескончаемыми минуты, проведенные рядом с нею, потому что было решительно непонятно, о чем говорить, и я удалился, размышляя о том, что слова Жильберты «вы принимаете меня за мою мать» не просто отражали правду, но к тому же были для дочери истинным комплиментом.

Впрочем, не только у этой последней проявились семейные черточки, которые до сих пор были столь же незаметны на ее лице, как зернышки, свернувшиеся в своей оболочке, про которые совершенно невозможно догадаться, когда и каким именно образом проклюнутся они на поверхность. Так, у одной годам к пятидесяти вдруг, откуда ни возьмись, нос, до сих пор прямой и ровный, украсится материнской горбинкой. А у другой, дочери банкира, свежий, как у цветочницы, цвет лица вдруг приобретает рыжеватые и медные оттенки, словно на щеки отбросит свой отблеск золото, с которым так часто имел дело ее отец. Некоторые из них в итоге становились похожи на кварталы, в которых жили, словно неся на своих лицах отражение улицы Аркад, авеню дю Буа, Елисейских Полей. Но отчетливее всего они воспроизводили черты собственных родителей.

Увы, навсегда остаться такой Одетта не могла. Меньше чем три года спустя, ее, не то чтобы впавшую в детство, но какую-то размягченную, я повстречал на вечере, который давала Жильберта; она была уже неспособна скрыть под неподвижной маской то, о чем думала (хотя «думала» — это сильно сказано), то, что чув-

ствовала, опустив голову, крепко стиснув губы, передергивая плечами при каждом ощущении, что приходило к ней, как это делает пьяница или ребенок, как это делают некоторые поэты, не осознающие, где находятся, вдохновенные, присоединяются к остальным и, направляясь к столу под руку с удивленной дамой, хмурят брови и гримасничают. Ощущения и впечатления госпожи де Форшвиль — кроме одного-единственного, что и привело ее на этот самый вечер, нежность к горячо любимой дочери, гордость за нее, сумевшую собрать столь блестящее общество, гордость, к которой примешивалась некоторая доля грусти, потому что сама она была уже никем и ничем, — эти впечатления были нерадостными и внушали ей необходимость постоянно обороняться против публичных оскорблений, которым она подвергалась, обороняться боязливо, как затравленный ребенок. Повсюду только и слышалось: «Даже не знаю, помнит ли меня госпожа де Форшвиль, наверное, мне следовало бы представиться ей заново». — «Вот уж об этом можете не беспокоиться», — отвечали в ответ на это в полный голос, нисколько не думая о том, что мать Жильберты может все услышать (даже не то чтобы не думая, а просто нисколько об этом не беспокоясь). «Это

совершенно бесполезно. Ради вашего же блага, оставьте ее в покое. Она же, сами видите, немного чокнутая». Госпожа де Форшвиль бросала украдкой на нечутких собеседников взгляд своих по-прежнему прекрасных глаз, затем поспешно отводила их, дабы не выглядеть неучтивой, и все-таки, глубоко задетая оскорблением, силясь скрыть свое немощное негодование, трясла головой, глубоко дышала, вздымая грудь, бросала новый взгляд на очередного невежливого гостя, но не была при этом чрезмерно удивлена, поскольку, уже несколько дней чувствуя себя неважно, пыталась намекнуть своей дочери, что лучше бы перенести праздник, но та отказалась. От этого госпожа де Форшвиль отнюдь не перестала ее любить; все эти герцогини, оказавшие им честь своим посещением, всеобщее восхищение новым особняком переполняли радостью ее сердце, и, когда появилась маркиза де Сабран, воплощавшая собой наивысшую ступеньку социальной лестницы, куда пробиться было столь непросто, госпожа де Форшвиль окончательно уверилась, что оказалась умной и предусмотрительной матерью и что ее материнский долг исполнен до конца. Вновь прибывшие усмехающиеся гости снова заставили ее бросать выразительные

взгляды и разговаривать сама с собой, — если разговаривать означает говорить на немом языке, что выражается лишь жестикуляцией. Все еще очень красивая, она стала — какой не была никогда — еще и бесконечно обаятельной, ибо она, обманывавшая Свана и всех вокруг, теперь столкнулась с тем, что отныне обманывали именно ее, и она стала такой слабой, что уже не решалась, настолько поменялись все роли, защищаться от людей. Вскоре она перестанет защищаться и от самой смерти. Но, позволив себе это отступление, вернемся теперь вновь на три года назад, то есть к приему у принцессы Германтской.

Мне с трудом удалось узнать моего приятеля Блока, который, впрочем, взял не просто псевдоним, но другое имя, став отныне зваться Жаком дю Розье, и теперь понадобилась бы интуиция моего деда, чтобы распознать под этим именем «сладостную долину» Хеврона и «Израилевы цепи», которые мой друг, похоже, разорвал окончательно. В самом деле, английский шик изменил до неузнаваемости его внешность и окончательно сгладил то, что только можно было сгладить. Некогда курчавые волосы теперь были гладко причесаны с пробором посередине и блестели от бриолина. Нос остался таким же

крепким и красным, но теперь казался скорее распухшим от хронического насморка, которым можно было объяснить некоторую гнусавость, с какой Блок лениво цедил фразы, поскольку он, похоже, подобрал не только подходящую к цвету лица прическу, но и подобающий произношению голос, в котором эта гнусавость, присущая ему всегда, придавала отныне презрительный тон всему, что он говорил, вполне при этом соответствуя воспаленным крыльям носа. И благодаря этой новой прическе, сбритым усам, элегантности, новому английскому типу, волевым усилиям этот ярко выраженный еврейский нос исчез — так кажется почти стройной правильно одетая горбунья. Но, что бросалось в глаза прежде всего, само выражение лица Блока изменилось благодаря ужасающему моноклю. То, что привнес этот самый монокль в лицо Блока, избавляло его, то есть его лицо, от всех непростых обязанностей, каковые обычно вменяются лицу: казаться красивым, умным, выражать благожелательность, волю. Благодаря одному лишь присутствию этого монокля на лице Блока отпадала необходимость задаваться вопросом, красиво оно или нет, — так, когда приказчик перед витриной с этими английскими вещицами говорит, что «это шикарно»,

можно уже не спрашивать себя, нравится вам или нет. С другой стороны, за стеклом своего монокля он обосновался в позе высокомерной, отстраненной, комфортной, словно это было стекло не монокля, а восьмирессорного экипажа, и, чтобы вполне соответствовать этому моноклю и лицу с прилизанной прической, черты его перестали выражать вообще что бы то ни было.

Блок попросил, чтобы я представил его принцу Германтскому, проделать это не составило для меня и сотой доли тех трудностей, с которыми я столкнулся в тот день, когда впервые был у них на вечере, и тогда мне казалось это совершенно естественным, теперь же, напротив, мне казалось столь простым делом представить ему одного из его приглашенных, мне бы даже не составило труда без предупреждения привести сюда и представить кого-нибудь из неприглашенных. Было это, быть может, оттого, что уже с давних пор я сделался «своим», хотя теперь уже несколько «позабытым» для этого мира, который теперь приходилось открывать заново; а быть может, напротив, потому что, не будучи по-настоящему человеком светским в полном смысле этого слова, перестал замечать, стоило лишь победить собственную робость, все те сложности и условности,

которые существовали для них; а может быть, по причине того, что, поскольку присутствующие здесь люди сбросили постепенно свой первый (а зачастую и второй, и даже третий) ненастоящий облик, за презрительным высокомерием принца я чувствовал жажду узнать, познакомиться с этими людьми, презрение к которым он так явно демонстрировал. А возможно, это было потому, что сам принц изменился тоже, как все эти напыщенные гордецы, юные и не очень, которым старость дарит мягкость (тем более что с новыми людьми и незнакомыми идеями, которым они сопротивлялись, на самом деле они знакомы были давно и знали, что и те, и другие повсюду были приняты благосклонно), и особенно если старость использует некие вспомогательные средства, добродетели или же пороки, что способствуют обращению, к примеру, того же принца в дрейфусарство.

Блок расспрашивал меня, как некогда и я, впервые появившись в свете, как мне и до сих пор случалось это делать, о людях, которых я знал когда-то и которые были столь же далеко, столь же обособленно от всего, как все эти обитатели Комбре, которым мне так часто хотелось определить точное «место». Но Комбре был для меня

устройством до такой степени особенным, его было до такой степени невозможно спутать ни с чем другим, что он представлялся мне кусочком мозаики, для которого я никогда не мог найти места на карте Франции. «Так, стало быть, принц Германтский не может мне ничего сообщить ни о Сване, ни о господине де Шарлюсе?» — спросил меня Блок, у которого я давно уже позаимствовал манеру разговаривать и который теперь имитировал мою. «Ни о том, ни о другом». — «Но что же в них такого особенного?» — «Вам следовало бы побеседовать с обоими, но это, увы, не представляется возможным: Сван умер, а господин де Шарлюс недалек от смерти. Но люди это были и впрямь примечательные». И, видя, как загорается Блок при мысли о том, что же могло статься с этими столь примечательными особами, я думал, что в разговоре с ним несколько преувеличивал удовольствие, что испытывал, общаясь с обоими, чувствуя его на самом деле лишь когда находился один, а подлинное восхищение имеет место лишь в нашем воображении. Заметил ли это Блок? «Ты, вероятно, слишком приукрашиваешь, — сказал он мне, — а вот еще хозяйка дома, принцесса Германтская: мне ведь прекрасно известно, что она уже немолода, но не так уж давно ты сам говорил

о ее необыкновенном обаянии, о невероятной красоте. Нет, я, конечно, признаю, выглядит она прекрасно, и ее глаза, как ты и говорил, просто великолепны, но, по правде сказать, я не нахожу ее столь уж поразительно красивой. Конечно, порода есть порода, но все-таки…» Мне пришлось объяснить Блоку, что речь шла совершенно о другой особе. В самом деле, принцесса Германтская уже скончалась, а принц, разорившись в результате поражения Германии, женился на бывшей госпоже Вердюрен. «Не может быть, ты ошибаешься, я собственными глазами видел в ежегоднике Гота, — наивно заявил мне Блок, — что принц Германтский, живущий в особняке, в котором мы с тобой сейчас находимся, женился, и супруга его, погоди-погоди, сейчас вспомню, да, вот, женился на Сидони, герцогине де Дюрас, урожденной де Бо». В самом деле, госпожа Вердюрен вскоре после смерти своего супруга вышла замуж за старого герцога де Дюраса, к тому времени разорившегося, благодаря чему сделалась кузиной принца Германтского, а муж ее скончался через два года после свадьбы. Для госпожи Вердюрен эта промежуточная станция оказалась весьма полезной, и теперь она третьим браком стала принцессой Германтской и

получила в предместье Сен-Жермен совершенно исключительное положение, которое вызвало бы немалое удивление в Комбре, где дамы с улицы де л'Уазо, дочь госпожи Гупиль и невестка госпожи Сазра, все эти последние годы, посмеиваясь, говорили о «герцогине де Дюрас», словно это была роль, которую госпожа Вердюрен исполняла в спектакле. Более того, поскольку кастовые принципы требовали, чтобы она умерла госпожой Вердюрен, этот титул, не добавивший ей никакого нового влияния в свете, произвел скорее дурное впечатление. «Заставить о себе заговорить», это выражение, которое во всех обществах употреблялось в отношении женщины, имеющей любовника, в предместье Сен-Жермен могло быть применено к той, кто публикует книги, а среди буржуазии Комбре — к той, кто заключает «неподобающие» в том или ином смысле слова браки. Когда она вышла замуж за принца Германтского, стали распространяться слухи, что это, дескать, не настоящий Германт, выскочка. Что же касается меня, в этом совпадении титулов и имен, благодаря чему до сих пор существовала принцесса Германтская, не имевшая никакого отношения к той, которая некогда так очаровала меня и которой больше не существовало на

свете, которая казалась теперь беззащитной, обворованной мертвой женщиной, — было нечто невыносимо тягостное, так больно было видеть все эти вещи, принадлежащие прежде принцессе Едвиге, ее замок, все, чем раньше владела она и чем теперь пользовалась другая. В наследовании имен есть нечто грустное, как во всяком наследовании, во всякой узурпации собственности; и беспрестанно, словно бесконечный поток все новых и новых принцесс Германтских, тысячелетиями, из века в век, уступая свое место другой женщине, являлась все та же принцесса Германтская, не ведающая смерти, равнодушная ко всему, что изменяется, что ранит наши сердца, и ее имя изливало на каждую из тех, что одна за другой уходят в небытие, свою извечную безмятежность.

Конечно, даже эти внешние перемены, заметные на некогда знакомых мне лицах, были всего-навсего символом перемен внутренних, происходящих постепенно, день за днем; быть может, люди эти продолжали делать то, что делали всегда, но, поскольку день за днем их представления об этих делах и о людях, с которыми они встречались, претерпевали изменения, по истечении нескольких лет под теми же име-

нами, оказывалось, жили совсем другие люди, которых они любили, и другие вещи носили те же названия, а коль скоро личности их изменились, странно, если бы у них не появилось и новых лиц.

Среди присутствующих находился один весьма примечательный человек, который только что выступил на знаменитом процессе со свидетельством, убедительность которого основывалась единственно на его высоком нравственном облике, перед которым преклонились и судьи, и адвокаты, в результате чего были осуждены двое. Когда он вошел, по гостиной пробежал шепоток любопытства и почтительности. Это был не кто иной, как Морель. Я, быть может, единственный из присутствующих знал, что он находился на содержании одновременно у Сен-Лу и у одного из приятелей Сен-Лу. Несмотря на все эти опасные воспоминания, он поздоровался со мной, хотя и довольно сдержанно. Он помнил времена, когда мы виделись с ним в Бальбеке, и воспоминания эти были для него окрашены поэзией и грустью юности.

Но были среди присутствующих и те, кого я просто не мог узнать по той простой причине, что никогда не был с ними знаком, ибо протекшее

время производило свои химические опыты не только над людьми в этой гостиной, но и над самим обществом тоже. Эта среда, в особой природе которой, отмеченной некими свойствами, привлекающими к ней самые знаменитые имена самых высокородных домов Европы и отталкивающими от нее любой неаристократический элемент, я отыскал реальное убежище для имени Германтов, которому она дарила последнюю реальность, сама эта среда в своей подлинной структуре, казавшаяся мне всегда устойчивой и прочной, подверглась глубоким изменениям. Присутствие людей, вполне допустимых в любом другом обществе, но совершенно для меня немыслимых именно в этом, удивило меня даже меньше, чем та непринужденность, с которой они были приняты здесь, где к ним зачастую обращались просто по именам. Некая совокупность аристократических предрассудков, снобизма, которая некогда автоматически отбрасывала от имени Германтов все то, что к нему не подходило, казалось, перестала существовать.

Иные (Тосситца, Клейнмихель) в те времена, когда я только лишь начинал бывать в свете, задавали грандиозные обеды, на которые приглашали исключительно принцессу Германтскую,

герцогиню Германтскую, принцессу Пармскую, они были у этих дам в чести, слыли в тогдашнем обществе людьми с безупречной репутацией и, скорее всего, таковыми и были, — так вот они исчезли, не оставив ни малейшего следа. Были ли они иностранцами, прибывшими сюда с дипломатической миссией, а теперь возвратившимися к себе на родину? А быть может, какой-нибудь скандал, самоубийство, похищение — делали теперь невозможным их появление в свете, или же они просто-напросто были немцами? Эти имена блистали исключительно благодаря тогдашнему положению в обществе их обладателей, а теперь их не носил уже никто, и если мне случалось заговорить о них, то присутствующие зачастую даже не понимали, о ком идет речь, и, пытаясь выговорить по слогам имена, многие думали, что это какие-нибудь проходимцы. А те, кто в соответствии с прежним социальным кодексом никак не должен был бы находиться здесь, теперь, к большому моему удивлению, являлись лучшими друзьями самых высокородных особ, которые не пришли бы томиться скукой сюда, к принцессе Германтской, если бы не их новые приятели. Ибо самой поразительной особенностью этого общества как раз и была его деаристократизация.

Сломанные или ослабленные пружины этого механизма отбора уже не функционировали как подобает, в общество проникло множество посторонних тел, лишив его однородности, упругости, цвета. Предместье Сен-Жермен, словно впавшая в маразм старая светская дама, отвечало робкими улыбками на выходки наглой прислуги, которая заполонила их гостиные, выпила их лимонад и представляла им своих любовниц. Ощущение протекшего времени и исчезнувшей навсегда части моего прошлого было вызвано не только распадом этого единого ансамбля (каковым прежде являлся салон Германтов), но, главным образом, разрушением системы знаний о множестве причин и нюансов, благодаря которой тот, кто до сих пор находился еще здесь, находился здесь обоснованно и на своем месте, в то время как тот, другой, что оказывался рядом с ним, представлял собою некое подозрительное новшество. Это неведение касалось не только света, но и политики, и вообще всего. Ибо поскольку жизнь памяти короче человеческой жизни, а молодые люди, никогда и не имевшие тех воспоминаний, что оказались стерты у других, являлись теперь частью светского общества, причем на вполне законном основании, будучи благородно-

го происхождения, а первые шаги в свете были либо забыты, либо вообще им не ведомы, они воспринимали людей в момент их возвышения или падения, искренне полагая, будто все так всегда и было, будто госпожа Сван, и принцесса Германтская, и Блок всегда имели именно такое общественное положение, а Клемансо и Вивьяни всегда являлись консерваторами. А поскольку память о некоторых исторических событиях имеет обыкновение длиться долго, ненавистные воспоминания о деле Дрейфуса еще смутно будоражили их умы благодаря отцовским рассказам, но, если бы им сказали, что Клемансо был некогда дрейфусаром, они не поверили бы: «Это невозможно, вы что-то путаете, он ведь на другой стороне». Продажные министры и бывшие публичные девки слыли образцами добродетели. Когда кто-то спросил у некоего молодого человека одного из самых высокородных семейств, что тот имеет сказать о матери Жильберты, тот ответил, что да, дескать, ему известно, что в молодости она вышла замуж за какого-то авантюриста по имени Сван, но затем стала супругой одного из самых влиятельных в обществе людей, графа де Форшвиля. Разумеется, некоторые из посетителей этого салона, герцогиня Германтская, к

примеру, могли бы лишь посмеяться над подобным утверждением (и мне, который восхищался изяществом Свана, оно показалось поистине чудовищным, хотя когда-то, еще в Комбре, я соглашался с тетушкой, утверждавшей, будто Сван не мог быть знаком с «принцессами»), и их поддержали бы многие женщины, которые также могли бы находиться здесь, но уже давно не появлялись в свете, герцогини де Монморанси, де Муши, де Саган, бывшие некогда близкими подругами Свана и отказывавшиеся даже замечать этого Форшвиля, не принятого в свете в ту пору, когда они там блистали. Но главное то, что прежнее общество, как и лица, изменившиеся ныне до неузнаваемости, как и белокурые волосы, ставшие седыми, существовало отныне лишь в памяти людей, которых становилось меньше день ото дня.

Во время войны Блок перестал «выходить в свет», посещать прежние общества, в которых был довольно жалкой фигурой. Зато он так и не отказался от публикаций произведений вроде тех, чей бредовый абсурд я старался сегодня преодолеть, чтобы не оказаться опутанным им, произведений, лишенных оригинальности, но при этом казавшихся, особенно молодежи и

женщинам, необычными и высокоинтеллектуальными, а в чем-то даже гениальными. Стало быть, именно после окончательного раскола между прежней своей светской жизнью и теперешней, в новом, обновленном обществе стал появляться этот великий человек, окруженный славой и почтением — так начал он новый период своего существования. Разумеется, молодые люди ничего не знали о том, что он, в его-то годы, делает лишь первые шаги в свете, а те несколько имен, что запомнил он со времен своего общения с Сен-Лу, только служили его нынешнему престижу. Во всяком случае, он производил впечатление одного из тех талантливых людей, которые всегда, в любую эпоху, служат украшением самого высшего общества, и даже в голову не приходило, что когда-то могло быть по-другому.

Прежние завсегдатаи уверяли, что в свете теперь все изменилось, отныне принимают людей, которых в прежние времена здесь быть никак не могло: с одной стороны, это было правдой, с другой — не совсем. Это не было правдой, поскольку те, кто так говорил, не осознавали, что таково свойство временной кривой, когда нынешние завсегдатаи могли наблюдать новых в точке прибытия, в то время как их самих помнили в

точке отправления, в исходной точке. А когда они, теперешние, сами только начинали появляться в свете, там были уже люди, отправную точку которых помнили другие. Достаточно было одного-единственного поколения, чтобы здесь произошли перемены, между тем как множество веков понадобилось, чтобы буржуазное имя Кольбера стало именем благородным. А с другой стороны, это могло быть правдой, поскольку если люди в состоянии изменить ситуацию, идеи и обычаи, даже самые, казалось бы, неискоренимые (например, имущественное положение или отношения союзничества-ненависти между странами) меняются тоже, в том числе может измениться и обычай принимать у себя исключительно блестящую публику. Снобизм не просто меняет форму, он может исчезнуть вообще, как война, радикалы или предубеждения против евреев, которых стали принимать в Жокей-Клуб.

Если новое поколение полагало, будто герцогиня Германтская представляет из себя не бог весть что, поскольку водила знакомство с актрисами и тому подобное, пожилые дамы, принадлежавшие к этому семейству, по-прежнему считали ее особой исключительной, и не только потому, что им хорошо было известно,

кем является она по рождению, ее геральдическое превосходство, ее тесная связь со всем тем, что госпожа де Форшвиль назвала бы «royalties», но, главным образом, потому, что она открыто пренебрегала семейными визитами, безумно на них скучала, и всем было хорошо известно, что рассчитывать на нее не приходится. Ее театральные и политические связи, о которых, впрочем, было мало что известно, лишь подчеркивали ее исключительность, а стало быть, способствовали престижу. Причем до такой степени, что в то время, как в артистических и политических кругах ее считали особой, плохо поддающейся определению, кем-то вроде расстриги из предместья Сен-Жермен, которая наносит визиты заместителям министров и модным звездам, в самом предместье Сен-Жермен, намереваясь устроить прием, говорили: «Стоит ли приглашать Ориану? Она вряд ли придет. Ну разве что для приличия, но не стоит строить иллюзий». И если около половины одиннадцатого вечера в ослепительном туалете, окатывая всех своих кузин презрением слишком жестких глаз, входила Ориана, помедлив на мгновение на пороге гостиной, в своем величественном высокомерии, и если она оставалась на этом вечере целый час, для старой

дамы, которая этот вечер давала, он был самым пышным праздником, и она была счастлива, как некогда какой-нибудь директор театра, которому Сара Бернар уклончиво пообещала помощь, в которую никто не верил, но все-таки пришла, и с бесконечной простотой и любезностью прочла целых двадцать отрывков вместо обещанного одного. Присутствие этой Орианы, на которую главы кабинетов смотрели сверху вниз и которая тем не менее с неослабевающей настойчивостью (дух правит миром) пыталась свести с ними более тесное знакомство, переводило этот вечер, на котором, к слову сказать, присутствовали дамы исключительно изысканные, в совершенно другой разряд, поставив его вне и над прочими вечерами этого season (как выразилась бы госпожа де Форшвиль), которые не соблаговолила почтить своим присутствием Ориана.

Едва только закончил я разговаривать с принцем Германтским, Блок сжал мою руку и представил меня некой молодой женщине, которая была обо мне наслышана от герцогини Германтской и которая сама являлась одной из самых элегантных дам этого праздника. Впрочем, имя ее было мне совершенно незнакомо, как и ей были незнакомы имена большинства Герман-

тов, потому что я слышал, как она спросила у одной американки, с чего это госпожа де Сен-Лу держится так по-дружески с присутствующими здесь самыми блестящими представителями общества. Эта самая американка была супругой графа де Фарси, какого-то дальнего родственника Форшвилей, которые казались ему воплощением всего самого изысканного в свете. Она ответила с искренней убежденностью: «Ничего удивительного, ведь она урожденная Форшвиль. А они здесь самые именитые». Госпожа де Фарси, наивно полагая, будто род Форшвилей является более знатным, чем род Сен-Лу, по крайней мере знала, кем являлся этот последний. Но очаровательной приятельнице Блока и герцогини Германтской об этом ровным счетом ничего не было известно, и, запутавшись окончательно, она прямодушно ответила какой-то барышне, спросившей ее, по какой линии госпожа де Сен-Лу являлась родственницей хозяина дома, принца Германтского: «Через Форшвилей», — это сведение барышня сообщила, как нечто само собой разумеющееся, какой-то из своих подруг, а та, в свою очередь, обладая дурным характером и склонностью к истерикам, покраснела как рак, когда какой-то господин уведомил ее, что

Жильберта находилась в родстве с Германтами отнюдь не через Форшвилей, так что несчастный господин счел, что сам что-то перепутал, поспешил присоединиться к ошибочному мнению и стал его пропагандировать. Все эти обеды, праздники были для американки чем-то вроде школы светской жизни. Услышав новые имена, она старательно повторяла их, ничего не зная об их истинной ценности и значении. Когда кто-то спросил, перешел ли Тансонвиль Жильберте от ее отца, господина де Форшвиля, ему ответили, что ничего подобного, эти земли принадлежали ее мужу, что Тансонвиль находился по соседству от Германтов и принадлежал госпоже де Марсант, но, будучи заложен в ипотечный банк, был выкуплен и достался Жильберте в наследство. Когда какой-то старик с трудом припомнил, что Сван был другом Саганов и Муши, а американка, приятельница Блока, поинтересовалась, как я с ним познакомился, он поспешил ответить, что я познакомился с ним у Германтов, ни в коей мере не догадываясь, кем в действительности являлся для меня этот наш сосед по Комбре, юный друг моего дедушки. Ошибки подобного рода позволяли себе люди весьма знаменитые, а ведь в любом консервативном обществе они

считаются самыми серьезными. Сен-Симон, желая продемонстрировать, что Людовик XIV отличался крайним невежеством, по причине которого «неоднократно и нередко прилюдно попадал в самые нелепые положения», приводит лишь два примера, подтверждающих это самое невежество, а именно: король, не зная, что Ренель принадлежит семейству Клермон-Галлеранд, а Сент-Эрем — семейству Монморен, считал их выскочками. Хотя да будет нам утешением узнать, что король не умер в своем неведении, во всяком случае относительно Сент-Эрема он был выведен из заблуждения, хотя и «гораздо позже» господином де Ларошфуко. «При этом, — не без сожаления добавляет Сен-Симон, — ему пришлось растолковать, что это за роды, так как фамилии ему ничего не говорили».

Это стойкое забвение, что так стремительно окутывает прошлое, это столь вопиющее невежество наносит поражение познаниям, тем более ценным, что они так мало распространены, и касаются они генеалогии родов, их истинного положения в свете, причин любовных, денежных или каких других, по которым объединяются или распадаются семьи, познаниям, распространившимся в любом обществе, где царит дух

консерватизма, познаниям, которыми в наивысшей степени обладал мой дедушка, будучи досконально осведомлен обо всем, что касалось буржуазии Комбре и Парижа, познаниям, которое так ценил тот же Сен-Симон, когда восхищался поразительным умом принца де Конти, даже не имея в виду его осведомленность в области разных наук или, вернее, как если бы это была первейшей из всех наук, он превозносит его за то, что тот обладал «прекрасным умом, ясным, светлым, обширным, был невероятно начитан, отличался превосходной памятью, прекрасно знал генеалогию, все ее фантомы и реалии, проявлял изысканную учтивость сообразно заслугам и общественному положению, обладал всем, чем только должны обладать, но больше не обладают принцы крови, — ему даже приходилось объяснять им многие вещи. Прекрасное знание книг, умение поддерживать разговор помогали ему в нужную минуту самым любезным образом воспользоваться сведениями об их рождении, занятиях и т. д.». Если говорить об обществе не столь изысканном, обо всем, что касалось буржуазии Комбре или Парижа, мой дедушка был осведомлен с не меньшей точностью и смаковал с не меньшим наслаждением. Таких гурманов

и любителей подобного рода сведений, твердо знавших, что Жильберта не имела отношения к Форшвилям, а госпожа де Камбремер — к Мезеглизам, осталось теперь не так уж много. Не так уж много, к тому же они, как правило, не принадлежали к самой высокородной аристократии (подобно тому как совершенно не обязательно самые ревностные католики, самые набожные люди лучше всего знают «Золотую легенду» и разбираются в витражах XIII века), часто они имели отношение к второсортной аристократии, более падкой на то, что ей малодоступно, и имевшей к тому же тем больше свободного времени для изучения, чем меньше было у нее возможностей посещать то, что изучает; но, если этим людям все же выпадала такая возможность, они пользовались ею не без удовольствия, знакомились друг с другом, задавали пышные обеды, на которых собирались Общество библиофилов или Общество друзей Реймского собора, где в качестве основного блюда была предложена генеалогия. Женщины допущены не были, но, вернувшись после таких приемов, мужья делились впечатлениями: «Я был на весьма любопытном обеде. Познакомился там с господином де Ла Распельером, он всех нас просто очаровал, так вот он объяснил нам, что,

оказывается, эта госпожа де Сен-Лу, у которой такая красивая дочь, вовсе не урожденная Форшвиль. Просто настоящий роман».

Приятельница Блока и герцогини Германтской была не только изящна и очаровательна, она была к тому же еще и умна, и беседа с нею доставляла много удовольствия, но в то же время для меня была несколько затруднительна, поскольку мало того, что имя собеседницы было мне незнакомо, мне так же были незнакомы имена большинства людей, о которых она говорила и которые являлись теперь ядром этого общества. Правда и то, что, с другой стороны, когда она просила меня рассказать ей какие-нибудь истории, имена героев большинства из них точно так же ни о чем не говорили ей, все они ушли в небытие — по крайней мере те из них, блеск которым придавал один конкретный человек и которые не были родовыми именами каких-нибудь знаменитых аристократических семейств (причем молодая женщина редко когда знала настоящий титул, имея весьма неточные сведения о рождении, краем уха услыхав эти имена накануне за обедом), а некоторые из них она просто слышала впервые, поскольку начала появляться в свете (и не только потому, что была

еще слишком молода, но потому, что лишь с недавних пор жила во Франции и была принята в обществе не сразу) лишь спустя несколько лет после того, как я от света удалился. Уж и не помню по какому поводу с губ моих слетело имя госпожи Леруа, которое моей собеседнице от кого-то из старых друзей герцогини Германтской слышать уже приходилось. Но, по всей видимости, что-то весьма неверное, как я понял это по ее презрительному, снобистскому тону, с каким эта молодая женщина произнесла: «Да, знаю, как же, госпожа Леруа, старая приятельница Бергота», и в этом тоне слышалось: «Особа, которую мне не хотелось бы видеть в своем доме». Я тотчас же понял, что, очевидно, старый друг герцогини Германтской, весьма достойный человек, пропитанный духом Германтов, который всеми силами старался скрыть, какое значение придает он всем этим аристократическим визитам, счел, что будет слишком глупо и слишком антигермантски сказать: «Госпожа Леруа, которая посещала дома всех высочеств, всех герцогинь», и ограничился чем-то вроде: «Она была весьма забавна. Однажды она ответила Берготу то-то и то-то». Только для несведущих людей сведения, приобретенные в мимолетном разговоре, равноценны тем,

что излагает пресса простым людям, которые попеременно верят, в зависимости от того, что написано в их газете, что господа Лубе и Рейнахи то воры, то выдающиеся граждане. Моей собеседнице госпожа Леруа представлялась кем-то вроде госпожи Вердюрен на первом этапе, правда не столь ослепительной и чей маленький клан сузился до одного-единственного Бергота. Впрочем, эта молодая женщина одна из последних, которой довелось, и то по чистой случайности, услышать имя госпожи Леруа. Сегодня никто больше не знает, кто она такая, и это, в общем, даже справедливо. Ее имя более не фигурирует даже в поминальном списке госпожи де Вильпаризи, столь многим обязанной госпоже Леруа. Маркиза и не вспоминала о госпоже Леруа, и не столько потому, что та при жизни была с ней весьма нелюбезна, сколько потому, что никто уже не интересовался ею после ее смерти, и подобное молчание, в свою очередь, объяснялось не столько светским злопамятством женщины, сколько литературным тактом писателя. Моя беседа с изящной приятельницей Блока доставила мне много удовольствия, ибо женщина эта была умна, но несходство наших словарей смущало ее и в то же время придавало ее высказываниям

назидательный тон. Умом мы осознаем, что годы проходят, что молодость уступает место старости, что самые солидные состояния и самые устойчивые троны рушатся, что слава преходяща, но способы приобретения нами познаний — иными словами, как именно делаем мы моментальный снимок этого меняющегося мира, увлекаемого за собой Временем, напротив, фиксирует и делает его неподвижным. Так что людей, знакомых нам с юности, мы так всегда молодыми и видим, а те, кого мы узнали старыми, в ретроспективе прошлого оказываются наделены нами всеми добродетелями старости, мы безоговорочно полагаемся на кредиты какого-нибудь миллиардера и на поддержку суверена, понимая разумом, но отказываясь верить до конца, что завтра они могут стать лишенными власти изгнанниками. В более узком смысле, если говорить исключительно о свете, как простая задача указывает нам на трудности более существенные, но того же порядка, то непонимание, отличавшее нашу беседу с молодой женщиной и объясняющееся тем, что нам довелось жить в некоем обществе с разницей в четверть века, усилило и обострило у меня ощущение Истории.

Следует отметить, впрочем, что незнание

истинных обстоятельств, из-за чего каждые десять лет люди предстают в новом обличье так, словно прошлого не существовало вовсе, и которое мешает какой-нибудь американке, только что прибывшей к нашим берегам, увидеть, что господин де Шарлюс обладал самым высоким положением в Париже в те времена, когда Блок не имел и вовсе никакого, а Сван, столько потративший на господина Бонтана, считался первым из друзей, причем подобное незнание встречается не только среди вновь прибывших, но и среди тех, кто был принят не в этих, но в соседних кругах, — это самое незнание тоже объясняется воздействием (но уже на конкретного человека, а не на социальный слой) Времени. Не остается никаких сомнений, сколько бы мы ни меняли среду, образ жизни, память, крепко ухватив нить нашей личности, нанизывает на нее в последующие эпохи воспоминания об обществах, в которых мы когда-либо жили, будь то хоть сорок лет назад. Блок, посещающий ныне принца Германтского, не забыл скромную еврейскую среду, в какой ему довелось жить в восемнадцать лет, а Сван, когда он любил уже не госпожу Сван, а женщину, подававшую чай в чайном салоне «Коломбен», бывать в котором (как и в чайном салоне на

улице Руаяль) госпожа Сван некогда считала весьма изысканным, так вот Сван прекрасно знал, что стоит он в свете, помнил Твикенгем; нисколько не заблуждаясь относительно причин, по которым он предпочитал посещение салона «Коломбен» визитам к герцогине де Брогли, а еще он знал, что, будь он сам хоть в тысячу раз менее «изыскан», это ни на йоту не повлияло бы на его решение отправиться в «Коломбен» или отель «Риц», куда каждый мог прийти за определенную плату. Разумеется, друзья Блока или Свана тоже прекрасно помнили небольшое еврейское общество или приглашения в Твикенгем, и точно так же друзья, не столь разнящиеся «я», Свана и Блока, не разделяли в своей памяти нынешнего элегантного Блока и довольно гнусного Блока прошлого, Свана в салоне «Коломбен» в его последние дни и Свана в Букингемском дворце. Но эти друзья были в каком-то смысле соседями Свана по жизни; то есть их собственная жизнь шла по пути достаточно близкому, чтобы их память могла его удержать; но если говорить о других, более далеких Свану, людях, находящихся от него на гораздо большем расстоянии, и не в социальном, а в личном плане, с которыми он был знаком более поверхностно и встречался

гораздо реже, их не столь многочисленные воспоминания сделали представления о нем куда более расплывчатыми. У таких вот посторонних людей по прошествии тридцати лет не остается в памяти ничего, что могло бы связать с прошлым и по-иному оценить того, кто находится сейчас перед глазами. В последние годы жизни Свана мне приходилось слышать, и не от кого-нибудь, а от людей светских, когда заходила о нем речь: «Какого Свана вы имеете в виду? Того, что из «Коломбен»?», как будто это был его общеизвестный титул. Теперь же я слышал, как люди, которые, казалось, должны были бы знать истинное состояние вещей, говорили о Блоке: «Тот самый Блок, приятель Германтов?» Подобные ошибки, что раскалывают жизнь, и, изолируя настоящее, из человека, стоящего перед вами, делают совсем другого человека, того, кто принадлежит прошлому, человека, который представляет из себя лишь сгусток нынешних привычек (в то время как он несет в себе непрерывность собственной жизни, связывающей его с прошлым), эти ошибки тоже зависят от Времени, вот только представляют собой не социальный феномен, но феномен памяти. Буквально в следующую минуту мне был дан пример, хотя и несколько иного рода, но тем более

поразительный, такого забвения, меняющего в наших глазах облик человека. Юный племянник герцогини Германтской, маркиз де Вильмандуа, вел себя по отношению ко мне крайне заносчиво и дерзко, и в отместку я принял в отношении него манеру держаться столь оскорбительную, что мы стали врагами. Пока на этом приеме у принцессы Германтской я предавался размышлениям о Времени, он представился мне, заявив, что я, как ему кажется, должен знать его родителей, а еще что он читал какие-то мои статьи и теперь хотел бы познакомиться или возобновить знакомство. Следует признать, что с возрастом он, как и многие, сделался серьезным до нелепости, отбросил прежнее высокомерие, а с другой стороны, в кругах, которые он посещал, обо мне стали говорить, как об авторе статей, весьма, впрочем, ничтожных. Но как раз эти причины его сердечности и первых шагов к примирению не были главными. А главной, или по крайней мере той, благодаря которой оказались возможны другие, было то, что, обладая памятью гораздо худшей, чем моя, или же придавая моим ответным ударам значения гораздо меньше, нежели я — его выпадам, поскольку я в ту пору являлся для него особой куда менее значительной, чем он для меня, он

совершенно позабыл о былой нашей неприязни. К тому же мое имя напомнило ему, что он видел меня, или это был мой «кум иль сват», у какой-то из своих тетушек. Не зная толком, следует ли ему заново представиться или просто напомнить о себе, он поспешил заговорить со мной о тетушке, у которой, как он был уверен, встречался со мной, припомнив, что там довольно много говорили обо мне, но ни словом не обмолвившись о прежней нашей вражде. Имя — вот то единственное, что зачастую остается у нас от человека, и не только после его смерти, но и при жизни. И наши представления о нем расплывчаты настолько, или настолько своеобразны, и столь мало соответствуют нашим прежним представлениям, что мы совершенно забываем о том, как едва не подрались с ним на дуэли, зато четко помним, что в детстве он носил нелепые желтые гетры, гуляя на Елисейских Полях, причем сам он, несмотря на все наши уверения, абсолютно не помнит, что когда-то играл там с нами.

Вошел Блок, странно подпрыгивая, как гиена. Я еще подумал: «Сейчас он посещает салоны, куда лет двадцать назад не имел доступа». Но он и стал старше на двадцать лет. И оказался ближе к смерти. В чем это проявилось? Если смотреть вблизи

— то в полупрозрачности лица (между тем как издали и при плохом освещении мне виделась лишь смеющаяся юность, то ли действительно оставшаяся с тех пор, то ли воскрешенная мной в памяти), почти пугающего, встревоженного лица старого Шейлока, уже полностью загримированного и ожидающего за кулисами момента выхода на сцену, повторяющего вполголоса первые строки роли. Десять лет спустя в салоны, куда будет он допущен благодаря своей собственной настойчивости, он станет входить, подпрыгивая на костылях, став «мэтром», словно получив наряд на посещение Ла Тремуйлей. В чем это проявится?

Изо всех этих произошедших в обществе перемен я мог извлечь тем больше истин, весьма важных и способных сцементировать мое произведение, что они вовсе не были — как я мог бы предположить поначалу — типичны и присущи именно нашей эпохе. В те времена, когда я сам, едва лишь добившись первого успеха, более неискушенный, чем нынешний Блок, стал появляться в обществе Германтов, за неотъемлемые составные части этого общества я, должно быть, принимал элементы абсолютно разнородные, недавно лишь появившиеся и казавшиеся, без

сомнения, новыми и непривычными завсегдатаям этого круга, от которых я не отделял их и которые, будучи в глазах тогдашних герцогов завсегдатаями Сен-Жермен, точно так же когда-то являлись обыкновенными выскочками, а если не они, так их отцы или деды. Так что это общество делало блестящим не положение великих людей, его составляющих, а то обстоятельство, что их без остатка впитало это общество, и из людей, которые пятьдесят лет спустя стали казаться подобными один другому, сделало представителей высшего света. Но в том прошлом, куда я отодвигаю имя Германтов, не желая утратить его величия, и не без оснований, впрочем, ибо при Людовике XIV, когда оно само звучало едва ли не по-королевски, Германты являлись гораздо более влиятельным семейством, нежели сегодня, имел место феномен, подобный тому, что я наблюдал как раз в эту минуту. Разве в ту пору они не вступали в брачный союз с кем-нибудь из Кольберов, к примеру, чье имя, надо признать, кажется нам сегодня в высшей степени благородным, поскольку жениться на женщине из семейства Кольбер представляется весьма удачной партией для какого-нибудь Ларошфуко? Но Германты соединялись с ними вовсе не потому, что Кольберы,

в ту пору обычные буржуа, были благородного происхождения, как раз напротив, то, что с ними соединялись Германты, придавало им благородства. Если блеск имени д'Осонвилей угас вместе с нынешним представителем этого дома, быть может, оно прославится вновь благодаря тому, что его представители являются также потомками госпожи де Сталь, между тем как до Революции господин д'Осонвиль, один из самых знатных людей королевства, кичился перед господином де Брогли тем, что не был знаком с отцом госпожи де Сталь, и ни тот, ни другой не могли даже представить себе, что когда-нибудь их сыновья женятся один на дочери, другой на внучке автора «Коринны». Из слов герцогини Германтской я сделал вывод, что в этом мире я вполне мог бы занять видное положение, представ особой изысканной, хотя и нетитулованной, но во все времена люди охотно верят, что имеют дело именно с аристократией — так думали некогда о Сване, а до него о господине Лебрене, господине Ампере, обо всех приятелях герцогини де Брогли, которая сама поначалу не имела отношения к высшему свету. В те вечера, когда я впервые обедал у герцогини Германтской, как, должно быть, я шокировал людей, подобных Бозерфею, и не столько самим

своим присутствием, сколько замечаниями, свидетельствующими о моем полнейшем неведении относительно воспоминаний, что составляли его прошлое и придавали соответствующие очертания образу того общества, что было дорого именно ему! Так однажды и Блок, у которого в глубокой старости сохранятся прежние воспоминания о салоне Германтов, таком, каким он предстал перед его глазами именно теперь, очевидно, почувствует то же недоумение, то же раздражение перед бесцеремонным вторжением этих невежественных выскочек. А с другой стороны, ему придется, без сомнения, принять все как есть, и он будет отмечен сдержанностью и тактичностью — качествами, которые я прежде считал привилегией таких людей, как господин де Норпуа, и которые воплотились в тех, кто, на мой взгляд, ими обладать не мог.

Впрочем, случай, благодаря которому я оказался допущен в общество Германтов, представлялся мне чем-то совершенно исключительным. Но если мне удавалось отрешиться от самого себя и от среды, что непосредственно меня окружала, я видел, что этот социальный феномен не был столь уж уникален, как могло показаться с первого взгляда, и что в бассейне Комбре, где

довелось мне родиться, не так уж мало било фонтанов, что симметрично моему взмывали над той же водной гладью, питавшей их. Без сомнения, поскольку следует все же принимать во внимание некоторые исключительные обстоятельства и индивидуальные черты характера, совершенно особыми способами проникли в эту среду Легранден (благодаря странной женитьбе своего племянника), появилась здесь дочь Одетты, оказались здесь Сван и, наконец, я сам. Что касается меня, проведшего свою жизнь в затворничестве, наблюдая ее изнутри, жизнь Леграндена, казалось, не имела с моей ничего общего и шла по противоположному пути, как речка, текущая по глубокой лощине, не замечает другой речки, протекающей рядом, которая тем не менее, несмотря на все излучины и петли течения, впадает в тот же водный поток. Но с высоты птичьего полета, подобно тому как статистик, оставляя без внимания, какие именно причины — сентиментального порядка или же роковая неосторожность — привели того или иного человека к смерти, принимает в расчет лишь общее число умерших за год, можно было заметить, что множество людей, вышедших из одной среды, описанию которой было посвящено

начало этого рассказа, заняли видное положение в другой, совершенно от нее отличной, и вполне вероятно (так, известно, что ежегодно в Париже заключается определенное количество браков), другая буржуазная среда, образованная и богатая, предоставляла приблизительно равное число людей — таких как Сван, как Легранден, я или Блок, — которые, подобно потоку, впадающему в другую реку, бросались, словно в океан, в «высший свет». И кстати сказать, совсем неплохо там ориентировались, ибо если юный граф де Камбремер очаровывал все общество своей изысканностью, утонченностью, сдержанной элегантностью, я узнавал в этих качествах — как и в его выразительном взгляде, в его страстном стремлении добиться успеха — то, что отличало уже его дядю Леграндена, старого приятеля моих родителей, типичного буржуа, хотя и с аристократическими манерами. Доброта, или, если угодно, зрелость, которая в конечном итоге смягчала натуры изначально даже более резкие, чем Блок, такое же распространенное явление, как и чувство справедливости, и, если мы сами считаем свое дело справедливым, судью, настроенного враждебно к нам, мы должны опасаться не больше, чем судью-друга. И внуки Блока будут,

должно быть, с самого рождения добры и скромны. Блоку, возможно, было еще до этого далеко. Но я обратил внимание, что он, который некогда делал вид, что просто обязан, потратив два часа на дорогу, навестить кого-то, кто его об этом и не просил вовсе, теперь, когда его так часто приглашали не только на обеды и ужины, но и провести недельку-другую то там, то здесь, отвергал многие из этих приглашений, причем не хвалился ни когда получал их, ни когда отвергал. Сдержанность в делах, в словах пришла к нему вместе с новым социальным положением и с возрастом, своего рода социальным возрастом, если можно так выразиться. Без сомнения, Блок прежде был нескромен и несдержан, равно как и неспособен на доброжелательность и сочувствие. Но некоторые недостатки, некоторые качества соотносятся не столько с тем или иным человеком, сколько с тем или иным моментом существования, если рассматривать его с социальной точки зрения. Можно сказать, что они расположены практически вне людей, что проходят, освещенные их светом, в периоды солнцестояний нынешних, предыдущих, неизбежных. Врачи, которые пытаются определить действие лекарства, уменьшает оно или увеличивает кислотность желудка, акти-

визирует или замедляет его секрецию, получают совершенно различные результаты, и зависит это не от желудка, из которого они берут желудочный сок на анализ, а от того, в какой именно момент они это делают, в какой степени успело уже подействовать лекарство.

Вот так и имя Германтов, сколько оно существовало, являлось словно совокупностью всех имен, которые оно вбирало, которыми себя окружало, переживало утраты, пополнялось новыми элементами, подобно тому как в садах цветы, едва лишь давшие бутоны, готовые прийти на смену тем, которые уже вовсю цветут, смешиваются в единой массе, что кажется все такой же, но только не тем, кто был лишен возможности наблюдать это зрелище постоянно и все еще хранит в своих воспоминаниях точный образ тех, кого уже нет.

Не один человек из тех, кого собрал этот праздник или воспоминания о ком сумел воскресить во мне, представал передо мною поочередно во всевозможных обличьях и образах, в несходных обстоятельствах, зачастую контрастных, откуда они, один за другим возникая передо мной, извлекали различные грани моей жизни, показывали их под другим углом зрения, так бывает при неровности почвы, когда какой-нибудь

холм или замок появляется то справа, то слева, то возвышается над лесом, то проглядывает в долине, и путнику, идущему или едущему по дороге, указывает, как меняется направление и высота. Поднимаясь все выше и выше, мне удавалось в конце концов отыскать образы одного и того же человека, отделенные один от другого временным интервалом настолько длинным, сохраненные в памяти настолько различными «я», сами обладающие значениями настолько несходными, что я обычно просто пропускал их, когда полагал, будто охватываю всю историю своих отношений с ними, и даже уже не верил, что знал их когда-то, и для того чтобы установить связь, как бы отыскать этимологию, с тем первоначальным значением, какое имели они для меня, мне необходима была случайная вспышка. Стоя по другую сторону изгороди шиповника, мадемуазель Сван бросила на меня взгляд, значение которого я, оглянувшись назад, словно подретушировал, это было желание. Любовник госпожи Сван, если верить слухам Комбре, глядел на меня из-за той же изгороди с весьма суровым видом, который я тоже воспринимал уже иначе, чем прежде; впрочем, он сам с тех пор изменился настолько, что я совершенно не узнал его в Бальбеке

в том господине, который разглядывал какую-то афишу возле казино и о ком мне случалось раз в десять лет вдруг вспомнить, подумав при этом: «Но это же был господин де Шарлюс, надо же, как забавно!» Герцогиня Германтская на свадьбе доктора Персепье, госпожа Сван в розовом платье у моего двоюродного деда, госпожа де Камбремер, сестра Леграндена, занимавшая столь высокое положение в обществе, что он боялся, как бы мы не стали просить дать к ней рекомендации, множество других, имевших отношение к Свану, к Сен-Лу и другим, — образов этих было столько, что я порой, когда мне случалось отыскать их, развлекался тем, что ставил их, словно заглавную страницу, в самом начале моих отношений с этими разными людьми, но все это были всего-навсего образы, никак не связанные с самим человеком, с которым, впрочем, ничего уже не было связано. Дело не только в том, что одни люди обладают памятью, а другие нет (не говоря уже о полном забытьи, каким страдали жены турецких послов и не только они, что всегда позволяет отыскать — то ли предыдущее известие изглаживается по прошествии недели, то ли последующее обладает способностью изгонять его — всегда позволяет отыскать местечко для

нового известия, только что полученного, будь оно даже противоположно по смыслу), дело еще и в том, что два разных человека помнят вовсе не одно и то же. Один не обратит никакого внимания на некий случай, из-за которого другого будут мучить угрызения совести, зато ухватит на лету, приняв за особенный, красноречивый знак, слово, которое другой пропустит мимо ушей, не обратив на него внимания. Нежелание признать свою ошибку, когда был высказан неверный прогноз, ограничивает длительность воспоминания о нем и довольно скоро позволяет утверждать, что, собственно говоря, никакого прогноза и не было. И наконец, интерес другого рода, более бескорыстный, тоже разнообразит память: так, к примеру, если напомнить поэту о каком-либо обстоятельстве, он, позабывший фактическую сторону дела, удерживает в памяти какое-то мимолетное ощущение. Потому-то после двадцатилетнего отсутствия люди встречают не злобу, какой опасались, но невольное, неосознанное прощение, и в то же самое время — от других — столько ненависти, причины которой (поскольку забыто дурное впечатление, сопутствующее ей в свое время) никто объяснить уже не может. Точно так же, даже если говорить о людях, которых

знаешь лучше всего, даты знакомства из памяти изглаживаются совершенно. И поскольку герцогиня Германтская впервые увидела Блока лет по меньшей мере двадцать назад, она готова была бы поклясться, что он по рождению принадлежит к ее миру и в двухлетнем возрасте его укачивала на коленях герцогиня Шартрская.

А сколько раз все эти люди являлись передо мною на протяжении всей их жизни, различные обстоятельства которой, казалось, представляли их теми же людьми, но под разными обличьями, и этому были причины; оттого, что точки моей жизни, через которые оказались пропущены нити жизни каждого из этих людей, были разными, нити самые удаленные по времени и по расстоянию перепутались и переплелись, можно было подумать, жизнь обладала весьма ограниченным количеством этих самых нитей, необходимых, чтобы выполнить те или иные узоры. Как, к примеру, разнесены в моем прошлом, в различных моих прошлых, мои визиты к дяде Адольфу, племянник госпожи де Вильпаризи, кузина маршала, Легранден и его сестра, приятель Франсуазы, старый жилетник! А сегодня все эти нити оказались переплетены в своеобразный уток, основу ткани, и стали то

четой Сен-Лу, то молодой супружеской парой Камбремер, не говоря уже о Мореле и о стольких других людях, сплетение которых и стало некоей целостностью, то есть обстоятельством, а отдельный человек — лишь его составляющей частью. Я прожил уже достаточно долгую жизнь, чтобы большинству существ, подаренных мне ею, смог отыскать в пару, в совершенно противоположных закоулках моей памяти, другое существо, дополняющее то, первое. К Эльстиру, которому, как я мог сам убедиться, здесь было уготовано самое почетное место, я мог прибавить свои первые воспоминания о Вердюренах, о Котарах, разговор в ресторанчике Ривебеля, праздник, на котором я познакомился с Альбертиной, и множество других воспоминаний. Так любитель искусства, которому показывают ставень алтарного иконостаса, вспоминает, в какой церкви, каком музее, в каких частных коллекциях рассеяны остальные (точно так же, как, сверяясь с каталогами аукционов или регулярно посещая антикварные салоны, он в конце концов находит предмет, парный тому, каким уже обладает), и мысленно может воссоздать пределлу или алтарь целиком. Подобно тому как ведро, поднимаемое лебедкой, много раз касается веревки, причем в

разных местах, так и в моей жизни не было ни одного человека, да, собственно говоря, ни одной вещи, которым не пришлось бы исполнять по очереди совершенно разные роли. Шла ли речь об обыкновенном светском знакомстве, даже о каком-либо заурядном предмете, если по прошествии нескольких лет я обнаруживал их в своих воспоминаниях, то видел, что жизнь, оказывается, не переставая, опутывала их множеством нитей, которые в конце концов затушевывали его этим прекрасным неповторимым бархатом лет, подобным тому, который окутывает обыкновенный водный желоб в старых парках изумрудным покрывалом.

Но не только обличье этих людей порождало к жизни героев моих сновидений. Ведь для них жизнь, давно погруженная в сновидение юности и любви, сама уже стала сном. Они позабыли всё, и злобу, и ненависть, и для того, чтобы убедиться, что именно к этой, стоящей сейчас перед ними, особе они уже лет десять как не обращали ни единого слова, им необходимо было свериться с неким реестром, но и он был столь же неотчетлив и расплывчат, как и сон, где тебя вроде бы кто-то оскорбил, но уже не вспомнить, кто именно и как. И все эти сновидения придавали необык-

новенный контраст политической жизни, когда в правительстве оказывались два министра, когда-то обвинившие один другого в убийстве или измене. У некоторых стариков, особенно в дни, следующие за теми, когда они имели счастье любить, это сновидение становилось плотным и густым, как сама смерть. В такие дни нельзя было ни о чем спрашивать даже президента Республики, он не помнил ничего. Потом, если дать ему немного отдохнуть, воспоминания о политических делах постепенно возвращались к нему, расплывчатые, как во сне.

Порой существо, столь отличное от того, каким я знал его когда-то, являлось ко мне не в одном, а в нескольких образах. Так в течение многих лет Бергот представлялся мне мягким, чудесным стариком, я цепенел, словно передо мною было чудесное видение, при виде серой шляпы Свана или фиолетового манто его жены, при мысли о тайне, которая окутывала имя герцогини Германтской и, подобно облаку, витала в салоне: почти сказочные истоки, чудесная мифология отношений, ставших впоследствии столь банальными, но продолжавшихся в прошлом так отчетливо, с таким ярким свечением на небе, какое оставляет искрящийся хвост кометы. И даже

те отношения, чье начало было далеко от волшебства и таинственности, как мои отношения с госпожой де Сувре, столь сухие и безупречно светские сегодня, сохранили первую улыбку, более спокойную, более нежную и столь четко очерченную в великолепии раннего вечера на берегу моря, весенних сумерек в Париже, наполненных грохотом экипажей, поднявшейся пылью и солнцем, мерцающим, словно мы глядели на него сквозь толщу воды. И, быть может, госпожа де Сувре сама по себе значила не бог весть что, будь ее изображение извлечено из этой рамки, так бывает порой с памятниками (например, церковь Санта-Мария делла Салюте), которые, не отличаясь большой красотой, кажутся великолепными именно там, где они находятся, — но она являлась частью комплекта воспоминаний, я оценивал их вместе, «одно в другом», не задаваясь вопросом, в какую цену шла именно особа госпожи де Сувре.

Одно обстоятельство поразило меня еще больше, чем все эти физические и социальные перемены, произошедшие с людьми, а именно то, до какой степени изменились их представления друг о друге. Легранден всегда презирал Блока и не снисходил до разговора с ним. Теперь же он

сделался с ним чрезвычайно любезен. И произошло это отнюдь не по причине более высокого положения, которое занимал теперь Блок, в этом случае об этом не стоило бы и упоминать, ибо перемены социального порядка всегда влекут за собой соответствующие перемены в отношениях между теми, кого они коснулись. Нет, дело в том, что люди — люди, какими представляются они нам, — не являются для нашей памяти чем-то раз и навсегда застывшим и однородным, словно художественное полотно. Они изменяются по мере нашей забывчивости. Порой настолько, что мы даже путаем их с другими: «А, Блок, это тот самый, что приезжал в Комбре», — в действительности же, говоря о Блоке, имели в виду меня. И напротив, госпожа Сазра была убеждена, что именно моему перу принадлежит исследование о Филиппе II (а на самом деле — Блоку). Не говоря уж о таких подстановках, забываются подлости, которые такой-то человек вам причинил, его недостатки, то, что в последний раз при прощании вы не подали друг другу рук, зато помнится, что когда-то давно, гораздо раньше, вам было хорошо вместе. Вот именно к этому «гораздо раньше» и относится поведение Леграндена, его любезность к Блоку: то ли он утратил воспомина-

ния об определенной части прошлого, то ли само это прошлое считал утратившим силу за давностью лет — некая смесь прощения, забвения, равнодушия, что по сути своей тоже является следствием Времени. Впрочем, воспоминания, что сохранили мы друг о друге, даже в любви, отличаются тоже. Я слышал, как Альбертина вспоминала некие слова, сказанные мною в первые дни нашего с ней знакомства, и которые я забыл совершенно. О других словах, навеки отпечатавшихся в моей памяти, подобно следу от камешка, она, напротив, не сохранила никаких воспоминаний. Наши идущие параллельно жизни походили на те аллеи, где на определенном расстоянии одна от другой стоят вазы с цветами, симметрично, но не напротив друг друга. Тем более становится понятным, почему о существовании малознакомых людей вообще вспоминаешь с трудом или вспоминаешь совсем другое, вовсе не то, что думал об этом прежде, нечто такое, что оказывается внушено людьми, в чьем обществе ты находишься, они знают их с весьма недавних пор, отмеченными достоинствами и положением, которыми те прежде не обладали, но которые тебе, забывчивому, приходится признать сразу и безоговорочно.

Без сомнения, жизнь, многократно помещая на моем пути всех этих людей, представляла их каждого в особых обстоятельствах, которые, обступая их со всех сторон, ограничивали обзор и сужали мой взгляд на них, мешая по-настоящему понять сущность. Сами Германты, бывшие некогда для меня объектом самых сокровенных мечтаний, стоило мне приблизиться хотя бы к одному из них, оказались, одна — старинной приятельницей моей бабушки, другой — тем господином, что когда-то так недобро глянул на меня в полдень в саду казино. (Ибо между нами и этими людьми существует некая кайма случайных совпадений, так в результате чтения в Комбре мне удалось понять, что существует и кайма восприятия, которая мешает полному взаимопроникновению реальности и духа.) Таким образом, необходима была некая вспышка, после которой, соотнеся этих людей с их именем и, узнав их как следует, я узнал Германтов. Но, быть может, именно это и наполнило мою жизнь поэзией, мысль о том, что таинственное племя с пронзительными глазами, птичьим клювом, розоватое, золотистое, неприступное племя, так часто, так естественно вследствие неких обстоятельств, слепых, случайных, оказывалось объектом моего созерцания,

моего общения, моей близкой дружбы — до такой степени, что когда я захотел познакомиться с мадемуазель де Стермарья или заказать платья для Альбертины, то обращался не к кому-нибудь, а к Германтам, самым услужливым из моих друзей. Конечно же, ходить к ним мне было так же скучно, как и на другие светские приемы к людям, с которыми познакомился впоследствии. Даже если говорить о герцогине Германтской, ее очарование, как и прелесть некоторых страниц Бергота, пленяло меня лишь на расстоянии и рассеивалось, стоило мне оказаться рядом с нею, потому что оно таилось в моей памяти и в моем воображении. Но в конце концов, несмотря ни на что, Германты, как и Жильберта, весьма отличались от прочих светских людей именно тем, что гораздо раньше пустили свои корни в прошлое моей жизни, когда я намного больше мечтал и больше верил в людей. И теперь, со скукой беседуя то с одним, то с другой, я осознавал, что именно они, герои фантазий моего детства, казались мне самыми прекрасными и самыми недоступными, и утешался тем, что, подобно букинисту, запутавшемуся в собственных книгах, путал ценность обладания ими с ценой, которую назначило им мое желание.

Но если говорить о других людях, прошлое моих с ними отношений было насыщено мечтаниями более пылкими, безнадежными, где так пышно расцветала моя прежняя жизнь, посвященная им вся целиком, что я с трудом мог понять, почему их исполнение могло оказаться этой вот тонкой, узкой, блеклой ленточкой равнодушных, презрительных отношений, куда подевалось то, что прежде составляло их тайну, их страсть и нежность. Не все получили «звания», не все награждены, а для некоторых следовало бы подобрать новое прилагательное, хотя это и не имело больше значения, они были мертвы.

«А что маркиза д'Арпажон?» — спросила госпожа де Камбремер. «Но она ведь умерла», — ответил Блок. «Да нет же, вы путаете, это графиня д'Арпажон умерла в прошлом году». В беседу вступила принцесса д'Агрижант; юная вдова старого мужа, очень богатого, к тому же обладателя громкого имени, она не знала недостатка в претендентах на свою руку и от этого была преисполнена самоуверенности. «Маркиза д'Арпажон умерла тоже почти год назад». — «Ах, ну что вы говорите, год назад, уверяю вас, вы ошибаетесь, — отвечала госпожа де Камбремер, — я сама лично присутствовала у нее на музыкальном

вечере, это было меньше года назад». Блок был способен поддерживать беседу не больше, чем светские жиголо, ибо все эти смерти пожилых людей находились от них на расстоянии слишком далеком то ли из-за огромной разницы лет, то ли из-за недавнего появления (того же Блока, к примеру) в другом обществе, куда им удалось проникнуть окольным путем, в миг его заката, в сумерках, которые не могли озарить воспоминания о прошлом, чужие и посторонние для них. А для людей того же возраста и того же круга смерть уже утратила свою исключительность. Впрочем, ежедневно приходилось справляться о стольких людях, находившихся при смерти, причем некоторые из них выкарабкивались, в то время как другие «испускали дух», что уже не помнилось в точности: та особа, которую давно уже не случалось видеть, то ли поправилась после воспаления легких, то ли скончалась. В этом краю стариков смертей становилось все больше, они казались чем-то неопределенным и призрачным. На этом стыке двух поколений и двух обществ, откуда, в силу различных обстоятельств, смерть была плохо различима, ее подчас путали с жизнью, она стала чем-то вроде светской реалии, неким эпизодом, что более или менее давал пред-

ставление о человеке, но тон, каким говорили о нем, вовсе не обязательно означал, что он, этот эпизод, становился для этого человека завершением всего. «Но вы просто забыли, он же умер» звучало так же, как «он получил награду» или «его избрали в Академию», или, к примеру (что, в сущности, было то же самое, поскольку, как и смерть, являлось препятствием для его участия в празднике) «он решил провести зиму на юге», «врачи прописали ему горный климат». Что касается людей известных, хотя бы то, что оставляли они после своей смерти, помогало вспомнить, что их земное существование завершено. Но если говорить об обыкновенных людях, просто очень старых, то зачастую, запутавшись, окружающие просто-напросто не могли вспомнить, умерли те или еще нет, и не только потому, что плохо их знали или забыли их прошлое, а потому, что их ничего уже не связывало с будущим. И трудный выбор, который необходимо было сделать между причинами отсутствия, такими, как болезни, занятость, отъезд в деревню, наконец, смерть стариков, только подчеркивал, наряду с равнодушием, какое демонстрировали сомневающиеся, ничтожность усопших.

«Но если она жива, почему же ее больше нигде

не видно, ни ее, ни ее мужа?» — поинтересовалась одна старая дева, любившая демонстрировать свои умственные способности. «Но я же говорю тебе, — вступила ее пятидесятилетняя мать, что, несмотря на возраст, не пропускала ни одного праздника, — они ведь уже старые: в этом возрасте какие уж приемы». Казалось, прежде чем оказаться на кладбище, старики переселялись в некий закрытый со всех сторон город, в котором никогда не гасли зажженные в тумане фонари. Госпожа де Сент-Эверт разрешила спор, заявив, что графиня д'Арпажон умерла уже год назад после долгой болезни, а маркиза д'Арпажон тоже умерла вскоре после этого, «при обстоятельствах совершенно неинтересных». Этой «неинтересностью» смерть походила на все эти жизни, именно это и объясняло, почему она прошла столь незамеченной, именно это и оправдывало тех, кто все перепутал. Услыхав, что госпожа д'Арпажон и в самом деле умерла, старая дева бросила на мать встревоженный взгляд, она опасалась, как бы известие о смерти одной из ровесниц не «потрясло ее мать», она уже заранее слышала, как известие о смерти ее собственной матери предваряется таким вот объяснением: «Она была так потрясена смертью госпожи д'Арпажон». Но при

взгляде на мать этой самой старой девы, напротив, создавалось впечатление, будто всякий раз, когда приходило известие об «исчезновении» какой-нибудь особы ее возраста, она одерживала победу над сильным соперником. Их смерть была для нее единственной возможностью, причем возможностью приятной, осознать, что собственная жизнь продолжается. Старая дева обратила внимание, что ее мать, отнюдь не с огорченным видом высказавшая предположение, что госпожа д'Арпажон оказалась затворницей в обители, которую не покидают утомленные жизнью старики, была огорчена не больше, узнав, что маркиза переселилась в новое жилище, откуда уже не выходит никто и никогда. Это свидетельство равнодушия ее матери скорее позабавило язвительный ум старой девы. И, желая повеселить своих приятелей, она уморительно изображала, как ее мать, бодро потирая руки, сказала, услышав известие: «Боже правый, так, стало быть, бедняжка госпожа д'Арпажон и вправду умерла». Но и тем, кому не нужна была эта смерть, чтобы испытывать радость от собственной жизни, она принесла радость. Ибо всякая смерть является для других неким упрощением существования, избавляя от необходимости высказывать призна-

тельность и наносить визиты. Смерть господина Вердюрена была воспринята Эльстиром совершенно не так.

Какая-то дама направилась к выходу, ей необходимо было посетить другие праздники и выпить чаю с двумя королевами сразу. Я знал когда-то эту великосветскую кокотку, это была принцесса де Нассо. Если бы она не уменьшилась в росте и голова ее не находилась теперь на высоте гораздо меньшей, чем прежде, что придавало ей странный вид, который называют одной ногой в могиле, едва ли можно было бы сказать, что она постарела. Она оставалась Марией-Антуанеттой с австрийским носом, прелестными глазами, благоуханной, хорошо сохранившейся благодаря наложенным в несколько слоев румянам, что придавало ее лицу лиловый оттенок. Оно выражало легкое смущение, извинение, что необходимо уйти, уклончивое обещание вскоре вернуться, желание улизнуть украдкой, намек на то, что ее присутствия ждут во множестве самых элитных кружков. Рожденная почти у подножия трона, бывшая трижды замужем, подолгу и безбедно жившая на содержании у самых влиятельных банкиров, не отказывавшая себе ни в одной из множества фантазий, что приходили ей в голову,

она несла под своим платьем, сиреневым, как ее восхитительные круглые глаза и нарумяненное лицо, чуть спутанные воспоминания о своем богатом прошлом. Поскольку, стремясь исчезнуть «по-английски», она как раз проходила мимо меня, я обратился к ней с приветствием. Она узнала меня, сжала руку и остановила на моем лице свои круглые сиреневые зрачки, словно хотела сказать: «Как давно мы с вами не виделись! Мы обязательно побеседуем с вами… как-нибудь». Она еще раз с силой сжала мне руку, так и не припомнив в точности, случилась или нет между нами интрижка как-нибудь вечером в машине, когда она отвозила меня после вечера у герцогини Германтской. На всякий случай она, казалось, намекала на то, чего в действительности не было, что, впрочем, не составляло для нее никакого труда, поскольку она, якобы огорченная необходимостью покинуть салон до окончания музыкального вечера, изобразила сожаление от нашего прощания, которое, как она надеялась, не будет долгим. Хотя она так ничего и не вспомнила про мимолетную интрижку со мной, рукопожатие нисколько не задержало ее и она так и не произнесла ни слова. Только посмотрела, как я уже говорил, словно желая сказать: «Боже мой,

как давно!», — и в этом «давно» были ее мужья, мужчины, содержавшие ее, две войны, и в ее звездных глазах, похожих на астрономические часы, высеченные в опале, казалось, промелькнули один за другим все ее счастливые мгновения столь уже далекого прошлого, что всплывали в памяти всякий раз, когда она хотела обратиться к вам с приветствием, которое всегда выглядело как оправдание. Затем, покинув меня, она рысью потрусила к двери, не желая никому причинять беспокойства своим опозданием, давая мне понять, что не остановилась побеседовать со мной только лишь по причине спешки, чтобы нагнать минуту, потерянную, когда она пожимала мне руку, чтобы явиться вовремя к испанской королеве, с которой должна была выпить чаю наедине; и, когда она была уже возле двери, мне показалось, что она вот-вот перейдет в галоп. Она и в самом деле сломя голову неслась к могиле.

Ко мне обратилась с приветствием какая-то толстая дама, и, пока оно длилось — совсем, впрочем, недолго, — в голове моей теснились самые разные мысли. Какое-то мгновение я помедлил, прежде чем ответить ей, опасаясь, что она, узнавая присутствующих не лучше, чем я, приняла меня за кого-то другого, затем ее уверенное по-

ведение заставило меня, напротив, из страха, что вдруг я и вправду когда-то близко был с нею знаком, улыбнуться ей преувеличенно любезно, в то время как взгляд мой пытался отыскать в чертах ее лица знакомое имя и так и не находил. Так не уверенный в себе кандидат на экзамене на степень бакалавра неотрывно смотрит на лицо экзаменатора, тщетно пытаясь обнаружить там ответ на вопрос, который лучше бы ему поискать в собственной голове, точно так же, улыбаясь, я не отрывал взгляда от лица толстой дамы. Оно показалось мне похожим на лицо госпожи Сван, и в моей улыбке засияла почтительность, а неуверенность постепенно убывала. А в следующую секунду я услышал, как толстая дама говорит мне: «Вы принимаете меня за маму, я и вправду становлюсь очень похожей на нее». И я узнал Жильберту.

Мы много говорили о Робере — в словах Жильберты слышалась такая почтительность, словно это было некое высшее существо и она всеми силами пыталась показать мне, что всегда восхищалась им и понимала его. Мы напомнили друг другу, до какой степени те идеи, что высказывал он когда-то об искусстве ведения войны (ибо в Тансонвиле он часто излагал те же самые

доводы, что я слышал от него в Донсьере и еще позже), подтвердились во время этой последней войны, причем неоднократно и по большинству признаков.

«Вы даже не представляете себе, насколько малейшее высказывание, что я слышал от него в Донсьере, поражает меня сейчас, да и во время войны тоже. Последнее, что я от него услышал в ту нашу встречу в Париже, когда мы расставались, чтобы никогда уже не увидеться, было то, что он ожидает от Гинденбурга, генерала наполеоновского склада, чего-то вроде наполеоновского сражения, целью которого стало бы разъединить двух противников, возможно, добавил он тогда, нас и англичан. И вот представьте себе, не прошло и года после смерти Робера, один критик, к которому он испытывал глубокое уважение и который, вне всякого сомнения, оказал большое влияние на его военные идеи, господин Анри Виду, написал, что наступательная операция, предпринятая Гинденбургом в марте 1918-го, явилась «сражением с целью отрезать группировку одного противника от двух противников на том же направлении, маневр, который удался Императору в 1796 году на Апеннинах и провалился в 1815 году в Бельгии». А незадолго до этого в

разговоре со мной Робер сравнивал сражения с театральными пьесами, в которых не всегда можно догадаться, что же имел в виду автор, тем более что и сам он зачастую меняет планы по ходу дела. Впрочем, что касается того немецкого наступления в 1918 году, интерпретируя его подобным образом, Робер вряд ли согласился бы с господином Виду. Другие критики не сомневаются, что успех Гинденбурга на амьенском направлении, затем его вынужденная остановка, его успех во Фландрии, затем новая остановка были, в сущности, совершенно случайны, и ничего из этого, ни в Амьене, ни в Булони, изначально определено не было. А поскольку каждый имел возможность переписать пьесу на свой манер, нашлись и такие, кто увидел в этом наступлении чуть ли не предвестие сокрушительного броска на Париж, другие же усмотрели в этом оглушительные, хотя и не скоординированные, удары с целью разбить англичан. И даже если отдаваемые главнокомандующим приказы противоречили той или иной военной концепции, критикам всегда останется возможность ответить, как Муне-Сюлли — Коклену, который уверял его, что «Мизантроп» вовсе не грустная и не трагическая пьеса (ибо, по свидетельству современников, сам Мольер ин-

терпретировал ее как комическую и смешную): «Ну что ж, выходит, Мольер заблуждался».

«А помните, что он говорил про самолеты (он умел так красиво выражаться): «Нужно, чтобы каждая армия стала стоглазым Аргусом»? Увы! ему самому так и не довелось убедиться, насколько оказался он прав». — «Ну почему же, — возразил я, — а битва при Сомме? Он ведь успел узнать, что в самом начале противника просто ослепили, вырвав глаза, то есть разрушив самолеты и аэростаты». — «А, ну конечно». И поскольку с тех пор как она стала жить одним лишь рассудком, она превратилась в настоящую педантку, Жильберта добавила: «А еще он утверждал, что в конце концов придется вернуться к прежним методам. Вам ведь известно, что экспедиции в Месопотамию во время войны (должно быть, она тогда читала об этом в статьях Бришо) напоминают отступление Ксенофонта, просто один к одному? А чтобы пройти от Тигра до Евфрата, английскому командованию пришлось воспользоваться такими узкими и длинными лодками, местными гондолами, на которых плавали еще древние халдеи». Эти рассуждения породили во мне ощущение застывшего, оцепенелого прошлого, которое в некоторых местах, из-за действия

какой-то особой силы тяготения замирает в неподвижности, и можно ощутить его таким, какое оно есть, без изменений.

«Есть еще одна сторона этой войны, которую он, как мне кажется, начал было замечать, — продолжал я, — в ней есть нечто такое, что, как правило, свойственно только человеку: она проживает свою собственную жизнь, как любовь или ненависть, ее можно рассказать, как роман, и, стало быть, повторяй сколько угодно, что стратегия есть наука, это ни на йоту не приблизит нас к пониманию войны, потому что война не преследует стратегических целей. Враг понимает в наших планах не больше, чем мы догадываемся, какие цели преследует любимая нами женщина, а возможно, мы и сами не знаем этих планов. Разве немцы, проводя ту наступательную операцию в марте 1918-го, преследовали цель захватить Амьен? Нам об этом ничего не известно. А возможно, они и сами ничего об этом не знали, и их замыслы предопределил сам факт продвижения войск на запад, к Амьену. Если только предположить, что война ведется научными способами, ее следовало бы живописать, как Эльстир рисовал море, каким-то другим чувством и исходить из иллюзий и убеждений, от которых постепенно

отказываются, — так Достоевский мог бы рассказать чью-нибудь жизнь. Впрочем, слишком очевидно, что эта война не стратегическая, это скорее явление из области медицины, допускающее различные непредвиденные происшествия и несчастные случаи, вроде русской революции, которых клиницист надеялся избежать».

Но должен признать, что в результате моего беспорядочного чтения в Бальбеке по соседству от Робера я гораздо больше был взволнован — как если бы во французской деревне отыскал ров, описанный госпожой де Севинье — когда речь шла об осаде Кут-эль-Амары (или Кут-л'эмир, «мы ведь говорим Воле-Виконт или Байо-л'Эвек», — как заявил бы наш кюре из Комбре, если бы свою страсть к этимологии он распространил на восточные языки), или когда рядом с Багдадом появилось название Басры — города, о котором так много говорится в «Тысяче и одной ночи» и в который всякий раз попадает, покинув Багдад или прежде чем в него вернуться, отправляясь в путешествие или возвращаясь на родину, еще задолго до генералов Тауншенда и Горринжера, во времена халифов, Синдбад-мореход.

На протяжении всей этой беседы Жильберта говорила мне о Робере с почтением, которое, ка-

залось, относилось к моему бывшему другу, а не к ее покойному супругу. Похоже, она хотела мне сказать: «Я знаю, до какой степени вы им восхищались. Поверьте, я тоже способна понять, каким высшим существом он был». И все-таки любовь, какую она, вне всякого сомнения, не испытывала больше в своих воспоминаниях, являлась одной из причин, хотя, быть может, не самой важной, объясняющей некоторые особенности нынешней ее жизни. Так, теперь неразлучной ее подругой была Андре. Хотя та и начала, прежде всего благодаря талантам мужа и собственным способностям, проникать не то чтобы именно в среду Германтов, во всяком случае, в общество несравненно более изысканное, нежели то, что она некогда посещала, все были весьма удивлены, что маркиза де Сен-Лу снизошла до того, что сделалась ее лучшей подругой. Если говорить о Жильберте, данное обстоятельство свидетельствовало о ее пристрастии к тому, что она считала артистическим образом жизни, а также о болезненном интересе к социальному вырождению. Что ж, такое объяснение могло бы иметь место. Однако мне на ум приходит совсем другое: я всегда был убежден, что сочетание воспринятых нами образов является, как пра-

вило, отражением или в какой-то степени даже воздействием на нас некоей другой, первичной группы образов, симметричной этой второй, но бесконечно от нее далекой. Я думал, что если каждый вечер мы видим вместе Андре, ее мужа и Жильберту, так это, должно быть, потому, что много лет назад будущий муж Андре жил с Рахилью, а затем покинул ее ради Андре. Вполне вероятно, что в ту пору Жильберта, жившая в мире обособленном, весьма возвышенном, ни о чем не подозревала. Но, должно быть, она узнала об этом позже, когда Андре поднялась, а сама она опустилась достаточно низко, чтобы обе получили возможность заметить одна другую. На нее, вероятно, весьма подействовало, каким очарованием должна была обладать женщина, ради которой Рахиль оказалась покинута мужчиной весьма обольстительным, кого она сама некогда предпочла Роберу. (Было слышно, как принцесса Германтская повторяла восторженным и каким-то лязгающим голосом, который у нее появился вместе со вставной челюстью: «Да-да, и не спорьте, мы будем самым настоящим братством, крепким кланом! Как я люблю эту молодежь, такая умная, такая активная, ах! вы такие мужиканты!» И она вставляла монокль

в свой круглый глаз, восхищаясь и в то же время чуточку извиняясь за то, что не в состоянии подолгу поддерживать это веселье, но до самого своего конца она решила, что называется, «участвовать», быть членом «братства».)

А быть может, вид Андре напоминал Жильберте роман ее собственной молодости, ее любовь к Роберу, и она испытывала глубокое уважение к Андре, в которую был всегда влюблен мужчина, столь любимый этой Рахилью, которую, в свою очередь, как чувствовала Жильберта, Сен-Лу любил так, как никогда не любил ее самое. А быть может, эти воспоминания, напротив, не играли решительно никакой роли в симпатиях Жильберты к этому артистическому кругу, и мне, как и большинству, следовало видеть здесь лишь столь свойственные светским женщинам капризы, что проявлялись в стремлении, с одной стороны, получать новые впечатления, а с другой — якшаться со всяким сбродом. Возможно, Жильберта уже окончательно забыла Робера, так же как я — Альбертину, и даже если она знала, что писатель оставил Рахиль ради Андре, то, когда видела их, совершенно об этом не думала и вообще не придавала никакого значения данному обстоятельству. Решить, было ли мое

первое объяснение не только возможным, но и верным, можно было, лишь прибегнув к свидетельству заинтересованных лиц, единственному способу, что остается в подобных случаях, если бы признания этих самых лиц могли отличаться проницательностью и искренностью. Но первое встречается редко, а второе — никогда. Во всяком случае, вид Рахили, ставшей теперь известной актрисой, вряд ли был для Жильберты зрелищем приятным. Да и сам я без особого удовольствия узнал, что на этом празднике она читала стихи — как объявили, это было «Воспоминание» Мюссе и басни Лафонтена.

«Но как вы все-таки решились прийти на столь многолюдный прием? — спросила меня Жильберта. — Увидеть вас посреди этой бойни, знаете, это так на вас не похоже. Правда-правда, я ожидала встретить вас где угодно, только не на этом помпезном сборище у моей тети, ведь тетя здесь», — добавила она с лукавым видом, ибо, став госпожой де Сен-Лу немногим раньше того, как членом семьи сделалась госпожа Вердюрен, себя самое она считала принадлежащей клану Германтов испокон веков и была весьма уязвлена мезальянсом, который допустил ее дядюшка, женившись на госпоже Вердюрен, и который, как

она сотню раз была свидетельницей, язвительно обсуждали в семье, в то время как — в ее отсутствие, разумеется, — высмеивался совсем другой мезальянс, а именно — женитьба на ней Сен-Лу. Впрочем, презрение, какое она демонстрировала в адрес этой своей сомнительной тетушки, было тем больше, что, вследствие своего рода брезгливости, которая зачастую заставляет умных людей избегать вульгарного шика, а также чувствуя, как и все пожилые люди, склонность предаваться воспоминаниям, и, наконец, пытаясь представить свое прошлое по-новому изысканным, принцесса Германтская любила повторять, едва только речь заходила о Жильберте: «Уверяю вас, для меня это отнюдь не новое знакомство, я прекрасно знала еще мать этой малышки, да-да, это была ближайшая подруга моей кузины Марсант. Именно у меня в доме она и познакомилась с отцом Жильберты. Что же до того бедняжки Сен-Лу, его семью я прекрасно знала еще задолго до всего этого, его дядя был моим очень близким другом когда-то в Распельере». — «Вы же видите сами, эти Вердюрены вовсе не принадлежали к какой-то там богеме, — говорили мне люди, слышавшие эти высказывания принцессы Германтской, — это давнишние друзья семьи госпожи де Сен-Лу».

Быть может, я единственный из всех знал от своего деда, что Вердюрены и в самом деле не принадлежали к богеме. Но уж вовсе не потому, что были знакомы с Одеттой. Просто рассказы о прошлом, свидетелей которому уже нет, мы принимаем на веру так же, как и рассказы о путешествиях по странам, в которых никто не был. «Но коль скоро, — добавила Жильберта, — вы все-таки покидаете время от времени свою башню из слоновой кости, может быть, вам лучше подойдут какие-нибудь скромные собрания близких друзей у меня, там будут только симпатичные люди? Такие шумные сборища, как это, не слишком вам подходят. Я видела, как вы беседовали с моей тетей Орианой, я согласна признать за ней все мыслимые достоинства, но, право же, мы не сильно погрешим против истины, если предположим, что к интеллектуальной элите она никак не принадлежит».

Я не мог поделиться с Жильбертой мыслями, которые одолевали меня в течение последнего часа, но я счел, что, если иметь в виду развлечения, а не что-либо серьезное, общение с ней могло бы доставить мне удовольствие, во всяком случае беседовать о литературе с герцогиней Германтской нисколько не приятнее, чем с госпожой де Сен-Лу.

Разумеется, с завтрашнего же дня я намеревался вновь, на этот раз преследуя определенные цели, начать жить в одиночестве. Даже находясь у себя, я не позволил бы людям приходить и беспокоить меня в часы работы, ибо долг перед собственным произведением оказывался сильнее светских приличий, обязанности быть вежливым и учтивым. Они, которые не видели меня так давно, конечно же, настаивали бы, желая прийти ко мне и убедиться, что я здоров, прийти тогда, когда их собственный ежедневный труд был уже завершен или требовал перерыва, так же нуждаясь во мне, как некогда я сам — в Сен-Лу; потому что, как я сам не раз имел возможность убедиться в Комбре, когда родители начинали упрекать меня, стоило мне принять самое похвальное решение, внутренние часы, которые находятся в каждом человеке, отрегулированы по-разному и поставлены на разное время. В одно и то же мгновение часы одного человека показывают время отдыха, другого — время работы, для судьи — время наказания, между тем как у преступника час покаяния и внутреннего усовершенствования пробил уже давно. Но тем, кто пришел бы навестить меня, я решился бы ответить, что у меня очень срочное, важное свидание, настолько

срочное и важное, что и речи не может быть об опоздании, свидание с самим собой. И тем не менее, хотя нет почти ничего общего между нашим истинным «я» и другим, видимым всеми, но поскольку существует общее имя и единое — одно на двоих — тело, самоотверженность, заставляющая вас жертвовать второстепенными обязанностями, порой даже удовольствиями, в глазах других выглядит эгоизмом.

Впрочем, не для того ли я и стал бы жить вдали от тех, кто жалуется на мой отказ видеться, не для того ли, чтобы заниматься ими гораздо больше, чем если бы я находился рядом, чтобы попытаться открыть их им самим, чтобы они с моею помощью могли состояться? С какой стати еще в течение стольких лет мне было терять многие вечера, наслаивая на еле слышное эхо их слов бесплодные усилия моего собственного голоса, и все это ради бессмысленного светского общения, по сути своей исключающего всякую вдумчивость и проницательность? Не лучше ли было бы из жестов, сделанных ими, слов, ими произнесенных, самой их жизни, их природы попытаться изобразить пространственную кривую, вывести из всего этого закон? К несчастью, мне пришлось бы бороться против привычки ставить

себя на место других, поскольку привычка эта, возможно, благоприятствуя концепции произведения, замедляет и откладывает его исполнение. Ибо, исходя из некоей высшей учтивости, она побуждает жертвовать ради других не только своим собственным удовольствием, но и своим долгом, между тем как этот долг состоит для того, кто не может быть нужным на переднем крае, именно в том, чтобы остаться в тылу, где он принесет больше пользы, а кому-то покажется, что для этого человека это и не долг вовсе, а эгоизм, что совершенно неверно.

И отнюдь не чувствуя себя несчастным оттого, что вынужден обходиться без друзей, без бесед, как случалось себя чувствовать таковым кому-то из великих, я осознавал, что силы на экзальтацию, растрачиваемые в дружбе, являются чем-то вроде декоративного элемента, вроде лжеарки, никуда не ведущей, поскольку только отдаляет от истины, к которой могла бы нас вывести. Но в конце концов, если бы мне понадобились паузы на отдых и на общение, я чувствовал, что гораздо больше, чем интеллектуальные беседы, столь полезные, по мнению светских людей, писателю, мне оказались бы необходимы легкие романы с девушками в цвету, они стали бы той изыскан-

ной пищей, что я в крайнем случае позволил бы своему воображению, уподобившемуся той знаменитой лошади, которая питалась лишь лепестками роз. Если я что и желал бы испытать вновь, так это именно то, о чем грезил в Бальбеке, когда, еще даже не будучи знакомым с ними, увидел, как по берегу моря прошли Альбертина, Андре и их подружки. Но, увы, я не мог больше и пытаться отыскать тех, кого именно в эту минуту так страстно желал увидеть. Воздействие времени, так сильно изменившее всех увиденных мною сегодня людей и саму Жильберту, проявилось в том, что оно превратило всех женщин — такое случилось бы и с Альбертиной, будь она жива — в других, совершенно незнакомых мне, женщин. Я страдал от необходимости прилагать столько усилий, чтобы обрести прежнее, ибо время, изменившее людей, никак не затронуло образы этих же людей, что сохранили мы в своей памяти. Нет ничего более болезненного, чем такой вот контраст между преображением лица и неизменностью воспоминаний, когда мы понимаем, что тот, кто свеж и юн в нашей памяти, является таковым лишь в ней, и только, что мы в реальности не можем приблизиться к тому, кто казался нам столь прекрасным, к тому, кто вызы-

вает в нас желание вновь увидеть его, но только лишь при условии, что это будет существо того же возраста, то есть по сути дела — другое существо. Я уже давно подозревал: то, что в любимом нами человеке кажется единственным в своем роде, в действительности ему вовсе не принадлежит. Но истекшее время окончательно убедило меня в этом, когда по прошествии двадцати лет мне вдруг захотелось отыскать не тех девушек, что я знал когда-то, но тех, кто были отмечены ныне той юностью, какой тогда обладали они. (Впрочем, не только пробуждение наших плотских желаний противоречит всякой реальности, поскольку не принимается в расчет утраченное время. Мне случалось порой пожелать, чтобы вдруг каким-то чудом, вопреки всему, оказались живы моя бабушка, Альбертина, чтобы они появились здесь, возле меня. Я верил, что вижу их, мое сердце устремлялось им навстречу. Я забывал только одно, что, будь они и впрямь сейчас живы, Альбертина выглядела бы приблизительно так, как госпожа Котар, какой предстала она передо мной в Бальбеке, а моя бабушка, которой сегодня перевалило бы за девяносто пять, уже не обратила бы ко мне свое прекрасное, спокойное и улыбающееся лицо, обладательницей которого

я и поныне представлял ее, точно так же как мы видим Бога Отца обязательно бородатым, а героев Гомера в XVII веке изображали в дворянских одеяниях того времени, совершенно упуская из виду их принадлежность к античному миру.)

Глядя на Жильберту, я вовсе не думал: «Мне хочется вновь увидеть ее», но я сказал ей, что она может сделать мне приятное, если пригласит в гости одновременно с какими-нибудь молоденькими девушками, желательно небогатыми, чтобы я своими скромными подарками смог доставить им удовольствие, не прося ничего взамен, мне хотелось лишь воскресить свои мечтания, свои прежние печали, быть может, память о каком-нибудь невероятном дне, невинном поцелуе. Жильберта улыбнулась и тут же посерьезнела, очевидно, что-то вспомнив.

Как Эльстир видел в собственной супруге воплощенную венецианскую красоту, которую столь часто изображал на своих картинах, так я сам себе находил оправдания тому, что вследствие определенного эстетического эгоизма испытывал влечение к красивым женщинам, которые могли бы причинить мне страдания, а еще я чувствовал нечто вроде идолопоклонства по отношению к будущим Жильбертам, будущим

герцогиням Германтским, будущим Альбертинам, которых мог еще встретить и которые, как мне казалось, могли бы меня вдохновить, как прекрасные античные статуи способны вдохновить скульптора, что прогуливается меж ними. Я должен был бы, однако, осознавать, что внутри каждой из них живет мое ощущение тайны, в которую все они погружены, а еще, что, вместо того чтобы просить Жильберту познакомить меня с юными девушками, мне следовало бы самому отправиться в те места, где ничто не связывает нас с ними, где между ними и нами существует что-то непреодолимое, где на расстоянии двух шагов, на пляже, по пути к купальне чувствуешь, как нечто невозможное отделяет тебя от них. Так мое ощущение тайны по очереди накладывалось на Жильберту, на герцогиню Германтскую, Альбертину, на стольких других женщин. Да, конечно, неведомое, почти непознаваемое, становилось знакомым, родным, безразличным или мучительным, но в нем исчезало то, что составляло его очарование.

И, по правде говоря, как в тех календарях, что в конце года приносят нам почтальоны, рассчитывая получить свой новогодний подарок, не было ни единого года из прожитых мною, где

на фронтисписе или в виде вставки посередине не была бы изображена женщина, которую я желал именно тогда, изображена зачастую совершенно произвольно, ибо порой я никогда этой женщины не видел, когда, к примеру, ею оказывалась камеристка госпожи Питбю мадемуазель д'Оржевиль или какая-нибудь девушка, чье имя мне встретилось в газетной заметке, где в отчете о светском приеме упоминались имена танцующих. Я не сомневался, что она прекрасна, я влюблялся в нее, наделял идеальным телом, которое величественно царило над пейзажем той самой провинции, где, как я вычитал из «Ежегодника замков», находилось имение ее семьи. Что же касается знакомых мне женщин, то здесь пейзаж играл по крайней мере двойную роль. Каждая из них в разные периоды моей жизни возвышалась, возносилась, подобно божеству, местному покровителю, вначале — над одним из тех вымышленных пейзажей, участки которого соответствовали периодам моей жизни и где я только там и представлял их, затем — увиденная в воспоминаниях в окружении ландшафта, в каком я ее знал и в каком она мне запомнилась, навсегда оставшись в нем, ибо если наша жизнь — скиталица, то наша память — домоседка, и

напрасно мы без передышки подталкивали наши воспоминания, они, пригвожденные к месту, от которого мы сами уже оторвались, продолжают жить своей домашней, налаженной жизнью, как эти временные приятели, с которыми путешественник познакомился в городе и которых покидает, когда наступает пора покинуть город, потому что именно здесь они, не собирающиеся уезжать, завершат свои дни и свою жизнь, как будто ничего не изменилось, у ступеней этой церкви, перед этими воротами, у подножия этих деревьев, растущих во дворе. Так что тень Жильберты стелилась не только перед какой-нибудь церковью Иль-де-Франс, где я представлял ее, но и на аллее парка возле Мезеглиза, а тень герцогини Германтской — на влажной тропинке, где сплетались виноградные лозы с фиолетовыми и красноватыми кистями или на рассветном золоте парижского тротуара. И эта вторая особа, рожденная не из вожделения, а из воспоминания, тоже не была последней ни для одной из этих женщин. Ибо каждую из них я знал в разные мгновения, при разных обстоятельствах, где она каждый раз оказывалась другой или же я сам оказывался другим, утопая в мечтах совсем иной окраски. Ибо тот самый закон, что властвовал над мечтаниями

именно этого года, собирал воедино вокруг этих мечтаний воспоминания о женщине, которую я знал тогда, то, что в годы моего детства имело, к примеру, отношение к герцогине Германтской, было сосредоточено, словно повинуясь некоей силе притяжения, вокруг Комбре, а все то, что было связано с нынешней герцогиней Германтской, только что пригласившей меня на обед, оказалось сконцентрировано вокруг совсем другого, чувствительного, человека: существовало несколько герцогинь Германтских, подобно тому как со времен дамы в розовом существовало несколько мадам Сван, отделенных одна от другой бесцветным эфиром лет, и преодолеть расстояние между ними мне было не проще, чем оставить эту планету и перебраться на другую, отделенную эфиром космоса. Не просто отделенную, но совершенно иную, украшенную мечтами, которым я предавался во времена, тоже казавшиеся совершенно иными, как особая флора, которую можно отыскать только на другой планете; так, подумав о том, что я не пойду на обед ни к госпоже де Форшвиль, ни к герцогине Германтской, я мог сказать себе самому, так далеко это переносило меня в иной мир, что одна являлась не кем иным, как той самой герцогиней Германтской, что вела

свое происхождение от Женевьевы Брабантской, а другая — от дамы в розовом, потому лишь, что сведущий человек, находящийся внутри меня, утверждал это с уверенностью ученого, который стал бы меня убеждать, что Млечный Путь обязан своим происхождением делению одной и той же звезды. Та Жильберта, которую я, не отдавая сам себе в этом отчета, попросил позволить мне иметь подружек, какой была когда-то она, являлась для меня отныне лишь госпожой де Сен-Лу. Теперь, видя ее, я больше не думал о той роли, какую когда-то играла она в моей жизни, в моей любви, о роли, забытой и ею самой, как я не вспоминал о былом восхищении Берготом, ставшим для меня всего-навсего автором своих книг, и не мог уже воскресить (разве что в редких и разорванных воспоминаниях) свое волнение оттого, что меня представили этому человеку, свое разочарование, изумление от его манеры вести беседу в гостиной, затянутой белой тканью, с цветущими фиалками, куда на удивление рано вносят столько ламп на разнообразных подставках. Все воспоминания, составляющие первую мадемуазель Сван, оказались в действительности изъяты из нынешней Жильберты, притянутые непреодолимыми силами притяжения к другой

вселенной, к фразе Бергота, с которой составляют единое целое, окутанные ароматом боярышника.

Отрывочная, состоящая из фрагментов, теперешняя Жильберта слушала меня улыбаясь. Затем, задумавшись, приняла серьезный вид. И я обрадовался этому, потому что данное обстоятельство отвлекло ее внимание от группы людей, вид которых должен был быть ей, разумеется, неприятен. Герцогиня Германтская оживленно беседовала с какой-то чудовищного вида старухой, которую я разглядывал, будучи совершенно не в силах догадаться, кто это: мне ровным счетом ничего не приходило в голову. В действительности же это была Рахиль, то есть тетка Жильберты, герцогиня Германтская беседовала в эту самую минуту со ставшей ныне известной актрисой, которая была приглашена сюда прочесть стихи Виктора Гюго и Лафонтена. Ибо герцогиня, нисколько не сомневаясь, что занимает самое видное положение в Париже (не осознавая того обстоятельства, что подобное положение существует лишь в умах тех, кто в него верит, и что большинство из новичков, если они не видели ее нигде, если не встречали ее имени в газетных разделах светской хроники, полагали, будто она и

не занимает никакого положения вовсе), отныне очень редко, с большими, насколько это возможно, промежутками, и весьма неохотно озаряла своим присутствием предместье Сен-Жермен, где, по ее утверждению, было смертельно скучно, зато позволяла себе прихоть обедать с той или иной актрисой, которую находила очаровательной. Посещая новые круги, оставаясь при этом собой даже в большей степени, чем полагала, она по-прежнему верила, будто выражение легкой скуки свидетельствует об интеллектуальном превосходстве, но изображала эту свою скуку с излишней грубостью, придававшей ее голосу некоторую хрипотцу. Стоило мне заговорить о Бришо, в ответ слышалось: «Он так мне надоел за двадцать лет», а когда госпожа де Камбремер сказала: «Перечтите то, что Шопенгауэр пишет о музыке», она обращала наше внимание на эту фразу, резко ответив: «Перечтите — подумать только! Боже мой! Право, не стоит на это тратить силы». Старик д'Альбон улыбнулся, узнав одну из особенностей ума Германтов. Жильберта осталась безучастна. Хотя и будучи дочерью Свана, она, как утка, которую высидела курица, оказалась большей сторонницей поэзии Озерной школы. Поэтому отвечала: «А по-моему, это тро-

гательно, он такой чувствительный».

Я рассказал герцогиня Германтской, что только что встретил господина де Шарлюса. Она находила его более опустившимся, чем тот был на самом деле, поскольку в том, что касается умственных способностей, светские люди примечали различие не только между разными представителями общества, у которых они более или менее были сходными, но и различия у одного и того же человека в разные периоды его жизни. Затем она добавила: «Он всегда был копией моей свекрови, а теперь это еще больше бросается в глаза». По правде сказать, в этом сходстве не было ничего удивительного. Известно, что некоторые женщины, если можно так выразиться, проецируют себя самое на другое существо со всеми мыслимыми подробностями, единственная погрешность заключается в принадлежности к тому или иному полу. Погрешность, про которую не скажешь: *felix culpa*, поскольку пол оказывает влияние на личность, и женские черты у мужчины кажутся жеманством, излишней чувствительностью и т. п. Все равно где, в лице, пусть даже оно обрамлено густой бородой, в щеках, даже при наличии бакенбард, есть некоторые черты, совпадающие с чертами материнского портрета. В старом

Шарлюсе, окончательно превратившемся в развалину, не было ни единой черты, в которой под всеми наслоениями жира и рисовой пудры не проступала бы вечно юная, прекрасная женщина. В эту минуту появился Морель; герцогиня обратилась к нему с любезностью, приведшей меня в некоторое замешательство: «Ах! Я не вмешиваюсь в эти семейные ссоры, — сказала она. — Вы не находите, что семейные ссоры это так скучно?»

Ибо если за эти двадцать лет различные кружки и кланы распадались и соединялись вновь, по мере того как к ним притягивались новые звезды, которым, впрочем, тоже суждено было отдалиться, затем появиться вновь, в душах людей тоже в свою очередь происходила кристаллизация, затем дробление, затем новая кристаллизация. Если для меня герцогиня Германтская состояла из множества личностей, для самой герцогини Германтской, для госпожи Сван и т. д. тот или иной конкретный человек являлся любимцем в эпоху, предшествующую делу Дрейфуса, затем фанатиком или идиотом в зависимости от отношения к делу Дрейфуса, которое изменило для них всю систему ценностей и расстановку сил, перетасовав различных людей и целые партии, которые с тех пор вновь распадались и вновь со-

единялись. Что способствует этому в наивысшей степени и влияет на духовные ценности, так это истекшее время, которое заставляет нас забыть и наши антипатии, и нашу ненависть, и даже сами причины нашей антипатии и ненависти. Если попытаться объяснить причину очарования юной госпожи де Камбремер, обнаружилось бы, что она являлась дочерью торговца из нашего дома, Жюпьена, а блистательной ее делало то обстоятельство, что именно ее отец поставлял мужчин господину де Шарлюсу. Но все это вместе производило ослепительный эффект, между тем как обстоятельства далекие по времени, мало того, что были незнакомы большинству новичков, оказывались забыты и теми, кто хорошо их знал когда-то, ибо они гораздо больше думали о нынешнем блеске, чем о давнем стыде, ведь любое имя воспринимается в его теперешнем значении. А все эти салонные превращения тем и были интересны, что тоже являлись следствием утраченного времени и феномена памяти.

Герцогиня из страха перед герцогом Германтским колебалась еще между Балти и Мистингетт, которых обеих находила очаровательными, но в конце концов своей близкой подругой выбрала Рашель. Из этого обстоятельства молодое

поколение сделало вывод, что герцогиня Германтская, несмотря на свое имя, была, очевидно, чем-то вроде кокотки и никогда, в сущности, не принадлежала к сливкам общества. Правда, что касается некоторых высочайших особ, дружбу с которыми оспаривали у нее две другие знатные дамы, герцогиня Германтская еще давала себе труд пригласить их к обеду. Но, с одной стороны, приходили они редко, людей знали плохо, а герцогиня из пристрастия Германтов к старому протоколу (ибо, хотя хорошо воспитанные люди на нее наводили скуку, она стремилась в то же время придерживаться правил хорошего тона) изъяснялась следующим образом: «Его Величество приказало герцогине Германтской, его Величество соблаговолило» и т. д. Из чего новое поколение, не сведущее во всех этих формулах, делало вывод, что положение герцогини оставляло желать лучшего. С точки зрения герцогини Германтской, эта близкая дружба с Рахиль могла означать, как мы все ошибались, считая ее, герцогиню Германтскую, лживой и лицемерной, когда та осуждала изящество, ошибались, когда в тот момент, когда она отказывалась идти к госпоже де Сент-Эверт, полагали, будто она действует так из чистого снобизма, а не повинуясь разу-

му, ошибались, считая ее глупой потому лишь, что маркиза не давала себе труда скрыть свой снобизм, не достигнув еще намеченной цели. Но эта близкая дружба с Рахиль могла означать также, что герцогиня и в самом деле обладала посредственным, неглубоким и на склоне лет неудовлетворенным умом, когда она уставала от света, от собственного мельтешения в свете, не ведая истинных интеллектуальных ценностей, а еще от собственной взбалмошности, что отличает порой весьма достойных дам, которые, полагая, «как это будет забавно», что в действительности оказывается весьма пошло и скучно, — к примеру, заявляются чуть не за полночь к кому-то домой, будят его, стремясь над ним подшутить, но не зная, в сущности, о чем с ним говорить, стоят у его постели какое-то время в своем вечернем манто, затем, сославшись на то, что уже достаточно поздно, отправляются спать.

Следует добавить также, что антипатия, которую с недавних пор изменчивая герцогиня питала к Жильберте, могла лишь обострить чувство удовольствия, которое испытывала она, принимая у себя Рахиль, поскольку, помимо всего прочего, это служило подтверждением одной из максим, принятых у Германтов, а именно — их

слишком много, чтобы становиться на чью-либо сторону в ссоре (или еще не хватало, носить траур); независимость от всякого рода «мне не следовало бы» только оправдывала политику, принятую в отношении господина де Шарлюса, который, прими вы его сторону, перессорил бы вас со всем светом.

Что же касается Рахили, если она в действительности очень старалась подружиться с герцогиней Германтской (которая не сумела распознать эти старания под напускным презрением, нарочитой грубостью, что только раззадоривало герцогиню и высоко ставило в ее глазах актрису, отнюдь не страдающую снобизмом), это, без сомнения, в общем и целом объяснялось тем влечением, что с определенного момента светское общество начинает испытывать к самой чистокровной богеме, не говоря уже о том влечении, что сама эта богема испытывает к светскому, — своего рода двойной поток, который можно иногда наблюдать и в политической жизни, когда два воюющих народа начинают испытывать взаимный интерес и желание заключить союз. Хотя поведение Рахили могло иметь и свое особое объяснение. Дело в том, что именно у герцогини Германтской и от герцогини Германтской некогда получила она

самое жестокое оскорбление. Постепенно Рахиль не то чтобы забыла, скажем так, простила его, но та особая значимость, что приобрела в ее глазах герцогиня, так никогда и не померкла. Впрочем, беседа, от которой я хотел отвлечь внимание Жильберты, прервалась, поскольку хозяйка дома искала актрису, Рахили пора уже было начать выступление, и она, покинув герцогиню, появилась на эстраде.

А в это самое время на другом конце Парижа имело место совсем иное зрелище. Как я уже сказал, Берма пригласила нескольких человек на чай, в честь своей дочери и зятя. Но приглашенные запаздывали с прибытием. Узнав, что Рахиль собирается декламировать стихи у принцессы Германтской (что до крайней степени шокировало Берма, великую актрису, для которой Рахиль так и осталась жалкой содержанкой, которой время от времени дозволялось выходить статисткой в пьесах, где она, Берма, исполняла главные роли, да и то потому, что Сен-Лу оплачивал ее театральные туалеты, — возмущение было тем сильнее, что по Парижу прошел слух, будто хотя приглашения были от имени принцессы Германтской, на самом деле у принцессы принимала Рахиль), Берма вновь, и довольно настойчиво,

повторила свои приглашения в адрес некоторых верных друзей, поскольку ей хорошо было известно, что они являются также и друзьями принцессы Германтской, которую знали еще под именем госпожи Вердюрен. Но время шло, а у Берма никто не появлялся. Блок, у которого спросили, не желает ли он прийти, наивно ответил: «Нет, я предпочитаю отправиться к принцессе Германтской». Увы, в глубине души такое решение принял каждый. Берма, пораженная смертельной болезнью, которая мешала ей самой появляться в обществе, осознавала, что состояние ее ухудшается день ото дня, но дабы поддержать потребности в роскоши собственной дочери, которые не мог удовлетворить болезненный и никчемный зять, вновь вынуждена была выйти на сцену. Она понимала, что сокращает этим свои дни, но хотела сделать приятное дочери, которой отдавала свои гонорары, зятю, которого презирала, но потакала во всем, поскольку, зная, что дочь его обожает, опасалась, что, если рассердит его, он, озлобившись, запретит с нею видеться. Дочь Берма, которую тайно любил врач, пользовавший ее мужа, позволила убедить себя, что представления «Федры» для здоровья матери никакой опасности не представляют. Она, можно

сказать, даже заставила врача так выразиться, из его ответа приняв во внимание лишь это и совершенно проигнорировав все предостережения; в действительности же врач заявил, что не видит нежелательных последствий от этих спектаклей. Он сказал так, чувствуя, что это будет приятно услышать любимой женщине, а еще, быть может, по неведению, поскольку хотя он и не мог не знать, что болезнь эта неизлечима, но мы все так охотно даем себя убедить в необходимости сократить страдания больных, когда это может оказаться полезным нам, а быть может, еще из-за глупой уверенности, что это может доставить удовольствие самой Берма, а значит, окажется благоприятно для ее здоровья, — поистине глупая уверенность, которая показалась ему оправданной, когда, будучи допущен в ложу детей Берма и бросив ради этого своих больных, он смог убедиться, что та, кому, по его мнению, полагалось умирать в постели, на сцене поразительным образом выглядит вполне здоровой и бодрой. И в самом деле, наши привычки позволяют нам, можно сказать даже, нашим органам, в значительной степени приспособиться к существованию, которое на первый взгляд могло бы показаться нестерпимым. Кому не приходилось видеть, как

старый наездник-сердечник проделывает такие акробатические трюки, что непонятно, как его сердце может выдержать такое хотя бы минуту? Так и Берма уже давно буквально срослась со сценой, к требованиям которой сам организм ее приспособился настолько, что, расходуя себя с известной осмотрительностью, незаметной для публики, она производила впечатление женщины абсолютно здоровой, страдающей разве что нервным расстройством, которое, впрочем, тоже, вполне вероятно, являлось плодом ее воображения. После сцены с Ипполитом, хотя Берма и ощущала последствия бессонной ночи, почитатели аплодировали ей изо всех сил, находя еще более прекрасной, чем обычно. Домой она возвращалась, терпя неимоверные страдания, но счастливая оттого, что может принести дочери пачку синих купюр, которые она по старой актерской традиции шаловливо прятала за чулок, откуда и извлекала с гордостью в надежде на улыбку и поцелуй. К несчастью, этих самых купюр дочери и зятю доставало лишь на очередное украшательство особняка, как раз прилегающего к дому матери; отсюда и беспрестанный стук молотка, мешающий сну, в котором великая актриса так нуждалась. Следуя капризам мо-

ды и дабы подладиться под вкусы господина X. или госпожи Y., которых они надеялись в этом особняке принимать, они переделывали каждую комнату. И Берма, чувствуя, как уходит сон, который один лишь и мог унять ее страдания, в конце концов вынуждена была безропотно смириться, втайне ненавидя всю эту роскошь, что приближала ее смерть, сделав невыносимыми последние дни. Возможно, именно потому она их и презирала — естественная месть, направленная на тех, кто причиняет нам страдания и кому мы бессильны помешать. Но, кроме того, осознавая дарованный ей талант, с самых юных лет презирая ничтожность всякого рода веяний моды, она сама осталась верна традициям, которые уважала всегда, воплощением которых и являлась, что позволяло ей судить обстоятельства и людей, так же как тридцать лет назад, к примеру, считать Рахиль не модной актрисой, каковой она была сегодня, но жалкой содержанкой, какой знала ее прежде. Впрочем, сама Берма была нисколько не лучше собственной дочери, которая, в сущности, весьма на нее походила, причем здесь сыграла роль как наследственность, так и находящийся перед глазами пример, благодаря которому искреннее восхищение еще больше высветило

ее эгоизм, ее безжалостную насмешливость, ее невольную жестокость. Только все это Берма принесла в жертву своей дочери, избавившись от этого сама. Впрочем, не только бесконечные работы в доме дочери утомляли мать, как необузданная, легкомысленная, притягательная сила юности утомляет немощную старость, вынужденную с ними считаться. Каждый день в доме устраивался очередной прием, и Берма сочли бы эгоисткой, откажи она в этом дочери, откажись она сама присутствовать на обеде, где все так рассчитывали, дабы приобрести некоторые новые связи и заполучить нужных, но труднодоступных людей, увидеть ее знаменитую мать. Ради этих самых связей ее даже «одалживали» для приема у кого-либо из этих нужных людей, дабы оказать им любезность. И несчастная мать, всерьез озабоченная своим скорым свиданием с самой смертью, вынуждена была рано вставать и к кому-то отправляться. Мало этого, вдохновившись примером Режан, которая в это же время, вся в блеске своего таланта давала за границей представления, имевшие огромный успех, зять посчитал, что звезда Берма не должна закатиться, а семья должна получить свою прибыль от славы актрисы, и заставлял ее ездить в турне, где ее вы-

нуждены были колоть морфином, что, учитывая состояние ее почек, могло просто убить актрису. Праздник у принцессы Германтской, блистая очарованием и элегантностью, полный величия и жизни, подобно механическому насосу втянул в себя даже самых преданных и верных завсегдатаев Берма, в доме у которой вследствие работы этого пневматического агрегата царили пустота и смерть. Явился какой-то молодой человек, который надеялся, что вдруг праздник у Берма будет столь же блестящим. Когда Берма увидела, что время прошло и что все бросили ее, она приказала накрывать, и все расселись вокруг стола, напоминающего поминальный. Ничто уже в лице Берма не напоминало ту, чья фотография однажды под Новый год так поразила меня. У Берма, как говорится, на лице лежала печать смерти. В этот раз она была похожа на мраморную статую храма Эрехтейон. Ее затвердевшие артерии почти уже окаменели, щеки избороздили полосы, выпуклые и жесткие. Умирающие глаза еще жили, словно по контрасту с этой чудовищной окостеневшей маской, и тускло мерцали, как свернувшаяся меж камней змея. Молодой человек, из вежливости севший за стол, поминутно поглядывал на часы, не в силах забыть про праздник у Германтов.

Берма не произнесла ни слова упрека в адрес покинувших ее друзей, наивно надеявшихся, что она не узнает, что они отправились к Германтам. Она только прошептала: «Какая-то Рахиль дает прием у принцессы Германтской. Стоит приехать в Париж, чтобы полюбоваться на такое». Она в полном молчании, торжественно-медленно, ела запрещенные ей пирожные, словно подчиняясь некоему погребальному ритуалу. «Застолье» казалось тем более унылым, что зять пребывал в ярости оттого, что Рахиль, которую и он, и его жена прекрасно знали, их не пригласила. Его страдания усилились еще больше, когда приглашенный молодой человек сказал ему, что тоже знаком с Рахиль, поэтому сейчас собирается отправиться прямиком к Германтам и готов посодействовать, чтобы она в последнюю минуту пригласила легкомысленную парочку. Но дочь Берма слишком хорошо знала, каким ничтожеством ее мать считает Рахиль, и, догадайся она, что дочь выклянчивает приглашение от этой бывшей содержанки, она бы просто этого не вынесла. Но она вымещала свою досаду, корча на протяжении всего обеда кислые физиономии, которые должны были дать понять, как она скучает по удовольствиям, и страдает оттого, что

вынуждена лишать себя их из-за этой зануды мамаши. Та, казалось, не замечала недовольных гримас дочери и время от времени обращалась с какой-нибудь любезной фразой к молодому человеку, единственному приглашенному, который все-таки пришел. Но вскоре тот самый порыв воздуха, что унес всех к Германтам и увлек туда же и меня, сделался еще сильнее, молодой человек встал и ушел, оставив Федру или ее смерть, уже не разобрать, которую из двух, доедать поминальные пироги в компании с дочерью и зятем.

Тут наши размышления и разговоры прервал голос актрисы, только что поднявшейся на эстраду. Ее игру можно было назвать искусной, актриса читала стихи так, словно они, как единое целое, существовали еще до этой декламации, а мы услышали всего лишь фрагмент, как если бы голос идущей по дороге актрисы всего лишь на несколько мгновений достиг нашего слуха.

Названия стихов, которые почти все присутствующие знали наизусть, доставили гостям удовольствие. Но когда актриса, перед тем как начать декламацию, стала блуждать по лицам зрителей рассеянным взглядом, воздевала руки в умоляющем жесте и каждое слово не просто произносила, а выстанывала, гости почувство-

вали себя неловко и были почти шокированы такой демонстрацией чувств. Никто не мог предположить, что декламацией стихов является именно это. Но понемногу все привыкают, то есть первое ощущение неловкости оказывается забыто, в этом начинают находить что-то и хорошее и мысленно сравнивают различные манеры исполнения, чтобы сказать себе: вот это лучше, а это хуже. Но, подобно тому как порой странно смотреть на адвоката, который, выступая в суде по простому, казалось бы, делу, торжественно делает шаг вперед, поднимает руки со спадающими рукавами адвокатской мантии и произносит первые слова угрожающим тоном, сперва бывает неловко взглянуть на соседей. Ибо, по вашему мнению, это выглядит просто комично, хотя в конечном счете может, это и замечательно, и вы никак не можете определиться.

Во всяком случае, присутствующие были изумлены, наблюдая, как эта женщина, перед тем как издать какой-нибудь звук, сгибает колени, воздевает руки, баюкая невидимого младенца, становится косолапой и каким-то неестественным умоляющим голосом произносит всем известные строки. Все поглядывали друг на друга, не зная, как реагировать, некоторые не слишком

хорошо воспитанные молодые люди еле-еле сдерживали смешки, каждый украдкой бросал на соседа быстрый взгляд, так во время изысканных приемов, когда видишь возле своей тарелки какой-нибудь незнакомый прибор вроде вилочки для омаров, терку для сахара и т. п., предназначения и способа пользования которыми не знаешь, приходится смотреть на более опытного соседа по столу в надежде, что он воспользуется этим прибором раньше и можно будет последовать его примеру. Точно так же бывает, когда в вашем присутствии читают стихотворение, которого вы не знаете, но хотите сделать вид, что знаете, и тогда, словно отступив на шаг перед дверью и пропуская вперед, вы, демонстрируя учтивость, даете право более образованному назвать это стихотворение. Точно так же, слушая актрису, каждый, наклонив голову и наблюдая за окружающими, ждал, когда другие проявят инициативу и начнут или смеяться, или критиковать, или плакать, или аплодировать.

У госпожи де Форшвиль, специально прибывшей к Германтам, откуда герцогиня была чуть ли не изгнана, лицо было внимательным и напряженным, можно даже сказать, злым, то ли она хотела показать, что является знатоком поэзии и

явилась сюда вовсе не из праздного любопытства, как прочие, то ли из неприязни ко всем этим людям, менее, нежели она, сведущим в литературе, которые могли бы втянуть ее в разговоры о чем-нибудь другом с целью выведать, «нравится» ей или нет, то ли просто была напряжена всем своим существом, а может быть, потому что, хотя в целом все это и казалось ей «любопытным», но «не нравилось» то, как актриса произносила некоторые стихи. Похоже, принцесса Германтская вполне разделяла подобное отношение. Но поскольку дело происходило в ее доме и, будучи столь же скупой, сколь и богатой, она решила подарить Рахили всего лишь пять роз, то предпочла изобразить энтузиазм. Испуская время от времени восторженные восклицания, она создавала нужную атмосферу и, что называется, «делала прессу». Но и тут она оставалась прежней госпожой Вердюрен, потому что по ее виду можно было заключить, что стихи она слушает исключительно ради собственного удовольствия, пожелав, чтобы актриса специально пришла прочесть их одной лишь ей, и только, а все эти пять сотен гостей здесь совершенно случайно, она просто любезно позволила им прийти и поприсутствовать при том, как она получает удовольствие.

Я заметил, однако, причем не могу сказать, что мне было это особенно лестно, поскольку актриса была старой и уродливой, что она поглядывает на меня, хотя и с некоторой осторожностью. Во время исполнения в ее глазах трепетала улыбка, сдержанная и проникновенная, в которой сквозило согласие на все, что я, как она надеялась, могу пожелать. Однако некоторые пожилые дамы, непривычные к подобного рода поэтическим декламациям, шептали соседке: «Вы видели?» — имея в виду торжественную, трагическую мимику актрисы, которую не знали, как и оценить. Герцогиня Германтская уловила легкое волнение и, решив, что одержала победу, воскликнула: «Это восхитительно!» — прямо посреди стихотворения, полагая, будто оно закончилось. Не один приглашенный отметил это восклицание благосклонным взглядом и наклоном головы, дабы показать не столько одобрение чтице, сколько согласие с герцогиней. Когда декламация была завершена, поскольку мы находились совсем рядом с актрисой, я услыхал, как она благодарит герцогиню Германтскую и в то же время воспользовавшись тем, что я находился возле, она повернулась ко мне и изящно поприветствовала. Тогда я понял, что должен знать эту особу; и если

страстные взгляды Вогубера-младшего я принял за ошибочное приветствие, адресованное не мне, здесь взгляды актрисы, что показались мне призывными, в действительности означали только то, что она желает быть узнанной мною. Я вежливо улыбнулся в ответ. «Уверена, что он меня не узнает», — заявила актриса герцогине. «Ну как же, — решительно возразил я, — прекрасно узнаю». — «В таком случае, кто же я?» Я оказался в довольно деликатном положении, поскольку не имел решительно никакого представления, кто это мог быть. К счастью, если во время чтения прекрасных стихов Лафонтена эта женщина, что декламировала их так уверенно, думала, то ли по доброте, то ли по глупости, то ли от стеснения, лишь о том, как бы поприветствовать меня, в это же самое время Блок думал совершенно о другом: как бы исхитриться и сразу по окончании декламации, подобно осажденному, что ищет выход, броситься вперед если не по головам, то по ногам соседей и первым поздравить чтицу, то ли повинуясь ложному пониманию долга, то ли просто из хвастовства. «Как забавно встретить здесь Рахиль!» — шепнул он мне на ухо. Это магическое имя мгновенно развеяло колдовство, которое любовницу Сен-Лу наделило непривычной

внешностью этой необъятной старухи. Стоило мне услышать ее имя, я тут же узнал ее самое. «Это было превосходно», — сказал он Рахили, и, произнеся эти простые слова, почувствовал, что миссия его выполнена, отошел и с таким трудом и таким шумом добрался до своего места, что Рахиль вынуждена была выжидать более пяти минут, прежде чем начать следующее стихотворение. Когда она закончила и его, а это были «Два голубя», госпожа де Мориенваль приблизилась к госпоже де Сен-Лу, которую считала весьма образованной, позабыв при этом, что она обладает тонким саркастичным умом своего отца: «Это же басня де Лафонтена, не правда ли?» — спросила она ее, полагая, что узнала стихотворение, но не будучи в этом окончательно убеждена, поскольку плохо знала басни Лафонтена и, более того, была уверена, что это что-то такое для детей и в светском обществе это декламировать не принято. Чтобы иметь такой успех, актриса, без сомнения, должна была спародировать басни Лафонтена, думала славная женщина. А Жильберта невольно утвердила ее в этой мысли, поскольку, не любя Рахиль и желая дать понять, что с подобной дикцией от басен ничего не осталось, она ответила в своей слишком тонкой манере, унаследован-

ной от отца, которая оставляла наивных людей в полнейшем неведении относительно смысла высказывания: «На четверть это изобретение самой чтицы, на четверть безумие, на четверть бессмыслица, остальное, да, Лафонтен», что позволило госпоже де Мориенваль утвердиться в мысли, что только что услышанное ею вовсе не было басней Лафонтена «Два голубя», но являлось некоей обработкой, в которой самое большее лишь четверть и принадлежала Лафонтену, что, в общем, никого не удивило ввиду поразительного невежества этой публики.

Поскольку один из приятелей Блока явился с опозданием, тот с удовольствием поинтересовался у него, приходилось ли ему когда-либо слышать Рахиль, затем в самых восторженных тонах принялся описывать, какая у нее дикция, почувствовав внезапно потребность просветить другого, изрядно преувеличивая удовольствие, которое, по правде говоря, вовсе не испытывал при чтении. Затем Блок с преувеличенным энтузиазмом поздравил Рахиль каким-то писклявым голосом и представил своего друга, который заявил, что никогда прежде ему не приходилось испытывать подобного восхищения; а Рахиль, будучи теперь знакома со знатными светски-

ми дамами, хотя и не осознавая, что подражает им, ответила: «О! Вы мне так льстите, чрезвычайно польщена вашей оценкой». Приятель Блока поинтересовался, что она думает о Берма. «Несчастная женщина, похоже, она впала в беспросветную нужду. Не могу сказать, что она была талантлива, это нельзя по большому счету назвать талантом, и вкус у нее всегда был ужасный, но, в конце концов, по-своему и она на что-то годилась; ее игра отличалась живостью, и потом, это была добрая душа, очень щедрая, она разорилась на других, и вот результат: уже давным-давно у нее нет ни гроша, потому что давным-давно публике не нравится, что она делает… Впрочем, — со смехом добавила она, — сами понимаете, я не имела возможности слушать ее в лучшие годы по причине моего возраста, естественно, и, когда она заканчивала, я была еще слишком молода, чтобы оценить». — «Разве она не умела прекрасно читать стихи?» — отважился спросить приятель Блока исключительно ради того, чтобы польстить Рахили, на что та и ответила: «Что вы! Вот этого-то как раз она не умела никогда, исключительно только проза, причем любая — по-китайски, на волапюке, все, что угодно, только не стихи».

Но я понимал, что время само по себе вовсе не обязательно приводит к прогрессу в искусстве. И точно так же, как какой-нибудь автор XV11 века, не знавший про французскую революцию, про войну, не знакомый с современными научными открытиями, может быть гораздо лучше какого-нибудь современного писателя, а возможно, даже Фагон был столь же великим врачом, что и дю Бульбон (превосходство в уровне гениальности компенсирует в данном случае недостаточность познаний), точно так же и Берма была, как говорится, в тысячу раз выше Рахили, и время, сделав ее звездой тогда же, когда и Эльстира, превознесло посредственность, но уже увековечило гений.

Не следует удивляться, что бывшая любовница Сен-Лу так поносила Берма. Ладно бы она делала это в молодости. Но раз не сделала тогда, значит, сейчас было самое время. Когда женщина знатного происхождения, обладающая глубоким умом, безграничной добротой, становится актрисой, проявляет в этой новой для себя профессии огромный талант, познает успех, мы удивляемся, если, оказавшись рядом с нею через много лет, слышим не присущий ей язык, но язык актрис, едкие замечания в адрес своих коллег, — все эти наслоения, что за «тридцать лет в театре» могут

изменить любое человеческое существо. У Рахили были эти самые «тридцать лет в театре», и при этом отсутствовало знатное происхождение.

«Говорите все что угодно, но это восхитительно, сколько изящества, настроения, сколько ума, никто никогда прежде так стихов не читал», — заявила герцогиня, опасавшаяся, как бы Жильберта не стала поносить актрису. Но та отошла к соседней группе, не желая ссориться с теткой, которая, следует сказать, говорила о Рахили лишь самые банальные вещи. Герцогиня Германтская на склоне лет чувствовала, как в ней пробуждается новое любопытство. Свет уже не мог его удовлетворить. То, что она занимала в этом самом свете главенствующее место, было так же очевидно для нее, как и то, что небо парит над землей. Она полагала, что ей не было необходимости укреплять положение, которое и без того казалось незыблемым. Зато, читая книги, посещая театры, она хотела заполучать продолжения этих книг и этих спектаклей; как когда-то в крошечном садике, где собирались гости за стаканчиком оранжада и куда запросто приходили все самые изысканные светские дамы и господа, среди ароматных дуновений вечера и облачков пыльцы она купалась в атмосфере элегантности и светскости, точно

так же теперь в ней пробудились потребности совсем иного рода: понимать суть той или иной литературной полемики, узнать мир писателей, общаться с актрисами. Ее утомленный ум жаждал новой пищи. Чтобы познакомиться с теми и другими, она сблизилась с женщинами, с которыми некогда не пожелала бы обменяться визитными карточками и которые в надежде обратить на себя ее внимание ссылались на близкую дружбу с директором такого-то театра. Первая приглашенная актриса сочла, что она одна допущена в этот восхитительный мир, который показался вполне посредственным второй актрисе, когда та увидела свою предшественницу. Поскольку иные ее вечера удостаивали своим посещением высочайшие особы, герцогиня полагала, что в ее положении не произошло никаких изменений. В действительности же она, единственная обладательница чистой, без примесей, крови, она, которая, принадлежа Германтам по праву рождения, могла подписываться «Германтская-Германтская», когда не подписывалась просто «герцогиня Германтская», она, которая даже своим невесткам казалась чем-то исключительно драгоценным, подобно Моисею, спасенному из вод, Христу, избегнувшему опасностей в Егип-

те, Людовику XVII, спасшемуся в замке Тампль, она принесла все в жертву этой наследственной потребности в духовной пище, что привело к социальному падению госпожи де Вильпаризи, она сама превратилась в своего рода госпожу де Вильпаризи, и снобистски настроенные дамы опасались встретить у нее дома такого-то или такую-то, а молодые люди, видя конечный результат, но не зная, что ему предшествовало, полагали, будто она принадлежит к Германтам не лучшего сорта, так сказать, не лучшего разлива, к опустившимся Германтам.

Но поскольку даже у хороших писателей с приближением старости или от избытка творческого рвения часто иссякает талант, тем более можно извинить великосветских дам, у которых начиная с определенного момента иссякает разум. В грубом уме герцогини Германтской Сван не смог бы узнать «гибкости» принцессы Ломской. На склоне лет, от усталости или малейшего напряжения, герцогиня Германтская способна была изречь неимоверную глупость. Конечно же, множество раз и даже на протяжении сегодняшнего приема она вновь становилась той женщиной, что я знал когда-то, и демонстрировала прежнее изящество и ясность ума. Но наряду с

этим довольно часто случалось, что остроумное, блестящее слово, способное в былые времена, подобно интеллектуальному скипетру, пронзить самых выдающихся людей Парижа, теперь выстреливало тоже, но на сей раз, если можно так выразиться, вхолостую. Когда наступал момент вставить слово, она делала такую же, как прежде, многозначительную паузу, которая длилась ровно столько же секунд, изображала, что колеблется, пытаясь сформулировать, но то, что в итоге слетало с ее уст, не стоило решительно ничего. Слишком немногие из завсегдатаев способны были это заметить! Подобного рода ухищрения заставляли их верить в то, что ум остался прежним, такое происходит с некоторыми людьми, которые, суеверно привыкнув к определенному сорту пирожных, все продолжают и продолжают заказывать свои птифуры в той же кондитерской, словно не замечая, что они сделались несъедобны. Уже во время войны герцогине случалось давать доказательства подобного рода слабостей. Если кто-то произносил в ее присутствии слово «культура», она, улыбнувшись, останавливала его, бросала лукавый взгляд и изрекала «K-K-K-Kultur» на немецкий манер, что неизменно вызывало смех друзей, полагавших, что это вот

остроумие и есть проявления знаменитого духа Германтов. И, вне всякого сомнения, это было то же выражение лица, та же интонация, та же улыбка, что когда-то так очаровали Бергота, который, впрочем, тоже сохранил свою манеру обрубать фразу, свои междометия, многоточия, свои эпитеты, всю эту многозначительную бессмыслицу. Но новые гости удивлялись и, если им не случалось застать ее в тот день, когда она могла еще выглядеть забавной и «в отличной форме», говорили: «До чего же она глупа!»

Впрочем, герцогиня могла постараться ввести в приличествующие рамки свое общение с малоподходящими людьми и не вмешивать сюда членов своего семейства, которые были ей необходимы для аристократического престижа. Если она, дабы достойно исполнить свою роль покровительницы искусства, приглашала в театр какого-нибудь министра или художника и те простодушно интересовались, находятся ли в зале ее невестка или муж, герцогиня, слегка напуганная, но старательно изображая беспечность и отвагу, отвечала: «Понятия не имею. Как только я выхожу из дома, я перестаю интересоваться, что делает мое семейство. Для политиков и художников я вдова». Точно так же она прилагала

усилия, чтобы какой-нибудь слишком угодливый парвеню не сделался объектом грубых выпадов — а сама она навлекла на себя упреки — госпожи де Марсант и Базена.

«Даже не могу вам передать, какое удовольствие встретить вас снова. Боже мой, когда мы виделись с вами в последний раз?..» — «У госпожи д'Агригент, нам нередко приходилось там с вами встречаться». — «Разумеется, я часто там бывала, бедняга, как Базен любил ее тогда. Меня чаще всего можно было встретить у какой-нибудь его — на тот момент — доброй приятельницы, он говорил мне: «Непременно сходите к ней с визитом». По правде сказать, мне казалось это несколько неуместным, эти вот «послеобеденные визиты», которые он велел мне делать всякий раз, когда ему случалось «отобедать» самому. В конце концов я довольно быстро привыкла, но самое неприятное заключалось в том, что я была вынуждена сохранять эти отношения после того, когда он рвал свои. Мне всегда по этому поводу приходили на память стихи Виктора Гюго:

Оставь печали мне, а счастье забери!

Я все же, как сказано в том же стихотворении, «появлялась с улыбкой», но, по правде говоря, это

не совсем верно, ему следовало бы предоставить мне несколько большую свободу в отношении своих любовниц, поскольку в результате всех этих ненужных визитов я в один прекрасный момент вдруг поняла, что у меня не осталось ни одного свободного вечера. Впрочем, то время в сравнении с нынешним кажется мне относительно спокойным. Боже мой, приди ему вновь в голову обмануть меня, я была бы только польщена, это вернуло бы мне молодость. Мне гораздо больше нравилось его прежнее поведение. Черт побери, как давно он меня не обманывал, наверное, он даже забыл, как это делается! Ах! несмотря ни на что, нам все-таки неплохо вместе, мы разговариваем, мы, в общем, даже любим друг друга», — сказала мне герцогиня, опасаясь, что я не понял, что они окончательно расстались, так говорят о каком-нибудь тяжелобольном приятеле: «Но говорит он еще очень хорошо, сегодня утром я читал ему целый час». Она добавила: «Я скажу ему, что вы здесь, он непременно захочет с вами повидаться». И она приблизилась к герцогу, который, сидя на диване возле какой-то дамы, оживленно с нею беседовал. Я был в восхищении от того, что он почти не изменился, только поседел, и выглядел по-прежнему столь

же величественным и прекрасным. Но при виде подошедшей к нему жены он рассвирепел настолько, что та сочла за лучшее ретироваться. «Он занят, не знаю, что он такое делает, сами сейчас увидите», — сказала герцогиня Германтская, предоставив мне возможность выпутываться самому.

К нам присоединился Блок и от лица своей американки поинтересовался, кто была эта юная герцогиня, что только что отошла, я ответил, что это была племянница господина де Бреоте, и Блок, которому это имя не говорило ровным счетом ничего, спросил, кто это. «А! Бреоте! — воскликнула герцогиня Германтская, обращаясь ко мне, — вы должны помнить. Как это было давно, как далеко! Ну что вы, это был такой сноб. Эти люди жили неподалеку от моей свекрови. Вам это вряд ли будет интересно, господин Блок, а вот наш друг совсем другое дело, когда-то он знал все это, в то же время, что и я», — добавила герцогиня Германтская, указывая на меня и напоминая мне свои прежние манеры давно уже прошедших времен. Как, должно быть, изменились мнения и взгляды герцогини Германтской, если своего очаровательного Бабала она задним числом считала снобом. С другой стороны, он не просто отодви-

нулся, отступил во времени, но — странная вещь, которой я не осознавал прежде, когда, делая первые свои шаги в свете, считал его одним из самых знатных и влиятельных людей Парижа, из тех, кто навсегда останется в его светской истории, подобно тому, как Кольбер — в истории царствования Людовика XIV: на нем тоже лежал какой-то отпечаток провинциальности, его деревенский особняк стоял по соседству с домом старой герцогини, и принцесса Ломская общалась с ним запросто. Однако этот самый Бреоте, лишенный своего остроумия, отодвинутый на столько лет назад, что сам составлял целую эпоху (это доказывало, что герцогиня забыла его совершенно) и в окружении Германтов являлся, во что я не смог бы поверить в тот первый вечер в Опера Комик, когда он показался мне настоящим морским божеством, обитающим в своей прибрежной пещере, связующим звеном между герцогиней и мной, поскольку она сама вспомнила, что я был с ним знаком, а следовательно, являлся и ее другом тоже, то есть если и не принадлежал по праву рождения к тому же миру, что и она, но по крайней мере жил в этом мире гораздо дольше, чем большинство из присутствующих, и она помнила об этом, впрочем, помнила довольно

неточно, поскольку забыла некоторые обстоятельства, которые лично мне казались тогда самыми значительными, например, то, что я не посещал Германтов и был всего-навсего мелким буржуа из Комбре в те времена, когда она ходила на свадебную мессу мадемуазель Персепье, что она, несмотря на просьбы Сен-Лу, не приглашала меня и в последующие годы, после своего появления в Опера Комик. Что до меня, то мне казалось это крайне важным, ведь именно в тот самый момент жизнь герцогини Германтской представлялась мне настоящим раем, куда я не имел доступа. Но ей-то она в ту пору казалась обычной, повседневной, ничем не примечательной жизнью, и коль скоро начиная с какого-то момента я часто стал обедать у нее, а еще до этого оказалось, что я друг ее тетушки и племянника, она не могла вспомнить точно, к какому времени относится начало нашей дружбы, и даже сама не подозревала, какой чудовищный анахронизм допускала, передвигая это начало на несколько лет раньше. Ибо это означало, будто я был знаком с герцогиней Германтской из семейства недоступных Германтов, будто меня принимали в святилище этого имени, высеченного золотыми буквами, в предместье Сен-Жермен, в то время

как я просто-напросто приходил обедать к некоей даме, ничем, на мой взгляд, не отличавшейся от прочих, которая время от времени приглашала меня отнюдь не спуститься в подводное царство нереид, а просто провести вечер в ложе своей кузины. «Если желаете узнать какие-либо подробности об этом самом Бреоте, который, впрочем, совершенно этого не заслуживает, — добавила она, обращаясь к Блоку, — поинтересуйтесь у этого вот малого (который, напротив, заслуживает этого стократ): сколько раз он обедал с ним у меня. Не правда ли, у меня вы с ним и познакомились? Во всяком случае, со Сваном вы познакомились именно у меня». И меня в равной степени удивило как то, что она полагала, будто с Бреоте я мог познакомиться в каком-либо другом месте, то есть посещал светские приемы еще до знакомства с нею, так и то, что она верила, будто со Сваном я познакомился тоже у нее. Во всяком случае, когда Жильберта представляла Бреоте: «Это старинный наш сосед по загородному имению, мы с таким удовольствием вспомнили с ним Тансонвиль», между тем как тогда, в Тансонвиле, он их не посещал вовсе, она лгала куда больше, чем лгал я, говоря о Сване: «Это сосед наш по имению, он часто навещал нас вечерами», притом

что Сван ассоциировался для меня с кем угодно, только не с Германтами.

«Вы даже не поверите. Когда этот человек говорил о высочествах, его откровенности не было предела. У него имелся целый букет забавных историй о Германтах, о моей свекрови, о госпоже де Варамбон еще до того, как та оказалась рядом с принцессой Пармской. Но кто теперь помнит какую-то там госпожу де Варамбон? Вот, пожалуй, этот малый, о да, он знает все, но теперь все это в прошлом, даже имена этих людей уже давно забылись, впрочем, они и не заслуживали того, чтобы о них помнили». И я понимал, что, несмотря на кажущуюся монолитность высшего света, в котором социальные связи представляются неразрывными и прочными, остаются все же отдельные островки, по крайней мере то, что оставило от них Время, они изменили имя и уже непостижимы для тех, кто явился, когда очертания изменились тоже. «Эта славная дама выдавала порой совершенно неслыханные глупости, — вновь заговорила герцогиня, которая, будучи нечувствительна к поэзии непостижимого, что является результатом воздействия времени, буквально во всем способна была отыскать смешное, сводимое к литературе в жанре

Мейлака, демонстрируя, таким образом, знаменитый дух Германтов. — В какой-то период она все время, не переставая, сосала пастилки, их прописывали тогда от кашля, и назывались они, — добавила она, сама посмеиваясь над этим странным названием, столь известным в ту пору и совершенно неведомым теперь людям, которым она все это рассказывала, — пастилки Жероделя. Однажды моя свекровь сказала ей: «Мадам де Варамбон, если вы будете все время сосать пастилки Жероделя, у вас заболит желудок». — «Но, госпожа герцогиня, — ответила на это госпожа де Варамбон, — с чего это у меня заболит желудок, если эти пастилки воздействуют на бронхи?» А еще она говорила: «У герцогини такая красивая корова, такая красивая, что ее всегда берут производителем». Герцогиня Германтская охотно бы порассказала всяких историй про госпожу де Варамбон, каковых мы в свое время знавали просто сотни, но мы чувствовали, что в невежественной памяти Блока это имя не воскрешало ни один из тех образов, что возникали у нас, едва лишь речь заходила о госпоже де Варамбон, о господине де Бреоте, о принце Агрижантском, и по этой самой причине они, должно быть, вызывали у него почтение, которое я находил хотя

и несколько преувеличенным, но вполне объяснимым, и не потому, что и сам испытывал его, просто наши собственные ошибки и смешные черточки делают нас, даже когда мы вытащили их на свет, более снисходительными к ошибкам и смешным черточкам других.

Обстоятельства, впрочем, весьма незначительные, того давно ушедшего времени были утрачены настолько, что когда некто, стоящий неподалеку от меня, поинтересовался, действительно ли земли Тансонвиля достались Жильберте от ее отца, послышался ответ: «Ничего подобного! Они перешли от семьи ее мужа. Это все со стороны Германтов. Ведь Тансонвиль — это совсем рядом с Германтами. Вначале это принадлежало госпоже де Марсант, матери маркиза де Сен-Лу. Только все было много раз заложено. Земли дали в качестве приданого жениху и вновь выкупили для мадемуазель де Форшвиль». А в другой раз, когда я заговорил с кем-то из присутствующих о Сване, пытаясь объяснить, что же представлял из себя образованный человек того времени, мне ответили: «А! да-да, герцогиня Германтская рассказывала о нем, это такой пожилой господин, с которым вы познакомились у нее в доме, не правда ли?»

В голове герцогини представления о прошлом перемешались настолько (или же разграничительные линии, существовавшие в моей голове, совершенно отсутствовали в ее, и то, что для меня являлось важным событием, для нее прошло абсолютно незамеченным), что она могла предположить, будто со Сваном я познакомился у нее в доме, впрочем, и с господином де Бреоте тоже, приписывая мне таким образом светское прошлое гораздо более давнее, чем в действительности. Ибо если я только что получил это представление о прошедшем времени, то у герцогини оно имелось тоже, и более того, в отличие от меня, представляющего свое прошлое несколько более кратким, чем было оно в действительности, она, напротив, впадала в другую крайность и относила его слишком далеко, очевидно, совершенно не учитывая это бесконечное разграничительное пространство между тем моментом, когда была для меня неким именем, затем объектом моей любви — и тем, когда стала для меня обыкновенной женщиной из высшего света, одной из многих. Так вот, я посещал ее лишь в этот второй период, когда она стала для меня иным человеком. Но в ее собственных глазах этих различий не существовало, и она не

видела никакой разницы между мною тогдашним и мною же, каким я был каких-нибудь два года назад, не ведая, что сама стала другой, как и плетеный коврик на пороге ее особняка, и ее собственная личность для нее самой, в отличие от меня, была неразрывна и неделима.

Я сказал ей: «Мне напоминает это тот первый вечер, когда я пришел к принцессе Германтской, когда я еще думал, что у меня нет приглашения, и сейчас меня просто-напросто выставят за дверь, а на вас было красное платье и красные туфли». — «Боже мой, как все это было давно, как давно», — сказала герцогиня Германтская, и ощущение прошедшего времени усилилось еще больше. Она меланхолично смотрела вдаль, и все-таки упоминание о красном платье весьма ее тронуло. Я попросил описать его мне, и она любезно согласилась. «Теперь их уже не носят. Такие платья носили раньше, в те времена». — «Но разве это было некрасиво?» — спросил я. Она всегда опасалась, что слова, сказанные ею, могут как-то ее принизить, выставить в невыгодном свете. «Конечно, красиво, мне казалось, что это очень красиво. Сейчас такие не носят, потому что время прошло. Но я уверена, еще будут носить, вся эта мода вернется — на платья, на музыку, на

живопись», — с нажимом добавила она, полагая, будто подобная философская сентенция придает ей оригинальность. Грусть от сознания того, что она постарела, сделала ее улыбку немного усталой, но она тут же попыталась встряхнуться: «А вы уверены, что туфли были тоже красными? Мне так помнится, что позолоченными». Я уверил ее, что помню все, как если бы это было вчера, не говоря уже об обстоятельствах, которые позволяют мне это утверждать с такой уверенностью. «Как любезно с вашей стороны напомнить мне все это», — печально произнесла она, ведь женщинам кажется любезностью, когда вспоминают об их красоте, точно так же, как художникам — когда хвалят их произведения. Впрочем, каким бы далеким ни было прошлое, когда имеешь дело с женщиной неглупой, каковой и являлась герцогиня, оно не будет предано забвению. «А помните, — произнесла она, переполненная благодарности ко мне за память о ее платье и туфлях, — как мы с Базеном отвозили вас домой? У вас тогда еще была девушка, которая должна была зайти за вами после полуночи. Базен так смеялся, что к вам являются с визитами в такое время». В самом деле, в тот вечер Альбертина пришла ко мне после приема у принцессы Гер-

мантской. Я помнил это так же хорошо, как и герцогиня, хотя теперь Альбертина была мне столь же безразлична, как была она в ту пору герцогине Германтской, если бы она только знала, что девушка, из-за которой я тогда не мог пойти к ним, и была Альбертина. Дело в том, что еще долго после того, как несчастные мертвецы исчезают из наших сердец, их остывший прах носится в воздухе, примешиваясь к обстоятельствам прошлого. И случается, что мы, уже больше не любя их, вдруг случайно припомнив комнату, аллею, тропинку, где им довелось оказаться в какой-то момент их жизни, вынуждены — дабы место, что они занимали, не оказалось пусто, — как-то упомянуть о них, даже не особенно сожалея, даже не называя по имени, даже не заботясь о том, узнали ли их другие. (Герцогиня Германтская так никогда и не выяснила, кто же была та девушка, что собиралась прийти тем вечером, так никогда и не узнала ее и заговорила сейчас о ней лишь в связи со странностью обстоятельств и времени.) Таковы последние и увы! незавидные формы существования жизни после жизни. Если суждения, что высказывала герцогиня в адрес Рахили, сами по себе были довольно банальны и неглубоки, они все же оказались мне интересны,

поскольку и они тоже обозначали новое время на циферблате. Ибо герцогиня не больше, чем сама Рахиль, забыла о том вечере, что та провела у нее, просто ее воспоминания тоже подверглись изменениям. «Должна вам сказать, — заявила мне она, — что мне тем более интересно ее слушать и слушать, как восторгаются ею, что сама я открыла ее, оценила, стала прославлять и всем рекомендовать еще в те времена, когда никто ее не знал и все насмехались над нею. Да, мой дорогой, это вас, должно быть, удивит, но первый дом, где ее услыхала публика, был мой дом! Представьте себе, в ту пору, когда все это так называемое передовое общество, вроде моей новоиспеченной кузины, — сказала она, иронично указывая на принцессу Германтскую, которая для Орианы так и осталась госпожой Вердюрен, — и пальцем не пошевелило бы, подыхай она с голоду, мне она показалась интересной, и я предложила ей гонорар, с тем чтобы она пришла ко мне в дом и выступила перед всеми теми, кого мы называем сливками общества. Могу вам сказать, хотя это и прозвучит несколько самонадеянно, так как, по правде говоря, истинный талант ни в ком не нуждается, что именно я сделала ей имя. Но, разумеется, я ей была не нужна». Я изобразил

протестующий жест, и герцогиня Германтская тут же ухватилась за возможность изменить свою точку зрения: «В самом деле? Вы полагаете, талант нуждается в поддержке? Чтобы кто-нибудь вывел его на свет? В сущности вы, должно быть, совершенно правы. Знаете, забавно, но именно это же самое мне говорил когда-то Дюма. В таком случае я невероятно польщена, что смогла сделать хоть что-то, хотя бы такую малость, не то чтобы для таланта, но по крайней мере для признания этого таланта». Герцогиня Германтская предпочла больше не возвращаться к своей точке зрения, что талант якобы может прорваться наружу сам, без посторонней помощи, подобно абсцессу, поскольку так было более лестно для нее, но также еще и потому, что, принимая новых гостей и, в сущности, устав от этой круговерти, она сделалась довольно скромной, интересовалась, что думают другие, спрашивала их мнение, чтобы сформировать свое собственное. «Можно было бы вам и не говорить, — продолжала она, — что эта изысканная публика, именующая себя высшим светом, в сущности, ничего в этом не понимала. Они возмущались, смеялись. Я напрасно уверяла их: «Это любопытно, это интересно, это нечто такое, чего здесь еще никогда не

было», — мне не верили, мне вообще никогда не верят. И та вещь, которую она тогда исполняла, что-то из Метерлинка, теперь-то это очень известно, но тогда все смеялись, а я находила это просто восхитительным. Знаете, теперь, когда я обо всем этом думаю, меня саму удивляет, как мне, обычной крестьянке, девушке, получившей провинциальное образование, могло с первого раза понравиться все это. Естественно, я не могла бы объяснить, почему, но мне это нравилось, меня это волновало; знаете, даже Базен, уж на что нечувствительный человек, был просто потрясен тем, как это все тогда на меня подействовало. Он сказал: «Я не желаю, чтобы вы и дальше слушали подобную чушь, это плохо на вас влияет, вы заболеете». И он был прав, поскольку, хотя я и произвожу на кое-кого впечатление женщины сухой и черствой, на самом деле я просто комок нервов».

В этот самый момент произошло непредвиденное происшествие. Лакей подошел к Рахили и сообщил, что с ней желают поговорить дочь и зять Берма. Мы только что были свидетелями того, как дочь Берма сопротивлялась собственному искушению, равно как и желанию мужа попросить приглашение у Рахили. Но после того,

как молодой человек, единственный откликнувшийся на приглашение, ушел тоже, скука, что испытывала молодая пара в компании матери, сделалась совершенно невыносимой, а мысль, что другие в это время вовсю развлекаются, не давала им покоя, — в общем, воспользовавшись минутой, когда Берма удалилась к себе в комнату, покашливая и оставляя на платке пятна крови, они наспех надели самые изысканные свои наряды, вызвали автомобиль и без всякого приглашения заявились в дом принцессы Германтской. Рахиль, кое о чем догадываясь и втайне весьма польщенная, с высокомерным видом велела передать через лакея, что в данный момент она чрезвычайно занята и что им следует в письменном виде изложить свою просьбу. Вскоре лакей вернулся обратно, неся записку, в которой дочь Берма нацарапала, что они с мужем не могли противиться искушению послушать Рахиль и испрашивают позволения войти. Рахиль улыбнулась нелепости этого предлога и собственному триумфу. Она велела ответить, что чрезвычайно сожалеет, но декламация уже закончена. В передней, где супружеская чета томилась ожиданием, лакеи начали уже насмехаться над этими просителями, которых откровенно выпроваживали

вон. Стыд от публичного унижения, воспоминания о том, каким ничтожеством была эта Рахиль рядом с ее матерью, заставили дочь Берма предпринять следующий шаг, раз уж она затеяла все это ради потребности в удовольствиях. Она велела в качестве особой милости испросить у Рахили позволения, раз уж им не посчастливилось услышать чтение, просто поприветствовать ее. Рахиль как раз в эту минуту беседовала с каким-то итальянским принцем, прельщенным ее немалым состоянием, происхождение которого было скрыто ее положением в свете; она не могла не оценить, насколько изменилась ситуация, бросившая теперь к ее ногам детей знаменитой Берма. Не преминув поведать этот эпизод всем присутствующим, причем изобразив его по возможности в самом комическом свете, она позволила-таки молодой паре войти, что те и сделали, не заставив себя упрашивать, в одно мгновение перечеркнув социальное положение великой актрисы, точно так же, как они разрушили ее здоровье. Рахиль прекрасно это понимала, равно как и то, что ее снисходительная любезность окажется полезна вдвойне: она приобретет репутацию доброй и отзывчивой женщины, а молодая чета будет унижена больше, чем ес-

ли бы в ответ на свою просьбу получила отказ. Она приняла их с распростертыми объятьями, заявляя с видом покровительницы, умеющей к тому же позабыть о собственном величии: «О! Какая радость. Принцесса будет просто счастлива». Не зная точно, поверил ли кто-нибудь, будто бы приглашение исходит от нее, она, возможно, опасалась, что если откажет в приеме детям Берма, те, чего доброго, засомневаются не в ее к ним благосклонности — уж что-что, а это было ей безразлично, — но в ее влиятельности. Герцогиня Германтская инстинктивно сочла за лучшее не вмешиваться, ибо чем настойчивее человек стремился проникнуть в свет, тем ниже падал он в глазах герцогини. Уважение вызывала лишь доброта Рахили, а к детям Берма, будь они ей представлены, она бы повернулась спиной. Между тем Рахиль уже мысленно сочиняла изящную фразу, которой завтра намеревалась добить Берма, встретив ту за кулисами: «Я весьма сожалею, что вашей дочери так долго пришлось дожидаться в передней. Она посылала записку за запиской. Если бы я только знала!» Она была счастлива возможности нанести этот удар Берма. Быть может, она отказалась бы от своего замысла, узнав, что удар окажется смертелен. Мы любим

причинять страдания, но не любим брать на себя ответственность, предпочитая оставить жертву в живых. Впрочем, в чем была она виновата? Несколько дней спустя она, должно быть, говорила посмеиваясь: «Ну это уж слишком, я просто хотела по отношению к ее детям проявить больше любезности, чем она проявляла ко мне, и меня еще, чего доброго, обвинят в ее смерти. Если угодно, герцогиня может подтвердить». Поскольку вкус к интриганству и вся театральная фальшь детям передаются, но при этом, в отличие от матерей, упорный труд не становится выходом и спасением, — похоже, великие актрисы часто оказываются жертвами домашних интриг, что плетутся вокруг них, и это бывает так похоже на финалы некоторых пьес, в которых они когда-то блистали.

Впрочем, в жизни герцогини имелось еще одно обстоятельство, мешавшее ей чувствовать себя счастливой, причем по той же самой причине, в результате которой снижался уровень общества, что посещал герцог Германтский. Он, давно уже смиривший свои страсти по причине преклонного возраста, но оставаясь по-прежнему крепким, перестал обманывать герцогиню Германтскую, но влюбился в госпожу де Форшвиль, притом

что окружающие даже не заметили начала этой связи. Если принять во внимание возраст госпожи де Форшвиль, это могло бы показаться более чем странным. Хотя, возможно, свои любовные приключения она начала очень юной. И потом, существуют женщины, что каждое десятилетие своей жизни оказываются словно в новом воплощении, переживая новую любовь, а порой, когда их считают чуть ли уже не мертвыми, становятся причиной страданий какой-нибудь совсем молодой женщины, которую ради них бросает муж.

Но связь эта приобрела такие масштабы, что старик, пытаясь в этой последней любви подражать собственным манерам многолетней давности, сделал любовницу чуть ли не своей пленницей, так что если моя любовь к Альбертине повторяла, только с большими вариациями, любовь Свана к Одетте, любовь герцога Германтского напоминала любовь, что я испытывал к Альбертине. Он требовал, чтобы она обедала, ужинала вместе с ним, он должен был всегда находиться рядом; она хвасталась им перед друзьями, которые, не будь ее, никогда бы не свели знакомства с герцогом Германтским и которые приходили туда, как приходят к какой-нибудь кокотке, дабы познакомиться с высочайшей осо-

бой, состоящей у нее в любовниках. Да, конечно, госпожа де Форшвиль давно уже была принята в свете. Но вновь, на старости лет, поступив на содержание, к тому же к столь надменному старику, который был, помимо всего прочего, весьма важной особой, она сама принизилась настолько, что стала носить пеньюары, которые нравились ему, есть блюда, которые он любил, льстила друзьям, заявляя, что говорила с ним о них, как когда-то заявляла моему двоюродному деду, что говорила о нем с великим герцогом, который посылал ему сигары; иными словами, несмотря на положение в свете, приобретенное с таким трудом, она, в силу новых обстоятельств, вновь становилась просто дамой в розовом, какой предстала когда-то в моем детстве. Конечно же, дядя Адольф умер уже много лет тому назад. Но разве замена старого нашего окружения новым может помешать нам вновь начать прежнюю жизнь? К тому же к этим новым обстоятельствам она вполне приспособилась, прежде всего, из алчности, а также потому, что, пользуясь большим спросом в свете, имея дочь на выданье, она оказалась отодвинута в сторону, когда Жильберта вышла замуж за Сен-Лу, и теперь чувствовала, что герцог Германтский, готовый ради нее на

все, способен предоставить в ее распоряжение изрядное количество герцогинь, обрадованных возможностью сыграть шутку со своей подругой Орианой; а еще, вероятно, ее возбуждало недовольство герцогини, над которой, ощущая по-женски сладостное чувство соперничества, она была счастлива, наконец, взять верх.

Эта связь с госпожой де Форшвиль, связь, которая была лишь повторением прежних его связей, уже во второй раз стоила герцогу Германтскому президентства в Жокей-Клубе, а также кресла независимого члена Академии изящных искусств, точно так же, как образ жизни господина де Шарлюса, связавшегося у всех на виду с Жюпьеном, стоил тому должности президента Союза и президента Общества друзей старого Парижа. Так оба брата, столь несходные в своих вкусах, столкнулись с потерей к себе уважения по причине все той же лени, того же отсутствия воли, что было уже заметно, хотя и не в столь ярко выраженной степени, у их деда, герцога Германтского, члена Французской академии, но, проявившись у обоих внуков, качества эти позволили естественным склонностям одного из них и таковыми не считающимися склонностям другого разрушить их социальные связи.

Вплоть до самой своей смерти Сен-Лу регулярно приводил сюда, к госпоже де Форшвиль, свою жену. Разве не были они оба наследниками одновременно и герцога Германтского и Одетты, которая, впрочем, должна была, без сомнения, стать основной наследницей герцога? Хотя и племянники Курвуазье, весьма разборчивые в связях, и госпожа де Марсант, и принцесса де Транья тоже являлись сюда в надежде на наследство, вовсе не заботясь о том, как это должно быть неприятно герцогине Германтской, о которой Одетта, задетая ее презрением, говорила гадости.

Старый герцог Германтский больше никуда не выходил, поскольку все свои дни и вечера проводил с нею. Но сегодня он все же явился ненадолго, чтобы увидеть ее, несмотря на неприятную возможность столкнуться здесь с женой. Я не заметил его и, без сомнения, не узнал бы, если бы мне на его не указали. Теперь это была всего лишь развалина, но развалина величественная, а может, и не просто развалина, но нечто прекрасно-романтическое, — такой выглядит скала в бурю. Жестоко исхлестанное волнами страданий, гнева, подступающей линией смертельного прилива, его лицо, изъеденное и ноздреватое, словно каменная глыба, все же

не утратило своего стиля, своей изысканности, какой я всегда восхищался; оно было источено, подобно тем прекрасным античным головкам, поврежденным временем, которыми мы тем не менее с гордостью украшаем свои кабинеты. Вот только оно теперь принадлежало, казалось, более древней, чем прежде, эпохе, и не только потому, что некогда гладкая и глянцевая материя стала неровной и шероховатой, но потому еще, что лукавому и игривому выражению пришло на смену другое выражение, невольное, неосознаваемое: на лице читалась болезненная изможденность, борьба со смертью, страдания и муки выживания. Утратившие гибкость мышцы придавали некогда сияющему лицу скульптурную жесткость. И, хотя сам герцог об этом не догадывался, совершенно по-иному выглядели затылок, щеки, лоб, как если бы человек, словно вынужденный исступленно хвататься за каждую минуту, оказался смят и опрокинут трагическим порывом ветра, в то время как седые пряди его величественной, только несколько поредевшей шевелюры захлестывали своей пеной острый выступ лица. И подобно тому, как одно лишь приближение бури, когда вот-вот все погрузится в темноту, отбрасывает странные отблески на

скалы, до сих пор окрашенные совсем по-другому, мне казалось, что свинцовый серый цвет жестких, одряхлевших щек, почти белый, волнистый оттенок взметнувшихся прядей, слабый свет, еще до конца не погасший в глазах, уже видевших с трудом, — все это были оттенки и краски не то чтобы нереальные, напротив, слишком реальные, но фантастические, заимствованные у палитры, краски освещения, неповторимые в своем чудовищном, пророческом коварстве, краски старости и близкой смерти.

Герцог оставался здесь всего лишь несколько минут, достаточно, чтобы я понял, что Одетта, увлеченная более молодыми воздыхателями, просто смеется над ним. Но, странное дело, он, который некогда выглядел почти нелепым, пытаясь изображать короля, не обладающего истинной властью, теперь стал казаться поистине величественным, почти как его брат, на которого старость, очистив от всякого рода бутафории, сделала его похожим. И, подобно брату, он, прежде весьма высокомерный, хотя высокомерием другого рода, казался ныне исполненным почтения, хотя и почтительность тоже была совсем иного свойства. Ибо, в отличие от брата, он все-таки не пережил полного упадка и не дошел до того,

чтобы с учтивостью старого склеротика приветствовать человека, которого прежде презирал. И все-таки он был очень стар, и, когда захотел выйти из гостиной и спуститься по лестнице, старость, самое жалкое из всех состояний человека, что сбрасывает его с вершины, как царя в греческих трагедиях, старость, вынуждая его останавливаться на крестном пути, в каковой превратилась жизнь немощного больного, утирать струящийся пот, осторожно нащупывать ступеньку, что предательски уходила из-под ног, ведь ему, его неуверенным ногам, затуманенным глазам нужна была опора, старость, придавая ему вид робкого и нерешительного просителя, сделала его не величественным, но жалким.

Герцог Германтский, не в силах обойтись без Одетты, постоянно сидя у нее все в том же кресле, откуда по причине старости и выпитой рюмочки подняться мог с большим трудом, предоставил ей самой принимать гостей, которые были весьма довольны, что их представили герцогу, позволили произнести слово-другое, дали послушать его рассказы про прежнее общество, про маркизу де Вильпаризи, про герцога Шартрского.

Так в предместье Сен-Жермен непоколебимое на первый взгляд положение в обществе герцога

и герцогини Германтских, как и барона Шарлюса, оказалось в некотором роде расшатано, ибо все меняется в этом мире, в результате действия внутреннего закона, о котором меньше всего думали в первое время: у господина де Шарлюса это была любовь к Шарли, сделавшая его рабом Вердюренов, затем болезнь, у герцогини Германтской — пристрастие к новшествам и искусству, у герцога Германтского — эгоистическая любовь, подобная тем, какие ему приходилось уже испытывать в жизни, но которую на этот раз свойственное возрасту бессилие сделало особо тиранической и уязвимости которой суровость салона герцогини, где герцог больше уже не появлялся (впрочем, и салон уже практически не функционировал), не могла противопоставить ничего — ни искупления, ни опровержения. Так меняется облик вещей в этом мире; так краеугольные камни империй, кадастры имущества, уставы общественного положения — все, что представлялось окончательно установившимся, на самом деле беспрерывно менялось, и глаза человека, все это пережившего, могли фиксировать резкие изменения как раз там, где, казалось, они совершенно невозможны.

Порой среди старинных картин, собранных

Сваном и развешанных рукой «коллекционера», что эту сцену с герцогом в духе Реставрации и кокоткой в стиле Второй империи, делало похожей на устаревшую, вышедшую из моды декорацию, сидя в одном из его любимых пеньюаров, дама в розовом прерывала его болтовню, он запинался и устремлял на нее суровый взгляд. Быть может, он замечал, что она тоже, как и герцогиня, говорила порой глупости; быть может, в старческой своей галлюцинации ему чудилось, что это не вовремя проникший сюда дух герцогини Германтской грубо оборвал его, а самому ему казалось, что он находится сейчас в особняке Германтов, подобно тому как сидящим в клетке хищникам может померещиться на мгновение, что они вновь оказались на свободе в африканской пустыне. Резко подняв голову, он устремлял на нее взгляд своих маленьких круглых глаз, в которых мелькали хищные сполохи, когда-то этот взгляд в сторону слишком заболтавшейся герцогини Германтской приводил меня в трепет. Какое-то мгновение герцог смотрел так на дерзкую даму в розовом. Но она, умея дать ему отпор, сама не отводила от него взгляда, и по прошествии нескольких мгновений, казавшихся бесконечно долгими свидетелям подобной сцены, старый укрощенный

хищник вдруг вспоминал, что он находится не на свободе у герцогини Германтской в ее Сахаре, с соломенным ковриком у входа, но у госпожи де Форшвиль в клетке зверинца Ботанического сада, он вновь втягивал в плечи голову, с которой свисала по-прежнему густая грива, только теперь уже непонятно, седая или золотистая, и продолжал свой рассказ. Казалось, он так и не понял, что же хотела сказать госпожа де Форшвиль, но в общем это и не имело большого значения. Он позволял ей приглашать друзей поужинать вместе с ним; следуя капризу, вынесенному из прежних своих романов, который нисколько не удивлял Одетту, поскольку то же самое проделывал Сван, и весьма трогал меня, напоминая мне мою жизнь с Альбертиной, он настаивал, чтобы гости удалились рано, потому что хотел попрощаться с Одеттой последним. Стоило ли говорить, что, едва выходил он за порог, она спешила присоединиться к другим. Но герцог не подозревал об этом или, во всяком случае, предпочитал делать вид, что не подозревает: зрение стариков падает, точно так же, как ухудшается их слух, как ослабевает проницательность, сама усталость притупляет бдительность. И в определенном возрасте Юпитер неизбежно превращается в

некоего персонажа мольеровской пьесы, причем не в олимпийского возлюбленного Алкмены, но в нелепого Геронта. Впрочем, Одетта хотя и обманывала герцога Германтского, но также по-своему и заботилась о нем, лишенном очарования и былого величия. В этой своей роли она была так же заурядна, как и во всех прочих. Не то чтобы жизнь мало предоставляла ей хороших ролей, просто по своей бездарности она плохо их играла.

Всякий раз, когда я хотел увидеть ее впоследствии, мне это никак не удавалось, поскольку герцог Германтский, желая как-то совместить собственный режим со своей ревностью, позволял ей лишь дневные празднества, и то при условии, что это не будет многолюдный бал. О своем заточении Одетта откровенно поведала мне сама, причем в силу разных причин. Главной была та, что ей казалось, хотя я не писал ничего, кроме статей, и публиковал только эссе, будто я был известным писателем, что заставило ее наивно воскликнуть, припомнив времена, когда я прогуливался по аллее Акаций в надежде встретить ее и позже приходил к ней в дом: «Ах! Если бы я могла предполагать, что когда-нибудь это будет великий писатель!», так вот, услыхав где-то,

что писателям нравится общаться с женщинами, выслушивать их любовные истории и таким образом собирать материалы для будущих книг, она, дабы заинтересовать меня, превратилась со мной в обыкновенную кокотку. «Послушайте, как-то раз в меня влюбился один господин, — рассказывала она, — я тоже, признаться, потеряла от него голову. У нас с ним была чудная жизнь. Ему нужно было поехать в Америку, и я собиралась отправиться вместе с ним. Накануне отъезда я поняла, что не переживу, если любовь наша ослабнет, а ведь оставаться такой сильной все время она не могла. Наступил наш последний вечер, он был уверен, что я еду с ним, какая это была безумная ночь, я испытывала возле него бесконечную радость и отчаяние, предчувствуя, что никогда больше его не увижу. Наутро я отдала свой билет какому-то незнакомцу. Он готов был заплатить за него. Но я сказала: «Нет, вы оказываете мне такую услугу, что забираете его, мне не нужно денег». А вот еще была другая история: «Однажды я оказалась на Елисейских Полях, и господин де Бреоте, которого мне довелось видеть один-единственный раз в жизни, стал разглядывать меня так настойчиво, что я остановилась и спросила, почему он позволяет

себе так смотреть на меня. Он ответил: «Я смотрю не на вас, а на вашу смешную шляпку». Так оно и было. Это была такая маленькая шляпка с анютиными глазками, тогдашние моды были просто чудовищны. Но я пришла в ярость и заявила ему: «Я не позволяю разговаривать со мною подобным образом». Тут пошел дождь. И я сказала: «Я прощу вас только в том случае, если у вас окажется коляска». — «Ну разумеется, есть, я провожу вас». — «Нет, мне нужна только ваша коляска, а не вы». Я села в коляску, а он пошел пешком под дождем. Но тем же вечером он заявился ко мне. Наша безумная любовь длилась два года. Приходите как-нибудь выпить со мной чаю, я расскажу вам, как познакомилась с господином де Форшвилем. В сущности, — добавила она с меланхоличным видом, — я всю жизнь провела в затворничестве, потому что самые мои большие романы я переживала с мужчинами, которые безумно ревновали меня. Я не говорю о господине де Форшвиле, ведь это была такая посредственность, а я по-настоящему всегда любила только умных мужчин. Но, видите ли, господин Сван тоже был ревнив, как и этот несчастный герцог; я отказываю себе во всем, потому что знаю, как он несчастен у себя дома. А господина Свана я

любила безумно, и полагаю, что вполне можно пожертвовать танцами, светскими развлечениями и всем прочим, чтобы доставить удовольствие или просто-напросто не тревожить человека, который вас любит. Несчастный Шарль, он был так умен, так обворожителен, как раз тот тип мужчин, которые в моем вкусе». Возможно, так оно и было. Какое-то время Сван действительно ей нравился, вот только она никак не была в «его вкусе». По правде сказать, она так никогда и не стала «в его вкусе», даже впоследствии. Впрочем, это не мешало ему любить ее очень сильно, болезненно. Позже он сам был удивлен этим противоречием. Хотя никакое это не противоречие, стоит только вспомнить, как много страданий в жизни мужчины претерпевают от женщин, «которые вовсе не в их вкусе». Вероятно, причин тому несколько: прежде всего, коль скоро они не в «нашем вкусе», мы разрешаем себя любить, не любя сами, и вследствие этого позволяем привычке взять верх над нашей жизнью, чего не случилось бы, будь эта женщина «в нашем вкусе»: она, чувствуя себя желанной, сделала бы так, чтобы мы добивались ее, назначала редкие свидания и не заняла бы такого большого места в нашей жизни, не завладела бы так нашим вре-

менем; и потом, если приходит любовь и этой женщины начинает нам не хватать, когда вследствие какой-нибудь размолвки или по причине отъезда она не дает о себе знать, вместо одной ниточки мы оказываемся привязаны к ней тысячью нитей. Привычка эта сентиментальна, поскольку в основе ее нет сильного физического влечения, и если рождается любовь, мозг начинает работать активнее и вместо обычной потребности рождается роман. Мы не остерегаемся женщин «не в нашем вкусе», мы позволяем им любить нас, и если впоследствии начинаем любить сами, то любим их в сто раз сильнее, чем других, при этом даже не ощущая рядом с ними радости от утоленного желания. По этой причине и тысяче других то обстоятельство, что самыми большими нашими печалями мы обязаны женщинам, которые «не в нашем вкусе», объясняется не только насмешкой судьбы, что делает возможным наше счастье лишь в тех формах, что меньше всего нравятся нам самим. Женщина «в нашем вкусе» редко оказывается опасна, поскольку она не хочет нас, удовлетворяет нас, быстро оставляет нас, не входит в нашу жизнь, а то, что является в любви самым опасным и больше всего причиняет страдания, это не женщина сама по себе,

но ее ежедневное присутствие в нашей жизни, наш ежеминутный интерес к тому, что делает она, — то есть не женщина, но привычка к ней.

Я проявил малодушие и сказал, как с ее стороны это мило и благородно, но слишком хорошо знал, насколько все оказывается неправдой и что в ее откровениях много лжи. По мере того как она рассказывала мне про свои похождения, я с ужасом думал о том, о чем не ведал Сван, и весьма от этого страдал, поскольку был чувствительно привязан к этому существу, причем догадывался, что был прав, лишь по взглядам, какие она бросала на незнакомых мужчину или женщину, если те ей нравились. В сущности, она хотела лишь подарить мне сюжеты повестей, так как она себе это представляла. Она ошибалась: нельзя сказать, чтобы она и в самом деле не пополняла запасы моего воображения — просто делала это непроизвольно, и управлял этим процессом я сам, умеющий без ее ведома вывести законы жизни.

Свои вспышки гнева герцог Германтский оставлял для герцогини, на круг общения которой госпожа де Форшвиль не преминула обратить внимание своего раздраженного возлюбленного. Так что герцогиня была несчастлива. Правда, господин де Шарлюс, с которым я как-то заго-

ворил об этом, высказал предположение, что вину за это не следует целиком возлагать на его брата, поскольку миф о безупречном поведении герцогини в действительности был основан на умении ловко скрывать бесчисленные похождения. Лично мне никогда не приходилось об этом слышать. В глазах света герцогиня Германтская представала совсем другой. Все были убеждены, что ее поведение безупречно. Я не мог решить, какое из этих двух суждений больше соответствует истине, той самой истине, которую, как правило, не знают три четверти людей. Я не мог забыть странные блуждающие взгляды герцогини Германтской, которые удавалось мне заметить в церкви Комбре. Однако взгляды эти не опровергали ни одного из этих двух суждений, и то и другое могло быть вполне допустимым. Давно, в детском своем безумии, я принял их как-то за обращенные на меня любовные взгляды. Позже я понял, что это были всего лишь снисходительные взгляды владычицы — подобной тем, что смотрели на нас с витражей — на своих подданных. Следовало ли поверить теперь, будто именно первое мое суждение оказалось верным, и если позже герцогиня никогда не заговаривала со мною о любви, так это потому, что она больше опасалась скомпромети-

ровать себя с другом тетки и племянника, чем с каким-нибудь незнакомым молодым человеком, случайно встреченным в церкви Сент-Илер, в Комбре?

Герцогиня могла какое-то мгновение быть счастлива от ощущения, что ее прошлое оказалось более плотным и насыщенным, поскольку в нем нашлось место для меня, но, судя по некоторым ее высказываниям в ответ на мои вопросы о провинциализме господина де Бреоте, которого я в те времена не слишком отличал от господина де Саган или герцога Германтского, она осталась верна своему взгляду светской женщины, то есть хулительницы светского образа жизни. Не прерывая разговора, герцогиня стала показывать мне особняк. В меньших по размеру гостиных расположились парочки, которые, чтобы слушать музыку, предпочли уединиться. В крошечной гостиной в стиле ампир, где несколько человек в черном слушали музыку, сидя на диване, рядом с большим наклонным зеркалом, поддерживаемым Минервой, перпендикулярно к нему стоял шезлонг, вогнутый, подобно колыбельке, и в нем возлежала молодая женщина. Расслабленность ее позы, которую не потревожил даже приход герцогини, резко контрастировала с великолеп-

ным платьем ослепительно-алого шелка, перед которым бледнели самые красные фуксии и на перламутровой ткани которого узоры и цветы, казалось, нанесены были так давно, что оставили на материи глубокие вдавленные следы. Приветствуя герцогиню, она слегка наклонила прелестную каштановую головку. Хотя было совсем светло, поскольку для лучшего восприятия музыки она попросила задернуть плотные занавески, чтобы никто в темноте не споткнулся, пришлось зажечь огонь в стоящем на треножнике сосуде, откуда сочился слабый свет. В ответ на мой вопрос герцогиня Германтская сказала, что это госпожа де Сент-Эверт. Тогда мне захотелось узнать, кем приходится она той госпоже де Сент-Эверт, которую я хорошо знал. Герцогиня Германтская ответила, что это жена одного из ее внучатых племянников, она допускала, что это урожденная Ларошфуко, но отрицала, что сама была знакома с семейством Сент-Эверт. Тогда я напомнил ей один вечер (о котором, по правде сказать, и сам знал только понаслышке), когда она, будучи еще принцессой Ломской, встретила Свана. Герцогиня Германтская стала уверять, что ее не было на этом вечере. Герцогиня всегда была несколько лжива, с возрастом этот недо-

статок только усилился. Госпожа де Сент-Эверт казалась ей олицетворением общества — правда, со временем исчезнувшего, — от которого ей хотелось отречься. Я не стал настаивать. «Нет, если вы кого и могли мельком видеть у меня, так это мужа той женщины, о которой вы говорите и с которой я не поддерживала никаких отношений». — «Но у нее не было мужа». — «Вы так говорите, потому что они уже к тому времени давно расстались, но он был гораздо приятнее супруги». Я понял в конце концов, что человек невероятно огромного роста, крепкого сложения, с седыми волосами, которого я встречал едва ли не повсюду и имени которого не знал, и был мужем госпожи де Сент-Эверт. В прошлом году он умер. Что же касается племянницы, я так и не понял, почему, то ли из-за желудочных колик, то ли по причине расшатанных нервов, а может, из-за флебита или приближающихся родов, лежа слушала она музыку, не желая побеспокоить себя даже ради герцогини. Вероятнее всего, она, весьма гордясь своими чудесными алыми шелками, просто хотела возлежать в шезлонге, подобно Рекамье. Она даже не подозревала, что благодаря ей для меня вновь расцвело имя Сент-Эверт, которое через столько лет явилось знаком отда-

ленности и непрерывности времени. Ибо само время баюкала она в этой лодке, где в шелке алых фуксий расцветало имя Сент-Эвертов и стиль ампир. Герцогиня Германтская заявляла, что всегда ненавидела этот самый ампир, это означало лишь, что она ненавидела его теперь, что было правдой, поскольку за модой она следила, хотя и с некоторым опозданием. Не утруждая себя разговорами о Давиде, с творчеством которого была знакома плохо, она по молодости считала Энгра самым скучным из всех ремесленников, затем вдруг — самым изысканным из мэтров Нового искусства, потом ни с того ни с сего начинала ненавидеть Делакруа. Каким образом проделала она этот путь от поклонения к отрицанию, по правде говоря, значения не имеет, поскольку все это оттенки вкуса, который критик искусства угадывает лет за десять до снисходительной дамской беседы. Покритиковав стиль ампир, она извинилась, что говорит со мною о людях столь незначительных, как эти Сент-Эверты, и о таких глупостях, как провинциальная родня Бреоте, ибо она была столь же далека до понимания, почему меня это интересует, как и госпожа де Сент-Эверт-Ларошфуко, пытающаяся добиться то ли прекращения болей в желудке, то ли эн-

гровского эффекта, была далека от того, чтобы подозревать, что ее имя меня очаровало, именно имя ее мужа, а не гораздо более знаменитое имя родителей, и что, как мне представлялось, в этом и состояла ее задача — лежать в этой полной символов комнате и баюкать время.

«Но с какой стати я забиваю вам голову всякой ерундой, можно подумать, вам это интересно?» — воскликнула герцогиня. Фразу эту она произнесла вполголоса, и никто не мог расслышать ее слов. Но какой-то молодой человек (который впоследствии заинтересовал меня своим именем, когда-то гораздо более близким мне, чем имя Сент-Эверт) раздраженно поднялся со своего места и отправился в другой конец комнаты, чтобы никто не мешал ему как следует сосредоточиться. Потому что как раз играли «Крейцерову сонату», но, перепутав очередность, указанную в программке, он решил, что это отрывок из Равеля, про которого ему сказали, что это так же прекрасно, как и Палестрина, но сложно для восприятия. В своем решительном нетерпении поменять место он в полутьме наткнулся на журнальный столик, в результате чего обернулись на шум многие из присутствующих, для которых это простое движение — поворот головы — хотя бы на

миг прервало пытку «благоговейного» прослушивания «Крейцеровой сонаты». Мы с герцогиней Германтской, виновники этого маленького инцидента, поспешили перейти в другую комнату. «Да, так вот, как вы, такой достойный человек, можете интересоваться подобными пустяками? И буквально только что я видела, как вы беседуете с Жильбертой де Сен-Лу. Это недостойно вас. Для меня эта женщина — полное ничтожество, да вообще ее и женщиной назвать нельзя, по мне так она просто воплощение лживости и мещанства» (даже выступая защитницей интеллектуальности, герцогиня не могла преодолеть своих аристократических предрассудков). «Впрочем, зачем вообще вам нужно было приходить в этот дом? Ну сегодня, я понимаю, сегодня еще куда ни шло, все-таки чтение Рахили, конечно, вам это интересно. Но какой бы прекрасной она ни была, перед этой публикой она просто не смотрится. Я могу, если хотите, устроить вам обед наедине. Вы сами сможете убедиться, кто она есть. Да она в сотню раз выше любого из здешних гостей. А после обеда она почитает вам Верлена. Потом расскажете мне, как все прошло. Нет-нет, в подобном столпотворении делать вам нечего. Разве что здесь вы можете чему-то поучиться…» — добави-

ла она с видом сомнения и недоверия, не рискуя, впрочем, заходить слишком далеко, поскольку и сама толком не знала, на что она, собственно говоря, намекает, на какие обстоятельства.

Особенно она расхваливала мне каждодневные вечерние приемы, на которых непременно присутствовали Х. и У. Поскольку она приняла в конце концов точку зрения всех этих «салонных» дам, которых некогда от всей души презирала (что, впрочем, теперь отрицала), превосходство которых, признак избранности, как ей представлялось, заключалось в том, что у них бывали «все знаменитости». Когда я заметил, что такая вот «салонная» дама не сказала бы ни единого доброго слова о госпоже Хоуланд, пока та была жива, герцогиня рассмеялась над моей наивностью: «Ну разумеется, одна принимала у себя всех, а другая пыталась их переманить».

«А не кажется ли вам, — спросил я герцогиню, — что для госпожи де Сен-Лу весьма неприятное испытание слушать бывшую любовницу своего мужа?» Я увидел, как лоб герцогини Германтской пересекает косая складка, словно создавая мостик между тем, что человек только что услышал, и его собственными грустными мыслями. Эту самую связь выразить нельзя, но все самое важное из

того, что мы говорим, не требует ни устного, ни письменного ответа. Одни лишь дураки тщетно и настойчиво десятки раз подряд просят ответа на письмо, которое написали совершенно напрасно, по глупости; ибо на подобного рода письма отвечают всегда лишь действиями, просто корреспондентка, которая не ответила на ваше письмо, как вам кажется, по небрежности, встретив вас, скажет «месье», а не назовет по имени. В моем намеке на связь Сен-Лу и Рахили не было ничего серьезного, он лишь на мгновение привел герцогиню Германтскую в замешательство, напомнив о том, что я был другом Робера и, возможно, даже оказался посвящен в ту неприятную историю, которая произошла с актрисой на вечере у герцогини. Но последняя не стала углубляться в эти воспоминания, тревожная складочка на лбу исчезла, и на мой вопрос относительно Жильберты герцогиня Германтская ответила так: «Могу вас уверить, что это тем более ей безразлично, что Жильберта никогда не любила мужа. Не надо путать разные вещи. Она любила свое положение, свое имя, ей нравилось быть моей племянницей, нравилась возможность выбраться из своего болота, после чего она не придумала ничего лучше, как туда вернуться. Уверяю вас, я в свое время так

страдала из-за несчастного Робера, потому что хотя особой зоркостью он не отличался, но все было слишком заметно, и это, и многое другое. Не стоило бы этого, конечно, говорить, поскольку она, несмотря ни на что, моя племянница, у меня нет доказательств, что она его обманывала, но ходило столько сплетен. Хотя нет, пожалуй, кое-что мне известно, была одна история с каким-то офицером из Мезеглиза, Робер еще хотел с ним стреляться. Из-за всего этого Робер и поступил на военную службу. Война оказалась для него избавлением от семейных неприятностей, и, если хотите знать мое мнение, это не его убили, он сам подставил себя под пули. А она, похоже, нисколько и не страдала, я даже удивилась тому, прямо скажем, поразительному цинизму, с каким демонстрировала она свое безразличие, я очень тогда огорчилась, ведь я так любила несчастного Робера. Возможно, это вас удивит, ведь меня плохо знают, но мне до сих пор еще случается думать о нем. Я никого не забываю. Мы никогда с ним об этом не говорили, но он, конечно, понял, что я обо всем догадываюсь. Смотрите сами, если бы она хоть сколько-нибудь любила своего мужа, разве была бы она столь бесстрастна, оказавшись в одной гостиной с женщиной, которую он столько

лет безумно любил? Можно сказать, всегда любил, я уверена, что это никогда не прекращалось, даже во время войны. Да она должна была бы вцепиться ей в глотку!» — вскричала герцогиня, упуская из виду, что это она сама, пригласив Рахиль и сделав возможной сцену, которая, как ей казалось, обязательно должна была бы произойти, если бы Жильберта действительно любила Робера, поступила, возможно, весьма жестоко. «Нет, — заключила она, — все-таки это большая свинья». Подобное выражение оказалось позволительно для герцогини Германтской благодаря падению из приличного общества Германтов в общество комедиантов, потому также, что ей казалось, будто это весьма в духе XVIII века, который, по ее мнению, допускал подобные вольности в речи, а еще потому, что она полагала, будто ей вообще дозволено все. Но именно это выражение было продиктовано ненавистью, что испытывала она к Жильберте, желанием побольнее ударить ее, если и не в прямом смысле, то хотя бы фигурально. И в то же самое время герцогиня желала оправдать этим свое поведение по отношению к Жильберте, вернее, против Жильберты, то, что она позволяла себе в обществе, в семье, действуя, как ей казалось, исходя из интересов Робера.

Но, поскольку, как это случается довольно часто, наши суждения основаны на фактах, достоверно нам неизвестных и, более того, не предполагающих очевидных доказательств, Жильберта, у которой, без сомнения, что-то было немного от предков по материнской линии (и прежде всего простодушие, на которое я, сам не вполне это осознавая, и рассчитывал, обратившись к ней с просьбой познакомить меня с какими-нибудь юными девушками), из моей просьбы после некоторых размышлений, и желая также, чтобы это пошло на пользу семье, сделала вывод более смелый и оригинальный, чем я мог предположить, она сказала мне: «Если позволите, я сейчас позову мою дочь, чтобы ее вам представить. Она там болтает где-то с маленьким Монтемаром и другими детьми, что ей совсем не интересно. Я уверена, она станет для вас чудесной подругой».

Я спросил ее, радовался ли Робер, что у него дочь: «О! он очень ею гордился. Но разумеется, я все же полагаю, учитывая его вкусы, — простодушно сказала Жильберта, — он предпочел бы мальчика». Эта самая дочь, чье имя и состояние позволяли, как на то надеялась ее мать, выйти замуж за принца королевской крови и увенчать

таким образом славное генеалогическое древо Свана и его жены, впоследствии выбрала своим мужем какого-то невразумительного писателя, поскольку лишена была всякого снобизма, и тем самым заставила свою семью опуститься снова, причем до уровня куда более низкого, чем тот, откуда та поднялась. Новому поколению было весьма трудно поверить, что родители этой четы обладали весьма высоким положением в свете. Имена Свана и Одетты де Креси таинственным образом возродились, чтобы позволить людям дать вам понять, что вы ошиблись, что в подобном браке ничего удивительного и не было; и выходило, что госпожа де Сен-Лу, в сущности, составила лучшую партию из тех, что были возможны, лучшую, чем брак ее отца с Одеттой де Креси (ничего из себя не представляющий), который тот заключил, тщетно пытаясь возвыситься, в то время как, совершенно напротив, во всяком случае если принимать во внимание его любовь, идея его женитьбы была подсказана теориями, подобными тем, что в XVIII веке могли подвигнуть высокородных вельмож, последователей Руссо или предшественников революционеров, жить жизнью природы и отказаться от привилегий.

Удивление, вызванное этими словами, и удовольствие их услышать вскоре уступили место, в то время как госпожа де Сен-Лу вышла в другую гостиную, мыслям о прошедшем Времени, которые тоже по-своему, хотя я и не успел еще ее увидеть, внушила мне мадемуазель де Сен-Лу. Впрочем, как и большинство людей, не была ли она подобна этим «перекресткам» в темном лесу, где сходятся начавшиеся в разных точках дороги, в том числе и дороги нашей жизни? Для меня таких дорог было много, дорог, что приводили к мадемуазель де Сен-Лу и кружили вокруг нее. А самое главное, именно к ней сходились две главные «стороны», куда я так часто устремлялся и наяву и во сне: от ее отца, Робера де Сен-Лу, — сторона Германтов, а от ее матери, Жильберты, — сторона Мезеглиза, что была для меня «стороной Свана». Одна из них, от матери этой девушки, через Елисейские Поля, приводила меня прямо к Свану, к моим вечерам в Комбре, к Мезеглизу; другая, от ее отца, к моему послеполуденному Бальбеку, где мне приходилось встречать его возле залитого солнцем моря. И тогда уже между ними наметились две поперечные линии. Ибо этот истинный Бальбек, где я познакомился с Сен-Лу, случился в моей жизни именно благодаря тому,

что рассказывал мне Сван о церквах, именно о той самой персидской церкви, которую мне так захотелось посмотреть, а в то же самое время, также благодаря Роберу де Сен-Лу, племяннику герцогини Германтской, я, опять-таки в Комбре, вновь отправился в сторону Германтов. И еще ко множеству перекрестков в моей жизни привела меня мадемуазель де Сен-Лу, к даме в розовом, ее бабушке, которую я когда-то встретил у своего двоюродного деда. И еще одна поперечная линия обнаружилась здесь, потому что камердинер этого двоюродного деда, который впустил меня в дом в тот самый день, а впоследствии, оставив мне фотографию, позволил опознать даму в розовом, был отцом молодого человека, которого любил не только господин де Шарлюс, но и сам отец мадемуазель де Сен-Лу, и из-за которого ее мать была так несчастна. А разве не дед мадемуазель де Сен-Лу, Сван, первым заговорил со мною о музыке Вентейля, точно так же и Жильберта первая рассказала мне об Альбертине? Именно разговаривая о музыке Вентейля с Альбертиной, я обнаружил, кто была ее близкая подруга, и так началась наша с ней жизнь, что ее привела к смерти, а мне причинила столько горя. А разве не отец мадемуазель де Сен-Лу пытался заставить

Альбертину вернуться? И даже вся моя жизнь в свете, будь то в Париже, в салоне Свана или Германтов, или, совсем напротив, у Вердюренов, уравновесила таким образом две стороны Комбре, Елисейские Поля, чудесную террасу Распельера. Впрочем, знаем ли мы вообще хоть кого-нибудь, кто, будучи героем наших рассказов, не окажется последовательно во всех местах, где проходила наша жизнь? Так жизнь Сен-Лу в моем изображении протекала бы в декорациях моей собственной жизни и всегда являлась ее частью, даже те отрезки его жизни, когда она не имела к моей никакого отношения, то, что было связано с моей бабушкой или Альбертиной. Впрочем, при всей своей кажущейся удаленности Вердюрены были привязаны к Одетте через ее прошлое, к Роберу де Сен-Лу через Шарли; а разве музыка Вентейля не сыграла здесь своей роли? И наконец, Сван любил сестру Леграндена, знавшего господина де Шарлюса, на воспитаннице которой женился юный Камбремер. Разумеется, если говорить только о наших сердцах, как прав поэт, упоминая о «таинственных нитях», которые разрывает жизнь. Но правда и то, что она же и беспрестанно создает их между людьми, между обстоятельствами, скрещивает эти нити, удва-

ивает, дабы сделать более прочной структуру ткани, так, что между любой крошечной точкой моего прошлого и всеми остальными в плотной сети воспоминаний остается лишь выбрать нужное сплетение.

Можно сказать, что ничто из того, что существовало прежде и оказалось полезно нам в тот момент (если я пытался не использовать их бессознательно, но припоминать, что значило оно именно тогда), не умерло и сейчас, оно проросло в нас своей собственной жизнью и превратилось затем в материю, чтобы нам было удобнее пользоваться ею. Мое знакомство с мадемуазель де Сен-Лу должно было состояться у госпожи Вердюрен: с каким удовольствием я вновь думал о наших поездках с Альбертиной, суррогатом которой я только что попросил стать мадемуазель де Сен-Лу — в маленьком трамвайчике, по направлению к Донвилю, на пути к госпоже Вердюрен, которая и завязала, и сама же разорвала еще до нашей любви с Альбертиной любовь деда и бабушки мадемуазель де Сен-Лу! Все вокруг нас казалось полотном Эльстира, который представил меня Альбертине. И чтобы еще лучше перемешать события моего прошлого, госпожа Вердюрен, так же как некогда Жильберта, вышла

замуж за одного из Германтов.

Мы не смогли бы рассказать про наши отношения даже с малознакомым нам человеком, не выстроив в определенном порядке самые разные места, в которых протекала наша жизнь. Так каждый человек — и я сам тоже был одним из них — измерялся для меня длительностью времени, необходимого ему для обращения, причем не только вокруг себя, но вокруг других, а прежде всего сменой положений, какие последовательно занимал он по отношению ко мне. И, без сомнения, все эти различные плоскости, на которых Время, с тех пор как мне вновь удалось овладеть им на этом празднике, располагало мою жизнь, заставляя меня грезить о том, что в книге, которая стала бы ее описывать, пришлось бы прибегнуть не к плоской психологии, которой пользуются обычно, но к своего рода пространственной психологии, добавляли новую красоту всем этим воскрешениям и обновлениям, которыми оперировала моя память, пока я грезил, находясь один в библиотеке, поскольку память, поместив прошлое в настоящее, нисколько не изменив его, таким, каким оно было в тот момент, когда само являлось настоящим, как раз и уничтожает это огромное пространство Времени, в пределах

которого и осуществляется жизнь.

Я увидел, как приближается Жильберта. Поскольку для меня женитьба Сен-Лу, мысли, что занимали меня тогда и возвратились ко мне теперь, все это было словно вчера, мне было странно видеть рядом с нею девушку лет шестнадцати, чьим высоким ростом и измерялось расстояние, которого я не желал замечать. Время, изначально бесцветное и бестелесное, словно для того, чтобы я смог все-таки разглядеть и ухватить его, как будто материализовалось в ней, придало определенную форму, как произведению искусства, между тем как со мной проделало лишь обычную свою работу, и все. Тем не менее мадемуазель де Сен-Лу стояла передо мной. У нее были необыкновенно острые, проницательные глаза, а очаровательный носик, слегка вытянутый и загнутый в форме клюва, она унаследовала даже не от Свана, а, скорее, от Сен-Лу. Душа Германтов исчезла; но милая головка с проницательными глазами, головка вспорхнувшей птицы, красовалась на плечах мадемуазель де Сен-Лу и останавливала взгляды тех, кто когда-то знавал ее отца.

Я был поражен тем, что ее нос, слепленный словно по шаблону носа ее матери и бабки,

заканчивался этой горизонтальной линией, невероятно трогательной, хотя и длинноватой. Такая выразительная, своеобразная черточка, благодаря которой можно было узнать статую из тысячи других, и я любовался тем, как кстати природа, этот великий и самобытный скульптор, приберегла для внучки, как и для матери, как и для бабки, этот мощный последний взмах резца. Я находил ее весьма красивой: полная надежд, смеющаяся, перед громадой лет, уже утраченных мною, она напоминала мне мою собственную юность.

И наконец сама эта идея Времени приобрела для меня окончательную цену, она была секундной стрелкой, подсказывающей, что пора было уже приниматься за дело, если я хочу достичь того, что чувствовал на протяжении всей своей жизни, во время этих коротких вспышек, на прогулках в сторону Германтов, во время своих поездок с госпожой де Вильпаризи, благодаря которым жизнь казалась мне достойной того, чтобы ее прожить. Теперь же она мне казалась таковой еще в большей степени, именно теперь, когда ее, похоже, можно было высветить, между тем как обычно ее проживают в сумерках, обнажить изначальную истину, притом что ее беспрестан-

но извращают, наконец, осуществить в книге! Как счастлив был бы тот, кто смог бы взяться за такую книгу, думал я, что за работа предстояла ему! Чтобы представить себе это, следует искать сравнений в самых возвышенных искусствах, и в самых разнообразных к тому же: ибо этот писатель, который для воспроизведения каждого характера показывал бы противоположные грани и, чтобы представить всю объемность, должен был бы готовить эту книгу тщательно, постоянно перегруппировывая силы, как для решающего наступления, преодолевать ее, как усталость, принимать, как строгое правило, возводить, как храм, соблюдать ее, как порядок, завоевывать, как дружбу, вскармливать, как ребенка, создавать ее, как мир, не оставляя в стороне ни одну из тех тайн, что, скорее всего, найдут объяснение даже не здесь, а совсем в другом мире, предчувствие которого и есть то, что более всего волнует нас в искусстве. И в этих великих книгах есть части, которые из-за нехватки времени остались всего лишь намечены, которые, конечно же, никогда уже и не будут закончены, ибо слишком грандиозны замыслы творца! Сколько великих соборов так и остаются незавершенными! Ее питают, закрепляют слабые места, защищают, но затем

она начинает расти сама, она указывает нам на нашу могилу, оберегая ее от гула недовольства и какое-то время от забвения. Но если возвратиться к самому себе, о своей книге я думал не так возвышенно, и, говоря о тех, кто мог бы прочесть эту книгу, было бы весьма неточно называть их читателями. Ибо, как мне представляется, они были бы не моими, но своими собственными читателями, поскольку книга моя являлась бы чем-то вроде увеличительных стекол, подобных тем, какие оптик в Комбре предлагал своему клиенту; своей книгой я дал бы им возможность прочесть самих себя. И мне было бы совсем не нужно, чтобы они хвалили меня или поносили, мне нужно было бы, чтобы они мне сказали, действительно ли это так, действительно ли слова, что читают они в самих себе, являются теми словами, что написал я (и некоторые вполне вероятные расхождения проистекали бы не оттого, что я ошибся, а оттого лишь, что глаза читателя оказывались порой глазами не того человека, кому подходила моя книга, чтобы читать в себе самом). И, меняя сравнения, по мере того как я все лучше, все более вещественно представлял себе труд, которому мне предстояло посвятить себя, я подумал, что за большим белым деревян-

ным столом под взглядом Франсуазы, поскольку все даже невзыскательные существа, живущие подле нас, интуитивно чувствуют наши недостатки (а я уже достаточно забыл Альбертину, чтобы простить Франсуазе все, что она когда-то сделала ей во вред), я работал бы рядом с нею, почти как она (по крайней мере как она работала прежде, поскольку, состарившись, она почти уже ничего не видела); и, пришпилив булавкой дополнительный листок, я создавал бы свою книгу, не осмелюсь выразиться высокопарно, как собор, но хотя бы, скажу более скромно, как платье. Если бы вокруг меня не было всех моих бумажек, как называла их Франсуаза, или если бы у меня пропала одна из них, самая нужная в тот момент, Франсуаза прекрасно поняла бы мое раздражение, именно она, которая всегда говорила, что не может начать шить, если у нее нет определенного номера ниток и нужных ей пуговиц. Она поняла бы это еще и потому, что, живя моей жизнью, она обладала каким-то инстинктивным пониманием литературного труда, которое было вернее и точнее, чем представления многих моих интеллектуальных знакомых, и гораздо основательнее, чем у людей глупых. Помню, когда я закончил статью для «Фигаро», в

то время как старый метрдотель, с той долей сострадания, что всегда несколько преувеличивает тяготы труда, которым не занимаешься сам, который плохо представляешь себе, равно как если речь идет о несвойственных нам привычках, подобно тому как люди говорят вам: «Как, должно быть, это утомительно, все время так чихать», так метрдотель, искренне жалея писателей, говорил: «Ну что у них за работа, голову сломаешь», в то время как Франсуаза, напротив, понимала, как я счастлив, и уважала мою работу. Она сердилась только, что я заранее рассказал содержание своей статьи Блоку, опасаясь, что он опередит меня, и говорила: «Вы слишком доверчивы, все эти люди, они настоящие списывальщики». И Блок действительно подтверждал задним числом свое алиби, говоря мне каждый раз, когда я в общих чертах рассказывал ему что-то такое, что его могло заинтересовать: «Смотри-ка, забавно, у меня тут было нечто подобное, надо будет тебе как-нибудь прочитать». (По правде сказать, в тот момент прочитать он мне ничего и не смог бы, потому что ему предстояло еще написать это тем же вечером.)

Мои листочки, которые Франсуаза попросту называла бумажками, склеивались и рвались то

там, то здесь. И если было нужно, разве Франсуаза не могла помочь скрепить их, точно так же как стачивала она один с другим кусочки своих износившихся платьев, или на окне, дожидаясь стекольщика, как я дожидаюсь печатника, она на трещину в стекле наклеивала полоску из газеты? Франсуаза могла бы сказать мне, показывая мои изъеденные тетрадки, как куски дерева, над которым потрудились насекомые: «Какое несчастье, все съедено, смотрите, этот край страницы — просто настоящее кружево», — и восклицала, как портной: «Думаю, у меня не получится это исправить, все пропало. Как жалко, наверное, это самые лучшие ваши мысли. Как говорят в Комбре, кто разбирается в мехе лучше всех, так это моль. Она ест не все подряд, а только самые лучшие ткани».

Впрочем, как различные образы (людей и не только) составлены в книге из целого ряда впечатлений, благодаря которым из множества юных девушек, множества церквей, множества сонат в результате появляется единственная соната, единственная церковь, единственная девушка, так и я разве не создавал свою книгу точно так же, как Франсуаза готовила свою знаменитую тушеную говядину, столь любимую господином

де Норпуа, в которой множество кусочков отборного мяса улучшали и обогащали вкус соуса? И я, наконец, воплотил бы то, о чем страстно мечтал во время прогулок в сторону Германтов, полагая это неосуществимым, как по возвращении я считал невозможным когда-нибудь привыкнуть ложиться спать, не поцеловав перед сном мать или, гораздо позже, привыкнуть к мысли, что Альбертина любит женщин, к мысли, с которой я в конце концов научился жить, даже не замечая ее присутствия, ибо самые большие наши страхи, как и самые большие наши надежды, находятся все-таки не за пределами наших сил и мы в конечном итоге способны преодолеть первые и осуществить вторые.

Да, сама идея Времени, сформулированная мною только что, подсказывала, что за это произведение пора уже было приниматься. Давно пора; но — и это оправдывало ту тревогу, что овладела мной, едва только вступил я в гостиную и загримированные лица дали мне представление об утраченном времени, — может, было уже слишком поздно и, более того, может, я сам уже не в состоянии сделать это? У разума тоже есть свои пейзажи, созерцание которых возможно лишь в течение какого-то времени. Я прожил это

время, как художник, что карабкается вверх по тропинке, нависающей над озером, скрытым из виду стеной скал и деревьев. Вот он видит его в проломе скалы, оно все перед ним, художник берет кисти. Но тут подступает темнота, рисовать уже невозможно, а день так больше никогда и не настанет. Вот только условием моего произведения, такого, каким я только что задумал его, сидя в библиотеке, было усиление, обострение впечатлений, которые прежде следовало воссоздать в памяти. А память уже подводила.

Прежде всего в тот момент, когда ничего еще не завязалось, мне было о чем беспокоиться, даже если казалось, что впереди у меня, учитывая мой возраст, было еще несколько лет, ведь мой час мог пробить и через несколько минут. Исходить следовало из того, что у меня имелось тело, — иными словами, мне постоянно угрожала двойная опасность, внутренняя и внешняя. Я называл их именно так, а не иначе, исключительно ради удобства языка. Поскольку внутренняя опасность, как, к примеру, кровоизлияние в мозг, является также и внешней опасностью, хотя исходит от самого тела. А в обладании телом уже заключается огромная опасность для разума, для самой жизни думающего человека, о кото-

рой можно с меньшей степенью уверенности утверждать, будто она является чудесным образом усовершенствованной жизнью животной и физической, и гораздо с большей — говорить о ее несовершенстве, рудиментарности, как скопление простейших в колонии полипов, и тело кита, и т. п., если иметь в виду жизнь духовную. Дух заключен в теле, как в крепости; рано или поздно эта крепость оказывается осаждена со всех сторон, и в конечном итоге дух уступает.

Но, научившись различать оба эти вида опасностей, угрожающих разуму, и решив начать с внешней, я вспоминал, что нередко в своей жизни мне случалось в минуты интеллектуального возбуждения, когда какие-либо обстоятельства полностью лишали меня физической активности, например, когда я, уже почти в сумерках, покидал на машине ресторан Ривебеля, чтобы отправиться в какое-нибудь казино по соседству, мне случалось очень ясно ощутить собственную мысль почти как материальный объект и осознать, что вследствие какой-то случайности этот объект мало того что может не оформиться окончательно, но и оказаться уничтожен вместе с моим же собственным телом. В ту пору меня мало это заботило. Моя веселость была неосмотритель-

ной, неблагоразумной. И то, что эта радость через мгновение закончится и канет в небытие, меня не беспокоило совершенно. Теперь же все было совсем иначе: счастье, которое мне случалось испытывать, возникало не из чисто субъективного напряжения нервов, что отрезает нас от собственного прошлого, но, совсем напротив, от раскрепощения моего разума, в котором заново воссоздавалось, реализовывалось это самое прошлое, даря мне, но, увы, лишь на долю мгновения, ощущение вечности. Мне хотелось бы передать это ощущение тем, кому я мог завещать все свои сокровища. Конечно, то, что испытал я в библиотеке и что всеми силами пытался сохранить и защитить, тоже было удовольствием, но уже не эгоистичным, или, во всяком случае, это был эгоизм (ибо все проявления альтруизма повторяют эгоистическую модель: альтруизм, лишенный эгоизма, просто бесплоден — таков альтруизм писателя, что прерывает работу ради того, чтобы встретиться с несчастным приятелем, выполнить какие-либо административные функции или написать публицистическую статью), которым могли воспользоваться другие. Я больше не ощущал того равнодушия, что овладевало мною по возвращении из Ривебеля. Я чувствовал, как во

мне набухает это произведение, которое я нес в себе, как нечто драгоценное и очень хрупкое, что было мне доверено и что я должен был в целости и сохранности передать в руки, для которых оно и предназначалось, и это были не мои руки. Теперь, когда я чувствовал себя носителем произведения, несчастный случай, могущий стать причиной моей смерти, казался мне более сомнительным и даже (насколько произведение это казалось мне необходимым и основательным) абсурдным, противоречащим моему собственному желанию, порыву моих мыслей, но от этого не менее возможным, поскольку (как происходит это ежедневно, и не счесть бытовых примеров этому: так, когда вы изо всех сил стараетесь не шуметь, чтобы не разбудить спящего приятеля, кувшин, поставленный слишком близко к краю стола, падает и со звоном разбивается) несчастный случай, являясь результатом причин чисто материальных, может произойти как раз в тот самый момент, когда сочетание различных сил делает его особенно неприемлемым. Мне прекрасно было известно, что мой мозг является богатейшим рудником, где находились огромные неразработанные залежи ценных месторождений. Но оставалось ли у меня время для их эксплуатации?

А между тем я был единственным, кто только и мог это сделать. По двум причинам: с моей смертью исчез бы не только единственный рабочий-шахтер, способный извлечь эти минералы, но и сами ископаемые тоже; или прямо сейчас, когда я буду возвращаться домой, достаточно столкновения такси с другой машиной, чтобы мое тело оказалось уничтожено и разум, откуда уйдет жизнь, вынужден будет навсегда отказаться от новых идей, которые сейчас, в эту самую минуту, когда мне просто некогда спрятать их в более надежное место, на страницы книги, он с мучительным беспокойством оберегает трепещущей, спасительной, но такой хрупкой мозговой оболочкой. Странное совпадение: это вполне обоснованное ощущение опасности родилось во мне в тот момент, когда, совсем с недавних пор, мысль о смерти стала мне безразлична. Когда-то страх больше не быть собой казался мучительным и изнуряющим, — так случалось всякий раз, когда я испытывал новую любовь (к Жильберте, к Альбертине), поскольку я не мог вынести мысль, что когда-нибудь существо, которое их любило, перестанет существовать, это было равносильно самой смерти. Но, многократно повторяясь, эти опасения естественным образом превратились в

безмятежный покой.

Впрочем, заболевание мозга совершенно не обязательно. Его симптомы, которые я ощущал как некую пустоту в голове или забывчивость (когда некоторые вещи вдруг находишь совершенно случайно: прибирая в комнате, наталкиваешься на какую-нибудь из них, забытую так давно, что ее уже перестали искать), делали меня чем-то вроде скряги, чей раздувшийся сундук уже не может удержать в себе всех сокровищ и они вываливаются сквозь трещины и дыры. Какое-то время еще жил во мне некто, кто оплакивал эти сокровища и восставал против нее, против памяти, но вскоре я почувствовал, что память, удаляясь, уносит и этого самого «некто».

Если в те времена сама идея о смерти, как мы смогли убедиться, омрачала любовь, то теперь, и давно уже, воспоминания о любви помогали мне не бояться смерти. Ибо я отныне понимал, что смерть не является чем-то принципиально новым, но, напротив, с самого моего детства я умирал уже множество раз. Если говорить о временах не столь давних, разве не был привязан я к Альбертине больше, чем к самой жизни? Мог ли я тогда даже представить себя, свою душу, в которой не было бы места для любви к ней? Но

вот теперь я не любил ее больше, и я сам был уже не тем существом, которое любило ее, но совсем другим, которое ее не любило, я перестал ее любить именно тогда, когда стал другим. И я вовсе не страдал оттого, что стал другим, оттого, что не любил больше Альбертину; и, уж конечно, лишиться однажды собственного тела казалось мне теперь далеко не столь печальным, как некогда — однажды перестать любить Альбертину. Как было мне теперь безразлично то, что я больше не люблю ее! Эти последовавшие одна за другой смерти, столь ужасавшие меня, которого должны были уничтожить, и оказавшиеся столь нестрашными и уютными для того, кто даже не мог почувствовать их прихода, с некоторых пор помогли мне понять, насколько неразумно бояться смерти. И именно теперь, когда она стала мне безразлична, я вновь начал испытывать страх перед нею, — правда, уже другой вид страха, страх не за себя, но за свою книгу, для рождения которой было нужно, чтобы хотя бы еще какое-то время продолжалась эта жизнь, которой столько всего угрожало. Как сказал Виктор Гюго:

Пускай растет трава и умирают дети.

А я должен сказать, что жестокий закон искус-

ства состоит в том, что живые существа умирают и что умираем мы сами, изнуренные страданиями, для того чтобы росла трава не забвения, но вечной жизни, густая трава обильных творений, и поколения, не тревожась о тех, кто спит там, внизу, в веселье и радости устраивали бы свои «завтраки на траве».

Я говорил о внешних опасностях; но не следует забывать и о внутренних тоже. И даже если судьба оградила бы меня от несчастного случая, угрожающего извне, кто знает, не окажусь ли я лишен возможности воспользоваться этой милостью, став жертвой несчастного случая, произошедшего внутри меня, какой-нибудь внутренней катастрофы, пока еще не истекут те несколько месяцев, которые необходимы мне для завершения этой книги.

Когда сейчас я буду возвращаться домой по Елисейским Полям, кто сможет поручиться, что я не окажусь настигнут тем же самым недугом, что поразил мою бабушку однажды вечером, когда она пришла сюда со мной на прогулку, которой суждено было стать для нее последней, не подозревая ни о чем, в неведении, столь нам всем свойственном, о том, что стрелка добралась уже до штриха на циферблате, неизвестном ей

самой, когда спущенная пружина часового механизма заставит пробить нужный час? Быть может, страх, что прожита уже почти целиком минута, предшествующая первому удару часов, который раздастся вот-вот, быть может, этот страх удара, что как раз сейчас готовится в моем мозгу, этот страх был смутным предчувствием того, что должно было произойти, словно отражение в сознании болезненного состояния мозга, артерии которого вот-вот, взорвутся, это не более невероятно, чем внезапная готовность к смерти, что встречается у раненых, которые, сохранив ясность сознания, невзирая на усилия врачей и собственную жажду жить, вдруг, разглядев то, что должно произойти, произносят: «Я сейчас умру, я готов», и пишут последнее письмо жене.

И в самом деле, необычная вещь произошла со мной, перед тем как я начал свою книгу, причем проявилась она в странной форме, о которой я и не подозревал. Однажды вечером, когда я отправился на какой-то прием, все нашли, что выгляжу я лучше, чем обычно, и поражались, что волосы мои остались такими же темными. Но, спускаясь по лестнице, я трижды едва не упал. Я и выходил-то всего часа на два, но, возвратившись, почувствовал, что нет больше ни памяти, ни

способности мыслить, ни сил к существованию. И если бы ко мне пришли с визитом, или чтобы короновать меня, или арестовать, я позволил бы все это проделать, не произнеся ни слова, даже не открывая глаз, подобно людям, которых, когда они плывут на корабле по Каспийскому морю, настигает сильнейший приступ морской болезни, они не попытались бы оказать ни малейшего сопротивления, скажи им, что прямо сейчас их швырнут в волны. Собственно говоря, у меня не было решительно никакой болезни, но я чувствовал, что больше не способен ни на что, — так случается со стариками, еще вполне бодрыми накануне, которые, сломав бедро или получив несварение желудка, еще какое-то время влачат свои дни в постели, но по сути дела это уже не что иное, как более или менее продолжительное приготовление к смерти, ставшей отныне неотвратимой. Одно из моих «я», то самое, что некогда ходило на эти варварские пиры, именуемые званые обеды, где для мужчин во фраках, для полуобнаженных женщин в облаке страусовых перьев настолько оказалась искажена вся система ценностей, что в их представлении человек, получивший приглашение, но не явившийся на такой обед или явившийся только к

горячему блюду, совершал преступление куда более серьезное, чем все эти аморальные деяния, о которых говорилось на этих самых обедах с такой же беспечностью, как и о недавних смертях, которые, равно как и серьезный недуг, являлись единственным оправданием отсутствия, и то при условии, что хозяева были предупреждены вовремя и успели пригласить четырнадцатого гостя, это самое «я» сохранило все сомнения, но лишилось памяти. Зато другое «я», то самое, что задумало эту книгу, припоминало. Я получил приглашение на обед от госпожи Моле, и одновременно известие о смерти сына госпожи Сазра. Я предчувствовал наступление одного из тех часов, когда был не в состоянии ни пошевелить языком, что не слушался меня, как у бабушки во время агонии, ни проглотить глоток молока, и решил использовать это время, чтобы принести извинения госпоже Моле и послать письмо с выражением соболезнования госпоже Сазра. Но уже через несколько мгновений я позабыл, что собирался сделать. Счастливая забывчивость, поскольку память о моем произведении, напротив, бодрствовала, и лишний час жизни, что был мне дарован, я должен был посвятить закладке первых камней его фундамента. К несчастью, когда,

собираясь начать писать, я взял тетрадку, оттуда к моим ногам выпала пригласительная карточка госпожи Моле. Тотчас же мое забывчивое «я», что имело преимущество над другим «я», как бывает у всех этих совестливых варваров, что не могут не принять приглашение на обед, отодвинуло тетрадку, написало госпоже Моле (которая, впрочем, весьма бы меня зауважала, узнай она, что ответ на ее приглашение я поставил выше собственных созидательных работ), затем внезапно эта записка с ответом напомнила мне, что госпожа Сазра потеряла сына, я ей написал тоже и, пожертвовав таким образом истинным своим долгом ради второстепенных обязательств, а именно необходимости выглядеть вежливым и любезным, я, закрыв глаза, упал без сил и в течение целой недели просуществовал, словно в тягостном полусне. Однако, если все мои бессмысленные обязательства, ради которых я готов был пожертвовать истинными, по прошествии нескольких секунд бесследно исчезали из моей головы, мысль о моем творении не покидала меня ни на мгновение. Я не знал, будет ли это церковь, где верующие сумеют постепенно осознать истину и открыть для себя гармонию, величественный замысел или же это так и останется

— словно кельтский монумент на оконечности острова — местом, куда никто никогда не придет. Но я решил посвятить этому свои силы, которые все уходили, словно сожалея, что оставляют меня, словно желая дать мне время, завершив круг, затворить «погребальные врата». Вскоре я смог показать несколько набросков. Никто ничего не понял. Даже те, кто были благосклонны к моему осмыслению истин, которые я собирался высечь на фронтоне храма, и поздравляли меня, уверяя, будто я показал им их самих «под микроскопом», между тем как я, напротив, пользовался телескопом, чтобы разглядеть вещи вроде бы совсем крошечные, но казавшиеся мне таковыми потому лишь, что находились на слишком большом от меня расстоянии, в действительности же каждая из них была целым миром. Там, где я пытался отыскать общие законы, меня называли крохобором. Впрочем, зачем я все это делал? Когда-то я был молод, мне все давалось легко, и мои ученические записки Бергот находил «великолепными». Но, вместо того чтобы упорно трудиться, я предавался лени, растрачивал себя в удовольствиях, истощал болезнями, заботами, капризами и за свое произведение принялся лишь накануне смерти, не имея никакого пред-

ставления о ремесле. Я больше не чувствовал в себе сил выполнить ни свои обязательства по отношению к людям, ни — еще меньше — свой долг по отношению к моему произведению. Что касается первого, то есть моих взаимоотношений с людьми, моя забывчивость, когда я, к примеру, не отвечал на письма, несколько облегчала мою задачу. Но внезапно по истечении месяца я начинал вдруг испытывать угрызения совести и меня одолевало ощущение собственной беспомощности. К моему удивлению, я воспринимал это с равнодушием, но дело в том, что с того самого дня, когда, спускаясь по лестнице, я испытывал такую дрожь в ногах, я стал равнодушен ко всему, я мечтал лишь о покое — в ожидании того великого покоя, что должен в конечном итоге наступить. И не потому, что именно на «после моей смерти» откладывал я то восхищение, которое, как мне казалось, все должны были испытывать перед моим произведением, и что мне было безразлично одобрение нынешней элиты. Нисколько не больше волновала меня благосклонность элиты завтрашней: после моей смерти она вольна была оценивать меня, как ей угодно. В действительности, если я думал о своей книге и не думал о письмах, на которые должен был ответить, так

это вовсе не потому, что между этими двумя вещами, точно так же как между днями бессилия и лени и днями невиданной работоспособности, вплоть до той самой минуты, когда мне пришлось ухватиться за перила лестницы, заключалась для меня такая уж большая разница. Само устройство моей памяти, сущность моих интересов были связаны с моим произведением, быть может, потому, что, в то время как полученные письма оказывались забыты всего лишь мгновение спустя, память о нем оставалась неизменной и была связана с моими воспоминаниями. Но и она тоже стала надоедать мне. Она была для меня вроде сына умирающей матери, которую уже тяготят бесконечные заботы о нем. Она, наверное, все еще любит его, но осознает это лишь потому, что вынуждена без конца заниматься им между уколами и примочками. Что касается меня, то мои писательские силы отныне не соответствовали эгоистическим требованиям произведения. С того дня на лестнице ничто на свете, никакое счастье, будь оно даровано мне дружбой, или успехами в творчестве, или надеждой на будущую славу, не согревало меня, а если и согревало, то не больше, чем бледный луч солнца, который не мог дать мне ни тепла, ни жизненных сил,

ни внушить какое бы то ни было желание, но этот луч, при всей своей бледности, казался мне таким ярким, что я, предпочитавший держать глаза закрытыми, отворачивал лицо к стене. Мне кажется, насколько я мог судить по движению губ, в уголке моего рта появилась слабая улыбка, когда какая-то дама написала мне: «Я была весьма удивлена, не получив ответа на свое письмо». Однако это напомнило мне о ее письме, и я ей ответил. Мне хотелось попытаться, дабы не сочли меня неблагодарным, отвечать любезностью на любую любезность, проявленную по отношению ко мне. И я был раздавлен необходимостью принуждать свое агонизирующее существование к сверхчеловеческим усилиям, чтобы жить. Провалы в памяти помогали мне немного, избавляя хотя бы от части моих обязательств, их заменяло мое произведение.

Эта мысль о смерти окончательно завладела мной, как мысли о любви. Не то чтобы я любил смерть, нет, я ее ненавидел. Но коль скоро я думал о ней время от времени, как думаешь о женщине после того даже, как перестаешь ее любить, эта мысль прочно вошла в самую оболочку моего мозга: даже когда я ничем не был занят и пребывал в состоянии полнейшего покоя, мысль о

смерти так же неотступно преследовала меня, как и мысль о собственном «я». Я не думаю, что в тот день, когда я наполовину умер, это мое состояние стало возможно определить по каким-то конкретным признакам, что трудности, какие я испытывал: спуститься по лестнице, вспомнить чье-то имя, подняться с места, выразили, хотя и неосознанно, идею смерти, — скорее, все это пришло сразу и одновременно, и огромное зеркало разума неизбежно отразило эту новую реальность. Однако я не совсем понимал, каким образом от недугов, которыми я страдал, можно было безо всякого предуведомления перейти прямо к смерти. Но тогда я вспомнил о других, обо всех тех, кто умирает ежедневно, и зазор между их болезнью и их смертью не казался нам чем-то противоестественным. Я думал даже, что так было потому лишь, что я видел их изнутри (и нет здесь никакой иллюзии надежды), что сами по себе некоторые проявления недомогания отнюдь не казались мне смертельными, притом что я верил в свою смерть, ведь даже те, кто твердо убеждены, что час их пробил, искренне уверяют себя, что, если они и не могут произнести некоторые слова, апоплексический удар или афазия здесь совершенно ни при чем, просто устал язык,

имеет место некая повышенная нервозность, как при заикании, или это просто общая слабость в результате несварения.

Но мне предстояло написать нечто совсем другое, более долговечное, и не для одного человека, а сразу для многих. Писать нужно было долго. Днем я мог бы попытаться уснуть. Если работать, так только ночью. Но ночей этих мне понадобилось бы много, может быть, сто, может, тысяча. И я жил бы в тревоге, не зная, захочет ли Повелитель судьбы моей, не столь снисходительный, как царь Шахрияр, утром, когда придется мне прервать свой рассказ, отсрочить мой смертный приговор и позволить досказать продолжение на следующий вечер. Не то чтобы я имел какие бы то ни было притязания на «Тысяча и одну ночь» или «Мемуары» Сен-Симона, тоже написанные ночью, равно как и на какую-либо другую книгу, столь любимую мною в детском простодушии, суеверно привязанный к ним, как и к своим любовным переживаниям, и испытывал ужас, только представив себе, что произведение будет от них отличаться. Но, как Эльстир Шардена, воссоздать то, что любишь, можно, лишь расставшись с ним. Конечно, мои книги, моя плоть и кровь однажды тоже умрут. Но со смертью нужно

смириться. Нужно покориться мысли, что через десять лет тебя самого, а через сто лет твоих книг больше не будет. Вечная жизнь не суждена ни творениям, ни людям.

Это будет книга, столь же длинная, как и «Тысяча и одна ночь», но совсем другая. Конечно, когда ты очень любишь какое-то произведение, велик соблазн сделать нечто похожее, но необходимо пожертвовать этой своей любовью, руководствоваться не собственным вкусом, но истиной, что не нуждается в ваших предпочтениях и не позволяет вам слишком думать о них. И только лишь следуя ей, истине, удается порой отыскать то, что было утрачено, и написать, прежде позабыв, «Арабские сказки» или «Мемуары» Сен-Симона нового времени. Но было ли еще у меня время? Не слишком ли уже поздно?

Я спрашивал себя не только: «Есть ли еще время?», но и «Могу ли я?». Та самая болезнь, которая, сурово управляя сознанием, вела к моей мирской смерти, в то же самое время оказывала мне услугу, «ибо если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода», болезнь, после того как лень спасла меня от излишнего легкомыслия, теперь, должно быть, могла спасти меня

от лени, эта болезнь исчерпала мои силы, и не только физические, но, как заметил я уже давно, а именно в то мгновение, когда перестал любить Альбертину, силы моей памяти. Ибо воссоздание памятью впечатлений, которые в дальнейшем предстояло углубить, высветить, преобразовать в аналогичные впечатления разума, не являлось ли это как раз одним из условий, а то и самой сущностью произведения искусства, каким я только что задумал его в библиотеке? Ах, если бы у меня были еще силы, такие, как в тот вечер, который я воскресил в памяти, обнаружив на книжной полке «Франсуа-найденыша»! Именно с того вечера, когда мать отступила от правил, началось — одновременно с медленным умиранием бабушки — упадок моей воли, моего здоровья. Все решилось в то самое мгновение, когда, не в силах дождаться завтрашнего утра, чтобы коснуться губами лица матери, я принял это решение, соскочил с постели и в ночной рубашке встал у окна, залитого лунным светом, и стоял, пока не увидел, как уходит господин Сван. Родители пошли проводить его, я услышал, как ворота в сад открываются, звякают колокольчиком, закрываются…

Я подумал внезапно, что, будь я еще в силах

завершить свое произведение, этот сегодняшний день — как и многие дни в Комбре, оказавшие на мою жизнь такое влияние, — который внушил мне одновременно и мысль о моем произведении, и страх не суметь его осуществить, прежде всего мог бы указать мне форму, которую я некогда предчувствовал в церкви Комбре и которая до сих пор остается для нас невидимой, — форму Времени.

Конечно, существует множество других видов обмана чувств, искажающих истинный облик этого мира, и, как мы видим, это доказывают некоторые эпизоды этой книги. Но, в конце концов, в крайнем случае я мог бы, попытавшись дать более точную транскрипцию, оставить все звуки на своих местах, отказаться от мысли отделить их от первопричины, подле которой разум поместил их задним числом, и, если я заставлю нежно струиться дождь прямо в этой комнате или услышу ливень в бульканье закипающего отвара, что, в сущности, происходит совершенно естественно с художниками, когда они погружены в работу, повинуясь законам перспективы, яркость красок и первый искаженный взгляд явят нам парус или горную вершину, которые рассудок впоследствии отодвинет на расстояния,

порой немыслимо огромные. Я мог бы, допустив еще большее искажение, по-прежнему пытаться накладывать какие-то черты на лицо случайной прохожей, хотя было бы правильнее на месте носа, щек и подбородка просто оставить пустые места, на которых играл бы отблеск наших желаний. И даже если бы не было у меня свободного времени, чтобы подготовить, что само по себе немаловажно, сотню масок, которые могли бы подойти к одному и тому же лицу, все зависело бы лишь от глаз, что на него смотрят, и чувства, с каким воспринимаются эти черты, а если это все те же глаза, то важно, как они смотрят, с надеждой или страхом, или, напротив, с любовью и привязанностью, что скрывают изменения возраста за тридцать лет, наконец, даже если бы я не намеревался сделать попытку (хотя моей связи с Альбертиной было достаточно, чтобы убедить меня, что без этого все лживо и обманчиво) представить некоторых людей не вне, но внутри нас самих, когда самые незначительные их действия могли бы привести к смертельным последствиям и заставить меняться освещение неба в зависимости от напора наших чувств, или когда, поколебав нашу твердую уверенность, что такой-то предмет является совсем крошечным,

лишь намек на приближающуюся опасность в одно мгновение делает его огромным, и если я не сумел бы привнести все эти изменения, равно как и множество других (необходимость которых, коль скоро мы желаем запечатлеть реальность, уже обнаружилась на протяжении этого рассказа) в транскрипцию вселенной, которую следовало изобразить заново всю целиком, то я по крайней мере не забыл бы описать человека не через его физическое тело, но через его годы, словно — задача все более и более огромная, которая в конце концов все же увенчается успехом, — собираясь протянуть их вместе с ним, куда бы он ни перемещался.

Впрочем, то, что место, которое занимаем мы во Времени, становится все больше и больше, ощущается всеми, и эта всеобщность могла меня только радовать, потому что в этом и состоит истина, которую каждый смутно угадывает, а мне теперь предстояло ее прояснить. Каждый из нас не только чувствует, что мы занимаем определенное место во Времени, но это самое место он распознает и измеряет весьма приблизительно, как измерил бы то место, что мы занимаем в пространстве, поскольку люди, даже не обладая особой проницательностью, при виде двух

незнакомцев, оба из которых носят черные усы или гладко выбриты, могут сказать, что одному из них около двадцати лет, другому около сорока. Разумеется, при подобной оценке возможны ошибки, но сам факт, что мы полагаем, будто способны на такую оценку, как раз и доказывает, что возраст воспринимается как нечто вполне измеримое. Второму человеку точно с такими же черными усами, как у первого, мы уверенно прибавляем лет двадцать.

Если именно это представление о бестелесном времени, о годах, прожитых нами и неотделимых от нас. хотел я теперь четко определить, так это потому, что в эту самую минуту в особняке принца Германтского шум шагов моих родителей, отправившихся провожать господина Свана, прерывистый, с металлическим оттенком, неутомимый, крикливый и пронзительный лязг колокольчика, сообщающего мне, что господин Сван, наконец, ушел и мама сейчас поднимется ко мне, — я их слышал до сих пор, я слышал их, отстоящих, однако, так далеко в прошлом. И, размышляя обо всех событиях, что происходили между тем мгновением, когда я все это услышал, и этим приемом у Германтов, я с ужасом думал, что именно тот самый колокольчик звучит еще

в моих ушах и я ровным счетом ничего не могу изменить в его дребезжании, потому что, не помня как следует, как именно он затихал, чтобы возникнуть вновь, я, чтобы вспомнить это, чтобы лучше его слышать, должен был попытаться отрешиться от звуков голосов всех этих масок, что вели вокруг меня бесконечные разговоры. И чтобы услышать его получше, я вынужден был вновь оказаться внутри себя самого. Значит, внутри меня дребезжание этого колокольчика не затихало никогда, а еще, между ним и настоящим мгновением всегда было это прошлое, что бесконечно прокручивалось раз за разом, а я и не знал, что ношу его в себе. Когда он зазвонил, я уже существовал, и с тех пор, чтобы я вновь мог услышать это дребезжание, нужно, чтобы не было никакого разрыва, чтобы я сам ни на минуту не переставал существовать, не переставал думать, не переставал осознавать себя, и что я мог еще обрести его, вернуться к нему, лишь пробравшись глубоко внутрь себя самого. И поскольку человеческие тела помнят прошлое, они способны причинить столько горя тем, кто их любит, ведь они хранят воспоминания о радостях и желаниях, для них уже давно поблекших, но мучительно жестоких для того, кто созерцает и

представляет во времени любимое тело, которое он ревнует, ревнует до такой степени, что жаждет его уничтожения. Ибо после смерти Время уходит из тела, а воспоминания — столь потускневшие и поблекшие — стираются, воспоминания о той, кого уже больше нет, и хотя они терзают еще кого-то, но в конце концов умрут и они, когда желание живого тела перестанет питать их. Альбертина, достигшая высшего предела, я видел ее спящей, а она умерла. Я испытывал глубокую усталость и ужас, понимая, что это, столь долгое, время было не только прожито, продумано, протянуто мной без единой паузы, что оно и было моей жизнью, было мной самим, но еще и каждое мгновение я должен был прилагать усилия, чтобы не оторваться от него, что оно поддерживало меня, меня, забравшегося на головокружительную высоту, и я не мог сделать ни единого движения, не увлекая его за собой, и перемещаться я мог только с ним вместе. День, когда я услышал звук колокольчика в саду Комбре, столь далекий и в то же время звучащий внутри меня, был чем-то вроде ориентира в том огромном измерении, которым я обладал, даже не подозревая об этом. У меня начинала кружиться голова, когда я видел за собой, а вернее, в себе самом, словно был

ростом в несколько лье, столько лет.

Я наконец понял, почему герцог Германтский, которым я любовался, глядя, как он восседает на стуле, удивляясь, что он почти не состарился, хотя за его плечами было гораздо больше лет, чем за моими, как только он захотел подняться и встать прямо, покачнулся на своих ногах, дрожащих, как у старых архиепископов, у которых если и есть что-то прочное, так это их металлический крест, к которым бросаются, чтобы поддержать, веселые семинаристы, двинулся вперед, покачиваясь, как листок на ветке, на крутую вершину своих восьмидесяти трех лет, как если бы люди стояли на странных ходулях, которые были живыми и делались все длиннее и длиннее, оказываясь вдруг выше колоколен, и в конце концов вырастали такими длинными, что ходить на них становилось уже невозможно и опасно, и тогда люди падали. (Может быть, именно поэтому лицо человека среднего возраста, даже если на него смотрит посторонний, невозможно перепутать с лицом молодого, и оно предстает словно сквозь какую-то дымку?) Я боялся, что мои собственные ходули стали уже слишком длинны для моих шагов, мне казалось, что у меня больше не будет сил хотя бы еще какое-то время сохранять связь

с собственным прошлым, находившимся уже так далеко внизу. И если хватит у меня сил на достаточно долгое время, чтобы успел я завершить свое произведение, в первую очередь я стану описывать людей, даже если придется сделать их похожими на чудовищно огромные существа, предоставить им пространство гораздо большее, чем то до невероятности суженное место, что было им выделено в этом мире, пространство, напротив, длящееся до бесконечности, потому что они все касаются одновременно — словно гиганты, погруженные в толщу прожитых ими лет, — столь отдаленных одна от другой эпох, меж которыми уместились столько дней — во Времени.